

НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ
в переводах В.А. Жуковского



НЕМЕЦКАЯ
ПОЭЗИЯ
в переводах
В.А. Жуковского

RUDOMINO
ОНИМОЧУЛ



RUDOMINO
ОНИМОЧУЛ



Издательство
«РАДУГА»

Иоганн Вильгельм Людвиг Глейм
Карл Вильгельм Рамлер
Фридрих Готлиб Клопшток
Готхольд Эфраим Лессинг
Кристоф Мартин Виланд
Готлиб Конрад Пфедфель
Иоганн Готфрид Гердер
Готфрид Август Бюргер
Иоганн Вольфганг Гёте
Фридрих Шиллер
Иоганн Петер Гебель
Фридрих фон Маттисон
Фридрих де ля Мотт Фуке
Адельберт фон Шамиссо
Якоб и Вильгельм Гримм
Людвиг Уланд
Фридрих Рюккерт
Йозеф Христиан фон Цедлиц
Карл Теодор Кёрнер
Николаус Ленау

НЕМЕЦКАЯ
ПОЭЗИЯ
в переводах
В.А. Жуковского





НЕМЕЦКАЯ
ПОЭЗИЯ
в переводах
В.А.Жуковского



Издательство
«РУДОМИНО»



ОАО
Издательство
«РАДУГА»

МОСКВА
2000

ББК 84.4Г

НЗ8

Составление, предисловие и комментарии А. Гугнина

Немецкая поэзия в переводах В. А. Жуковского:

Н 38 Сборник/Составл., предисл. и коммент. А. Гугнина. – М.: Издательство «Рудомино»; ОАО Издательство «Радуга», 2000. – С параллельным текстом на нем. яз. – 624 с.

В настоящий сборник включены переводы с немецкого языка, принадлежащие перу замечательного русского поэта В. А. Жуковского. Здесь представлены как широко известные его работы, так и очень редкие.

Читатель сможет познакомиться с оригиналами переводимых произведений и оценить мастерство Жуковского-переводчика.

Том сопровождается вступительной статьей и расширенными филологическими комментариями.

Издание осуществлено при поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Федеральная программа поддержки социально значимой литературы)

На фронтисписе – В.А. Жуковский.

Портрет работы К.П. Брюллова

(холст, масло, 1838 г.)

© Составление, предисловие, комментарии, художественное оформление ОАО Издательство «Радуга», 2000

ISBN 5-05-004968-7



Содержание

А. Гумин. Жуковский и немецкая литература 9

<i>Johann Wilhelm Ludwig Gleim</i>		<i>Иоганн Вильгельм Людвиг Глейм</i>	
Amalia	20	Идиллия	21
Die Fliege	20	Комар	21
<i>Karl Wilhelm Ramler</i>		<i>Карл Вильгельм Рамлер</i>	
Der donnernde Jupiter	22	Милосердие	23
<i>Friedrich Gottlieb Klopstock</i>		<i>Фридрих Готлиб Клопшток</i>	
Aus „Messias“. Zweiter Gesang	24	Аббадона	25
<i>Gotthold Ephraim Lessing</i>		<i>Готхольд Эфраим Лессинг</i>	
Der Affe und der Fuchs	38	Лисица и Обезьяна	39
Der Roß und der Stier	38	Конь и Бык	39
Der Fuchs und der Storch	38	Журавль и Лисица	39
Herkules	40	Алкид	41
Die Eiche	40	Дуб	41
Die Nachtigall und der Pfau	42	Соловей и Павлин	43
Der Schäfer und die Nachtigall	42	Пастух и Соловей	43
Merops	42	Меропс	43
Das Geschenk der Feen	44	Дар волшебниц	45
<i>Christoph Martin Wieland</i>		<i>Кристоф Мартин Виланд</i>	
Oberon. Erster Gesang	46	Оберон	47
<i>Gottlieb Konrad Pfeffel</i>		<i>Готлиб Конрад Пфэффель</i>	
Das Efeu	54	Дружба	55
Die Antipathie	54	<Антипатия>	55
Der Tod des Brutus	54	Брутова смерть	55
Der Komet und der Fixstern	56	Звезда и комета	57

Johann Gottfried Herder

Die Rose	58
Der Lorbeerbaum	58
Der junge Schiffer	58
Grabesstimme eines Kindes	60
Jugend und Alter	60
Auf Jupiters Bildsäule von Phidias	60
Das Schicksal	62
Der Neider	62

Gottfried August Bürger

Lenore	64
--------	----

Johann Wolfgang Goethe

Meine Göttin	82
Die Freuden	90
„Wer nie sein Brot mit Tränen aß...“	90
Aus „Faust“. Zueignung	92
An den Mond	94
Trost in Tränen	96
Erlkönig	98
Der Fischer	100
Lied der Mignon	104
Schäfers Klagelied	104
Neue Liebe, neues Leben	106
Zueignung	108
Der Wanderer	110
Ländliches Glück	126
„Wär nicht das Auge sonnen- haft...“	126
Adler und Taube	128

Friedrich Schiller

Des Mädchens Klage	132
Aus „Die Räuber“	134
Kassandra	136
Das Glück	144
Der Pilgrim	148

Иоганн Готфрид Гердер

Роза	59
Лавр	59
Надгробие юноше	59
Голос младенца из гроба	61
Младость и старость	61
Фидий	61
Судьба	63
Завистник	63

Готфрид Август Бюргер

Ленора	65
--------	----

Иоганн Вольфганг Гёте

Моя богиня	83
Мотылек	91
«Кто слез на хлеб свой не ронял»	91
«Опять ты здесь, мой благодатный гений»	93
К месяцу	95
Утешение в слезах	97
Лесной царь	99
Рыбак	101
Мина. Романс	105
Жалоба пастуха	105
Новая любовь – новая жизнь	107
«Взошла заря. Дыханием приятным...»	109
Путешественник и поселянка	111
Обеты	127
«Будь несолнечен наш глаз...»	127
Орел и голубка	129

Фридрих Шиллер

Тоска по милом. Песня.	133
Плач Людмилы	135
Кassandra	137
Счастье	145
Путешественник. Песня	149

Der Jüngling am Bache	150	Жалоба. Романс	151
Sehnsucht	152	Желание. Романс	153
Die Kraniche des Ibykus	154	Ивиковы журавли	155
Die Ideale	166	Мечты. Песня	167
Thekla	172	Голос с того света	173
Der Besuch	174	Явление богов	175
Ritter Toggenburg	176	Рыцарь Тогенбург	177
Der Graf von Habsburg	180	Граф Гапсбургский	181
Berglied	188	Горная дорога	189
An Emma	190	К Эмме	191
Die Jungfrau von Orleans.		Орлеанская дева.	
Prolog	192	Пролог	193
Das Siegesfest	230	Торжество победителей	231
Der Taucher	238	Кубок	239
Der Handschuh	250	Перчатка. Повесть	251
Der Ring des Polykrates	254	Поликратов перстень	255
Klage des Ceres	260	Жалоба Цереры	261
Das Eleusische Fest	268	Элевзинский праздник	269
Der Kampf mit dem Drachen	282	Сражение с змеем. Повесть	283
Der Gang nach dem		Суд Божий.	
Eisenhammer	298	Повесть	299
Aus „Parabeln und Rätsel“	310	Две загадки	311
<i>Johann Peter Hebel</i>		<i>Иоганн Петер Гебель</i>	
Das Habermus	314	Овсяный кисель	315
Der Karfunkel	320	Красный карбункул. Сказка	321
Der Wächter in der Mitternacht	332	Деревенский сторож в полночь	333
Die Vergänglichkeit	340	Тленность	341
Der Morgenstern	348	Утренняя звезда	349
Der Sommerabend	354	Летний вечер	355
Sonntagsfrühe	360	Воскресное утро в деревне	361
Kannitverstan	364	Из «Две были и еще одна»	365
Unverhofftes Wiedersehen	368	Неожиданное свидание. Белье	369
<i>Friedrich von Matthiesson</i>		<i>Фридрих фон Маттиссон</i>	
Elysium	374	Элизиум. Песня	375
<i>Friedrich de la Motte Fouqué</i>		<i>Фридрих де ла Мотт Фуке</i>	
Undine	380	Ундина. Старинная повесть	381
<i>Adelbert von Chamisso</i>		<i>Адельберт фон Шамиссо</i>	
Sage von Alexandern	422	Из «Две повести» (I)	423
Die Kreuzschau	432	Выбор креста. Повесть	433

<i>Jacob und Wilhelm Grimm</i>		<i>Якоб и Вильгельм Гримм</i>	
Dornröschen	436	Спящая царевна	437
Von dem Machandelbaum	452	Тюльпанное дерево	453
<i>Ludwig Uhland</i>		<i>Людвиг Уланд</i>	
Sängers Vorüberziehen	478	Сон	479
Lied eines Armen	478	Песня бедняка	479
Der Traum	482	Счастье во сне	483
Die Rache	482	Мщение	483
Harald	484	Гаральд	485
Die drei Lieder	488	Три песни	489
Die Nonne	488	Утешение	489
Der Wirtin Töchterlein	490	Три путника	491
Der Sieger	492	Победитель	493
Der gute Kamerad	494	«Был у меня товарищ...»	495
Das Schloss am Meere	496	Замок на берегу моря	497
Lob des Frühlings	498	Приход весны	499
Durand	498	Алонзо	499
Roland Schildträger	502	Роланд оруженосец	503
König Karls Meerfahrt	516	Плавание Карла Великого	517
Normannischer Brauch	520	Нормандский обычай	521
Der Waller	538	Братоубийца	539
Junker Rechberger	544	Рыцарь Роллон	545
Der junge König und die Schäferin	550	Царский сын и поселанка	551
Graf Eberhard's Weißdorn	552	Старый рыцарь	553
<i>Friedrich Rückert</i>		<i>Фридрих Рюккерт</i>	
Parabeln	556	Из «Две повести» (II)	557
<i>Joseph Christian von Zedlitz</i>		<i>Йозеф Христиан фон Цедлиц</i>	
Die Nächtliche Heerschau	562	Ночной смотр	563
<i>Karl Theodor Körner</i>		<i>Карл Теодор Кёрнер</i>	
Treuer Tod	566	Верность до гроба	567
<i>Nicolaus Lenau</i>		<i>Николаус Ленау</i>	
Stumme Liebe	570	<Елизавете Рейтерн>	571
		<i>Комментарии</i>	574



Жуковский и немецкая литература

(несколько вводных пояснений)

В 1801 г. восемнадцатилетний Жуковский, еще будучи воспитанником университетского Благородного пансиона в Москве, получил свой первый литературный гонорар: книгопродавец Зеленников заплатил ему 75 рублей за перевод книги Августа Коцебу «Мальчик у ручья», которая вышла отдельным изданием и была переиздана в 1819 г. Повод для перевода был самый прозаический – недостаток карманных денег, которые, однако же, тратились не столько на развлечения, сколько на покупку книг; переводческие гонорары положили начало огромной по тем временам библиотеки Жуковского, где приоритетное место по числу названий заняла немецкая литература¹. За первой публикацией последовали переводы популярных в то время пьес Коцебу и произведений Флориана. Но параллельно с этим шла вдумчивая и неторопливая работа над перевоплощением в русский язык элегии Грея «Сельское кладбище», ставшей, по мнению В. С. Соловьева, «родиной русской поэзии». «Только постепенно было осознано, что этим стихотворением Жуковский, не достигший 20 лет, стал во главе русской поэзии и занимал это место два десятилетия», – утверждает современный исследователь².

Уже в самом начале XIX в. у Жуковского складывается осо-

¹ Л о б а н о в В. В. История и состав библиотеки В. А. Жуковского // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Часть первая. Томск, 1978, с. 8. См. также составленное В. В. Лобановым описание сохранившейся части библиотеки: Библиотека В. А. Жуковского (Описание). Томск, 1981. Можно предположить, что на раннем этапе преобладали книги на французском языке, которым Жуковский – по крайней мере до 1805–1806 гг. – владел лучше, чем немецким.

² Б а е в с к и й В. С. История русской поэзии. 1730–1980. Смоленск, 1994, с. 62.

бое мировосприятие и мироощущение, позволившее ему позднее сказать: «Жизнь и поэзия – одно». Жуковский был, кажется, первым в русской литературе, кто мог сказать о себе такое с полным правом. Это взаимопроникновение, взаимодополнение жизни и поэзии достигло у него такой степени концентрации, что он легко и естественно (во всяком случае, без всяких видимых затруднений) создает «эффективный суггестивный стиль»¹, который именно и позволил русской поэзии в его лице семимильными шагами догонять западноевропейские литературы, имевшие к началу XIX века почти тысячелетнюю традицию *культивирования* светской литературы, чего ни в Киевской, ни в Московской Руси не было и не могло быть – хотя бы из-за отсутствия светского образования – и что стало развиваться лишь постепенно в XVIII веке.

Русской поэзии и – шире – литературе необходима была мощная «прививка» субъективности, чтобы пробиться к «истинно-человеческой поэзии... после условного риторического творчества Державинской эпохи»². Но и в западноевропейских литературах многовековая риторическая традиция стала бесповоротно разваливаться лишь с конца XVIII века – понадобились, к примеру, длительные усилия Гёте, Гердера и многих «штюрмеров», а затем и романтиков, чтобы расшатать эту традицию в Германии. Речь шла о пересмотре системы жанров, утвердившихся в эпоху классицизма, но в не меньшей степени и о глубоком переосмыслении взглядов на литературный язык, который должен был из средства рационального (пускай и с «украшениями», «фигурами») выражения здравых мыслей и жизнеподобных картин превратиться в инструмент передачи тончайших чувств, иррациональных мотивов, побуждений и состояния души. В языке поэзии постепенно менялось все: от синтаксиса до словоупотребления, от ритмов и размеров до семантики слов и возможности сочетаний прежде не сочетавшихся слов. К примеру, еще в 1821 г. «Рыбак» Жуковского поражал и возмущал критиков прежде всего непривычностью словосочетаний, казавшихся

¹ Баевский В. С. История русской поэзии. 1730–1980. Смоленск, 1994. с. 68.

² Соловьев В. С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 118.

недопустимыми («душа полна прохладной тишиной», «кипучий жар», «знойная вышина», «прохладно-голубой... свод неба», «влажною всплыла главой красавица»)¹. Но В. М. Жирмунский совершенно прав, замечая по этому поводу, что «обращение Гёте с поэтическим словом еще свободнее, образы его смелее: Жуковский нередко смягчает слишком необычное сближение понятий». В нашем контексте наблюдения В. М. Жирмунского удачно дополняются анализом С. С. Аверинцева двух строк из «Горной дороги» Шиллера («Es sitzt die Königin hoch und klar/ Auf unvergänglichem Throne»), переведенных Жуковским в 1818 г. как «Царица сидит высоко и светло / На вечно-незыблемом троне». В фактически дословном, «буквалистском» переводе Жуковского С. С. Аверинцев замечает нюанс, который позволяет точнее проиллюстрировать характер языковых новаций русского поэта в контексте европейской поэзии: «Отчасти несравненная эстетическая дипломатия Жуковского, но прежде всего привычка закрывают от нас дерзость языкового эксперимента: «сидит... светло» (дипломатия – в том, что между неожиданно сопряженными словами стоит слово «высоко», легко вступающее в соединение и с предыдущим: «сидит высоко», и с последующим: «высоко и светло»). Образец дан структурой немецкой поэтической речи, где неизменяемые постпозитивные прилагательные в известной мере совмещают семантику чистого эпитета (тогда «sitzt klar» = «сидит светлая», в чем нет ровно ничего озадачивающего) и наречия. Если в немецкой конструкции сквозь прилагательное как бы просвечивает наречие, то в оригинальной русской конструкции Жуковского сквозь наречие как бы просвечивает прилагательное; первое обычно для языка, второе – нет, однако ощущения насилия над русской речью, «варваризма», отнюдь не возникает, просто у этой речи словно открывается окно наружу»². То есть

¹ Статья близкого к декабристам литературного критика Ореста Сомова была опубликована в журнале «Невский зритель» (1821, часть 5, январь), подробнее см.: Ж и р м у н с к и й В. М. Гёте в русской литературе. Л., Наука, 1982, с. 77–89.

² А в е р и н ц е в С. С. Размышления над переводами Жуковского // За-рубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского. М., 1985. Т. 2, с. 558–559.

Жуковский, переводя Шиллера, идет дальше словесно-образной фактуры оригинала, способствуя тем самым модернизации языка и образной системы русской поэзии; в переводах же Гёте его, напротив, «пугает» смелость обращения немецкого поэта с языком (но главное все же – мировоззренческая трезвость Гёте, полное отсутствие сентиментальности уже в «Рыбаке» и «Лесном царе»), и он смягчает оригинал, слегка «затуманивая» его. Но в ситуации русской литературы начала XIX в. и этого (недостаточного – с точки зрения буквальной точности) приближения к Гёте оказывается достаточно, чтобы вызвать возмущение критики, для которой развитие семантических возможностей художественного слова не является важнейшим фактором развития самой поэзии. В данном случае не менее важно то, что Шиллер в своей поэзии гораздо более связан с риторической традицией, чем Гёте, который заметно отходит от нее уже в «Зезенгеймских песнях» начала 1770-х гг.

Переводя данные рассуждения в огрубленно социологический план, можно отметить, что, обновляя язык и образный строй русской поэзии, Жуковский выбирает наиболее оптимальный – средний – путь: он «левее» шишковистов (и Шиллера), но «правее» П. Катенина (и Гёте). В русской литературе только А. С. Пушкину дано было примирить это – отчасти искусственное – противоречие: ведь смогли же Гёте и Шиллер – при всей их первоначальной настороженности друг к другу – плодотворно сотрудничать и решать *вместе* общую задачу создания классической немецкой национальной литературы. Но в контексте данных рассуждений понятнее становится и то, почему Жуковский всю жизнь не переставал восхищаться *смелостью* Гёте (а не Шиллера и Уланда, которых он больше и охотнее переводил), ибо под «смелостью» для Жуковского подразумевалась не одна только мировоззренческая дерзость (к примеру, так называемое «язычество» Гёте, которое пугало и настораживало многих), но, может быть, прежде всего художественная дерзость, которая самому Жуковскому была отмерена все же не столь щедро:

Свободу смелую приняв себе в закон,
Всезрящей мыслию над миром он носился,
И в мире все постигнул он –
И ничему не покорился.

(К портрету Гёте, 1819)

На примере углубленных занятий Жуковского немецкой литературой и эстетикой отчетливо видно, что новаторство, которое он продемонстрировал на самых разных направлениях, далеко не всегда давалось ему само собой и сразу, что он тоже вынужден был нередко идти путями проб и «ошибок» и порой подолгу бился над освоением того или иного жанра или формы и оставлял их, не достигая выдающихся результатов и переходя к другим «пробам».

Переняв из наследия классицизма жанровое сознание и представления о субординации жанров, Жуковский сначала экспериментирует в традиционных поэтических жанрах: ода, элегия, басня, эпиграмма, идиллия, послание. Далеко не сразу он понимает, что ода, басня и эпиграмма – не его жанры, хотя и здесь у него есть несомненные творческие удачи (не говоря уже о том, что жанры эти были еще весьма популярны у читателей). Переводы басен и эпиграмм Пфедфеля, Глейма, Лессинга и Гердера, охватывающие период 1805–1838 гг., впервые собранные вместе в нашем издании, хорошо иллюстрируют длительность и интенсивность интереса Жуковского к данным жанрам и корректируют те представления, которые складывались у читателей и исследователей на основании его более широко известных переводов басен Флориана и Лафонтена¹. Для русской поэзии в начале XIX в. гораздо более важным оказался вклад Жуковского в разработку жанров элегии и послания, которые уже в эпоху сентиментализма заметно отошли от классицистических канонов. После «Сельского кладбища» он написал такие элегии, как «Вечер», «Славянка», «Невыразимое», «К мимопролетевшему знакомому гению», «Море», «Я

¹ Этой корректировкой мы во многом обязаны новым публикациям, статьям и монографии Н. Б. Реморовой: В. А. Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989.

музу юную бывало...», «Таинственный посетитель», не только ставшие классикой жанра, но и оказавшие заметное влияние на развитие всей русской поэзии.

Воздействие жанровых установок классицизма сказалось и в попытках Жуковского создать эпопею, но ни национальный, ни религиозный варианты эпопеи ему не удаются. И даже с энтузиазмом начатые переводы Виланда (1811) и Клопштока (1814) он оставляет, зато неоценим его вклад в развитие русской баллады, поэмы и стихотворной «повести», а также «романа в стихах». На всех этих жанровых направлениях переводы Жуковского сыграли выдающуюся роль – будь то «Ленора» Бюргера, переоплаченная в «Людмилу» и «Светлану», или «Шильонский узник» Байрона, ставший важнейшей вехой в истории русской романтической поэмы. Названные жанры опять-таки не каноничны в жанровой системе классицизма.

Нельзя обойти вниманием и вовсе не классицистический жанр «романса» и «песни», где вклад Жуковского, может быть, не так ярко и сразу бросается в глаза, но в конечном итоге так же бесспорен и убедителен. Первой удачей его здесь стал «романс» «Тоска по милом» из Шиллера, опубликованный в начале 1807 г. в «Вестнике Европы». Уже в 1808 г. текст был положен на музыку А. Плещеевым, затем к нему обращались А. Верстовский (1827), З. Волконская, М. И. Глинка (1833). Романс входил во многие песенники XIX в. В 1849 г. – в последнем прижизненном собрании «Стихотворений» – Жуковский заменяет жанровое обозначение «романс» на «песня». Свои «романсы» и «песни» Жуковский часто помечает «с французского» или «с немецкого», но характерно то, что именно в этих жанрах труднее всего отыскиваются оригиналы и остается еще немало текстов, где комментаторы вынуждены отмечать, что «источник не установлен». Так, несмотря на длительные поиски, нам все еще не удалось установить с достоверностью немецкий оригинал песни «Кольцо души-девицы» (1816), одного из наиболее удачных и популярных творений Жуковского в этом жанре. Есть несколько близких по содержанию немецких народных песен и авторских текстов (Эйхендорфа и др.), но ни об одном из них нельзя с уверенностью

сказать, что именно он был источником, вдохновившим Жуковского, – столько здесь сугубо личного, связанного с трагическим чувством утраты М. А. Протасовой (и, кажется, даже с предчувствием ее дальнейшей судьбы), и в то же время характерно русского, страдательного (во всяком случае, так это выразилось во многих прекрасных русских песнях, романсах и стихотворениях), что это не подпадает пока даже с приближительной точностью ни под один немецкий текст...

Сегодня мы можем наконец снова подойти к пониманию истинного масштаба творчества Жуковского, оценить его уникальную и никем не заменимую роль в истории русской культуры. В гораздо большей степени, чем кто-либо другой из русских писателей, он сделал достоянием русской культуры и – главное – фактом живого историко-культурного процесса не только огромное количество великолепных произведений, но и целые духовные миры разнообразных эпох и культур, переплавив все эти миры в духовно-художественном пространстве своей личности. Эту его уникальность уже хорошо осознавали некоторые его современники (Пушкин, Вяземский, Гоголь), вновь это почувствовали многие представители Серебряного века, и теперь вплотную – после многих заблуждений относительно «реакционного романтика» Жуковского – подходим к этому мы. Речь идет о наполнении современным историко-литературным содержанием лаконично-емких определений Жуковского-переводчика А. С. Пушкиным: «гений перевода», «в бореньях с трудностью силач необычайный» (в письме П. А. Вяземскому от 25 мая 1825 г.) и «переводной слог его останется всегда образцовым» (в письме К. Ф. Рылееву от 25 февраля 1825 г.).

Теория и практика перевода интенсивно развивались в XIX–XX веках, накоплен огромный обобщающий и сопоставительный материал. Но если попытаться свести разнообразие переводческих дискуссий к некой схематической сущности, то оказывается, что мы и сегодня не так уж далеко ушли от идей, высказанных по поводу перевода Новалисом, Шлейермахером и Гёте в Германии и Жуковским и Пушкиным в Рос-

сии. Речь идет о трех принципиально различных типах (и принципах) художественного перевода, из которых два совершенно ясны и по сути не дискуссионны: 1) так называемый буквалистский перевод или перевод «слово в слово», как назвал это Пушкин в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая», опубликованной в 1837 г.; 2) так называемый вольный, субъективный, волюнтаристский или «исправительный перевод» (последнее определение из той же статьи Пушкина), а третий («верный», по определению Пушкина) до сих пор вызывает различные толкования и споры. Поясним этот третий тип (или принцип) перевода словами Гёте в письме к Т. Карлейлю от 15 июня 1828 г. о переводе нескольких сцен из второй части «Фауста» и попытках истолковать его в разных странах: «Шотландец стремится проникнуть внутрь произведения, француз – понять его, а русский – сделать его своим достоянием. Таким образом, не сговариваясь, эти три автора представляют все виды причастности к художественному произведению, при этом, разумеется, эти три способа не могут быть решительно разграничены, а каждый постоянно призывает другого на помощь себе». Комментируя это письмо, современный исследователь теории и истории перевода пишет: «В этой необычной характеристике можно увидеть один из вариантов все той же триады – идти навстречу иноязычному произведению, перенести его на свою почву или, наконец, "усвоить" его»¹.

«Усвоить» в рассматриваемом нами контексте означает не только найти при переводе путь между Сциллой буквализма и Харибдой волюнтаризма, но попытаться достичь идеала. Идеал же состоит в том, чтобы переведенное произведение стало «своим», естественно и органично включилось в стихию родного языка и его образно-выразительной системы, стало неотъемлемой частью естественного и органичного развития родной литературы, живого историко-литературного процесса, оставаясь при этом в максимально возможной степени переводным памятником чужой словесности, дающим самое на-

¹ То пер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. М., 2000, с. 74.

глядное и яркое представление о неповторимой индивидуальности чужого писателя и о национальном своеобразии чужой литературы. Для достижения такой задачи мало быть очень хорошим переводчиком, нужно быть еще и очень хорошим писателем. Обоим этим требованиям полностью соответствовал В. А. Жуковский. И оттого слова, сказанные А. С. Пушкиным о поэзии Жуковского, в полной мере относятся и к его поэтическим переводам:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль,
И резвая задумается радость.

(К портрету Жуковского, 1819)

А. А. Гугнин

НЕМЕЦКАЯ
ПОЭЗИЯ
в переводах
В.А. Жуковского



Johann Wilhelm Ludwig Gleim

AMALIA

Als noch Amalia in unsern Schäferhütten
Die Unschuld selbst, das Muster frommer Sitten,
Und aller Schäfer Ehrfurcht war:
Da schmückt' ein Kranz nur ihr gelocktes Haar.
Als sie noch gern auf meine Weide trieb,
Da waren ihr die kleinen Lieder lieb,
Die ich von ihr und ihren frommen Sitten
Dem Echo sang, oft wohl auf ihre Bitten.
Jetzt aber, da sie in der Stadt
Viel stolze Schmeichler um sich hat;
Jetzt liebet sie den schweren Pomp von Gold,
Und ist nicht mehr den leichten Blümchen hold.
Jetzt liebet sie der Schmeichler Lügen sehr,
Und hat kein zärtliches Gehör
Für meine kleinen Lieder mehr;
Sie kennet sich; sie kennet mich nicht mehr.

DIE FLIEGE

Seht, Freunde! seht, die arme Fliege hier,
Beklagt, bejammert sie mit mir!
Sie sah den Wein in meinem Glase blinken;
Er lockte sie, herab zu ihm zu sinken,
Und auch wie wir, Ambrosia zu trinken.
Sie sank herab,
Und fand ihr Grab,
Und trank den Tod, wo wir das Leben trinken.

Иоганн Вильгельм Людвиг Гейм

ИДИЛЛИЯ

Когда она была пастушкой простой,
Цвела невинностью, невинностью блистала,
Когда слыла в селе девичьей красотой
И кудри светлые цветами убирала –
Тогда ей нравились и пенистый ручей,
И луг, и сень лесов, и мир моей долины,
Где я пленял ее свирелию моей,
Где я так счастлив был присутствием Алины.
Теперь... теперь прости души моей покой!
Алина гордая столицы украшеньё;
Увы, окружена ласкателей толпой,
За лесть их отдала любви благотворенье,
За пышный злата блеск душистые цветы;
Свирели тихий звук Алину не прельщает;
Алина предпочла блаженству – суеты;
Собою занята, меня в лицо не знает.

КОМАР

Как все, мой нежный друг, неверно под луною!
Тебе докажет то комар своей судьбою.
Пленившись пеной золотою,
Он сладости в вине, как ты и я, искал.
Но в сладостном вине конец безумца ждал!
Он там находит смерть, где жизнь для нас с тобою.

Karl Wilhelm Ramler

DER DONNERNDE JUPITER

Gott Jupiter sprach zu der Rache:
Geh, schärfe mir den Donnerkeil,
Damit ich mit geschwinder Eil
Der Frevelmut ein Ende mache.
Doch die Erbarmung, die es hört,
Nimmt schnell der Rach' ihn aus den Händen
Und bricht ihn ab an beiden Enden,
Dass er mehr schrecket, als versehrt.



Карл Вильгельм Рамлер

МИЛОСЕРДИЕ

– Перун мой изостри, – сказал Юпитер Мщенью. –
Устал я миловать! погибель преступленью!
Но Милосердие, услышав приговор,
Украдкой острие Перуна притупляет.
С тех пор
Он только лишь страшит, но редко поражает.



Friedrich Gottlieb Klopstock

Aus „Messias“
ZWEITER GESANG
(Auszug)

... Unten am Throne saß einer einsiedlerisch, finster und traurig,
Seraph Abdiel Abbadonaa. Er dachte der Zukunft
Und dem Vergangnen voll Seelenangst nach. Vor seinem Gesichte,
Aus dem ein trübes entsetzliches Dunkel mit Schwermut
hervorbrach,
Sah er nur Qualen auf Qualen gehäuft in die Ewigkeit eingehn.
Itzo erblickt er die vorigen Zeiten; da war er voll Unschuld
Jenes erhabenen Abdiels Freund, der am Tage des Aufruhrs,
Nach dem Messias, im Himmel die größten Taten vollführte;
Denn er kehrte zu Gott allein und unüberwindlich
Wieder zurück. Mit ihm, dem edelmütigen Seraph,
War schon Abbadonaa den Blicken der Feinde Gottes,
Fast entgangen: Allein die Kriegeswagenburg Satans,
Die, im Triumph sie wieder zu holen, schnell um sie herumkam,
Und der gewaltig einladende Lärm der Kriegesposaunen
Und die Heldenschar, jeder ein Gott, vor ihm ausgebreitet,
Übermannten sein Herz und rissen ihn stürmisch zurücke.
Hier noch wollt ihn sein Freund mit Blicken drohender Liebe
Fortzueilen bewegen, allein von künftiger Gottheit
Trunken und umnebelt, sah er die sonst mächtigen Blicke
Seines Freundes nicht mehr. Er kam im Triumph zu Satan.
Jammernd und in sich verhüllt, denkt er an diese Geschichte
Seiner heiligen Jugend und an den lieblichen Morgen
Seiner Geburtszeit zurück; der Ewige schuf sie auf einmal.

Фридрих Готлиб Клопшток

АББАДОНА

Сумрачен, тих, одинок, на ступенях подземного трона
Зрелся от всех удален серафим Аббадона. Печальной
Мыслью бродил он в минувшем: грозно вдали перед взором,
Смутным, потухшим от тяжкия тайныя скорби, являлись
Мука на муке, темная вечности бездна. Он вспомнил
Прежнее время, когда он, невинный, был друг Абдиила,
Светлое дело свершившего в день возмущенья пред Богом:
К трону владыки один Абдиил, не прельщен, возвратился.
Другом влекомый, уж был далеко от врагов Аббадона;
Вдруг Сатана их настиг, в колеснице, гремя и блистая;
Звучно торжественным кликом зовущим грянуло небо;
С шумом помчались рати мечтой божества упоенных –
Ах! Аббадона, бурей безумцев от друга оторван,
Мчится, не внемля прискорбной, грозящей любви Абдиила;
Тьмой божества отуманенный, взором молящих не видит;
Друг позабыт: в торжестве к полкам Сатаны он примчался.
Мрачен, в себя погружен, пробежал он в мыслях всю повесть
Прежней, невинныя младости; мыслил об утре созданья.
Вкупе и вдруг сотворил их Создатель. В восторге рожденья

Все вопрошали друг друга: «Скажи, серафим, брат небесный,
Кто ты? Откуда, прекрасный? Давно ль существуешь, и зрел ли
Прежде меня? О! поведай, что мыслишь? Нам вместе
бессмертье».

Вдруг из дали светозарной на них благодатью слетела
Божия слава; узрели все небо, шумящее сонмом
Новосозданных для жизни; к Вечному облако света
Их вознесло, и, завидев Творца, возгласили: «Создатель!»
Мысли о прошлом теснились в душе Аббадоны, и слезы,
Горькие слезы бежали потоком по впалым ланитам.
С трепетом внял он хулы Сатаны и воздвигся, нахмурен;
Тяжко вздохнул он трикраты – так в битве кровавой друг друга
Братья сразившие тяжело в томлень кончины вздыхают, –
Мрачным взором окинув совет Сатаны, он воскликнул:
«Будь на меня вся неистовых злоба – вещать вам дерзаю!
Так, я дерзаю вещать вам, чтоб Вечного суд не сразил нас
Равною казнию! Горе тебе, Сатана-возмутитель!
Я ненавижу тебя, ненавижу, убийца! Вовеки
Требуй он, наш судия, от тебя развращенных тобою,
Некогда чистых наследников славы! Да вечное: горе!
Грозно гремит на тебя в сем совете духов погубленных!
Горе тебе, Сатана! Я в безумстве твоём не участник!
Нет, не участник в твоих замысленьях восстать на Мессию!
Бога-Мессию сразить!.. О ничтожный, о ком говоришь ты?
Он всемогущий, а ты пресмыкаешься в прахе, бессильный
Гордый невольник... Пошлет ли смертному Бог искупление,
Тлена ль оковы расторгнуть помыслит – тебе ль с ним бороться!
Ты ль растерзаешь бессмертное тело Мессии? Забыл ли,
Кто он? Не ты ль опален всемогущими грóмами гнева?
Иль на челе твоём мало ужасных следов отверженья?
Иль Вседержитель добычею будет безумства бессильных?

Du willst den Leib des Messias, den willst du, Satan, erwürgen?
 Kennest du ihn nicht mehr? Hat sein allmächtiges Donnern
 Dich nicht genug an dieser verwegnen Stirne gezeichnet?
 Oder kann sich Gott nicht vor uns Ohnmächtigen schützen?
 Wir, die die Menschen zum Tode verführten; ach wehe mir, wehe!
 Ich tat es auch! Wir wollen uns nun an ihrem Erlöser
 Wütend vergreifen? Den Sohn, den Donnergott, wollen wir töten?
 Ja, den Zugang zu einer vielleicht zukünftigen Rettung
 Oder zum mindesten zur Lindrung der Qual, den wollen wir ewig
 Uns, so vielen vordem vollkommenen Geistern, verschließen?
 Satan! so wahr wir alle die Qual nur gewaltiger fühlen,
 Wenn du diese Behausung der Nacht und der dunklen

Verdammnis

Königlich nennst, so wahr kehrst du mit Schande belastet,
 Statt des Triumphs, von Gott und seinem Messias zurücke!“
 Satan hört ihn voll grimmiger Ungeduld also reden.
 Itzt wollt er auf ihn donnern, allein die schreckliche Rechte
 Sank ihm zitternd im Zorne dahin, er stampft' und erbebe.
 Dreimal bebt' er vor Wut, dreimal sah er Abbadonaa
 Ungestüm an und schwieg. Sein Auge ward dunkel vor Grimme,
 Ihn zu verachten, ohnmächtig; doch Abbadonaa blieb ernsthaft
 Und unerschrocken vor ihm mit traurigem Angesicht stehen.
 Aber Gottes, der Menschen und Satans Feind, Adramelech,
 Sprach: „Aus finstern Wettern will ich mit dir reden, Verzagter,
 Dir soll ein Ungewitter die Antwort entgegendonnern!
 Darfst du die Götter so schmähn? Darf einer der niedrigsten

Geister

Wider Satan und mich aus seiner Tiefe sich rüsten?
 Wirst du gepeinigt, so wirst du von deinen niedern Gedanken,
 Sklave, gepeinigt! Entfleuch, Verzagter, aus diesen Bezirken
 Unserer Herrschaft, wo Könige sind! Entfleuch in die Tiefe,
 Laß dir von deinem Allmächtigen, dort ein Qualenreich bauen!
 Allda bring die Unsterblichkeit zu! Doch du stürbest wohl lieber!
 Stirb denn, vergeh, anbetend und sklavisch gen Himmel
 gebücket!

Мы, заманившие в смерть человека... о горе мне, горе!
Я ваш сообщник!.. Дерзнем ли восстать на подателя жизни?
Сына его, громовержца, хотим умертвить – о безумство!
Сами хотим в слепоте истребить ко спасенью дорогу!
Некогда духи блаженные, сами навеки надежду
Прежнего счастья, мук утоления мчимся разрушить!
Знай же, сколь верно, что мы ощущаем с сугубым страданьем
Муку паденья, когда ты в сей бездне изгнанья и ночи
Гордо о славе твердишь нам; столь верно и то, что сраженный
Ты со стыдом на челе от Мессии в свой ад возвратишься».
Бешен, кипя нетерпеньем, внимал Сатана Аббадоне;
Хочет с престола в него он ударить огромной скалою –
Гнев обессилил подъятую грозно с камнем десницу!
Топнул, яряся, ногой и трикраты от бешенства вздрогнул;
Молча воздвигшись, трикраты сверкнул он в глаза Аббадоны
Пламенным взором, и взор был от бешенства ярок и мрачен:
Но презирать был не властен. Ему предстоял Аббадона,
Тихий, бесстрашный, с унылым лицом. Вдруг воспрянул
свирепый

Адрамелех, Божества, Сатаны и людей ненавистник.
«В вихрях и бурях тебе я хочу отвечать, малодушный;
Гряну грозою ответ, – сказал он. – Ты ли ругаться
Смеешь богами? Ты ли, презреннейший в сонме бесплотных,
В прахе своем Сатану и меня оскорблять замышляешь?
Нет тебе казни; казнь твоя: мыслей бессильных ничтожность.
Раб, удались, удались, малодушный; прочь от могущих;
Прочь от жилища царей; исчезай, неприметный, в пучине;
Там да создаст тебе царство мучения твой Вседержитель;
Там проклинай бесконечность или, ничтожности алчный,
В низком бессилии рабски пред небом глухим пресмыкайся.
Ты же, отважный, среди самого неба нарекшийся богом,

Der du mitten im Himmel dein Götterwesen erkanntest
Und dem berufenen Allmächtigen kühn, mit heiligem Zürnen,
Widerstandest, zukünftiger Schöpfer unzählbarer Welten,
Komm, Gott Satan, wir wollen den kleinen niedrigen Geistern
Unsern furchtbaren Arm durch Unternehmungen zeigen,
Die, wie ein Wetter, auf einmal sie blenden und niederschlagen!
Komm! Labyrinth verborgener List, zum Verderben verwirret,
Zeigen sich mir! Der Tod ist darin. Kein öffnender Ausgang
Und kein Führer soll ihn den Labyrinthen entreißen.
Doch entflöh er auch unserer List, gäbst du im Olympus,
Uns zu entrinnen, ihm Götterverstand: so sollen im Grimme
Feurige Wetter ihn schnell vor unsern Augen verderben!
Wie die Wetter, womit wir vordem den Geliebtesten Gottes,
Seinen glückseligen Job, vorm Antlitz des Himmels bestritten.
Fleuch, fleuch, Erde, wir kommen mit Tod und Hölle bewaffnet!
Wehe dem, der auf unserer Welt sich wider uns auflehnt!“

Also sprach Adramelech. Nun fiel die ganze Versammlung
Satan auf einmal mit Ungestüm bei. Gleich stürzenden Felsen
Stampft ihr gewaltiger Fuß, daß die Tiefe davon erbebe.
Jauchzend und stolz auf künftigen Sieg, erregten sie um sich
Ein entsetzlich Getöse von Stimmen. Die gingen vom Aufgang
Bis zum Niedergang hin; der Satane ganze Versammlung
Willigt darein, den Messias zu töten. Dergleichen Tat sahe
Seit der Schöpfung die Ewigkeit nicht. Ihr unsel'ger Erfinder,
Satan und Adramelech, voll Rachsucht und grimmigen Tiefsinns,
Stiegen vom Throne. Die Stufen ertönten wie eherne Berge,
Da sie gingen. Ein lauter zum Sieg empörender Zuruf
Leitete sie jauchzend bis zu den Pforten der Hölle.

Abbadonaa (der einzige war unbeweglich geblieben)
Folgte von fern, entweder sie noch von der Bosheit zu wenden
Oder den Ausgang der schrecklichen Taten mit anzusehen.
Itzo nähert' er sich mit säumendem Tritte den Engeln,
Die die Pforte bewachten. Wie war dir, Abbadonaa?

Грозно в кипении гнева на брань полетевший с могущим,
Ты, обреченный в грядущем несметных миров повелитель,
О Сатана, полетим; да узрят нас в могуществе духи;
Да поразит их, как буря, помыслов наших отважность!
Все лабиринфы коварства пред нами: пути их мы знаем;
В мраке их смерть; не найдет он из бедственной тьмы их
исхода.

Если ж, наставленный небом, разрушит он хитрые ковы, –
Пламенны бури пошлем, и его не минует погибель.
Горе, земля, мы грядем, ополченные смертью и адом;
Горе безумным, кто нас отразить на земле возмечтает!»
Адрамелех замолчал, и смутилось, как буря, собрание;
Страшно от топота ног их вся бездна дрожала; как будто
С громом утес за утесом валился; с кликом и воем,
Гордые славой грядущих побед, все воздвиглися; дикий
Шум голосов поднялся и отгрянул с востока на запад;
Все заревели: «Погибни, Мессия!» От века созданье
Столь ненавистного дела не зрело. С Адрамелехом
С трона потек Сатана, и ступени, как медные горы,
Тяжко под ними звенели; с криком, зовущим к победе,
Кинулись смутной толпой во врата растворенные ада.
Издали медленно следом за ними летел Аббадона;
Видеть хотел он конец необузданно-страшного дела.
Вдруг нерешимой стопою он к ангелам, стражам Эдема,
Робко подходит... Кто же тебе предстоит, Аббадона?
Он, Абдиил, непреклонный, некогда друг твой... а ныне?..
Взоры потупив, вздохнул Аббадона. То удалиться,
То подойти он желает; то в сиротствé, безнадежный,
Он в беспредельное броситься хочет. Долго стоял он,
Трепетен, грустен; вдруг, ободрясь, приступил к Абдиилу;
Сильно было в нем сердце; тихие слезы катились,

Da du hier deinen ehemaligen Freund, den Abdiel, wahrnahmst,
 Seufzend schlug er sein Angesicht nieder. Itzt wollt er zurückgehn,
 Itzo wollt er sich nähern, dann wollt er verlassen und schüchtern
 Ins Unermeßliche fliehen; allein noch blieb er mit Zittern
 Wehmutsvoll stehn. Nun faßt er sich ganz auf einmal zusammen,
 Ging auf ihn zu. Ihm klopfte sein Herz mit mächtigen Schlägen,
 Stille, den Engeln nur weinbare Tränen bedeckten sein Antlitz,
 Seufzer aus tiefer erbebender Brust, ein langsamer Schauer,
 Sterbenden selbst unempfindbar, erschütterten Abbadonaa,
 Indem er ging. Doch Abdiels ruhig eröffnetes Auge
 Sah unverwandt nach der Welt des Schöpfers, dem er getreu
 blieb;

Ihn sah es nicht. Wie die Sonn in der Jugend, wie
 Frühlingstage,
 Die in den Schoß der kaum erschaffnen Erde sich senkten,
 Glänzte der Seraph, doch nicht für den traurigen Abbadonaa.
 Dieser ging fort und seufzte bei sich verlassen und einsam:

„Abdiel, mein Bruder, du willst dich mir ewig entziehen!
 Ewig willst du mich ferne von dir in der Einsamkeit lassen!
 Weinet um mich, ihr Kinder des Lichts! Er liebt mich nicht wieder,
 Ewig nicht wieder, ach weinet um mich! Verblühet, ihr Lauben,
 Wo wir von Gott und unserer Freundschaft uns zärtlich
 besprachen!

Himmlische Bäche, versiegt, wo wir in süßer Umarmung
 Gottes des Ewigen Lob mit reiner Stimme besangen!
 Abdiel, mein Bruder, der ist mir auf ewig gestorben!
 Du mein finsterer Aufenthalt, Hölle, du Mutter der Qualen,
 Ewige Nacht, beklag ihn mit mir! Ein traurig Geheule
 Steige, wenn mich Gott schreckt, von deinen Bergen hernieder.
 Abdiel, mein Bruder, der ist mir auf ewig gestorben!“

Also jammert er, seitwärts gekehrt. Drauf stand er am Eingang
 In das göttliche Weltgebäu, zwischen zween Orionen.
 Hier stand er still. Er sahe die Welt und den göttlichen Himmel,

Ангелам токмо знакомые слезы, по бледным ланитам;
Тяжкими вздохами грудь воздымалась; медленный трепет,
Смертным и в самом боренье с концом не испытанный, мучил
В робком его приближенье... Но, ах! Абдиилковы взоры,
Ясны и тихи, неотвратно смотрели на славу
Вечного Бога; его ж Абдиил не заметил. Как прелесть
Первого утра, как младость первой весны мирозданья,
Так серафим блистал, но блистал он не для Аббадоны.
Он отлетел, и один, посреди опустевшего неба,
Так невнимаемым гласом зывал издали к Абдиилу:
«О Абдиил, мой брат, иль навеки меня ты отринул?
Так, навеки я розно с возлюбленным... страшная вечность!
Плачь обо мне, все творение; плачьте вы, первенцы света;
Он не возлюбит уже никогда Аббадоны, о, плачьте!
Вечно не быть мне любимым; увяньте вы, тайные сени,
Где мы беседой о Боге, о дружбе нежно сливались;
Вы, потоки небес, близ которых, сладко объемясь,
Мы воспевали чистою песнию Божию славу,
Ах! замолчите, иссякните: нет для меня Абдиила;
Нет, и навеки не будет. Ад мой, жилище мученья,
Вечная ночь, унывайте вместе со мною: навеки
Нет Абдиила; вечно мне милого брата не будет».
Так тосковал Аббадона, стоя перед восходом в созданье.
Строем катилися звезды. Блеск и крылатые громы
Встречу ему Орионов летящих его устрашили;
Целые веки не зрел он, тоской одинокой томимый,
Светлых миров; погружен в созерцанье, печально сказал он:
«Сладостный вход в небеса для чего загражден Аббадоне?
О! для чего не могу я опять залететь на отчизну,
К светлым мирам Вседержителя, вечно покинуть
Область изгнанья? Вы, солнцы, прекрасные чада созданья,

Weil er sich stets, in sein Elend vertieft, in Einsamkeit einschloß,
Seit Jahrhunderten nicht. Er stand betrachtend und sagte:

„Seliger Eingang, o dürft ich durch dich in die Welten
des Schöpfers
Wiederkehren! Und niemals das Reich der dunkeln Verdammnis
Wiederbetreten! Ihr Sonnen, unzählbare Kinder der Schöpfung,
War ich nicht schon, da der Ewige rief, da ihr glänzend
hervorgingt,
Heller als ihr, da ihr itzt aus der Hand des Schöpfers herabkamt?
Nun steh ich da in meiner Verfinstrung, verworfen, ein Abscheu
Dieser herrlichen Welt! Und ach, du seliger Himmel,
Itzo erbeb ich erst, da ich dich sehe! Dort bin ich gefallen,
Dort stand ich wider den Ewigen auf. Du, unsterbliche Ruhe,
Meine Gespielin im Tale des Friedens, wo bist du geblieben?
Ach, an deiner Statt läßt mir mein Richter ein traurig Erstaunen
Kaum noch über sein Weltgebäu zu! O dürft ich's nur wagen,
Ohne zu zittern, ihn Schöpfer zu nennen, wie willig und gerne
Wollt ich alsdann den zärtlichen Vaternamen entbehren,
Mit dem ihn seine Getreuen, die Seraphim, kindlich nennen.
O du Richter der Welt! dir darf ich Ärmster nicht flehen,
Daß du mit einem Blicke mich nur im Abgrund hier ansäht.
Finstrer Gedanke, Gedanke voll Qual! Und du, wilde

Verzweiflung!

Wüte, Tyrannin, ja wüte nur fort!... Wie bin ich so elend!...
Wär ich nur, nicht!... Ich fluche dir, Tag, da der Schöpfung Gott
sagte:

Werde! Da er von Osten mit seiner Herrlichkeit ausging!
Ja, dir fluch ich, o Tag, da die neuen Unsterblichen sprachen:
Unser Bruder ist auch! Du, Mutter unendlicher Qualen,
Warum gebarest du, Ewigkeit, ihn? Und muß er ja werden,
Warum ward er nicht finster und traurig, der ewigen Nacht gleich,
In der, mit Ungewitter gerüstet, der Donnerer auszieht,
Leer von Geschöpfen, vom Zorn und Fluche der Gottheit belastet?
Aber, ach wider wen redest du hier im verlassenen Abgrund,

В оный торжественный час, как, блистая, из мощной десницы
Вы полетели по юному небу, – я был вас прекрасней.
Ныне стою, помраченный, отверженный, сирый изгнанник,
Грустный, среди красоты мирозданья. О небо родное,
Видя тебя, содрогаюсь: там потерял я блаженство;
Там, отказавшись от Бога, стал грешник. О мир непорочный,
Милый товарищ мой в светлой долине спокойствия, где ты?
Тщетно! одно лишь смятенье при виде небесных славы
Мне судия от блаженства оставил – печальный остаток!
Ах! для чего я к нему не дерзну возгласить: «Мой Создатель»?
Радостно б нежное имя отца уступил непорочным;
Пусть неизгнанные в чистом восторге: «Отец» – восклицают.
О судия непреклонный, преступник молить не дерзает,
Чтоб хоть единым ты взором его посетил в сей пучине.
Мрачные, полные ужаса мысли, и ты, безнадежность,
Грозный мучитель, свирепствуй!.. Почто я живу?

О ничтожность!

Или тебя не узнать?.. Проклинаю сей день ненавистный,
Зревший Создателя в шествии светлом с пределов востока,
Слышавший слово Создателя: «Буди!» Слышавший голос
Новых бессмертных, вещавших: «И брат наш возлюбленный
создан».

Вечность, почто родила ты сей день? Почто он был ясен,
Мрачностью не был той ночи подобен, которою Вечный
В гневе своем несказанном себя облекает? Почто он
Не был, проклятый Создателем, весь обнажен от созданий?..
Что говоришь?.. О хулитель, кого пред очами созданья
Ты порицаешь? Вы, солнцы, меня опалите; вы, звезды,
Гряньтесь ко мне на главу и укройте меня от престола
Вечных правды и мщенья; о ты, судия непреклонный,
Или надежды вечность твоя для меня не скрывает?

Lästrer! Auf, Sonnen, fallt über mich her, bedeckt mich, ihr Sterne,
Vor dem grimmigen Zorn des, der vom Throne der Rache
Ewig als Feind und Richter mich schreckt! Du, in deinen Gerichten
Ganz Unerbittlicher! ist denn in deiner Ewigkeit künftig
Nichts mehr von Hoffnungen übrig? Ach, wird denn, göttlicher
Richter,
Schöpfer, Vater, Erbarmer!... Ach, nun verzweifel ich von neuem,
Denn ich habe Jehova gelästert! Ihn hab ich mit Namen,
Die ich ohne Versöhner nicht nennen darf, angeredet.
Ich entfliehe! Schon rauschet von ihm ein allmächtiger Donner
Durch das Unendliche furchtbar daher! Doch wohin? —
Ich entfliehe!“
Also sagt' er und sahe betäubt in die Tiefe des Abgrunds.

Schaffe da Feuer, ein tötendes Feuer, das Geister verzehre,
Gott, Verderber der Wesen, die du ohn ihr Willen erschufest!
Rief er im Hinabsehn, doch da wurde kein tötendes Feuer.
Darum wandt er sich um und floh' in die Welten zurücke.
Itzo stand er ermüdet auf einer erhabenen Sonne,
Schaute von da in die Tiefen hinab; da drängten Gestirne
Andre Gestirne wie glühende Seen. Ein irrender Erdkreis
Näherte sich, schon dampft er, schon war sein Weltgericht nahe.
Auf den stürzte sich Abbadonaa, um mit zu vergehen;
Doch er verging nicht...



О судия, ты создатель, отец... что сказал я, безумец!
Мне ль призывать Иегову, его нарицать именами,
Страшными грешнику? Их лишь дарует один примиритель;
Ах! улетим; уж воздвиглись его всемогущие громы
Страшно ударить в меня... улетим... но куда?.. где отрада?»
Быстро ударился он в глубину беспредельных бездн...
Громко кричал он: «Сожги, уничтожь меня,
огнь-разрушитель!»
Крик в беспредельном исчез... и огонь не притек разрушитель.
Смутный, он снова помчался к мирам и приник, утомленный,
К новому пышно-блестящему солнцу. Оттоле на бездны
Скорбно смотрел он. Там звезды кипели, как светлое море;
Вдруг налетела на солнце заблудшая в бездне планета;
Час ей настал разрушенья... она уж дымилась и рдела...
К ней полетел Аббадона, разрушиться вкупе надеясь...
Дымом она разлетелась, но ах!.. не погиб Аббадона!



Gotthold Ephraim Lessing

DER AFFE UND DER FUCHS

„Nenne mir ein so geschicktes Tier, dem ich nicht nachahmen könnte!“ So prahlte der Affe gegen den Fuchs. Der Fuchs aber erwiderte: „Und du, nenne mir ein so geringschätziges Tier, dem es einfallen könnte, dir nachzuahmen.“

Schriftsteller meiner Nation! — Muß ich mich deutlicher erklären?



DAS ROß UND DER STIER

Auf einem feurigen Rosse flog stolz ein dreister Knabe daher. Da rief ein wilder Stier dem Rosse zu: „Schandel! von einem Knaben ließ' ich mich nicht regieren!“

„Aber ich, — versetzte das Roß. — Denn was für Ehre könnte es mir bringen, einen Knaben abzuwerfen?“



DER FUCHS UND DER STORCH

„Erzähle mir doch etwas von den fremden Ländern, die du alle gesehen hast“, — sagte der Fuchs zu dem weitgereisten Storche.

Hierauf fing der Storch an, ihm jede Lache und jede feuchte

Готхольд Эфраим Лессинг

ЛИСИЦА И ОБЕЗЬЯНА

«Можешь ли ты мне назвать столь искусного зверя, Лисица, Коему б я подражать не умела?» – Так говорила Умной Лисице хвастунья Мартышка. – «Нет, ты назови мне, – Ей отвечала Лисица, – столь глупого зверя, который Вздумал бы в чем тебе подражать!..» Стихотворцы, поймите!



КОНЬ И БЫК

Быстро на жарком Коне летел малютка отважный.
То увидя, с досадой Бык Коню закричал: «Как не стыдно!
Я б не позволил мальчишке собой управлять». –
«Я напротив! –
Конь отвечал на лету. – Что за слава сбросить мальчишку!»



ЖУРАВЛЬ И ЛИСИЦА

«Ты, Журавль, путешествовал много! Скажи мне, что видел?» –
Так говорила Журке Лисица. И начал ей Журка
Все те лужи, все те луга описывать, где он

Wiese zu nennen, wo er die schmackhaftesten Würmer und die fettesten Frösche geschmauset.

Sie sind lange in Paris gewesen, mein Herr. Wo speiset man da am besten? Was für Weine haben Sie da am meisten nach Ihrem Geschmacke gefunden?



HERKULES

Als Herkules in den Himmel aufgenommen ward, machte er seinen Gruß unter allen Göttern der Juno zuerst. Der ganze Himmel und Juno erstaunte darüber. „Deiner Feindin, — rief man ihm zu, — begehnest du so vorzüglich?“ — „Ja, ihr selbst, — erwiderte Herkules. — Nur ihre Verfolgungen sind es, die mir zu den Thaten Gelegenheit gegeben, womit ich den Himmel verdienet habe.“

Der Olymp billigte die Antwort des neuen Gottes und Juno ward versöhnt.



DIE EICHE

Der rasende Nordwind hatte seine Stärke in einer stürmischen Nacht an einer erhabenen Eiche bewiesen. Nun lag sie gestreckt und eine Menge niedriger Sträucher lagen unter ihr zerschmettert. Ein Fuchs, der seine Grube nicht weit davon hatte, sah sie des Morgens darauf. „Was für ein Baum! — rief er. — Hätte ich doch nimmermehr gedacht, daß er so groß gewesen wäre.“



Лучших нашел червяков и таскал вкуснейших лягушек.
Ты в Париже бывал! Скажи ж, у кого там находят
Лучший обед и какие там пил ты лучшие вина?



А Л К И Д

В небо вступивши, Алкид поклонился гордой Юноне
Прежде, чем прочим богам. Изумились Олимп и Юнона.
«Можно ль? – к нему возопили. – Врагу от тебя
предпочтенье?»
«Так! Врагу! – отвечал Геркулес. – Не ее ли гоненьям
Был я обязан делами, мне отворившими небо?»
Весь Олимп одобрил ответ, и Юнона смирилась.



Д У Б

В бурную ночь разъяренный северный ветер обрушил
Всю свою силу на Дуб величавый. И Дуб повалился.
Он лежал на земле, задавивши страшным паденьем
Множество мелких кустов. Лисица, в соседнем овраге
Нору имевшая, то узрев поутру, удивилась.
«Что за дерево! – так рассуждала Лисица, – до сих пор
Мне и в мысль не входило, чтоб он такой был великий».



DIE NACHTIGALL UND DER PFAU

Eine gesellige Nachtigall fand unter den Sängern des Waldes Neider die Menge, aber keinen Freund. Vielleicht finde ich ihn unter einer andern Gattung, dachte sie und floh vertraulich zu dem Pfau herab.

„Schöner Pfau! ich bewundere dich“. — „Ich dich auch, liebliche Nachtigall!“ — „So laß uns Freunde sein, — sprach die Nachtigall weiter, — wir werden uns nicht beneiden dürfen; du bist dem Auge so angenehm als ich dem Ohre.“

Die Nachtigall und der Pfau wurden Freunde.

Kneller und Pope waren bessere Freunde, als Pope und Addison.



DER SCHÄFER UND DIE NACHTIGALL

Du zürnest, Liebling der Musen, über die laute Menge des parnassischen Geschmeißes? — O höre von mir, was einst die Nachtigall hören mußte.

„Singe doch, liebe Nachtigall!“ — Rief ein Schäfer der schweigenden Sängerin an einem lieblichen Frühlingsabende zu.

„Ach! — sagte die Nachtigall, — die Frösche machen sich so laut, daß ich alle Lust zum Singen verliere. Hörst du sie nicht?“

„Ich höre sie freilich, — versetzte der Schäfer. — „Aber nur dein Schweigen ist Schuld, daß ich höre.“



MEROPS

„Ich muß dich doch etwas fragen, — sprach ein junger Adler zu einem tiefsinnigen, grundgelehrten Uhu. — Man sagt, es gäbe einen Vogel, mit Namen Merops, der wenn er in die Luft steige, mit dem Schwanze voraus, den Kopf gegen die Erde gekehret,

СОЛОВЕЙ И ПАВЛИН

Жил в лесу Соловей: он был обходителен, ласков;
Но напрасно он к певчим птицам ласкался – меж ними
Друга себе не нашел, зато ненавистников – куча!
«Лучше у птиц другой породы попробовать счастья!» –
Так он сказал и спорхнул доверчиво с ветки к Павлину.
«Как ты прекрасен, Павлин! Я тебе удивляюсь!» – «Я так же,
Милый певец, удивляюсь тебе!» – «Так будем друзьями!
Нам друг другу завидовать не в чем: ты восхищаешь
Взоры; я – слух!» – Соловей и Павлин с тех пор подружились.
Кнеллер с Попом были дружнее, чем Поп с Аддисоном.



ПАСТУХ И СОЛОВЕЙ

Ты негодуешь, поэт, на парнасскую шумную сволочь?
Слушай же: вот что однажды певцу Соловью говорили.
«Что ты так смолкнул?» – спросил в один приятный, весенний
Вечер Пастух Соловья. Соловей отвечал: «Как возможно
Петь мне? Лягушки так раскричались, что мне не до песней!
Разве не слышишь?» – «Конечно! – Пастух отвечал ему, –
слушу!»
Но какая причина тому? Не твое ли молчанье?»



М Е Р О П С

«Хочется мне узнать, – спросил Орел любопытный
Раз у премудрой Совы, – говорят, что на свете
Есть какая-то птица Меропс, что она все летает

fliege. Ist das wahr?“

„Ei nicht doch! — Antwortete der Uhu, — das ist eine alberne Erdichtung des Menschen. Er mag selbst ein solcher Merops sein; weil er nur gar zu gern den Himmel erfliegen möchte, ohne die Erde auch nur einen Augenblick aus dem Gesichte zu verlieren.“



DAS GESCHENK DER FEIEN

Zu der Wiege eines jungen Prinzen, der in der Folge einer der größten Regenten seines Landes ward, traten zwei wohltätige Feien.

„Ich schenke diesem meinem Lieblinge, — sagte die eine, — den scharflichtigen Blick des Adlers, dem in seinem weiten Reiche auch die kleinste Mücke nicht entgeht.“

„Das Geschenk ist schön, — unterbrach sie die zweite Feie. — Der Prinz wird ein einsichtsvoller Monarch werden. Aber der Adler besitzt nicht auch edle Verachtung, ihnen nicht nachzujagen. Und diese nehme der Prinz von mir zum Geschenk!“

„Ich danke dir, Schwester, für diese weise Einschränkung, — versetzte die erste Feie. — Es ist wahr: viele würden weit größere Könige gewesen sein, wenn sie sich weniger mit ihrem durchdringenden Verstande bis zu den kleinsten Angelegenheiten hätten erniedrigen wollen.“



Вверх хвостом, а вниз головою. Правда ли это?» –
«Эх! неправда! – Сова отвечала. – Вымысел глупый
Глупых людей! Меропс – человек! Он хотел бы подняться
К небу, но с тем, чтоб земля ни на миг не пропала из виду».



ДАР ВОЛШЕБНИЦ

Две благородные феи однажды пришли к колыбели
Принца, который впоследствии стал великим монархом.
«Дар мой младенцу, – сказала одна, – будь орлиный, всезрящий
Взор: перед ним ни одна в его обширных владеньях
Мошка не скроется». – «Дар твой прекрасен, – сказала другая
Фея, – и милый питомец наш будет монарх дальновидный;
Но орел не одни лишь зоркие очи для мелких
Мошек имеет; он одарен и способностью царской
Их примечать, не преследуя. Сим дарованьем высоким
Я наделяю младенца!» – «Хвалю твою осторожность, –
Та отвечала. – Ты права! Много великих монархов
Было бы выше, когда бы свой пронизательный разум
Меньше вниманьем к ничтожным пустым мелочам унижали».



Christoph Martin Wieland

OBERON
Erster Gesang

1. Noch einmal sattelt mir den Hippogryphen, ihr Musen,
Zum Ritt ins alte romantische Land!
Wie lieblich um meinen entfesselten Busen
Der holde Wahnsinn spielt! Wer schlang das magische Band
Um meine Stirne? Wer treibt von meinen Augen den Nebel,
Der auf der Vorwelt Wundern liegt?
Ich seh', in buntem Gewühl, bald siegend, bald besiegt,
Der Ritters gutes Schwert, der Heiden blinkende Säbel.
2. Vergebens knirrscht des alten Sultans Zorn,
Vergebens dräut ein Wald von starren Lanzen:
Es tönt in lieblichem Ton das elfenbeinerne Horn,
Und, wie ein Wirbel, ergreift sie alle die Wut zu tanzen;
Sie drehen im Kreise sich um, bis Sinn und Atem entgeht.
Triumph, Herr Ritter, Triumph! Gewonnen ist die Schöne.
Was säumt Ihr? Fort! der Wimpel weht;
Nach Rom, daß euern Bünd der heil'ge Vater kröne!
3. Nur daß der süßen verbotenen Frucht
Euch ja nicht vor der Zeit gelüste!

Кристоф Мартин Виланд

ОБЕРОН

1

Где Гипогриф? Лечу в страну чудес!
Какой восторг в душе моей играет?
Кто пелену сорвал с моих очес?
Кто древних лет мне сумрак отверзает?
Тебя ли зрю в толпе врагов, Гион?
Рази! Рази! рыкает гнев султана!
И копий лес шумит со всех сторон!
Враги ревут, как волны океана!

2

Но заиграл внезапно дивный рог!
О чудеса! Все пляшет, все кружится,
И прыгать им, пока достанет ног!..
Но паладин, что медлишь? Время мчится!
Валы шумят под кораблем твоим,
Попутный ветер играет парусами!
Скорей, скорей с возлюбленною в Рим!
Ваш Оберон, хранитель ваш над вами!

3

Плывут! Счастливый путь! Но добрый паладин,
Плод заповеданный! Страшися искушенья!

Geduld! der freundlichste Wind begünstigt eure Flucht,
Zwei Tage noch, so winkt Hesperiens goldne Küste.
O rette, rette sie, getreuer Scherasmin,
Wenn's möglich ist! — Umsonst die trunknen Seelen hören
Sogar den Donner nicht. Unglückliche, wohin
Bringt euch ein Augenblick! Kann Liebe so bethören?

4. In welches Meer von Jammer stürzt sie euch!
Wer wird den Zorn des kleinen Halbgotts schmelzen?
Ach! wie sie Arm in Arm sich auf den Wogen wälzen!
Noch glücklich durch den Trost, zum wenigsten zugleich
Eins an des andern Brust zu sinken ins Verderben.
Ach! hofft es nicht! Zu sehr auf euch erbot,
Versagt euch Oberon den letzten Trost des Leidenden,
zu sterben!

5. Zu strengern Qualen aufgespart,
Seh' ich sie hülflos, nackt, am öden Ufer irren;
Ihr Lager eine Kluft, mit einer Handvoll durren,
Halb faulem Schilf bestreut! und Beeren wilder Art,
Die kärglich hier und dort an kahlen Hecken schmoren,
All ihre Kost! In dieser dringenden Not
Kein Hüttenrauch von fern, kein hülfewinkend Boot,
Glück, Zufall und Natur zu ihren Fall verschworen!

6. Und noch ist nicht der Rächers Zorn erweicht,
Noch hat ihr Elend nicht die höchste Stuf' erreicht;
Es nährt nur ihre strafbar'n Flammen,
Sie leiden zwar, doch leiden sie beisammen.
Getrennt zu sein, so wie in Donner und Blitz
Der wilde Sturm zwei Bruderschiffe trennet,
Und ausgelöscht, wenn im geheimsten Sitz
Der Hoffnung noch ein schwaches Flämmchen brennet:

Авзония близка; еще два дни терпенья –
И вы на берегу!.. Ах, где ты, Шеразмин?
Спаси бессмысленных. Спаси их!.. Нет спасенья!
И гром на небесах и буря средь валов!
Они не чувствуют ни бури, ни громов!..
О горький плод любви! Все жертвою мгновенья!

4

Какую пропасть зол любовь открыла вам!
Разгневан Оберон! На все готовьтесь муки!
Уже! рука с рукой несутся по валам!
И то блаженство им, что нет для них разлуки!
Что вместе, с грудью грудь, погибель им узреть!
Напрасно! Грозный дух обрек их на страданье!
Увы! последнее погибло упованье,
Последняя в бедах надежда умереть!

5

По берегу дикому без сна, полунагие
Скитаются они, спасенные для мук!
Постеля им утес и жестких ветвей пук;
Их пища горький лист или плоды гнилые,
Кой-где меж мхов растущи на песке.
Где помощь! ни ладьи не видно в тихом море,
Ни дым обительный не вьется вдалеке!
Природа, случай, рок на казнь их в заговоре.

6

И мстящий гнев еще не утолен;
И не дошло до меры испытанье;
Их трудный путь любовью озарен;
Страдать вдвоем не есть еще страданье!
Но розно быть, как в ночь, под ревом туч,
Два дружных корабля грозою разлученны;
И угасить последний, слабый луч,
В тайнейшем уголку надежды сохраненный –

7. Dies fehlte noch! — O du, ihr Genius einst, ihr Freund,
Verdient, was Liebe gefehlt, die Rache sonder Grenzen?
Weh euch! Noch seh' ich Thränen in seinen Augen glänzen;
Erwartet das Ärgste, wenn Oberon weint! —
Doch, Muse, wohin reißt dich die Adlersschwinge
Der hohen trunknen Schwärmerei?
Dein Hörer steht bestürzt, er fragt sich, was dir sei,
Und deine Gesichte sind ihm geheimnisvolle Dinge.
8. Komm, laß dich nieder zu uns auf diesem Kanapee,
Und — statt zu rufen, ich seh', ich seh',
Was niemand sieht als du — erzähl' uns fein gelassen,
Wie alles sich begab. Sieh, wie mit lauschendem Mund
Und weit geöffnetem Auge die Hörer alle passen,
Geneigt zum gegenseitigen Bund,
Wenn du sie täuschen kannst, sich willig täuschen zu lassen.
Wohlan! so höret denn die Sache aus dem Grund!
9. Der Paladin, mit dessen Abenteuern
Wir euch zu ergetzen (sosehr ihr noch ergetzbar seid)
Entschlossen sind, war seit geraumer Zeit
Gebunden durch sein Wort, nach Babylon zu steuern.
Was er zu Babylon verrichten sollte, war
Halsbrechend Werk, sogar in Karls des Großen Tagen:
In unsern würd' es, auf gleiche Gefahr,
Um allen Ruhm der Welt kein junger Ritter wagen.
10. „Sohn“, sprach sein Oheim zu ihm, der heil'ge Vater in Rom,
Zu dessen Füßen, mit einem reichlichen Strom
Bußfert'ger Zähren angefeuchtet,
Er, als ein frommer Christ, erst seine Schuld gebeichtet,
„Sohn“, sprach er, als er ihm den Ablass segnend gab,
„Zeuch hin in Frieden! Es wird dir wohl gelingen,
Was du beginnst. Allein vor allen Dingen,
Wenn du nach Joppen kommst, besuch' das heil'ge Grab.“

7

Вот мука выше мер!.. Отринешь ли их стон,
О ты, их прежний друг! Будь тронут их мольбами!
Вотще! Его глаза блестят еще слезами!
Спасенья нет, когда рыдает Оберон!
Но Муза, укроти на время исступленье.
За тридевять земель восторг тебя замчал,
Давно твой слушатель, наскучив, задремал!
Загадка для него чудес твоих виденье.

8

Зачем кричать: я вижу то и то,
Чего с тобой не видит здесь никто?
Скажи простым, для всех понятным тоном,
Что, где, когда случилось с Гионом.
Смотри – блестит в камине огонек;
Твои друзья стеснились в кружок;
Желание написано на лицах!..
Рассказывай нам были в небылицах!

9

Известно вам, друзья, что рыцарь наш Гион
Великим Карлом был отправлен в Вавилон
За делом, гибельным и в славный век ренодов.
Теперь мы не найдем подобных сумасбродов.
Как верный церкви сын, Гион заехал в Рим,
Дабы принять в грехах от папы разрешенье...
«Гряди! и будь твоим желаньям исполненье.
Но прежде поклонись, мой друг, местам святым!» –

11. Der Ritter küsset ihm in Demut den Pantoffel,
Gelobt Gehorsam an und zieht getrost dahin.
Schwer war das Werk, wozu der Kaiser ihn
Verurteilt hatte; doch mit Gott und Sankt Kristoffel
Hofft er zu seinem Ruhm sich schon heraus zu ziehn,
Er steigt zu Joppen aus, tritt mit dem Pilgerstabe
Die Wallfahrt an zum werten heil'gen Grabe,
Und fühlt sich nun an Mut und Glauben zwiefach kühn.



10

Сказал отец Леон. И паладин смиренный,
С молитвой приложась к ноге его священной,
Идет отважно в путь. Жесток был Карлов суд;
Но с помощью святых какой опасен труд?
И вот уже Гион наш в Газе; вот с клюкою,
С котомкой, с четками, под рясой власною
Идет он в Вифлеем, идет в Ерусалим
И поклоняется, в слезах, местам святым.



Gottlieb Konrad Pfeffel

DAS EPHEU

Seht diesen Eichenstamm; gestürzt vom Ungestüm
Des Wetter Sturms, liegt er in traurigen Gefilde.
Um ihn schwang Epheu sich und fiel und stirbt mit ihm.
O Freundschaft! dich erkennt mein Herz in diesem Bilde.



DIE ANTIPATHIE

Ein Zecher war bereit zu scheiden;
Sein Weib betränkte sein Gesicht.
Ach, rief er, Liebe, weine nicht;
Ich konnte nie das Wasser leiden.



DER TOD DES BRUTUS

Gorgan las einem Freund sein plattes Trauerspiel,
Den Tod des Brutus, vor. Mit süßem Selbstgefühl
Sprach er: der soll den Preis im Ausland mir erwerben.
Nein, unterbrach sein Freund, behüte Gott!
Ihr Brutus ist ein steifer Patriot;
Er muss im Vaterlande sterben.

Готлиб Конрад Пфэффель

ДРУЖБА

Скатившись с горной высоты,
Лежал на прахе дуб, перунами разбитый,
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый...
О дружба! Это ты!



<АНТИПАТИЯ>

Однажды пьяница смертельно занемог;
Жена к нему на грудь упала со слезами.
– Мой друг! – сказал больной дрожащими устами, –
Не плачь! Я никогда воды терпеть не мог.



БРУТОВА СМЕРТЬ

Бомбастофил, творец трагических уродов,
Из смерти Брутовой трагедию создал.
– Не правда ль, что мой Брут, – Зоилу он сказал, –
И до чужих дойдет народов?
– Избави Бог! Твой Брут – примерный патриот,
в отечестве умрет!

DER KOMET UND DER FIXSTERN

Platz, Vetter, Platz! So rief auf seiner krummen Bahn
Ein bärtiger Komet den Sirius einst an.
Der Fixstern schwieg und blieb auf seinem Posten stehen.
Der Vagabund schwieg auch und schnurrte links vorbei.
Ihm gleicht der freche Thor; verachte sein Geschrei
Und stehe fest; er wird dir aus dem Wege gehen.



ЗВЕЗДА И КОМЕТА

– Посторонись! дорогу дай! –
(Звезде бродящая Комета закричала). –
Ты неподвижно здесь сияла,
А я с моим хвостом все небо облетала!
Мой путь издалека! Спешу в далекий край!
Пусти, ленивая! лететь мне не мешай!
Звезда, не давши ей ответа,
Осталась в *своих* лучах среди небес, –
А светом *не своим* блестящая Комета
Промчалась вдаль, а там и след ее исчез.
На скучное болтанье
Насмешника глупца какой ответ?.. – Молчанье!
Пускай он, хвастая, кричит,
Не отвечайте – замолчит!



Johann Gottfried Herder

DIE ROSE

Wenige Tage, so stirbt die Rose. Vorübergegangen
Ist sie; du suchest nun Rosen und findest den Dorn.



DER LORBEERBAUM

Schonet meiner, ihr Trunken, ihr brausenden Sänger der Liebe,
Schonet meiner, denn ich bin ein jungfräulicher Baum.
Daphne hieß ich im Leben; des keuschesten Jünglinges Armen
Wand ich ergrünend mich los; schonet mein heiliges Laub.



DER JUNGE SCHIFFER

Auch ich habe beschiffen des Lebens Wellen; Aganar
Ist mein Name; doch ich schiffer' auf ihnen nicht lang?
Wührender Sturm entstand; ich wolle trotzen dem Sturme,
Unglückseliger! da rissen die Wellen mich hin.



Иоганн Готфрид Гердер

РОЗА

Утро одно – и роза поблекла; напрасно, о дева,
Ищешь ее красоты; иглы одни ты найдешь.



ЛАВР

Вы, обуянные Вакхом, певцы Афродитиных оргий,
Бойтесь коснуться меня: девственны ветви мои.
Дафной я был. От объятий безумно любящего бога
Лавром дева спаслась. Чтите мою чистоту.



НАДГРОБИЕ ЮНОШЕ

Плавал, как все вы, и я по волнам ненадежных жизни.
Имя мое Аганар. Скоро мой кончился путь.
Буря неожиданно восстала; хотел я противиться буре,
Юный, бессильный пловец; волны умчали меня.



GRABESSTIMME EINES KINDES, DAS NACH DER GEBURT STARB

Mutter Erd' und Mutter Lucina, ich grüß' euch beide!
Diese half mir ans Licht: Jene bedeckt mich sanft.
Und sonst kenn' ich keinen; unwissend, woher ich gekommen?
Wessen ich war? und wer? Alles verbarg mir die Nacht.



JUGEND UND ALTER

Ach der fröhlichen Jugend! und ach des traurigen Alter!
Jener, daß sie so flieht; dieses, daß es so eilt.



AUF JUPITERS BILDSÄULE VON PHIDIAS

Dir entweder ist Zeus vom Himmel hernieder gestiegen;
Oder du stiegest hinauf, Künstler, und sahest den Gott.



ГОЛОС МЛАДЕНЦА ИЗ ГРОБА

Матерь Луцина и матерь Земля здесь одне благосклонны
Были минуту ко мне. Та помогла мне жизнь получить,
Тихо другая прикрыла меня; ничего остального.
Кто я, откуда, куда – жизнь не поведала мне.



МЛАДОСТЬ И СТАРОСТЬ

О веселая младость! о печальная старость!
Та – поспешно от нас! эта – стремительно к нам!



ФИДИЙ

Фидий, иль сам Громовержец к тебе нисходил от Олимпа,
Или взошел на Олимп ты сам, чтоб Зевеса узреть.



DAS SCHICKSAL

Träget das Schicksal dich: so trage du wieder das Schicksal,
Folg ihm willig und froh; willst du nicht folgen, du mußt.



DER NEIDER

Der Neider hasset den, den Gott geliebt;
O Thor! er streitet mit den Göttern selbst,
Und sauget aus den schönsten Blumen Gift,
Den Gottgeliebten lieb' ich willig auch.



СУДЬБА

С светлой главой, на тяжких свинцовых ногах между нами
Ходит судьба! Человек, прямо и смело иди!
Если, ее повстречав, не потупишь очей и спокойным
Оком ей взглянешь в лицо, сам просветлеешь лицом;
Если ж, испуганный ею, пред нею падешь ты, наступит
Тяжкой ногой на тебя, будешь затоптан в грязи!



ЗАВИСТНИК

Завистник ненавидит
Любимое богами;
Безумец – он в раздоре
С любящими богами;
Из их цветов прекрасных
Он пьет одну отраву.
О! как любить мне сладко
Любимое богами!



Gottfried August Bürger

LENORE

Lenore fuhr ums Morgenrot
Empor aus schweren Träumen:
„Bist untreu, Wilhelm, oder tot?
Wie lange willst du säumen?“ —
Er war mit König Friedrichs Macht
Gezogen in die Prager Schlacht,
Und hatte nicht geschrieben:
Ob er gesund geblieben.

Der König und die Kaiserin,
Des langen Haders müde,
Erweichten ihren harten Sinn,
Und machten endlich Friede;
Und jedes Heer, mit Sing und Sang,
Mit Paukenschlag und Kling und Klang,
Geschmückt mit grünen Reisern,
Zog heim zu seinen Häusern.

Und überall all überall,
Auf Wegen und auf Stegen,
Zog alt und jung dem Jubelschall
Der Kommenden entgegen.
Gottlob! rief Kind und Gattin laut,
Willkommen! manche frohe Braut.
Ach! aber für Lenoren
War Gruß und Kuß verloren.

Готфрид Август Бюргер

ЛЕНОРА

Леноре снился страшный сон,
Проснулася в испуге.
«Где милый? Что с ним? Жив ли он?
И верен ли подруге?»
Пошел в чужую он страну
За Фридериком на войну;
Никто об нем не слышит;
А сам он к ней не пишет.

С императрицею король
За что-то раздружились,
И кровь лилась, лилась... доколь
Они не помирились.
И оба войска, кончив бой,
С музы́кой, песнями, пальбой,
С торжественностью ратной
Пустились в путь обратный.

Идут! Идут! за строем строй;
Пылят, гремят, сверкают;
Родные, ближние толпой
Встречать их выбегают;
Там обнял друга нежный друг,
Там сын отца, жену супруг;
Всем радость... а Леноре
Отчаянное горе.

Sie frug den Zug wohl auf und ab,
Und frug nach allen Namen;
Doch keiner war, der Kundschaft gab,
Von allen, so da kamen.
Als nun das Heer vorüber war,
Zerraupte sie ihr Rabenhaar,
Und warf sich hin zur Erde,
Mit wütiger Gebärde.

Die Mutter lief wohl hin zu ihr:
„Ach, daß sich Gott erbarme!
Du trautes Kind, was ist mit dir?“
Und schloß sie in die Arme. —
„O Mutter, Mutter! hin ist hin!
Nun fahre Welt und alles hin!
Bei Gott ist kein Erbarmen.
O weh, o weh mir Armen!“ —

„Hilf Gott, hilf! Sieh uns gnädig an!
Kind, bet ein Vaterunser!
Was Gott tut, das ist wohlgetan.
Gott, Gott erbarmt sich unser!“ —
„O Mutter, Mutter! Eitler Wahn!
Gott hat an mir nicht wohlgetan!
Was half, was half mein Beten?
Nun ist's nicht mehr vonnöten.“ —

„Hilf Gott, hilf! wer den Vater kennt,
Der weiß, er hilft den Kindern.
Das hochgelobte Sakrament
Wird deinen Jammer lindern.“ —
„O Mutter, Mutter! was mich brennt,
Das lindert mir kein Sakrament!
Kein Sakrament mag Leben
Den Toten wiedergeben.“ —

Она обходит ратный строй
И друга вызывает;
Но вести нет ей никакой:
Никто об нем не знает.
Когда же мимо рать прошла –
Она свет Божий прокляла,
И громко зарыдала,
И на землю упала.

К Леноре мать бежит с тоской:
«Что так тебя волнует?
Что сделалось, дитя, с тобой?» –
И дочь свою целует.
«О друг мой, друг мой, все прошло!
Мне жизнь не жизнь, а скорбь и зло;
Сам Бог врагом Леноре...
О горе мне! о горе!»

«Прости ее, небесный царь!
Родная, помолися;
Он благ, его руки мы тварь:
Пред ним душой смирися». –
«О друг мой, друг мой, все как сон...
Немилостив со мною он;
Пред ним мой крик был тщетен...
Он глух и безответен».

«Дитя, от жалоб удержишь;
Смири души тревогу;
Пречистых таин причастись,
Пожертвуй сердцем Богу». –
«О друг мой, что во мне кипит,
Того и Бог не усмирит:
Ни тайнами, ни жертвой
Не оживится мертвый».

„Hör, Kind! wie, wenn der falsche Mann,
Im fernen Ungerlande,
Sich seines Glaubens abgetan,
Zum neuen Ehebande?
Laß fahren, Kind, sein Herz dahin!
Er hat es nimmermehr Gewinn!
Wenn Seel und Leib sich trennen,
Wird ihn sein Meineid brennen.“ —

„O Mutter, Mutter! Hin ist hin!
Verloren ist verloren!
Der Tod, der Tod ist mein Gewinn!
O wär ich nie geboren!
Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus!
Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus!
Bei Gott ist kein Erbarmen.
O weh, o weh mir Armen!“ —

„Hilf Gott, hilf! Geh nicht ins Gericht
Mit deinem armen Kinde!
Sie weiß nicht, was die Zunge spricht.
Behalt ihr nicht die Sünde!
Ach, Kind, vergiß dein irdisch Leid,
Und denk an Gott und Seligkeit!
So wird doch deiner Seelen
Der Bräutigam nicht fehlen.“ —

„O Mutter! Was ist Seligkeit?
O Mutter! Was ist Hölle?
Bei ihm, bei ihm ist Seligkeit,
Und ohne Wilhelm Hölle! —
Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus!
Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus!
Ohn ihn mag ich auf Erden,
Mag dort nicht selig werden.“ —

«Но что, когда он сам забыл
Любви святое слово,
И прежней клятве изменил,
И связан клятвой новой?
И ты, и ты об нем забудь;
Не рви тоской напрасной грудь;
Не стоит слез предатель;
Ему судья Создатель».

«О друг мой, друг мой, все прошло;
Пропавшее пропало;
Жизнь безотрадную назло
Мне провиденье дало...
Угасни ты, противный свет!
Погибни, жизнь, где друга нет!
Сам Бог врагом Леноре...
О горе мне! о горе!»

«Небесный царь да ей простит
Твое долготерпенье!
Она не знает, что творит:
Ее душа в забвенье.
Дитя, земную скорбь забудь:
Ведет ко благу Божий путь;
Смирренным рай награда.
Страшись мучений ада».

«О друг мой, что небесный рай?
Что адское мученье?
С ним вместе – все небесный рай;
С ним розно – все мученье;
Угасни ты, противный свет!
Погибни, жизнь, где друга нет!
С ним розно умерла я
И здесь и там для рая».

So wütete Verzweiflung
Ihr in Gehirn und Adern.
Sie fuhr mit Gottes Vorsehung
Vermessen fort zu hadern;
Zerschlug den Busen, und zerrang
Die Hand, bis Sonnenuntergang,
Bis auf am Himmelsbogen
Die goldnen Sterne zogen.

Und außen, horch! ging's trap trap trap,
Als wie von Rosseshufen;
Und klirrend stieg ein Reiter ab,
An des Geländers Stufen;
Und horch! und horch! den Pfortenring
Ganz lose, leise, klinglingling!
Dann kamen durch die Pforte
Vernehmlich diese Worte:

„Holla, Holla! Tu auf mein Kind!
Schläfst, Liebchen, oder wachst du?
Wie bist noch gegen mich gesinnt?
Und weinst oder lachst du?“ —
„Ach, Wilhelm, du? — So spät bei Nacht? —
Geweinet hab ich und gewacht;
Ach, großes Leid erlitten!
Wo kommst du hergeritten?“ —

„Wir satteln nur um Mitternacht.
Weit ritt ich her von Böhmen.
Ich habe spät mich aufgemacht,
Und will dich mit mir nehmen.“ —
„Ach, Wilhelm, erst herein geschwind!
Den Hagedorn durchsaust der Wind,
Herein, in meinen Armen,
Herzliebster, zu erwarmen!“ —

Так дерзко, полная тоской,
 Душа в ней бунтовала...
Творца на суд она с собой
 Безумно вызывала,
Терзалась, волосы рвала
До той поры, как ночь пришла
 И темный свод над нами
 Усыпался звездами.

И вот... как будто легкий скок
 Коня в тиши раздался:
Несется по полю ездох;
 Гремя, к крыльцу примчался;
Гремя, взбежал он на крыльцо;
И дверибрякнуло кольцо...
 В ней жилки задрожали...
 Сквозь дверь ей прошептали:

«Скорей! сойди ко мне, мой свет!
 Ты ждешь ли друга, спишь ли?
Меня забыла ты иль нет?
 Смеешься ли, грустишь ли?» –
«Ах! милый... Бог тебя принес!
А я... от горьких, горьких слез
 И свет в очах затмился...
 Ты как здесь очутился?»

«Седлаем в полночь мы коней...
 Я еду издалёка.
Не медли, друг; сойди скорей;
 Путь долог, мало срока». –
«На что спешить, мой милый, нам?
И ветер воет по кустам,
 И тьма ночная в поле;
 Побудь со мной на воле».

„Laß sausen durch den Hagedorn,
Laß sausen, Kind, laß sausen!
Der Rappe scharrt; es klirrt der Sporn.
Ich darf allhier nicht hausen.
Komm, schürze, spring und schwinge dich
Auf meinen Rappen hinter mich!
Muß heut noch hundert Meilen
Mit dir ins Brautbett eilen.“ —

„Ach! wolltest hundert Meilen noch
Mich heut ins Brautbett tragen?
Und horch! es brummt die Glocke noch,
Die elf schon angeschlagen.“ —
„Sieh hin, sieh her! der Mond scheint hell.
Wir und die Toten reiten schnell.
Ich bringe dich, zur Wette,
Noch heut ins Hochzeitsbette.“ —

„Sag an, wo ist dein Kämmerlein?
Wo? Wie dein Hochzeitsbettchen?“ —
„Weit, weit von hier! — Still, kühl und klein! —
Sechs Bretter und zwei Brettchen!“ —
„Hat's Raum für mich?“ — „Für dich und mich!
Komm, schürze, spring und schwinge dich!
Die Hochzeitsgäste hoffen;
Die Kammer steht uns offen.“ —

Schön Liebchen schürzte, sprang und schwang
Sich auf das Roß behende;
Wohl um den trauten Reiter schlang
Sie ihre Lilienhände!
Und hurre hurre, hop hop hop!
Ging's fort in sausendem Galopp,
Daß Roß und Reiter schnoben,
Und Kies und Funken stoben.

«Что нужды нам до тьмы ночной!
В кустах пусть ветер воеет.
Часы бегут; конь борзый мой
Копытом землю роет;
Нельзя нам ждать; сойди, дружок;
Нам долгий путь, нам малый срок;
Не в пору сон и нега:
Сто миль нам до ночлега».

«Но как же конь твой пролетит
Сто миль до утра, милый?
Ты слышишь, колокол гудит:
Одиннадцать пробило». –
«Но месяц встал, он светит нам...
Гладка дорога мертвецам;
Мы скачем, не боимся;
До света мы домчимся».

«Но где же, где твой уголок?
Где наш приют укромный?» –
«Далеко он... пять-шесть досток...
Прохладный, тихий, темный». –
«Есть место мне?» – «Обоим нам.
Поедем! все готово там;
Ждут гости в нашей келье;
Пора на новоселье!»

Она подумала, сошла,
И на коня вспрыгнула,
И друга нежно обняла,
И вся к нему прильнула.
Помчались... конь бежит, летит.
Под ним земля шумит, дрожит,
С дороги вихри вьются,
От камней искры льются.

Zur rechten und zur linken Hand,
Vorbei vor ihren Blicken,
Wie flogen Anger, Heid und Land!
Wie donnerten die Brücken! —
„Graut Liebchen auch? — Der Mond scheint hell!
Hurra! die Toten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Toten?“ —
„Ach nein! — Doch laß die Toten!“ —

Was klang dort für Gesang und Klang?
Was flatterten die Raben? —
Horch Glockenklang! horch Totensang:
„Laßt uns den Leib begraben!“
Und näher zog ein Leichenzug,
Der Sarg und Totenbahre trug.
Das Lied war zu vergleichen
Dem Unkenruf in Teichen.

„Nach Mitternacht begrabt den Leib,
Mit Klang und Sang und Klage!
Jetzt führ ich heim mein junges Weib.
Mit, mit zum Brautgelage!
Komm, Küster, hier! Komm mit dem Chor,
Und gurgle mit das Brautlied vor!
Komm, Pfaff, und sprich den Segen,
Eh wir zu Bett uns legen!“ —

Still Klang und Sang. — Die Bahre schwand. —
Gehorsam seinem Rufen,
Kam's, hurre hurre! nachgerannt,
Hart hinter's Rappen Hufen.
Und immer weiter, hop hop hop!
Ging's fort in sausendem Galopp,
Daß Roß und Reiter schnoben,
Und Kies und Funken stoben.

И мимо их холмы, кусты,
Поля, леса летели;
Под конским топотом мосты
Тряслися и гремели.
«Не страшно ль?» – «Месяц светит нам!» –
«Гладка дорога мертвецам!
Да что же так дрожишь ты?» –
«Зачем о них твердишь ты?»

«Но кто там стонет? Что за звон?
Что ворона взбудило?
По мертвом звон; надгробный стон;
Голосят над могилой».
И виден ход: идут, поют,
На дрогах тяжкий гроб везут,
И голос погребальный,
Как вой совы печальный.

«Заройте гроб в полночный час:
Слезам теперь не место;
За мной! к себе на свадьбу вас
Зову с моей невестой.
За мной, певцы; за мной, пастор;
Пропой нам многолетье, хор;
Нам дай на обрученье,
Пастор, благословенье».

И звон утих... и гроб пропал...
Столпился хор проворно
И по дороге побежал
За ними тенью черной.
И дале, дале!.. конь летит,
Под ним земля шумит, дрожит,
С дороги вихри вьются,
От камней искры льются.

Wie flogen rechts, wie flogen links,
Gebirge, Bäum und Hecken!
Wie flogen links, und rechts, und links
Die Dörfer, Stadt und Flecken! —
„Graut Liebchen auch? Der Mond scheint hell!
Hurra! die Toten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Toten?“ —
„Ach! Laß sie ruhn die Toten!“ —

Sieh da! sieh da! Am Hochgericht
Tanzt, um des Rades Spindel
Halb sichtbarlich bei Mondenlicht,
Ein luftiges Gesindel. —
„Sasa! Gesindel, hier! Komm hier!
Gesindel, komm und folge mir!
Tanz uns den Hochzeitreigen,
Wann wir zu Bette steigen!“ —

Und das Gesindel husch husch husch!
Kam hinten nachgeprasselt,
Wie Wirbelwind am Haselbusch
Durch dürre Blätter rasselt.
Und weiter, weiter, hop hop hop!
Ging's fort in sausendem Galopp,
Daß Roß und Reiter schnoben,
Und Kies und Funken stoben.

Wie flog, was rund der Mond beschien,
Wie flog es in die Ferne!
Wie flogen oben über hin
Der Himmel und die Sterne! —
„Graut Liebchen auch? — Der Mond scheint hell!
Hurra! Die Toten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Toten?“ —
„O weh! Laß ruhn die Toten!“ —

И сзади, спереди, с боков
Окрестность вся летела:
Поля, холмы, ряды кустов,
Заборы, дома, села.
«Не страшно ль?» – «Месяц светит нам». –
«Гладка дорога мертвецам!
Да что же так дрожишь ты?» –
«О мертвых все твердишь ты!»

Вот у дороги, над столбом,
Где висельник чернеет,
Воздушных рой, свиясь кольцом,
Кружится, пляшет, веет.
«Ко мне, за мной, вы, плясуны!
Вы все на пир приглашены!
Скачу, лечу жениться...
Ко мне! Повеселиться!»

И летом, летом легкий рой
Пустился вслед за ними,
Шумя, как ветер полевой
Меж листьями сухими.
И дале, дале!.. конь летит,
Под ним земля шумит, дрожит,
С дороги вихри выются,
От камней искры льются.

Вдали, вблизи, со всех сторон
Все мимо их бежало;
И все, как тень, и все, как сон,
Мгновенно пропадало.
«Не страшно ль?» – «Месяц светит нам». –
«Гладка дорога мертвецам!
Да что же так дрожишь ты?» –
«Зачем о них твердишь ты?»

„Rapp! Rapp! Mich dünkt, der Hahn schon ruft. —
Bald wird der Sand verrinnen —
Rapp! Rapp! Ich wittre Morgenluft —
Rapp! Tummle dich von hinnen! —
Vollbracht, vollbracht ist unser Lauf!
Das Hochzeitsbette tut sich auf!
Die Toten reiten schnelle!
Wir sind, wir sind zur Stelle.“ —

Rasch auf ein eisern Gittertor
Ging's mit verhängtem Zügel.
Mit schwanker Gert ein Schlag davor
Zersprengte Schloß und Riegel.
Die Flügel flogen klirrend auf,
Und über Gräber ging der Lauf.
Es blinkten Leichensteine
Rund um im Mondenscheine.

Ha sieh! Ha sieh! im Augenblick,
Huhu! ein gräßlich Wunder!
Des Reiters Koller, Stück für Stück,
Fiel ab, wie mürber Zunder.
Zum Schädel, ohne Zopf und Schopf,
Zum nackten Schädel ward sein Kopf;
Sein Körper zum Gerippe,
Mit Stundenglas und Hippe.

Hoch bäumte sich, wild schnob der Rapp
Und sprühte Feuerfunken;
Und hui! war's unter ihr hinab
Verschwunden und versunken.
Geheul! Geheul aus hoher Luft,
Gewinsel kam aus tiefer Gruft.
Lenorens Herz, mit Beben,
Rang zwischen Tod und Leben.

«Мой конь, мой конь, песок бежит;
Я чую, ночь свежее;
Мой конь, мой конь, петух кричит;
Мой конь, несись быстрее...
Окончен путь; исполнен срок;
Наш близко, близко уголок;
В минуту мы у места...
Приехали, невеста!»

К воротам конь во весь опор
Примчавшись, стал и топнул;
Ездок бичом стегнул затвор –
Затвор со стуком лопнул;
Они кладбище видят там...
Конь быстро мчится по гробам;
Лучи луны сияют,
Кругом кресты мелькают.

И что ж, Ленора, что потом?
О страх!.. в одно мгновенье
Кусок одежды за куском
Слетел с него, как тленье;
И нет уж кожи на костях;
Безглазый череп на плечах;
Нет каски, нет колета;
Она в руках скелета.

Конь прынул... пламя из ноздрей
Волною побежало;
И вдруг... все пылью перед ней
Расшиблось и пропало.
И вой и стон на вышине;
И крик в подземной глубине,
Лежит Ленора в страхе
Полмертвая на прахе.

Nun tanzten wohl bei Mondenglanz,
Rund um herum im Kreise,
Die Geister einen Kettentanz,
Und heulten diese Weise:
„Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht!
Mit Gott im Himmel hadre nicht!
Des Leibes bist du ledig;
Gott sei der Seele gnädig!“



И в блеске месячных лучей,
 Рука с рукой, летает,
Виясь над ней, толпа теней
 И так ей припевает:
«Терпи, терпи, хоть ноет грудь;
Творцу в бедах покорна будь;
 Твой труп сойди в могилу!
 А душу Бог помилуй!»



Johann Wolfgang Goethe

MEINE GÖTTIN

Welcher Unsterblichen
Soll der höchste Preis sein?
Mit niemand streit ich,
Aber ich geb ihn
Der ewig beweglichen,
Immer neuen,
Seltsamen Tochter Jovis,
Seinem Schoßkinde,
Der Phantasie.

Denn ihr hat er
Alle Launen,
Die er sonst nur allein
Sich vorbehält,
Zugestanden
Und hat seine Freude
An der Törin.

Иоганн Вольфганг Гёте

МОЯ БОГИНЯ

Какую бессмертную
Венчать предпочтительно
Пред всеми богинями
Олимпа надзвездного?
Не спорю с питомцами
Разборчивой мудрости,
Учеными строгими;
Но свежей гирляндой
Венчаю веселую,
Крылатую, милую,
Всегда разнообразную,
Всегда животворную,
Любимицу Зевсову,
Богиню Фантазию.
Ей дал он те вымыслы,
Те сны благотворные,
Которыми в области
Олимпа надзвездного
С амброзией, с нэктаром
Подчас утешается
Он в скуке бессмертия;
Лелея с усмешкою
На персях родительских,
Ее величает он
Богинею-радостью.
То в утреннем веянье
С лилейною веткою,
Одетая ризою,
Сотканной из нежного
Денницы сияния,

Sie mag rosenbekränzt
Mit dem Lilienstengel
Blumentäler betreten,
Sommervögeln gebieten
Und leichtnährenden Tau
Mit Bienenlippen
Von Blüten saugen,
Oder sie mag
Mit fliegendem Haar
Mit düsterm Blicke
Im Winde sausen
Um Felsenwände
Und tausendfarbig,
Wie Morgen und Abend,
Immer wechselnd,
Wie Mondesblicke,
Den Sterblichen scheinen.

Laßt uns alle
Den Vater preisen!
Den alten, hohen,
Der solch eine schöne
Unverwelkliche Gattin
Dem sterblichen Menschen
Gesellen mögen!

По долу душистому,
По холмам муравчатым,
По облакам утренним
Малиновкой носится;
На ландыш, на лилию,
На цвет-незабудочку,
На травку дубравную
Спускается пчелкою;
Устами пчелиными
Впиваясь в листики,
Пьет росу медвяную;
То, кудри с небрежностью
По ветру развеявши,
Во взоре уныние,
Тоской отуманена,
Глава наклоненная,
Сидит на крутой скале,
И смотрит в мечтании
На море пустынное,
И любит прислушивать,
Как волны плескаются,
О камни дробимые;
То внемлет, задумавшись,
Как ветер полуночный
Порой подымается,
Шумит над дубравою,
Качает вершинами
Дерев сеннолиственных;
То в сумраке вечера
(Когда златорогая
Луна из-за облака
Над рощею выглянет
И, сливши дрожащий луч
С вечерними тенями,
Оденет и лес и дол
Туманным сиянием)
Играет с наядами
По гладкой поверхности
Потока дубравного
И, струек с журчанием
Мешая гармонию
Волшебного шепота,

Denn uns allein
Hat er sie verbunden
Mit Himmelsband
Und ihr geboten,
In Freud und Elend
Als treue Gattin
Nicht zu entweichen.

Alle die andern
Armen Geschlechter
Der kinderreichen
Lebendigen Erde
Wandeln und weiden
In dunkelm Genuß
Und trüben Schmerzen
Des augenblicklichen,
Beschränkten Lebens,
Gebeugt vom Joche
Der Notdurft.
Uns aber hat er
Seine gewandteste,
Verzärtelte Tochter,
Freut euch! gegönnt.
Begegnet ihr lieblich,
Wie einer Geliebten!
Laßt ihr die Würde
Der Frauen im Haus!

Наводит задумчивость,
Дремоту и легкий сон;
Иль, быстро с зефирами
По дремлющим лилиям,
Гвоздикам узорчатым,
Фиалкам и ландышам
Порхая, питается
Душистым дыханием
Цветов, ожемчуженных
Росинками светлыми;
Иль с сонмами гениев,
Воздушною цепию
Виясь, развиваясь,
В мерцании месяца,
Невидима-видима,
По облакам носится
И, к роще спустившись,
Играет листочками
Осины трепещущей.
Прославим создателя
Могущего, древнего,
Зевеса, пославшего
Нам радость – Фантазию;
В сей жизни, где радости
Прямые – луч молнии,
Он дал нам в ней счастье,
Всегда неизменное,
Супругу веселую,
Красой вечно юную,
И с нею нас цепию
Сопряг нераздельною.
«Да будешь, – сказал он ей, –
И в счастье и в горести
Им верная спутница,
Утеха, прибежище».

Другие творения,
С очами незрящими,
В слепых наслаждениях,
С печальями смутными,
Гнетомые бременем
Нужды непреклонныя,

Und daß die alte

Schwiegermutter Weisheit

Das zarte Seelchen

Ja nicht beleid'ge!

Doch kenn ich ihre Schwester,

Die ältere, gesetztere,

Meine stille Freundin:

O daß die erst

Mit dem Lichte des Lebens

Sich von mir wende,

Die edle Treiberin,

Trösterin Hoffnung!



Начавшись, кончаются
В кругу, ограниченном
Чертой настоящего,
Минутною жизнью;
Но мы, отличенные
Зевесовой благостью!..
Он дал нам сопутницу
Игривую, нежную,
Летунью, искусницу
На милые вымыслы,
Причудницу резвую,
Любимую дочь свою
Богиню Фантазию!
Ласкайте прелестную;
Кажите внимание
Ко всем ее прихотям
Невинным, младенческим!
Пускай почитается
Над вами владычицей
И дома хозяйкою;
Чтоб вотчиму старому,
Брюзгливцу суровому,
Рассудку, не вздумалось
Ее переучивать,
Пугать укоризнами
И мучить уроками.
Я знаю сестру ее,
Степенную, тихую...
Мой друг утешительный,
Тогда лишь простишь со мной,
Когда из очей моих
Луч жизни сокроется;
Тогда лишь покинь меня,
Причина всех добрых дел,
Источник великого,
Нам твердость, и мужество,
И силу дающая,
Надежда отрадная!..



DIE FREUDEN

Es flattert um die Quelle
Die wechselnde Libelle,
Mich freut sie lange schon;
Bald dunkel und bald helle,
Wie der Chamäleon,
Bald rot, bald blau,
Bald blau, bald grün;
O daß ich in der Nähe
Doch ihre Farben sähe!

Sie schwirrt und schwebet, rastet nie!
Doch still, sie setzt sich an die Weiden.
Da hab ich sie! Da hab ich sie!
Und nun betracht ich sie genau
Und seh ein traurig dunkles Blau —

So geht es dir, Zergliederer deiner Freuden!



* * *

Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte!

Ihr führt ins Leben uns hinein,
Ihr laßt den Armen schuldig werden,
Dann überlaßt ihr ihn der Pein:
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.



МОТЫЛЕК

Вчера я долго веселился,
Смотря, как мотылек
Мелькал на солнышке, носился
С цветочка на цветок.
И милый цвет его менялся
Всечасно предо мной:
То алой тенью отливался,
То нежной голубой.
Я вслед за ним... Но он быстрее
Виляет и кружит!
И вижу, вдруг прильнув к лилее,
Недвижимый блеснит!
Бегу... и мой летун вертлявый
Дрожит в моих руках.
Но где же блеск его румяный?
Где краски на крылах?
Увы! коснувшись к ним перстами,
Я стер их нежный цвет!
И мотылек... он все с крылами!
Но красоты уж нет!
«Так наслажденье изменяет! –
Вздыхнувши, я сказал. –
Пока не тронуту – блистает!
Дотронься – блеск пропал!»



* * *

Кто слез на хлеб свой не ронял,
Кто близ одра, как близ могилы,
В ночи, бессонный, не рыдал, –
Тот вас не знает, вышни силы!

На жизнь мы брошены от вас!
И вы ж, дав знаться нам с виною,
Страданью выдаете нас,
Вину преследуете мздою.



Aus „Faust“

ZUEIGNUNG

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Versuch' ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Fühl' ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
Ihr drängt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten,
Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt;
Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert
Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage,
Und manche liebe Schatten steigen auf;
Gleich einer alten, halbverklungenen Sage
Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf;
Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage
Des Lebens labyrinthisch irren Lauf,
Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden
Vom Glück getäuscht, vor mir hinweggeschwunden.

Sie hören nicht die folgenden Gesänge,
Die Seelen, denen ich die ersten sang;
Zerstoben ist das freundliche Gedränge,
Verklungen, ach! der erste Widerklang.
Mein Leid ertönt der unbekanntnen Menge,
Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang,
Und was sich sonst an meinem Leid erfreuet,
Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen, ernstesten Geisterreich,
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen
Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,
Ein Schauer faßt mich, Träne folgt den Tränen,
Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich;
Was ich besitze, seh' ich wie im Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.

* * *

Опять ты здесь, мой благодатный гений,
Воздушная подруга юных дней;
Опять с толпой знакомых привидений
Теснишься ты, мечта, к душе моей...
Приди ж, о друг! дай прежних вдохновений,
Минувшею мне жизнью повеи,
Побудь со мной, продли очарованья,
Дай сладкого вкусить воспоминанья.

Ты образы веселых лет примчала –
И много милых теней восстает;
И то, чем жизнь столь некогда пленяла,
Что рок, отняв, назад не отдает,
Ты все опять, душа моя, узнала;
Проснулась скорбь, и жалоба зовет
Сопутников, с пути сошедших прежде
И здесь вотще поверивших надежде.

К ним не дойдут последней песни звуки;
Рассеян круг, где первую я пел;
Не встретят их простертые к ним руки;
Прекрасный сон их жизни улетел.
Других умчал могущий дух разлуки;
Счастливым край, их знавший, опустел;
Разбросаны по всем дорогам мира!..
Не им поет задумчивая лира.

И снова в томном сердце воскресает
Стремленье в оный таинственный свет;
Давнишний глас на лире оживает,
Чуть слышимый, как гения полет;
И душу хладную разогревает
Опять тоска по благам прежних лет:
Все близкое мне зрится отдаленным,
Отжившее, как прежде, оживленным.

AN DEN MOND

Füllest wieder Busch und Tal
Still mit Nebelglanz,
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge mild
Über mein Geschick.

Jeden Nachklang fühlt mein Herz
Froh' und trüber Zeit,
Wandle zwischen Freud' und Schmerz
In der Einsamkeit.

Fließe, fließe, lieber Fluß!
Nimmer werd' ich froh,
So verrauschte Scherz und Kuß,
Und die Treue so.

Ich besaß es doch einmal,
Was so köstlich ist!
Daß man doch zu seiner Qual
Nimmer es vergißt!

Rausche, Fluß, das Tal entlang,
Ohne Rast und Ruh,
Rausche, flüstre meinem Sang
Melodien zu,

Wenn du in der Winternacht
Wütend überschwillst
Oder um die Frühlingspracht
Junger Knospen quillst.

К МЕСЯЦУ

Снова лес и дол покрыл
Блеск туманный твой:
Он мне душу растворил
Сладкой тишиной.

Ты блеснул... и просветлел
Тихо темный луг:
Так улыбкой наш удел
Озаряет друг.

Скорбь и радость давних лет
Отозвались мне,
И минувшего привет
Слышу в тишине.

Лейся, мой ручей, стремись!
Жизнь уж отцвела;
Так надежды пронеслись;
Так любовь ушла.

Ах! то было и моим,
Чем так сладко жить,
То, чего, расставшись с ним,
Вечно не забыть.

Лейся, лейся, мой ручей,
И журчанье струй
С одинокою моей
Лирой согласуй.

Selig, wer sich vor der Welt
Ohne Haß verschließt,
Einen Freund am Busen hält
Und mit dem genießt,

Was, von Menschen nicht gewußt
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.



TROST IN TRÄNEN

Wie kommt's, daß du so traurig bist,
Da alles froh erscheint?
Man sieht dir's an den Augen an,
Gewiß, du hast geweint.

„Und hab' ich einsam auch geweint,
So ist's mein eigener Schmerz,
Und Tränen fließen gar so süß,
Erleichtern mir das Herz.“

Die frohen Freunde laden dich,
O komm an unsre Brust!
Und was du auch verloren hast,
Vertraue den Verlust.

„Ihr lärmt und rauscht und ahnet nicht,
Was mich, den Armen, quält.
Ach nein, verloren hab' ich's nicht,
Sosehr es mir auch fehlt.“

So raffe denn dich eilig auf!
Du bist ein junges Blut.

Счастлив, кто от хлада лет
Сердце охранил,
Кто без ненависти свет
Бросил и забыл,

Кто делит с душой родной,
Втайне от людей,
То, что презрено толпой
Или чуждо ей.



УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ

«Скажи, что так задумчив ты?
Все весело вокруг;
В твоих глазах печали след;
Ты, верно, плакал, друг?»

«О чем грущу, то в сердце мне
Запало глубоко;
А слезы... слезы в сладость нам;
От них душе легко».

«К тебе ласкаются друзья,
Их ласки не дичись;
И что бы ни утратил ты,
Утратой поделись».

«Как вам, счастливым, то понять,
Что понял я тоской?
О чем... но нет! оно мое,
Хотя и не со мной».

«Не унывай же, ободрись;
Еще ты в цвете лет;

In deinen Jahren hat man Kraft
Und zum Erwerben Mut.

„Ach nein, erwerben kann ich's nicht,
Es steht mir gar zu fern.
Es weilt so hoch, es blinkt so schön,
Wie droben jener Stern.“

Die Sterne, die begehrt man nicht,
Man freut sich ihrer Pracht,
Und mit Entzücken blickt man auf
In jeder heitern Nacht.

„Und mit Entzücken blick' ich auf,
So manchen lieben Tag;
Verweinen laßt die Nächte mich,
Solang ich weinen mag.“



ERLKÖNIG

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

„Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?“
„Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif?“
„Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.“ —

„Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand;
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“ —

Ищи – найдешь; отважным, друг,
Несбыточного нет».

«Увы! напрасные слова!
Найдешь – сказать легко;
Мне до него, как до звезды
Небесной, далеко».

«На что ж искать далеких звезд?
Для неба их краса;
Любуйся ими в ясну ночь,
Не мысли в небеса».

«Ах! я люблюсь в ясный день;
Нет сил и глаз отвести;
А ночью... ночью плакать мне,
Покуда слезы есть».



ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» –
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой». –
«О нет, то белеет туман над водой».

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне:
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».

„Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?“

„Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind!
In dürren Blättern säuselt der Wind.“ —

„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“ —

„Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?“

„Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau,
Es scheinen die alten Weiden so grau.“

„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt.“ —

„Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!“ —

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Müh' und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.



DER FISCHER

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
Ein Fischer saß daran,
Sah nach der Angel ruhevoll,
Kühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht,
Teilt sich die Flut empor;

«Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит». –
«О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листья».

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей
Узнаешь прекрасных моих дочерей:
При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять».

«Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей». –
«О нет, все спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне».

«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой». –
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжело дышать».

Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал...
В руках его мертвый младенец лежал.



РЫБАК

Бежит волна, шумит волна!
Задумчив, над рекой
Сидит рыбак; душа полна
Прохладной тишиной.
Сидит он час, сидит другой;
Вдруг шум в волнах притих...

Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:
„Was lockst du meine Brut
Mit Menschenwitz und Menschenlist
Hinauf in Todesglut?
Ach wüßtest du, wie's Fischlein ist
So wohlig auf dem Grund,
Du stiegst herunter, wie du bist,
Und würdest erst gesund.

Labt sich die liebe Sonne nicht,
Der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenatmend ihr Gesicht
Nicht doppelt schöner her?
Lockt dich der tiefe Himmel nicht,
Das feuchtverklärte Blau?
Lockt dich dein eigen Angesicht
Nicht her in ew'gen Tau?“

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
Netz' ihm den nackten Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll,
Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war's um ihn geschehn:
Halb zog sie ihn, halb sank er hin,
Und ward nicht mehr gesehn.



И влажною всплыла главой
Красавица из них.

Глядит она, поет она:
«Зачем ты мой народ
Манишь, влечешь с родного дна
В кипучий жар из вод?
Ах! если б знал, как рыбкой жить
Привольно в глубине,
Не стал бы ты себя томить
На знойной вышине.

Не часто ль солнце образ свой
Купает в лоне вод?
Не свежей ли горит красой
Его из них исход?
Не с ними ли свод неба слит
Прохладно-голубой?
Не в лоно ль их тебя манит
И лик твой молодой?»

Бежит волна, шумит волна...
На берег вал плеснул!
В нем вся душа тоски полна,
Как будто друг шепнул!
Она поет, она манит –
Знать, час его настал!
К нему она, он к ней бежит...
И след навек пропал.



LIED DER MIGNON

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin

Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach,
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin

Möcht' ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg;
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut,
Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin

Geht unser Weg! o Vater, laß uns ziehn!



SCHÄFERS KLAGE LIED

Da droben auf jenem Berge;
Da steh ich tausendmal
An meinem Stabe gebogen
Und schaue hinab in das Tal.

Dann folg ich der weidenden Herde,
Mein Hündchen bewahret mir sie.
Ich bin herunter gekommen

МИНА

Романс

Я знаю край! там негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок жар неба холодит,
И тихо мирт и гордо лавр стоит...

Там счастье, друг! туда! туда
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!

Там светлый дом! на мраморных столбах
Поставлен свод; чертог горит в лучах;
И ликов ряд недвижимых стоит;
И, мнится, их молчанье говорит...

Там счастье, друг! туда! туда
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!

Гора там есть с заоблачной тропой!
В туманах мул там путь находит свой;
Драконы там мутят ночную мглу;
Летит скала и воды на скалу!..

О друг, пойдём! туда! туда
Мечта зовет!... Но быть ли там когда?



ЖАЛОБА ПАСТУХА

На ту знакомую гору
Сто раз я в день прихожу;
Стою, склоняся на посох,
И в дол с вершины гляжу.

Вздохнув, медлительным шагом
Иду вослед я овцам

Und weiß doch selber nicht wie.

Da stehet von schönen Blumen
Die ganze Wiese so voll.
Ich breche sie, ohne zu wissen,
Wem ich sie geben soll.

Und Regen, Sturm und Gewitter
Verpaß ich unter dem Baum.
Die Türe dort bleibet verschlossen;
Doch alles ist leider ein Traum.

Es stehet ein Regenbogen
Wohl über jenem Haus!
Sie aber ist weggezogen,
Und weit in das Land hinaus.

Hinaus in das Land und weiter,
Vielleicht gar über die See.
Vorüber, ihr Schafe, vorüber!
Dem Schäfer ist gar so weh.



NEUE LIEBE, NEUES LEBEN

Herz, mein Herz, was soll das geben?
Was bedrängt dich so sehr?
Welch ein fremdes, neues Leben!
Ich erkenne dich nicht mehr.
Weg ist alles, was du liebtest,
Weg, warum du dich betrübtest,
Weg dein Fleiß und deine Ruh —
Ach, wie kamst du nur dazu!

И часто, часто в долину
Схожу, не чувствуя сам.

Весь луг по-прежнему полон
Младой цветов красоты;
Я рву их – сам же не знаю,
Кому отдать мне цветы.

Здесь часто в дождик и в грóзу
Стою, к земле пригвожден;
Все жду, чтоб дверь отворилась...
Но то обманчивый сон.

Над милой хижинкой светит,
Видаю, радуга мне...
К чему? Она удалилась!
Она в чужой стороне!

Она все дале! все дале!
И скоро слух замолчит!
Бегите ж, овцы, бегите!
Здесь горе душу томит!



НОВАЯ ЛЮБОВЬ – НОВАЯ ЖИЗНЬ

Что с тобой вдруг, сердце, стало?
Что ты ноешь? Что опять
Закипело, запылало?
Как тебя растолковать?
Все исчезло, чем ты жило,
Чем ты сладостно грустило!
Где беспечность? где покой?..
Ах, что сделалось с тобой?

Fesselt dich die Jugendblüte,
Diese liebliche Gestalt,
Dieser Blick voll Treu und Güte
Mit unendlicher Gewalt?
Will ich rasch mich ihr entziehen,
Mich ermannen, ihr entfliehen,
Führet mich im Augenblick,
Ach, mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Zauberfädchen,
Das sich nicht zerreißen läßt,
Hält das liebe lose Mädchen
Mich so wider Willen fest;
Muß in ihrem Zauberkreise
Leben nun auf ihre Weise.
Die Veränderung, ach, wie groß!
Liebe! Liebe! laß mich los!



ZUEIGNUNG

Der Morgen kam; es scheuchten seine Tritte
Den leisen Schlaf, der mich gelind umfing,
Daß ich, erwacht, aus meiner stillen Hütte
Den Berg hinauf mit frischer Seele ging;
Ich freute mich bei einem jeden Schritte
Der neuen Blume, die voll Tropfen hing;
Der junge Tag erhob sich mit Entzücken,
Und alles war erquickt, mich zu erquicken.

Und wie ich stieg, zog von dem Fluß der Wiesen
Ein Nebel sich in Streifen sacht hervor.
Er wich und wechselte, mich zu umfließen,
Und wuchs geflügelt mir ums Haupt empor;
Des schönen Blicks sollt ich nicht mehr genießen,

Расцветающая ль младость,
Речи ль, полные душой,
Взора ль пламенная сладость
Овладели так тобой?
Захочу ли ободриться,
Оторваться, удалиться –
Бросить томный, томный взгляд!
Ах! я к ней лечу назад!

Я неволен, очарован!
Я к неволе золотой,
Обессиленный, прикован
Шелковинкою одной!
И бежать очарованья
Нет ни силы, ни желанья!
Рад тоске! хочу любить!..
Видно, сердце, так и быть!



* * *

Взошла заря. Дыханием приятным
Сманила сон с моих она очей;
Из хижины за гостем благодатным
Я восходил на верх горы моей;
Жемчуг росы по травкам ароматным
Уже блистал младым огнем лучей,
И день взлетел, как гений светлокрылый!
И жизнью все живому сердцу было.

Я восходил; вдруг тихо закурился
Туманный дым в долине над рекой;
Густел, редел, тянулся, и клубился,
И вдруг взлетел, крылатый, надо мной,
И яркий день с ним в бледный сумрак слился,

Die Gegend deckte mir ein trüber Flor;
Bald sah ich mich von Wolken wie umgossen
Und mit mir selbst in Dämmerung eingeschlossen.



DER WANDRER

WANDRER

Gott segne dich, junge Frau,
Und den säugenden Knaben
An deiner Brust!
Laß mich an der Felsenwand hier
In des Ulmbaums Schatten
Meine Bürde werfen,
Neben dir ausruhn.

FRAU

Welch Gewerbe treibt dich
Durch des Tages Hitze
Den staubigen Pfad her?
Bringst du Waren aus der Stadt
Im Land herum?
Lächelst, Fremdling,
Über meine Frage?

WANDRER

Keine Waren bring ich aus der Stadt.
Kühl wird nun der Abend.
Zeige mir den Brunnen,
Draus du trinkest,
Liebes junges Weib!

Задрнулась окрестность пеленой,
И, влажную пустыней окруженный,
Я в облаках исчез, уединенный...



ПУТЕШЕСТВЕННИК И ПОСЕЛЯНКА

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Благослови Господь
Тебя, младая мать,
И тихого младенца,
Приникшего к груди твоей;
Здесь, под скалою,
В тени олив твоих приютных,
Сложивши ношу, отдохну
От зноя близ тебя.

ПОСЕЛЯНКА

Скажи мне, странник,
Куда в палящий зной
Ты пыльною идешь дорогой?
Товары ль городские
Разносишь по селеньям?..
Ты улыбнулся, странник,
На мой вопрос.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Товаров нет со мной.
Но вечер холодеет;
Скажи мне, поселянка,
Где тот ручей,
В котором жажду утоляешь?

FRAU

Hier den Felsenpfad hinauf.
Geh voran! Durchs Gebüsch
Geht der Pfad nach der Hütte,
Drin ich wohne,
Zu dem Brunnen,
Den ich trinke.

WANDRER

Spuren ordnender Menschenhand
Zwischen dem Gesträuch!
Diese Steine hast du nicht gefügt,
Reichhinstreuende Natur!

FRAU

Weiter hinauf!

WANDRER

Von dem Moos gedeckt ein Architrav!
Ich erkenne dich, bildender Geist!
Hast dein Siegel in den Stein geprägt.

FRAU

Weiter, Fremdling!

ПОСЕЛЯНКА

Взойди на верх горы;
В кустарнике тропинкой
Ты мимо хижины пройдешь,
В которой я живу;
Там близко и студёный ключ,
В котором жажду утоляю.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Следы создательной руки
В кустах передо мною;
Не ты сии образовала камни,
Обильно-щедрая природа.

ПОСЕЛЯНКА

Иди вперед.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Покрытый мохом архитрав,
Я узнаю тебя, творящий Гений;
Твоя печать на этих мшистых камнях.

ПОСЕЛЯНКА

Все дале, странник.

WANDRER

Eine Inschrift, über die ich trete!
Nicht zu lesen!
Weggewandelt seid ihr,
Tiefgegrabne Worte,
Die ihr eures Meisters Andacht
Tausend Enkeln zeigen solltet.

FRAU

Staunest, Fremdling,
Diese Stein' an?
Droben sind der Steine viel
Um meine Hütte.

WANDRER

Droben?
.

FRAU

Gleich zur Linken
Durchs Gebüsch hinan;
Hier.

WANDRER

Ihr Musen und Grazien!

FRAU

Das ist meine Hütte.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

И надпись под моей погою;
Ее затерло время:
Ты удалилось,
Глубоко врезанное слово,
Рукой творца немому камню
Напрасно вверенный свидетель
Минувшего богопочтения.

ПОСЕЛЯНКА

Дивишься, странник,
Ты этим камням?
Подобных много
Близ хижины моей.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Где? Где?

ПОСЕЛЯНКА

Там, на вершине,
В кустах.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Что вижу? Музы и хариты.

ПОСЕЛЯНКА

То хижина моя.

WANDRER

Eines Tempels Trümmer!

FRAU

Hier zur Seit hinab
Quillt der Brunnen,
Den ich trinke.

WANDRER

Glühend webst du
Über deinem Grabe,
Genius! Über dir
Ist zusammengestürzt
Dein Meisterstück,
O du Unsterblicher!

FRAU

Wart, ich hole das Gefäß
Dir zum Trinken.

WANDRER

Efeu hat deine schlanke
Götterbildung umkleidet.
Wie du emporstrebst
Aus dem Schutte,
Säulenpaar!
Und du, einsame Schwester dort!
Wie ihr,
Düstres Moos auf dem heiligen Haupt,
Majestätisch trauernd herabschaut

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Обломки храма.

ПОСЕЛЯНКА

Вблизи бежит и ключ студень,
В котором воду мы берем.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Не умирая, веешь
Ты над своей могилой,
О Гений; над тобою
Обрушилось во прах
Твое прекрасное созданье...
А ты бессмертен.

ПОСЕЛЯНКА

Помедли, странник, я подам
Кувшин, напиток из ручья.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

И плющ обвесил
Твой лик божественно-прекрасный.
Как величаво
Над этой грудой обломков
Возносится чета столбов.
А здесь их одинокий брат.
О, как они,
В печальный мох одев главы священны,
Скорбя величественно, смотрят

Auf die zertrümmerten
Zu euern Füßen,
Eure Geschwister!
In des Brombeergesträuches Schatten
Deckt sie Schutt und Erde,
Und hohes Gras wankt drüber hin.
Schätzezt du so, Natur,
Deines Meisterstücks Meisterstück?
Unempfindlich zertrümmerst du
Dein Heiligtum?
Säest Disteln drein?

FRAU

Wie der Knabe schläft!
Willst du in der Hütte ruhn,
Fremdling? Willst du hier
Lieber in dem Freien bleiben?
Es ist kühl! Nimm den Knaben,
Daß ich Wasser schöpfen gehe.
Schlafe, Lieber! schlaf!

WANDRER

Süß ist deine Ruh!
Wie's, in himmlischer Gesundheit
Schwimmend, ruhig atmet!
Du, geboren über Resten
Heiliger Vergangenheit,
Ruh ihr Geist auf dir!
Welchen der umschwebt,
Wird in Götterselbstgefühl
Jedes Tags genießen.
Voller Keim, blüh auf,
Des glänzenden Frühlings
Herrlicher Schmuck,

На раздробленных
У ног их братий;
В тени шиповников зеленых,
Под камнями, под прахом
Лежат они, и ветер
Травой над ними шевелит.
Как мало дорожишь, природа,
Ты лучшего созданья своего
Прекраснейшим созданием!
Сама святилище свое
Бесчувственно ты раздробила
И терн посеяла на нем.

ПОСЕЛЯНКА

Как спит младенец мой.
Войдешь ли, странник,
Ты в хижину мою
Иль здесь, на воле отдохнешь?
Прохладно. Подержи дитя;
А я кувшин водой наполню.
Спи, мой малютка, спи.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Прекрасен твой покой...
Как тихо дышит он,
Исполненный небесного здоровья.
Ты, на святых остатках
Минувшего рожденный,
О, будь с тобой его великий Гений;
Кого присвоит он,
Тот в сладком чувстве бытия
Земную жизнь вкушает.
Цвети ж надеждой,

Und leuchte vor deinen Gesellen!
Und welkt die Blüthenhülle weg,
Dann steig aus deinem Busen
Die volle Frucht
Und reife der Sonn entgegen!

FRAU

Gesegne's Gott! — Und schläft er noch?
Ich habe nichts zum frischen Trunk
Als ein Stück Brot, das ich dir bieten kann.

WANDRER

Ich danke dir.
Wie herrlich alles blüht umher
Und grünt!

FRAU

Mein Mann wird bald
Nach Hause sein
Vom Feld. O bleibe, bleibe, Mann!
Und iß mit uns das Abendbrot.

WANDRER

Ihr wohnt hier?

FRAU

Da, zwischen dem Gemäuer her.
Die Hütte baute noch mein Vater

Весенний цвет прекрасный;
Когда же отцветешь,
Созрей на солнце благодатном
И дай богатый плод.

ПОСЕЛЯНКА

Услышь тебя Господь!.. А он все спит.
Вот, странник, чистая вода
И хлеб; дар скудный, но от сердца.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Благодарю тебя.
Как все цветет кругом
И живо зеленеет!

ПОСЕЛЯНКА

Мой муж придет
Через минуту с поля
Домой; останься, странник,
И ужин с нами раздели.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Жилище ваше здесь?

ПОСЕЛЯНКА

Здесь, близко этих стен
Отец нам хижину построил

Aus Ziegeln und des Schuttes Steinen.
Hier wohnen wir.
Er gab mich einem Ackersmann
Und starb in unsern Armen. —
Hast du geschlafen, liebes Herz?
Wie er munter ist und spielen will!
Du Schelm!

WANDRER

Natur! du ewig keimende,
Schaffst jeden zum Genuß des Lebens,
Hast deine Kinder alle mütterlich
Mit Erbteil ausgestattet, einer Hütte.
Hoch baut die Schwalb an das Gesims,
Unfühlend, welchen Zierat
Sie verklebt;
Die Raup umspinnt den goldnen Zweig
Zum Winterhaus für ihre Brut;
Und du flickst zwischen der Vergangenheit
Erhabne Trümmer
Für deine Bedürfniss'
Eine Hütte, o Mensch,
Genießest über Gräbern! —
Leb wohl, du glücklich Weib!

FRAU

Du willst nicht bleiben?

WANDRER

Gott erhalt euch,
Segn' euern Knaben!

Из кирпичей и каменных обломков,
Мы в ней и поселились.
Меня за пахаря он выдал
И умер на руках у нас...
Проснулся ты, мое дитя?
Как весел он! Как он играет!
О милый!

ПУТЕШЕСТВЕННИК

О вечный сеятель, природа,
Даруешь всем ты сладостную жизнь;
Всех чад своих, любя, ты наделила
Наследством хижины уютной.
Высоко на карнизе храма
Селится ласточка, не зная,
Чье пышное создание застилает,
Лепя свое гнездо.
Червяк, заткав живую ветку,
Готовит зимнее жилище
Своей семье.
А ты среди великих
Минувшего развалин
Для нужд своих житейских
Шалаш свой ставишь, человек,
И счастлив над гробами.
Прости, младая поселянка.

ПОСЕЛЯНКА

Уходишь, странник?

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Да Бог благословит
Тебя и твоего младенца!

FRAU

Glück auf den Weg!

WANDRER

Wohin führt mich der Pfad
Dort übern Berg?

FRAU

Nach Cuma.

WANDRER

Wie weit ist's hin?

FRAU

Drei Meilen gut.

WANDRER

Leb wohl!
O leite meinen Gang, Natur!
Den Fremdlings-Reisetritt,
Den über Gräber
Heiliger Vergangenheit
Ich wandle.
Leit ihn zum Schutzort,
Vorm Nord gedeckt,
Und wo dem Mittagsstrahl
Ein Pappelwäldchen wehrt.

ПОСЕЛЯНКА

Прости же, добрый путь!

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Скажи, куда ведет
Дорога этою горою?

ПОСЕЛЯНКА

Дорога эта в Кумы.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Далек ли путь?

ПОСЕЛЯНКА

Три добрых мили.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Прости!
О, будь моим вождем, природа;
Направь мой страннический путь;
Здесь, над гробами
Священной древности, скитаюсь;
Дай мне найти приют,
От хладов севера закрытый,
Чтоб зной полдневный
Топóлевая роща
Веселой сенью отвела.

Und kehr ich dann
Am Abend heim
Zur Hütte,
Vergoldet vom letzten Sonnenstrahl,
Laß mich empfangen solch ein Weib,
Den Knaben auf dem Arm!



LÄNDLICHES GLÜCK

Seid, o Geister des Hains, o seid, ihr Nymphen des Flusses,
Eurer Entfernten gedenk, eueren Nahen zur Lust!
Weihend feierten sie im stillen die ländlichen Feste;
Wir, dem gebahnten Pfad folgend, beschleichen das Glück.
Amor wohne mit uns, es macht der himmlische Knabe
Gegenwärtige lieb und die Entfernten euch nah.



AUS „ZAHME XENIEN“

Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt es nie erblicken;
Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken?



Когда ж в вечерний час,
Усталый, возвращусь
Под кров домашний,
Лучом заката позлащенный,
Чтоб на порог моих дверей
Ко мне навстречу вышла
Подобно милая подруга
С младенцем на руках.



ОБЕТЫ

Будьте, о духи лесов, будьте, о нимфы потока,
Верны далеким от вас, доступны близким друзьям!
Нет их, некогда здесь беспечною жизнью живших,
Мы, сменя их, им вслед смиренно ко счастью идем.
С нами, Любовь, обитай, богиня радости чистой!
Жизни прелесть она, близко далекое с ней!



* * *

Будь несолнечен наш глаз –
Кто бы солнцем любовался?
Не живи дух Божий в нас –
Кто б божественным пленялся?



ADLER UND TAUBE

Ein Adlersjüngling hob die Flügel
Nach Raub aus;
Ihn traf des Jägers Pfeil und schnitt
Der rechten Schwinge Sennkraft ab.
Er stürzt' hinab in einen Myrtenhain,
Fraß seinen Schmerz drei Tage lang
Und zuckt' an Qual
Drei lange, lange Nächte lang.
Zuletzt heilt ihn
Allgegenwärt'ger Balsam
Anheilender Natur.
Er schleicht aus dem Gebüsch hervor
Und reckt die Flügel — ach!
Die Schwingkraft weggeschnitten —
Hebt sich mühsam kaum
Am Boden weg
Unwürd'gem Raubbedürfnis nach,
Und ruht tieftrauernd
Auf dem niedern Fels am Bach;
Er blickt zur Eich hinauf,
Hinauf zum Himmel,
Und eine Träne füllt sein hohes Aug.

Da kommt mutwillig durch die Myrtenäste
Dahergerauscht ein Taubenpaar,
Läßt sich herab und wandelt nickend
Über goldnen Sand am Bach
Und ruckt einander an;
Ihr rötlich Auge buhlt umher,
Erblickt den Innigtrauernden.

ОРЕЛ И ГОЛУБКА

Басня

С утеса молодой орел
Пустился на добычу;
Стрелок пронзил ему крыло,
И с высоты упал
Он в масличную рощу.
Там он томился
Три долгих дня,
Три долгих ночи
И содрогался
От боли; наконец
Был исцелен
Живительным бальзамом
Всеисцеляющей природы.
Влекомый хищничеством смелым,
Приют покинув свой,
Он хочет крылья испытать...
Увы! они едва
Его подъямлют от земли,
И он в унынии глубоком
Садится отдохнуть
На камне у ручья;
Он смотрит на вершину дуба,
На солнце, на далекий
Небесный свод,
И в пламенных его глазах
Сверкают слезы.
Поблизости, между олив,
Крылами тихо вея,
Летали голубь и голубка.
Они к ручью спустились
И там по золотому
Песку гуляли вместе.
Вода кругом
Пурпурными глазами,
Голубка наконец
Приметила сидящего в безмолвном

Der Tauber schwingt neugiergesellig sich
Zum nahen Busch und blickt
Mit Selbstgefälligkeit ihn freundlich an.
„Du trauerst“, liebelt er,
„Sei guten Mutes, Freund!
Hast du zur ruhigen Glückseligkeit
Nicht alles hier?
Kannst du dich nicht des goldnen Zweiges freun,
Der vor des Tages Glut dich schützt?
Kannst du der Abendsonne Schein
Auf weichem Moos am Bache nicht
Die Brust entgegenheben?
Du wandelst durch der Blumen frischen Tau,
Pflückst aus dem Überfluß
Des Waldgebüsches dir
Gelegne Speise, letzest
Den leichten Durst am Silberquell
O Freund, das wahre Glück
Ist die Genügsamkeit,
Und die Genügsamkeit
Hat überall genug.“
„O Weise!“ sprach der Adler, und tief ernst
Versinkt er tiefer in sich selbst,
„O Weisheit! Du redst wie eine Taube!“



Унынии орла.
Она товарища тихонько
Крылом толкнула;
Потом, с участием сердечным
Взглянувши на страдальца,
Ему сказала:
«Ты унываешь, друг;
О чем же? Оглянись, не все ли,
Что нам для счастья
Простого нужно,
Ты здесь имеешь?
Не дышат ли вокруг тебя
Благоуханием оливы?
Не защищают ли зеленой
Прозрачной сению своей
Они тебя от зноя?
И не прекрасно ль блещет
Здесь вечер золотой
На мураве и на игривых
Струях ручья?
Ты здесь гуляешь по цветам,
Покрытым свежую росу;
Ты можешь пищу
Сбирать с кустов и жажду
В струях студеной утолять.
О друг! поверь,
Умеренность прямое счастье;
С умеренностью мы
Везде и всем довольны». –
«О мудрость! – прошептал орел,
В себя сурово погрузившись. –
Ты рассуждаешь, как голубка».



Friedrich Schiller

DES MÄDCHENS KLAGE

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn,
Das Mägdlein sitzt an Ufers Grün,
Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht,
Und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht,
Das Auge von Weinen getrübet.

„Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer,
Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr.
Du Heilige, rufe dein Kind zurück,
Ich habe genossen das irdische Glück,
Ich habe gelebt und geliebet!“

Es rinnet der Tränen vergeblicher Lauf,
Die Klage, sie wecket die Toten nicht auf;
Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust
Nach der süßen Liebe verschwundener Lust,
Ich, die Himmlische, will's nicht versagen.

Фридрих Шиллер

ТОСКА ПО МИЛОМ

Песня

Дубрава шумит;
Собираются тучи;
На берег зыбучий
Склонившись, сидит
В слезах, пригорюнясь, девица-краса;
И полночь и буря мрачат небеса;
И черные волны, вздымаясь, бушуют;
И тяжкие вздохи грудь белу волнуют.

«Душа отцвела;
Природа уныла;
Любовь изменила,
Любовь унесла
Надежду, надежду – мой сладкий удел.
Куда ты, мой ангел, куда улетел?
Ах, полно! я счастьем мирским насладилась:
Жила, и любила... и друга лишилась.

Теките струей
Вы, слезы горючи,
Дубравы дремучи,
Тоскуйте со мной.
Уж боле не встретить мне радостных дней;
Простилась, простилась я с жизнью моей:
Мой друг не воскреснет; что было, не будет...
И бывшего сердце вовек не забудет.
Ах! скоро ль пройдут
Унылые годы?

„Laß rinnen der Tränen vergeblichen Lauf,
 Es wecke die Klage den Toten nicht auf!
 Das süßeste Glück für die traurende Brust
 Nach der schönen Liebe verschwundener Lust
 Sind der Liebe Schmerzen und Klagen.“



AUS „DIE RÄUBER“

Schön wie Engel, voll Walhallas Wonne,
 Schön vor allen Jünglingen war er,
 Himmlisch mild sein Blick wie Maiensonne,
 Rückgestrahlt vom blauen Spiegelmeer.

Sein Umarmen — wütendes Entzücken! —
 Mächtig, feurig klopfte Herz an Herz,
 Mund und Ohr gefesselt — Nacht vor unsern Blicken —
 Und der Geist gewirbelt himmelwärts.

Sein Küsse — paradisisch Fühlen!
 Wie zwei Flammen sich ergreifen, wie
 Harfentöne ineinanderspielen
 Zu der himmelvollen Harmonie —

Stürzten, flogen, schmolzen Geist und Geist zusammen,
 Lippen, Wangen brannten, zitterten,
 Seele rann in Seele — Erd und Himmel schwammen
 Wie zerronnen um die Liebenden!

Er ist hin — vergebens, ach vergebens
 Stöhnet ihm der bange Seufzer nach!
 Er ist hin, und alle Lust des Lebens
 Wimmert hin in ein verlornes Ach!

С весною – природы
Красы расцветут...
Но сладкое счастье не дважды цветет.
Пусть же драгое в слезах оживет;
Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась;
Одна о минувшем тоска мне осталась».



ПЛАЧ ЛЮДМИЛЫ

Ангел был он красотою!
Маем кроткий взор блистал!
Все великою душою
Несравненный превышал!

Поцелуй – сладость рая,
Слитых пламеней струя,
Горних арф игра святая!
Небеса вкушала я!

Взором взор, душа душою
Распалялись – все цвело!
Мир сиял для нас весною,
Все нам радость в дар несло!

Неспостижное слиянье
Восхищенья и тоски,
Нежных ласк очарованье,
Огонь сжимающей руки!

Сердца сладостные муки –
Все прости... его уж нет!
Ах! прерви ж печаль разлуки,
Смерть, души последний свет!

KASSANDRA

Freude war in Trojas Hallen,
Eh die hohe Feste fiel,
Jubelhymnen hört man schallen
In der Saiten goldnes Spiel.
Alle Hände ruhen müde
Von dem tränenvollen Streit,
Weil der herrliche Pelide
Priams schöne Tochter freit.

Und geschmückt mit Lorbeerreisern,
Festlich wallet Schar auf Schar
Nach der Götter heil'gen Häusern,
Zu des Thymbriers Altar.
Dampf erbrausend durch die Gassen
Wälzt sich die bacchant'sche Lust,
Und in ihrem Schmerz verlassen
War nur eine traur'ge Brust.

Freudlos in der Freude Fülle,
Ungeellig und allein,
Wandelte Cassandra stille
In Apollos Lorbeerhain.
In des Waldes tiefste Gründe
Flüchtete die Seherin,
Und sie warf die Priesterbinde
Zu der Erde zürnend hin:

„Alles ist der Freude offen,
Alle Herzen sind beglückt,
Und die alten Eltern hoffen,
Und die Schwester steht geschmückt.
Ich allein muß einsam trauern,
Denn mich flieht der süße Wahn,
Und geflügelt diesen Mauern
Seh' ich das Verderben nahn.

КАССАНДРА

Все в обители Приама
 Возвещало брачный час,
Запах роз и фимиама,
 Гимны дев и лирный глас.
Спит гроза минувшей брани,
 Щит, и меч, и конь забыт,
Облечен в пурпурны ткани
 С Поликсеною Пелид.

Девы, юноши четами
 По узорчатым коврам,
Украшенные венками,
 Идут веселы во храм;
Стогны дышат фимиамом;
 В злато царский дом одет;
Снова счастье над Пергамом...
 Для Кассандры счастья нет.

Уклонясь от лирных звонов,
 Нелюдима и одна,
Дочь Приама в Аполлонов
 Древний лес удалена.
Сводом лавров осененна,
 Сбросив жрический покров,
Провозвестница священна
 Так роптала на богов:

«Там шумят веселых волны;
 Всем душа оживлена;
Мать, отец надеждой полны;
 В храм сестра приведена.
Я одна мечты лишенна,
 Ужас мне – что радость там;
Вижу, вижу: окрыленна
 Мчится Гибель на Пергам.

Eine Fackel seh' ich glühen,
Aber nicht in Hymens Hand,
Nach den Wolken seh' ich's ziehen,
Aber nicht wie Opferbrand.
Feste seh' ich froh bereiten,
Doch im ahnungsvollen Geist
Hör' ich schon des Gottes Schreiten,
Der sie jammervoll zerreißt.

Und sie schelten meine Klagen,
Und sie höhnen meinen Schmerz,
Einsam in die Wüste tragen
Muß ich mein gequältes Herz,
Von den Glücklichen gemieden
Und den Fröhlichen ein Spott!
Schweres hast du mir beschieden,
Pythischer, du arger Gott!

Dein Orakel zu verkünden,
Warum warfest du mich hin
In die Stadt der ewig Blinden,
Mit dem aufgeschloßnen Sinn?
Warum gabst du mir zu sehen,
Was ich doch nicht wenden kann?
Das Verhängte muß geschehen,
Das Gefürchtete muß nahn.

Frommt's, den Schleier aufzuheben,
Wo das nahe Schrecknis droht?
Nur der Irrtum ist das Leben,
Und das Wissen ist der Tod.
Nimm, o nimm die traur'ge Klarheit,
Mir vom Aug' den blut'gen Schein!
Schrecklich ist es, deiner Wahrheit
Sterbliches Gefäß zu sein.

Вижу факел – он светлее
 Не в Гименовых руках;
И не жертвы пламя рдеет
 На сгущенных облаках;
Зрю пиров уготовленье...
 Но... горе, по небесам,
Слышно бога приближенье,
 Предлетящего бедам.

И вотще мое стенанье,
 И печаль моя мне стыд:
Лишь с пустынями страданье
 Сердце сирое делит.
От счастливых отчужденна,
 Веселящимся позор,
Я тобой всех благ лишена,
 О предведения взор!

Что Кассандре дар вещанья
 В сем жилище скромных чад
Безмятежного незнанья,
 И блаженных им стократ?
Ах! почто оно предвидит
 То, чего не отвратит?..
Неизбежное приидет,
 И грозящее сразит.

И спасу ль их, открывая
 Близкий ужас их очам?
Лишь незнанье – жизнь прямая;
 Знанье – смерть прямая нам.
Феб, возьми твой дар опасный,
 Очи мне спеши затмить;
Тяжко истины ужасной
 Смертною скуделью быть...

Meine Blindheit gib mir wieder
Und den fröhlich dunkeln Sinn!
Nimmer sang ich freud'ge Lieder,
Seit ich d e i n e Stimme bin.
Zukunft hast du mir gegeben,
Doch du nahmst den Augenblick,
Nahmst der Stunde fröhlich Leben —
Nimm dein falsch Geschenk zurück.

Nimmer mit dem Schmuck der Bräute
Kränzt' ich mir das duft'ge Haar,
Seit ich deinem Dienst mich weihte
An dem traurigen Altar.
Meine Jugend war nur Weinen,
Und ich kannte nur den Schmerz,
Jede herbe Not der Meinen
Schlug an mein empfindend Herz.

Fröhlich seh' ich die Gespielen,
Alles um mich lebt und liebt
In der Jugend Lustgefühlen,
Mir nur ist das Herz getrübt.
Mir erscheint der Lenz vergebens,
Der die Erde festlich schmückt:
Wer erfreute sich des Lebens,
Der in seine Tiefen blickt!

Selig preis' ich Polyxenen
In des Herzens trunknem Wahn,
Denn den besten der Hellenen
Hofft sie bräutlich zu umfahn.
Stolz ist ihre Brust gehoben,
Ihre Wonne faßt sie kaum,
Nicht euch Himmlische dort oben
Neidet sie in ihrem Traum.

Я забыла славить радость,
 Став пророчицей твоей.
Слепоты погибшей сладость,
 Мирный мрак минувших дней,
С вами скрылись наслажденья!
 Он мне будущее дал,
Но веселие мгновенья
 Настоящего отнял.

Никогда покров венчальный
 Мне главы не осенит:
Вижу факел погребальный;
 Вижу: ранний гроб открыт.
Я с родными скучну младость
 Всю утратила в тоске –
Ах, могла ль делить их радость,
 Видя скорбь их вдалеке?

Их ласкает ожиданье;
 Жизнь, любовь передо мной;
Всё окрест очарованье –
 Я одна мертва душой.
Для меня весна напрасна;
 Мир цветущий пуст и дик...
Ах! сколь жизнь тому ужасна,
 Кто во глубь ее проник!

Сладкий жребий Поликсены!
 С женихом рука с рукой,
Взор, любовью распаленный,
 И гордясь сама собой,
Благ своих не постигает:
 В сновидениях златых
И бессмертья не желает
 За один с Пелидом миг.

Und auch ich hab' ihn gesehen,
Den das Herz verlangend wählt,
Seine schönen Blicke flehen,
Von der Liebe Glut beseelt.
Gerne möcht' ich mit dem Gatten
In die heim'sche Wohnung ziehn,
Doch es tritt ein styg'scher Schatten
Nächtlich zwischen mich und ihn.

Ihre bleichen Larven alle
Sendet mir Proserpina,
Wo ich wandre, wo ich walle,
Stehen mir die Geister da.
In der Jugend frohe Spiele
Drängen sie sich grausend ein,
Ein entsetzliches Gewühle —
Nimmer kann ich fröhlich sein.

Und den Mordstahl seh' ich blinken
Und das Mörderauge glühn,
Nicht zur Rechten, nicht zur Linken
Kann ich vor dem Schrecknis fliehn;
Nicht die Blicke darf ich wenden,
Wissend, schauend, unverwandt
Muß ich mein Geschick vollenden,
Fallend in dem fremden Land.“

Und noch hallen ihre Worte —
Horch! da dringt verworrner Ton
Fernher aus des Tempels Pforte:
Tot lag Thetis' großer Sohn!
Eris schüttelt ihre Schlangen,
Alle Götter fliehn davon,
Und des Donners Wolken hangen
Schwer herab auf Ilion.



И моей любви открылся
Тот, кого мы ждем душой:
Милый взор ко мне стремился,
Полный страстною тоской...
Но – для нас перед богами
Брачный гимн не возгремит;
Вижу: грозно между нами
Тень стигийская стоит.

Духи, бледною толпою
Покидая мрачный ад,
Вслед за мной и предо мною,
Неотступные, летят;
В резвы юношески лики
Вносят ужас за собой;
Внемля радостные клики,
Внемлю их надгробный вой.

Там сокрытый блеск кинжала;
Там убийцы взор горит;
Там невидимого жала
Яд погибелью грозит.
Все предчувствуя и зная,
В страшный путь сама иду:
Ты падешь, страна родная;
Я в чужбине гроб найду...»

И слова еще звучали...
Вдруг... шумит священный лес...
И зефиры глаз примчали:
«Пал великий Ахиллес!»
Машут Фурии змиями,
Боги мчатся к небесам...
И карающий громами
Грозно смотрит на Пергам.



. DAS GLÜCK

Selig, welchen die Götter, die gnädigen, vor der Geburt schon
Liebten, welchen als Kind Venus im Arme gewiegt,
Welchem Phöbus die Augen, die Lippen Hermes gelöset
Und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne gedrückt!
Ein erhabenes Los, ein göttliches, ist ihm gefallen,
Schon vor des Kampfes Beginn sind ihm die Schläfe bekränzt.
Ihm ist, eh er es lebte, das volle Leben gerechnet,
Eh er die Mühe bestand, hat er die Charis erlangt.
Groß zwar nenn' ich den Mann, der, sein eigener Bildner und Schöpfer,
Durch der Tugend Gewalt selber die Parze bezwingt;
Aber nicht erzwingt er das Glück, und was ihm die Charis
Neidisch geweigert, erringt nimmer der strebende Mut.
Vor Unwürdigem kann dich der Wille, der ernste, bewahren,
Alles Höchste, es kommt frei von den Göttern herab.
Wie die Geliebte dich liebt, so kommen die himmlischen Gaben,
Oben in Jupiters Reich herrscht, wie in Amors, die Gunst.
Neigungen haben die Götter, sie lieben der grünenden Jugend
Lockigte Scheitel, es zieht Freude die Fröhlichen an.
Nicht der Sehende wird von ihrer Erscheinung beseligt,
Ihrer Herrlichkeit Glanz hat nur der Blinde geschaut;
Gern erwählen sie sich der Einfalt kindliche Seele,
In das bescheidne Gefäß schließen sie Göttliches ein.
Ungehofft sind sie da und täuschen die stolze Erwartung,
Keines Bannes Gewalt zwinget die Freien herab.
Wem er geneigt, dem sendet der Vater der Menschen und Götter
Seinen Adler herab, trägt ihn zu himmlischen Höh'n.
Unter die Menge greift er mit Eigenwillen, und welches
Haupt ihm gefället, um das flicht er mit liebender Hand
Jetzt den Lorbeer und jetzt die herrschaftgebende Binde;
Krönte doch selber den Gott nur das gewogene Glück.
Vor dem Glücklichen her tritt Phöbus, der pythische Sieger.
Und der die Herzen bezwingt, Amor, der lächelnde Gott.
Vor ihm ebnet Poseidon das Meer, sanft gleitet des Schiffes
Kiel, das den Cäsar führt und sein allmächtiges Glück.
Ihm zu Füßen legt sich der Leu, das brausende Delphin

СЧАСТИЕ

Блажен, кто, богами еще до рожденья любимый,
На сладостном лоне Киприды взлелеян младенцем;
Кто очи от Феба, от Гермеса дар убеждения принял,
А силы печать на чело – от руки громовержца.
Великий, божественный жребий счастливица постигнул;
Еще до начала сраженья победой увенчан:
Любимец Хариты, пленяет, труда не приемля.
Великим да будет, кто, собственной силы созданье,
Душою превыше и тайныя Парки и Рока;
Но счастье и Граций улыбка не силе подвластны.
Высокое прямо с Олимпа на избранных небом нисходит:
Как сердце любовницы, полное тайныя страсти,
Так все громовержца дары неподкупны; единый
Закон предпочтенья в жилищах Эрота и Зевса;
И боги в послании благ повинуются сердцу:
Им милы бесстрашного юноши гордая поступь,
И взор непреклонный, владычества смелого полный,
И волны власов, отенивших чело и ланиты.
Веселому чувствовать радость; слепым, а не зрящим
Бессмертные в славе чудесной себя открывают:
Им мил простоты непорочныя девственный образ;
И в скромном сосуде небесное любит скрываться;
Презреньем надежду кичливой гордыни смиряют;
Свободные силе и гласу мольбы не подвластны.
Лишь к избранным с неба орлу-громоносцу Кронион
Велит ниспускаться – да мчит их в обитель Олимпа;
Свободно в толпе земнородных заметив любимцев,
Лишь им на главу налагает рукою пристрастной
То лавр песнопевца, то власти державной повязку;
Лишь им предлетит стрелоносный сразитель Пифона,
Лишь им и Эрот златокрылый, сердец повелитель;
Их судно трезубец Нептуна, равняющий бездны,
Ведет с неприступной фортуною Кесаря к берегу;
Пред ними смиряется лев, и дельфин из пучины

Steigt aus den Tiefen, und fromm beut es den Rücken ihm an.
Zürne dem Glücklichen nicht, daß den leichten Sieg ihm die Götter
Schenken, daß aus der Schlacht Venus den Liebling entrückt.
Ihn, den die Lächelnde rettet, den Göttergeliebten beneid' ich,
Jenen nicht, dem sie mit Nacht deckt den verdunkelten Blick.
War er weniger herrlich, Achilles, weil ihm Hephästos
Selbst geschmiedet den Schild und das verderbliche Schwert,
Weil um den sterblichen Mann der große Olymp sich beweget?
Das verherrlichtet ihn, daß ihn die Götter geliebt,
Daß sie sein Zürnen geehrt und, Ruhm dem Liebling zu geben,
Hellas' bestes Geschlecht stürzten zum Orkus hinab.
Zürne der Schönheit nicht, daß sie schön ist, daß sie verdienstlos,
Wie der Lilie Kelch, prangt durch der Venus Geschenk;
Laß sie die Glückliche sein — du schaust sie, du bist der Beglückte,
Wie sie ohne Verdienst glänzt, so entzückt sie dich.
Freue dich, daß die Gabe des Lieds vom Himmel herabkommt,
Daß der Sänger dir singt, was ihn die Muse gelehrt;
Weil der Gott ihn beseelt, so wird der dem Hörer zum Gotte,
Weil er der Glückliche ist, kannst du der Selige sein.
Auf dem geschäftigen Markt, da führe Themis die Waage,
Und es messe der Lohn streng an der Mühe sich ab;
Aber die Freude ruft nur ein Gott auf sterbliche Wangen,
Wo kein Wunder geschieht, ist kein Beglückter zu sehn.
Alles Menschliche muß erst werden und wachsen und reifen,
Und von Gestalt zu Gestalt führt es die bildende Zeit;
Aber das Glückliche siehest du nicht, das Schöne nicht werden,
Fertig von Ewigkeit her steht es vollendet vor dir.
Jede irdische Venus ersteht, wie die erste des Himmels,
Eine dunkle Geburt aus dem unendlichen Meer;
Wie die erste Minerva, so tritt, mit der Aegis gerüstet,
Aus des Donnerers Haupt jeder Gedanke des Lichts.



Хребтом благотворным их, бурей гонимых, изъе­млет.
Над всем красота повелитель рожденный; подобие бога,
Единым спокойным явлением она побеждает.
Не сетуй, что боги счастли­вца некупленным лавром венчают,
Что он, от меча и стрелы покровенный Кипридой,
Исходит безвредно из битвы, летя насладиться любовью;
И менее ль славы Ахиллу, что он огражден невредимым
Щитом, искованьем Гефестова дивного млата,
Что смертный единый все древнее небо в смятенье приводит?
Тем выше великий, что боги с великим в союзе,
Что, гневом его распаляся, любимцу во славу,
Эленов избраннейших в бездну Тенара низводят.
Пусть будет красою краса – не завидуй, что прелесть ей с неба,
Как лилиям пышность, дана без заслуги Цитерой;
Пусть будет блаженна, пленяя; пленяйся – тебе наслаждение.
Не сетуй, что дар песнопенья с Олимпа на избранных сходит;
Что сладкий певец вдохновеньем невидимой арфы наполнен:
Скрывающий бога в душе претворен и для внемлющих в бога;
Он счастлив собою – ты, им наслаждаясь, блаженствуй.
Пускай пред зеркалом Фемиды венок отдается заслуге –
Но радость лишь боги на смертное око низводят.
Где не было чуда, вотще там искать и счастли­вца.
Все смертное прежде родится, растет, созревает,
Из образа в образ ведомое зиж­дущим Кроном;
Но счастья мы и красы никогда в созревании не видим:
От века они совершенны во всем совершенстве создания;
Не зрим ни единой земная Венеры, как прежде небесной,
В ее сокровенном исходе из тайных обителей моря;
Как древле Минерва, в бессмертный эгид и шелом ополченна,
Так каждая светлая мысль из главы гро­мовержца родится.



DER PILGRIM

Noch in meines Lebens Lenze
 War ich, und ich wandert' aus,
Und der Jugend frohe Tänze
 Ließ ich in des Vaters Haus.

All mein Erbteil, meine Habe
 Warf ich fröhlich glaubend hin,
Und am leichten Pilgerstabe
 Zog ich fort mit Kindersinn.

Denn mich trieb ein mächtig Hoffen
 Und ein dunkles Glaubenswort:
Wandle, rief's, der Weg ist offen,
 Immer nach dem Aufgang fort.

Bis zu einer goldnen Pforten
 Du gelangst, da gehst du ein,
Denn das Irdische wird dorten
 Himmlisch unvergänglich sein.

Abend ward's und wurde Morgen,
 Nimmer, nimmer stand ich still,
Aber immer blieb's verborgen,
 Was ich suche, was ich will.

Berge lagen mir im Wege,
 Ströme hemmten meinen Fuß,
Über Schlünde baut' ich Stege,
 Brücken durch den wilden Fluß.

Und zu eines Stroms Gestaden
 Kam ich, der nach Morgen floß,
Froh vertrauend seinem Faden,
 Werf ich mich in seinen Schoß.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Песня

Дней моих еще весною
Отчий дом покинул я;
Все забыто было мною –
И семейство и друзья.

В ризе странника убогой,
С детской в сердце простотой,
Я пошел путем-дорогой –
Вера был вожатый мой.

И в надежде, в увереньи
Путь казался недалек,
«Странник, – слышалось, – терпенье!
Прямо, прямо на восток.

Ты увидишь храм чудесный;
Ты в святилище войдешь;
Там в нетленности *небесной*
Все *земное* обретешь».

Утро вечером сменялось;
Вечер утру уступал;
Неизвестное скрывалось;
Я искал – не обретаю.

Там встречались мне пучины;
Здесь высоких гор хребты;
Я взбирался на стремнины;
Чрез потоки стлал мосты.

Вдруг река передо мною –
Вод склоненье на восток;
Вижу зыблемый струею
Подле берега челнок.

Я в надежде, я в смятеньи;
Предаю себя волнам;
Счастье вижу в отдаленьи;
Все, что мило, – мнится – там!

Hin zu einem großen Meere
Trieb mich seiner Wellen Spiel,
Vor mir liegt's in weiter Leere,
Näher bin ich nicht dem Ziel.

Ach kein Steg will dahin führen,
Ach der Himmel über mir
Will die Erde nie berühren,
Und das Dort ist niemals hier!



DER JÜNGLING AM BACHE

An der Quelle saß der Knabe
Blumen wand er sich zum Kranz,
Und er sah sie fortgerissen,
Treiben in der Wellen Tanz:
Und so fliehen meine Tage
Wie die Quelle rastlos hin!
Und so bleichet meine Jugend,
Wie die Kränze schnell verblühn!

Fraget nicht, warum ich traure
In des Lebens Blütenzeit!
Alles freuet sich und hoffet,
Wenn der Frühling sich erneut.
Aber diese tausend Stimmen
Der erwachenden Natur
Wecken in dem tiefen Busen
Mir den schweren Kummer nur.

Was soll mir die Freude frommen,
Die der schöne Lenz mir beut?
Eine nur ist's, die ich suche,
Sie ist nah und ewig weit.
Sehnend breit' ich meine Arme
Nach dem teuren Schattenbild,

Ах! в безвестном океане
Очутился мой челнок;
Даль по-прежнему в тумане;
Брег невидим и далек.

И вовеки надо мною
Не сольется, как поднесь,
Небо светлое с землею...
Там не будет вечно здесь.



ЖАЛОБА

Романс

Над прозрачными водами
Сидя, рвал Улад венки;
И шумящими волнами
Уносил цветы поток.
«Так бегут лета молодые
Невозвратною струей;
Так все радости земные –
Цвет увядший полевой.

Ах! безвременной тоскою
Умерщвлен мой милый цвет.
Все воскреснуло с весною;
Обновился Божий свет;
Я смотрю – и холм веселый
И поля омрачены;
Для души осиротелой
Нет цветущия весны.

Ach, ich kann es nicht erreichen,
Und das Herz bleibt ungestillt!

Komm herab, du schöne Holde,
Und verlaß dein stolzes Schloß!
Blumen, die der Lenz geboren,
Streu' ich dir in deinen Schoß.
Horch, der Hain erschallt von Liedern,
Und die Quelle rieselt klar!
Raum ist in der kleinsten Hütte
Für ein glücklich liebend Paar.



SEHNSUCHT

Ach, aus dieses Tales Gründen,
Die der kalte Nebel drückt,
Könnst' ich doch den Ausgang finden,
Ach wie fühlt' ich mich beglückt!
Dort erblick' ich schöne Hügel,
Ewig jung und ewig grün!
Hätt' ich Schwingen, hätt' ich Flügel,
Nach den Hügeln zog' ich hin.

Harmonien hör' ich klingen,
Töne süßer Himmelsruh',
Und die leichten Winde bringen
Mir der Düfte Balsam zu.
Goldne Früchte seh' ich glühen,
Winkend zwischen dunkelm Laub,
Und die Blumen, die dort blühen,
Werden keines Winters Raub.

Ach wie schön muß sich's ergehen
Dort im ew'gen Sonnenschein,

Что в природе, озаренной
Красотою майских дней?
Есть *одна* во всей вселенной –
К *ней* душа, и мысль об *ней*;
К *ней* стремлю, забывшись, руки –
Милый призрак прочь летит.
Кто ж мои услышит муки,
Жажду сердца утолит?»



ЖЕЛАНИЕ

Романс

Озарися, дол туманный;
Расступися, мрак густой;
Где найду исход желанный;
Где воскресну я душой?
Испещренные цветами,
Красны холмы вижу там...
Ах! зачем я не с крылами?
Полетел бы я к холмам.

Там поют согласны лиры,
Там обитель тишины;
Мчат ко мне оттоль зефиры
Благовония весны;
Там блестят плоды златые
На сенистых деревьях;
Там не слышны вихри злые
На пригорках, на лугах.

О предел очарованья!
Как прелестна там весна;

Und die Luft auf jenen Höhen,
O wie labend muß sie sein!
Doch mir wehrt des Stromes Toben,
Der ergrimmt dazwischen braust,
Seine Wellen sind gehoben,
Daß die Seele mir ergraust.

Einen Nachen seh' ich schwanken,
Aber ach! der Fährmann fehlt.
Frisch hinein und ohne Wanken!
Seine Segel sind beseelt.
Du mußt glauben, du mußt wagen,
Denn die Götter leihn kein Pfand,
Nur ein Wunder kann dich tragen
In das schöne Wunderland.



DIE KRANICHE DES IBYKUS

Zum Kampf der Wagen und Gesänge
Der auf Korinthus' Landesenge
Der Griechen Stämme froh vereint,
Zog Ibykus der Götterfreund.
Ihm schenkte des Gesanges Gabe,
Der Lieder süßen Mund Apoll;
So wandert' er an leichtem Stabe,
Aus Rhegium, des Gottes voll.

Schon winkt auf hohem Bergesrücken
Akrokorinth des Wandrers Blicken,
Und in Poseidons Fichtenhain
Tritt er mit frommem Schauder ein.
Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme
Von Kranichen begleiten ihn,

Как от юных роз дыханья
Там душа оживлена!
Полечу туда... напрасно!
Нет путей к сим берегам;
Предо мной поток ужасный
Грозно мчится по скалам.

Лодку вижу... где ж вожатый?
Едем!.. будь, что суждено...
Паруса ее крылаты,
И весло оживлено.
Верь тому, что сердце скажет;
Нет залогов от небес;
Нам лишь чудо путь укажет
В сей волшебный край чудес.



ИВИКОВЫ ЖУРАВЛИ

На Посидонов пир веселый,
Куда стекались чада Гелы
Зреть бег коней и бой певцов,
Шел Ивик, скромный друг богов.
Ему с крылатою мечтою
Послал дар песней Аполлон;
И с лирой, с легкою клюкою,
Шел, вдохновенный, к Истму он.

Уже его открыли взоры
Вдали Акрокоринф и горы,
Слиянны с синевой небес.
Он входит в Посидонов лес...
Все тихо: лист не колыхнется;
Лишь журавлей по вышине

Die fernhin nach des Südens Wärme
In graulichem Geschwader ziehn.

„Seid mir begrüßt, befreundete Scharen,
Die mir zur See Begleiter waren!
Zum guten Zeichen nehm' ich euch,
Mein Los, es ist dem euren gleich:
Von fernher kommen wir gezogen
Und flehen um ein wirtlich Dach.
Sei uns der Gastliche gewogen,
Der von dem Fremdling wehrt die Schmach!“

Und munter fördert er die Schritte
Und sieht sich in des Waldes Mitte,
Da sperren auf gedrangem Steg
Zwei Mörder plötzlich seinen Weg.
Zum Kampfe muß er sich bereiten,
Doch bald ermattet sinkt die Hand,
Sie hat der Leier zarte Saiten,
Doch nie des Bogens Kraft gespannt.

Er ruft die Menschen an, die Götter,
Sein Flehen dringt zu keinem Retter;
Wie weit er auch die Stimme schickt,
Nichts Lebendes wird hier erblickt.
„So muß ich hier verlassen sterben,
Auf fremdem Boden, unbeweint,
Durch böser Buben Hand verderben,
Wo auch kein Rächer mir erscheint!“

Und schwer getroffen sinkt er nieder,
Da rauscht der Kraniche Gefieder;
Er hört, schon kann er nicht mehr sehn,
Die nahen Stimmen furchtbar krähn.
„Von euch, ihr Kraniche, dort oben,
Wenn keine andre Stimme spricht,
Sei meines Mordes Klag' erhoben!“
Er ruft es, und sein Auge bricht.

Шумящая станица вьется
В страны полуденны к весне.

«О спутники, ваш рой крылатый,
Досель мой верный провожатый,
Будь добрым знаменем мне.
Сказав: прости! родной стране,
Чужого берега посетитель,
Ищу приюта, как и вы;
Да отвратит Зевес-хранитель
Беду от странничьей главы».

И с твердой верою в Зевеса
Он в глубину вступает леса;
Идет заглохшею тропой...
И зрит убийц перед собой.
Готов сразиться он с врагами;
Но час судьбы его приспел:
Знакомый с лирными струнами,
Напрячь он лука не умел.

К богам и к людям он взывает...
Лишь эхо стоны повторяет –
В ужасном лесе жизни нет.
«И так погибну в цвете лет,
Истлею здесь без погребенья
И не оплакан от друзей;
И сим врагам не будет мщенья,
Ни от богов, ни от людей».

И он боролся уж с кончиной...
Вдруг... шум от стаи журавлиной;
Он слышит (взор уже угас)
Их жалобно-стелящий глас.
«Вы, журавли под небесами,
Я вас в свидетели зову!
Да грянет, привлеченный вами,
Зевесов гром на их главу».

Der nackte Leichnam wird gefunden,
Und bald, obgleich entstellt von Wunden,
Erkennt der Gastfreund in Korinth
Die Züge, die ihm teuer sind.
„Und muß ich so dich wiederfinden,
Und hoffte mit der Fichte Kranz
Des Sängers Schläfe zu umwinden,
Bestrahlt von seines Ruhmes Glanz!“

Und jammernd hören's alle Gäste,
Versammelt bei Poseidons Feste,
Ganz Griechenland ergreift der Schmerz,
Verloren hat ihn jedes Herz.
Und stürmend drängt sich zum Prytanen
Das Volk, es fordert seine Wut,
Zu rächen des Erschlagenen Mannen,
Zu sühnen mit des Mörders Blut.

Doch wo die Spur, die aus der Menge,
Der Völker flutendem Gedränge,
Gelocket von der Spiele Pracht,
Den schwarzen Täter kenntlich macht?
Sind's Räuber, die ihn feig erschlagen?
Tat's neidisch ein verborgner Feind?
Nur Helios vermag's zu sagen,
Der alles Irdische bescheint.

Er geht vielleicht mit frechem Schritte
Jetzt eben durch der Griechen Mitte,
Und während ihn die Rache sucht,
Genießt er seines Frevels Frucht.
Auf ihres eignen Tempels Schwelle
Trotzt er vielleicht den Göttern, mengt
Sich dreist in jene Menschenwelle,
Die dort sich zum Theater drängt.

И труп узрели обнаженный:
Рукой убийцы искаженны
Черты прекрасного лица.
Коринфский друг узнал певца.
«И ты ль недвижим предо мною?
И на главу твою, певец,
Я мнил торжественной рукою
Сосновый положить венец».

И внемлют гости Посидона,
Что пал наперсник Аполлона...
Вся Греция поражена;
Для всех сердец печаль одна.
И с диким ревом исступленья
Пританов окружил народ
И вопит: «Старцы, мщенья, мщенья!
Злодеям казнь, их сгибни род!»

Но где их след? Кому приметно
Лицо врага в толпе несметной
Притекших в Посидонов храм?
Они ругаются богам.
И кто ж – разбойник ли презренный
Иль тайный враг удар нанес?
Лишь Гелиос то зрел священный,
Все озаряющий с небес.

С подъятой, может быть, главою,
Между шумящею толпою,
Злодей сокрыт в сей самый час
И хладно внемлет скорби глас;
Иль в капище, склонив колени,
Жжет ладан гнусною рукою;
Или теснится на ступени
Амфитеатра за толпой,

Denn Bank an Bank gedrängt sitzen,
Es brechen fast der Bühne' Stützen,
Herbeigeströmt von fern und nah,
Der Griechen Völker wartend da.
Dumpfbrausend wie des Meeres Wogen,
Von Menschen wimmelnd, wächst der Bau
In weiter stets geschweiftem Bogen
Hinauf bis in des Himmels Blau.

Wer zählt die Völker, nennt die Namen,
Die gastlich hier zusammenkamen?
Von Kekrops' Stadt, von Aulis' Strand,
Von Phokis, vom Spartanerland,
Von Asiens entlegner Küste,
Von allen Inseln kamen sie
Und horchen von dem Schaugerüste
Des Chores grauser Melodie,

Der streng und ernst nach alter Sitte,
Mit langsam abgemeßnem Schritte,
Hervortritt aus dem Hintergrund,
Umwandelnd des Theaters Rund.
So schreiten keine ird'schen Weiber,
Die zeugete kein sterblich Haus!
Es steigt das Riesenmaß der Leiber
Hoch über Menschliches hinaus.

Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden,
Sie schwingen in entfleischten Händen
Der Fackel düsterrote Glut,
In ihren Wangen fließt kein Blut.
Und wo die Haare lieblich flattern,
Um Menschenstirnen freundlich wehn,
Da sieht man Schlangen hier und Nattern
Die giftgeschwollenen Bäuche blähn.

Где, устремив на сцену взоры
(Чуть могут их сдержать подпоры),
Пришед из ближних, дальних стран,
Шумя, как смутный океан,
Над рядом ряд, сидят народы;
И движутся, как в бурю лес,
Людьми кипящи переходы,
Всходя до синевы небес.

И кто сочтет разноплеменных,
Сим торжеством соединенных?
Пришли отсюда: от Афин,
От древней Спарты, от Микин,
С пределов Азии далекой,
С Эгейских вод, с Фракийских гор...
И сели в тишине глубокой,
И тихо выступает хор.

По древнему обряду, важно,
Походкой мерной и протяжной,
Священным страхом окружен,
Обходит вокруг театра он.
Не шествуют так персти чада;
Не здесь их колыбель была.
Их стана дивная громада
Предел земного перешла.

Идут с поникшими главами
И движут тощими руками
Свечи, от коих темный свет;
И в их ланитах крови нет;
Их мертвы лица, очи впалы;
И свитые меж их власов
Эхидны движут с свистом жалы,
Являя страшный ряд зубов.

Und schauerlich, gedreht im Kreise,
Beginnen sie des Hymnus Weise,
Der durch das Herz zerreiend dringt,
Die Bande um den Frevler schlingt.
Besinnungraubend, herzbetrend
Schallt der Erinnyen Gesang.
Er schallt, des Hrers Mark verzehrend,
Und duldet nicht der Leier Klang:

„Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle
Bewahrt die kindlich reine Seele!
Ihm drfen wir nicht rchend nahn,
Er wandelt frei des Lebens Bahn.
Doch wehe, wehe, wer verstohlen
Des Mordes schwere Tat vollbracht!
Wir heften uns an seine Sohlen,
Das furchtbare Geschlecht der Nacht.

Und glaubt er fliehend zu entspringen,
Geflgelt sind wir da, die Schlingen
Ihm werfend um den flchtgen Fu,
Da er zu Boden fallen mu.
So jagen wir ihn ohn' Ermatten,
Vershnen kann uns keine Reu',
Ihn fort und fort bis zu den Schatten.
Und geben ihn auch dort nicht frei.“

So singend, tanzen sie den Reigen,
Und Stille, wie des Todes Schweigen,
Liegt berm ganzen Hause schwer,
Als ob die Gottheit nahe wr'.

Und feierlich, nach alter Sitte,
Umwandelnd des Theaters Rund,
Mit langsam abgemenem Schritte
Verschwinden sie im Hintergrund.

И стали вокруг, сверкая взором;
И гимн запели диким хором,
В сердца вонзающий боязнь;
И в нем преступник слышит: *казнь!*
Гроза души, ума смутитель,
Эринний страшный хор гремит;
И, цепenea, внемлет зритель;
И лира, онемев, молчит:

«Блажен, кто незнаком с виною,
Кто чист младенчески душою!
Мы не дерзнем ему вослед;
Ему чужда дорога бед...
Но вам, убийцы, горе, горе!
Как тень, за вами всюду мы,
С грозою мщения во взоре,
Ужасные созданья тьмы.

Не мните скрыться – мы с крылами;
Вы в лес, вы в бездну – мы за вами;
И, спутав вас в своих сетях,
Растерзанных бросаем в прах.
Вам покаянье не защита;
Ваш стон, ваш плач – веселье нам;
Терзать вас будем до Коцита,
Но не покинем вас и там».

И песнь ужасных замолчала;
И над внимавшими лежала,
Богинь присутствием полна,
Как над могилой, тишина.
И тихой, мерною стопою
Они обратно потекли,
Склонив главы, рука с рукою,
И скрылись медленно вдали.

Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet
Noch zweifelnd jede Brust und bebet
Und huldiget der furchtbarn Macht,
Die richtend im Verborgnen wacht,
Die unerforschlich, unergründet
Des Schicksals dunkeln Knäuel flicht,
Dem tiefen Herzen sich verkündet,
Doch fliehet vor dem Sonnenlicht.

Da hört man auf den höchsten Stufen
Auf einmal eine Stimme rufen:
„Sieh da! Sieh da, Timotheus,
Die Kraniche des Ibykus!“ —
Und finster plötzlich wird der Himmel,
Und über dem Theater hin
Sieht man in schwärzlichem Gewimmel
Ein Kranichheer vorüberziehn.

„Des Ibykus!“ — Der teure Name
Rührt jede Brust mit neuem Grame,
Und wie im Meere Well' auf Well'
So läuft's von Mund zu Munde schnell:
„Des Ibykus? den wir beweinen?
Den eine Mörderhand erschlug!
Was ist's mit dem? was kann er meinen?
Was ist's mit diesem Kranichzug?“

Und lauter immer wird die Frage,
Und ahnend fliegt's mit Blitzesschlage
Durch alle Herzen: „Gebet acht.
Das ist der Eumeniden Macht!
Der fromme Dichter wird gerochen,
Der Mörder bietet selbst sich dar.
Ergreift ihn, der das Wort gesprochen,
Und ihn, an den's gerichtet war!“

И зритель – зыблемый сомнением
Меж истиной и заблуждением –
Со страхом мнит о Силе той,
Которая, во мгле густой
Скрываясь, неизбежима,
Вьет нити роковых сетей,
Во глубине лишь сердца зрима,
Но скрыта от дневных лучей.

И все, и все еще в молчанье...
Вдруг на ступенях восклицанье:
«Парфений, слышишь?.. Крик вдали –
То Ивиковы журавли!..»
И небо вдруг покрылось тьмою;
И воздух весь от крыл шумит;
И видят... черной полосой
Станица журавлей летит.

«Что? Ивик!..» Все поколебалось –
И имя Ивика помчалось
Из уст в уста... шумит народ,
Как бурная пучина вод.
«Наш добрый Ивик! наш сраженный
Врагом неизвестным поэт!..
Что, что в сем слове сокровенно?
И что сих журавлей полет?»

И всем сердцам в одно мгновенье,
Как будто свыше откровенье,
Блеснула мысль: «Убийца тут;
То Эменид ужасных суд;
Отмщенье за певца готово;
Себе преступник изменил.
К суду и тот, кто молвил слово,
И тот, кем он внимаем был!»

Doch dem war kaum das Wort entfahren,
Möcht' er's im Busen gern bewahren;
Umsonst! der schreckenbleiche Mund
Macht schnell die Schuldbewußten kund.
Man reißt und schleppt sie vor den Richter,
Die Szene wird zum Tribunal,
Und es gestehn die Bösewichter,
Getroffen von der Rache Strahl.



DIE IDEALE

So willst du treulos von mir scheiden
Mit deinen holden Phantasien,
Mit deinen Schmerzen, deinen Freuden,
Mit allen unerbittlich fliehn?
Kann nichts dich, Fliehende, verweilen,
O meines Lebens goldne Zeit?
Vergebens, deine Wellen eilen
Hinab ins Meer der Ewigkeit.

Erloschen sind die heitern Sonnen,
Die meiner Jugend Pfad erhellt,
Die Ideale sind zerronnen,
Die einst das trunkne Herz geschwellt;
Er ist dahin, der süße Glaube
An Wesen, die mein Traum gebar,
Der rauhen Wirklichkeit zum Raube,
Was einst so schön, so göttlich war.

Wie einst mit flehendem Verlangen
Pygmalion den Stein umschloß,
Bis in des Marmors kalte Wangen
Empfindung glühend sich ergoß,
So schlang ich mich mit Liebesarmen

И бледен, трепетен, смятенный,
Незапной речью обличенный,
Исторгнут из толпы злодей:
Перед седалище судей
Он привлечен с своим клеветом;
Смущенный вид, склоненный взор
И тщетный плач был их ответом;
И смерть была им приговор.



МЕЧТЫ

Песня

Зачем так рано изменила?
С мечтами, радостью, тоской
Куда полет свой устремила?
Неумолимая, постой!
О дней моих весна золотая,
Постой... тебе возврата нет...
Летит, молитве не внимая;
И все за ней помчалось вслед.

О! где ты, луч, путеводитель
Веселых юношеских дней?
Где ты, надежда, обольститель
Неопытной души моей?
Уж нет ее, сей веры милой
К твореньям пламенной мечты...
Добыча истине унылой
Призраков прежних красоты.

Как древле рук своих созданье
Боготворил Пигмалион –

Um die Natur, mit Jugendlust,
Bis sie zu atmen, zu erwärmen
Begann an meiner Dichterbrust,

Und, teilend meine Flammentriebe,
Die Stumme eine Sprache fand,
Mir wiedergab den Kuß der Liebe
Und meines Herzens Klang verstand;
Da lebte mir der Baum, die Rose,
Mir sang der Quellen Silberfall,
Es fühlte selbst das Seelenlose
Von meines Lebens Wiederhall.

Es dehnte mit allmächt'gem Streben
Die enge Brust ein kreißend All,
Herauszutreten in das Leben,
In Tat und Wort, in Bild und Schall.
Wie groß war diese Welt gestaltet,
Solang die Knospe sie noch barg;
Wie wenig, ach! hat sich entfaltet,
Dies Wenige, wie klein und karg!

Wie sprang, von kühnem Mut beflügelt,
Beglückt in seines Traumes Wahn,
Von keiner Sorge noch gezügelt,
Der Jüngling in des Lebens Bahn!
Bis an des Äthers bleichste Sterne
Erhob ihn der Entwürfe Flug,
Nichts war so hoch und nichts so ferne,
Wohin ihr Flügel ihn nicht trug.

Wie leicht ward er dahingetragen,
Was war dem Glücklichen zu schwer!
Wie tanzte vor des Lebens Wagen
Die luftige Begleitung her!
Die Liebe mit dem süßen Lohne,
Das Glück mit seinem goldnen Kranz,

И мрамор внял любви стенанье,
И мертвый был одушевлён, –
Так пламенно объята мною
Природа хладная была;
И, полная моей душою,
Она подвиглась, ожила.

И, юноши деля желанье,
Немая обрела язык:
Мне отвечала на лобзанье,
И сердца глас в нее проник.
Тогда и древо жизнь прияло,
И чувство ощутил ручей,
И мертвое отзвѣвом стало
Пылающей души моей.

И неестественным стремленьем
Весь мир в мою теснился грудь;
Картиной, звуком, выраженьем
Во все я жизнь хотел вдохнуть.
И в нежном семени сокрытый,
Сколь пышным мне казался свет...
Но ах! сколь мало в нем развито!
И малое – сколь бедный цвет.

Как бодро, следом за мечтою
Волшебным очарован сном,
Забот не связанный уздою,
Я жизни полетел путем.
Желанье было – исполненье;
Успех отвагу пламенил:
Ни высота, ни отдаленье
Не ужасали смелых крыл.

И быстро жизни колесница
Стезею младости текла;
Ее воздушная станица

Der Ruhm mit seiner Sternenkrone,
Die Wahrheit in der Sonne Glanz!

Doch, ach! schon auf des Weges Mitte
Verloren die Begleiter sich,
Sie wandten treulos ihre Schritte,
Und einer nach dem andern wich.
Leichtfüßig war das Glück entflohen,
Des Wissens Durst blieb ungestillt,
Des Zweifels finstre Wetter zogen
Sich um der Wahrheit Sonnenbild.

Ich sah des Ruhmes heil'ge Kränze
Auf der gemeinen Stirn entweiht.
Ach, allzuschnell, nach kurzem Lenze,
Entfloh die schöne Liebeszeit!
Und immer stiller ward's und immer
Verlaßner auf dem rauhen Steg;
Kaum warf noch einen bleichen Schimmer
Die Hoffnung auf den finstern Weg.

Von all dem rauschenden Geleite,
Wer harrete liebend bei mir aus?
Wer steht mir tröstend noch zur Seite
Und folgt mir bis zum finstern Haus?
Du, die du alle Wunden heilest,
Der Freundschaft leise, zarte Hand,
Des Lebens Bürden liebend teilest,
Du, die ich früher suchte und fand.

Und du, die gern sich mit ihr gattet,
Wie sie der Seele Sturm beschwört,
Beschäftigung, die nie ermattet,
Die langsam schafft, doch nie zerstört,

Веселых призраков влекла:
Любовь с прелестными дарами,
С алмазным Счастье ключом,
И Слава с звездными венцами,
И с ярким Истина лучом.

Но, ах!.. еще с полудороги,
Наскучив резвою игрой,
Вожди отстали быстроноги...
За роем вслед умчался рой.
Украдкой Счастье сокрылось;
Изменой Знание ушло;
Сомненья тучей обложилось
Священной Истины чело.

Я зрел, как дерзкою рукою
Презренный славу похищал;
И быстро с быстрою весною
Прелестный цвет Любви увял.
И все пустынно, тихо стало
Окрест меня и предо мной!
Едва Надежды лишь сияло
Светило над моей тропой.

Но кто ж из сей толпы крылатой
Один с любовью мне вослед,
Мой до могилы провожатый,
Участник радостей и бед?..
Ты, уз житейских облегчитель,
В душевном мраке милый свет,
Ты, Дружба, сердца исцелитель,
Мой добрый гений с юных лет.

И ты, товарищ мой любимый,
Души хранитель, как она,
Друг верный, Труд неутомимый,
Кому святая власть дана:

Die zu dem Bau der Ewigkeiten
Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht,
Doch von der großen Schuld der Zeiten
Minuten, Tage, Jahre streicht.



THEKLA

Eine Geisterstimme

Wo ich sei, und wo mich hingewendet,
Als mein flücht'ger Schatte dir entschwebt?
Hab ich nicht beschlossen und geendet,
Hab ich nicht geliebet und gelebt?

Willst du nach den Nachtigallen fragen,
Die mit seelenvoller Melodie
Dich entzückten in des Lenzes Tagen,
Nur solange sie liebten, waren sie.

Ob ich den Verlorenen gefunden?
Glaube mir, ich bin mit ihm vereint,
Wo sich nicht mehr trennt, was sich verbunden,
Dort, wo keine Träne wird geweint.

Dorten wirst auch du uns wiederfinden,
Wenn dein Lieben unserm Lieben gleicht,
Dort ist auch der Vater, frei von Sünden,
Den der blut'ge Mord nicht mehr erreicht.

Und er fühlt, daß ihn kein Wahn betrogen,
Als er aufwärts zu den Sternen sah,
Denn wie jeder wägt, wird ihm gewogen,
Wer es glaubt, dem ist das Heil'ge nah.

Wort gehalten wird in jenen Räumen
Jedem schönen gläubigen Gefühl,
Wage du, zu irren und zu träumen,
Hoher Sinn liegt oft in kind'schem Spiel.

Всегда творить не разрушая,
Мирить печального с судьбой
И, силу в сердце водворяя,
Беречь в нем ясность и покой.



ГОЛОС С ТОГО СВЕТА

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О друг, я все земное совершила;
Я на земле любила и жила.

Нашла ли их? Сбылись ли ожидания?
Без страха верь; обмана сердцу нет;
Сбылося все; я в стороне свиданья;
И знаю *здесь*, сколь *ваш* прекрасен свет.

Друг, на *земле* великое не тщетно;
Будь тверд, а *здесь* тебе не изменят;
О милый, *здесь* не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.

Не унывай: минувшее с тобою;
Незрима я, но в мире мы одном;
Будь верен мне прекрасною душою;
Сверши *один* начатое *вдвоем*.

DER BESUCH

Nimmer, das glaubt mir,
Erscheinen die Götter,
Nimmer, allein
Kaum daß ich Bacchus, den lustigen, habe,
Kommt auch schon Amor, der lächelnde Knabe,
Phöbus, der Herrliche, findet sich ein.

Sie nahen, sie kommen,
Die Himmlischen alle,
Mit Göttern erfüllt sich
Die irdische Halle.

Sagt, wie bewirt' ich,
Der Erdegeborne,
Himmlischen Chor?
Zeihet mir euer unsterbliches Leben,
Götter! Was kann euch der Sterbliche geben?
Hebet zu eurem Olymp mich empor.

Die Freude, sie wohnt nur
In Jupiters Saale,
O füllet mit Nektar, o reicht mir die Schale!

„Reich ihm die Schale!
Schenke dem Dichter,
Hebe, nur ein.
Netz ihm die Augen mit himmlischem Taue,
Daß er den Styx, den verhaßten, nicht schaue,
Einer der Unsern sich dünke zu sein.“

Sie rauschet, sie perlet,
Die himmlische Quelle,
Der Busen wird ruhig,
Das Auge wird helle.

ЯВЛЕНИЕ БОГОВ

Знайте, с Олимпа
Являются боги
К нам не одни;

Только что Бахус придет говорливый,
Мчится Эрот, благодатный младенец;
Следом за ними и сам Аполлон.

Слетелись, слетелись
Все жители неба,
Небесными полно
Земное жилище.

Чем угощу я,
Земли уроженец,
Вечных богов?

Дайте мне вашей, бессмертные, жизни!
Боги! что, смертный, могу поднести вам?
К вашему небу возвысьте меня!

Прекрасная радость
Живет у Зевеса!
Где не́ктар? налейте,
Налейте мне чашу!

Не́ктара чашу
Певцу, молодая
Геба, подай!

Очи небесной росой окропите;
Пусть он не зрит ненавистного Стикса,
Быть да мечтает одним из богов!

Шумит, заблестала
Небесная влага,
Спокоилось сердце,
Провидели очи.

RITTER TOGGENBURG

„Ritter, treue Schwesterliebe
Widmet Euch dies Herz;
Fordert keine andre Liebe,
Denn es macht mir Schmerz.
Ruhig mag ich Euch erscheinen,
Ruhig gehen sehn;
Eurer Augen stilles Weinen
Kann ich nicht verstehn.“

Und er hört's mit stummem Harme,
Reißt sich blutend los,
Preßt sie heftig in die Arme,
Schwingt sich auf sein Roß,
Schickt zu seinen Mannen allen
In dem Lande Schweiz;
Nach dem heil'gen Grab sie wallen,
Auf der Brust das Kreuz.

Große Taten dort geschehen
Durch der Helden Arm,
Ihres Helmes Büsche wehen
In der Feinde Schwarm,
Und des Toggenburgers Name
Schreckt den Muselmann;
Doch das Herz von seinem Grame
Nicht genesen kann.

Und ein Jahr hat er's getragen,
Trägt's nicht länger mehr,
Ruhe kann er nicht erjagen
Und verläßt das Heer,
Sieht ein Schiff an Joppes Strande,
Das die Segel bläht,
Schiffet heim zum teuren Lande,
Wo ihr Atem weht.

РЫЦАРЬ ТОГЕНБУРГ

«Сладко мне твоей сестрою,
Милый рыцарь, быть;
Но любовьию иною
Не могу любить:
При разлуке, при свиданье
Сердце в тишине –
И любви твоей страданье
Непонятно мне».

Он глядит с немой печалью –
Участь решена;
Руку сжал ей; крепкой сталью
Грудь обложена;
Звонкий рог созвал дружину;
Все уж на конях;
И помчались в Палестину,
Крест на раменах.

Уж в толпе врагов сверкают
Грозно шлемы их;
Уж отвагой изумляют
Чуждых и своих.
Тогенбург лишь выйдет к бою –
Сарацин бежит...
Но душа в нем все тоскою
Прежнею болит.

Год прошел без утоленья...
Нет уж сил страдать;
Не найти ему забвенья –
И покинул рать.
Зрит корабль – шумят ветрилы,
Бьет в корму волна, –
Сел и поплыл в край тот милый,
Где цветет она.

Und an ihres Schlosses Pforte
Klopft der Pilger an,
Ach, und mit dem Donnerworte
Wird sie aufgetan:
„Die Ihr sucht, trägt den Schleier,
Ist des Himmels Braut,
Gestern war des Tages Feier,
Der sie Gott getraut.“

Da verläset er auf immer
Seiner Väter Schloß,
Seine Waffen sieht er nimmer,
Noch sein treues Roß;
Von der Toggenburg hernieder
Steigt er unbekannt,
Denn es deckt die edeln Glieder
Härenes Gewand.

Und erbaut sich eine Hütte
Jener Gegend nah,
Wo das Kloster aus der Mitte
Düstrer Linden sah;
Harrend von des Morgens Lichte
Bis zu Abends Schein,
Stille Hoffnung im Gesichte,
Saß er da allein.

Blickte nach dem Kloster drüben,
Blickte stundenlang
Nach dem Fenster seiner Lieben,
Bis das Fenster klang,
Bis die Liebliche sich zeigte,
Bis das teure Bild
Sich ins Tal herunterneigte,
Ruhig, engelmild.

Но стучится к ней напрасно
В двери пилигрим;
Ах, они с молвой ужасной
Отперлись пред ним:
«Узы вечного обета
Приняла она;
И, погибшая для света,
Богу отдана».

Пышны праотцев палаты
Бросить он спешит;
Навсегда покинул латы;
Конь навек забыт;
Власяной покрыт одеждой,
Инок в цвете лет,
Не украшенный надеждой
Он оставил свет.

И в убогой келье скрылся
Близ долины той,
Где меж темных лип светился
Монастырь святой:
Там – сияло ль утро ясно,
Вечер ли темнел –
В ожиданье, с мукой страстной,
Он один сидел.

И душе его унылой
Счастье там одно:
Дождаться, чтоб у милой
Стукнуло окно,
Чтоб прекрасная явилась,
Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
Ангел тишины.

Und dann legt' er froh sich nieder,
Schief getröstet ein,
Still sich freuend, wenn es wieder
Morgen würde sein.
Und so saß er viele Tage,
Saß viel Jahre lang,
Harrend ohne Schmerz und Klage,
Bis das Fenster klang,

Bis die Liebliche sich zeigte,
Bis das teure Bild
Sich ins Tal herunterneigte,
Ruhig, engelmild.
Und so saß er, eine Leiche,
Eines Morgens da,
Nach dem Fenster noch das bleiche,
Stille Antlitz sah.



DER GRAF VON HABSBURG

Zu Aachen in seiner Kaiserpracht,
Im altertümlichen Saale,
Saß König Rudolfs heilige Macht
Beim festlichen Krönungsmahle.
Die Speisen trug der Pfalzgraf des Rheins,
Es schenkte der Böhme des perlenden Weins,
Und alle die Wähler, die sieben,
Wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt,
Umstanden geschäftig den Herrscher der Welt,
Die Würde des Amtes zu üben.

Und rings erfüllte den hohen Balkon
Das Volk in freud'gem Gedränge;

И дождавшись, на ложе
Простирался он;
И надежда: *завтра то же!*
Услаждала сон.
Время годы уводило...
Для него ж одно:
Ждать, как ждал он, чтоб у милой
Стукнуло окно;

Чтоб прекрасная явилась;
Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
Ангел тишины.
Раз – туманно утро было –
Мертв он там сидел,
Бледен ликом, и уныло
На окно глядел.



ГРАФ ГАПСБУРГСКИЙ

Торжественным Ахен весельем шумел;
В старинных чертогах, на пире
Рудольф, император избранный, сидел
В сиянье венца и в порфире.
Там кушанья рейнский фальцграф разносил;
Богемец напитки в бокалы цедил;
И семь избирателей, чином
Устроенный древле свершая обряд,
Блестали, как звезды пред солнцем блестят,
Пред новым своим властелином.

Кругом возвышался богатый балкон,
Ликующим полный народом;

Laut mischte sich in der Posaunen Ton
Das jauchzende Rufen der Menge.
Denn geendigt nach langem verderblichen Streit
War die kaiserlose, die schreckliche Zeit,
Und ein Richter war wieder auf Erden.
Nicht blind mehr waltet der eiserne Speer,
Nicht fürchtet der Schwache, der Friedliche mehr,
Des Mächtigen Beute zu werden.

Und der Kaiser ergreift den goldnen Pokal
Und spricht mit zufriedenen Blicken:
„Wohl glänzet das Fest, wohl pranget das Mahl,
Mein königlich Herz zu entzücken;
Doch den Sänger vermiss' ich, den Bringer der Lust,
Der mit süßem Klang mir bewege die Brust
Und mit göttlich erhabenen Lehren.
So hab' ich's gehalten von Jugend an,
Und was ich als Ritter gepflegt und getan,
Nicht will ich's als Kaiser entbehren.“

Und sieh! in der Fürsten umgebenden Kreis
Trat der Sänger im langen Talare;
Ihm glänzte die Locke silberweiß,
Gebleicht von der Fülle der Jahre.
„Süßer Wohllaut schläft in der Saiten Gold,
Der Sänger singt von der Minne Sold,
Er preiset das Höchste, das Beste,
Was das Herz sich wünscht, was der Sinn begehrt;
Doch sage, was ist des Kaisers wert
An seinem herrlichsten Feste?“

„Nicht gebieten werd' ich dem Sänger“, spricht
Der Herrscher mit lächelndem Munde,
„Er steht in des größeren Herren Pflicht,
Er gehorcht der gebietenden Stunde.
Wie in den Lüften der Sturmwind saust,
Man weiß nicht, von wannen er kommt und braust,

И клики, со всех прилетая сторон,
Под древним сливались сводом.
Был кончен раздор; перестала война;
Бесцарственны, грозны прошли времена;
Судья над землею был снова;
И воля губить у меча отнята;
Не брошены слабый, вдова, сирота
Могущим во власть без покрова.

И кесарь, наполнив бокал золотой,
С приветливым взором вещает:
«Прекрасен мой пир; все пирует со мной;
Все царский мой дух восхищает...
Но где ж утешитель, пленитель сердец?
Придет ли мне душу растрогать певец
Игрой и благим поученьем?
Я песней был другом как рыцарь простой,
Став кесарем, брошу ль обычай святой
Пирсы услаждать песнопеньем?»

И вдруг из среды величавых гостей
Выходит, одетый таларом,
Певец в красоте поседелых кудрей,
Младым преисполненный жаром.
«В струнах золотых вдохновенье живет.
Певец о любви благодатной поет,
О всем, что святого есть в мире,
Что душу волнует, что сердце манит...
О чем же властитель воспеть повелит
Певцу на торжественном пире?»

«Не мне управлять песнопевца душой
(Певцу отвечает властитель);
Он высшую силу признал над собой;
Минута ему повелитель;
По воздуху вихорь свободно шумит;
Кто знает, откуда, куда он летит?»

Wie der Quell aus verborgenen Tiefen,
So des Sängers Lied aus dem Innern schallt
Und wecket der dunkeln Gefühle Gewalt,
Die im Herzen wunderbar schliefen.“

Und der Sänger rasch in die Saiten fällt
Und beginnt sie mächtig zu schlagen:
„Aufs Weidwerk hinaus ritt ein edler Held,
Den flüchtigen Gemsbock zu jagen.
Ihm folgte der Knapp' mit dem Järgergeschoß,
Und als er auf seinem stattlichen Roß
In eine Au kommt geritten,
Ein Glöcklein hört er erklingen fern,
Ein Priester war's mit dem Leib des Herrn,
Vorankam der Mesner geschritten.

Und der Graf zur Erde sich neiget hin,
Das Haupt mit Demut entblößet,
Zu verehren mit gläubigem Christensinn,
Was alle Menschen erlöset.
Ein Bächlein aber rauschte durchs Feld,
Von des Gießbachs reißenden Fluten geschwellt,
Das hemmte der Wanderer Tritte;
Und beiseit' legt jener das Sakrament,
Von den Füßen zieht er die Schuhe behend,
Damit er das Bächlein durchschritte.

„Was schaffst du?“ redet der Graf ihn an,
Der ihn verwundert betrachtet.
„Herr, ich walle zu einem sterbenden Mann,
Der nach der Himmelskost schmachtet;
Und da ich mich nahe des Baches Steg,
Da hat ihn der strömende Gießbach hinweg
Im Strudel der Wellen gerissen.
Drum daß dem Lechzenden werde sein Heil,
So will ich das Wasserlein jetzt in Eil'
Durchwaten mit nackenden Füßen.“

Из бездны поток выбегает;
Так песнь зарождает души глубина,
И темное чувство, из дивного сна
При звуках воспрянув, пылает».

И смело ударил певец по струнам,
И голос приятный раздался:
«На статном коне по горам, по полям
За серною рыцарь гонялся;
Он с ловчим одним выезжает сам-друг
Из чащи лесной на сияющий луг,
И едет он шагом кустами;
Вдруг слышат они: колокольчик гремит;
Идет из кустов пономарь и звонит;
И следом священник с дарами.

И набожный граф, умиленный душой,
Колена свои преклоняет
С сердечною верой, с горячей мольбой
Пред Тем, что живит и спасает.
Но лугом стремился кипучий ручей;
Свирепо надувшись от сильных дождей,
Он путь заграждал пешеходу;
И спутнику пастырь дары отдает;
И обувь снимает и смело идет
С священною ношею в воду.

– Куда? – изумившийся граф спросил.
– В село; умирающий нищий
Ждет в муках, чтоб пастырь его разрешил,
И алчет небесныя пищи.
Недавно лежал через этот поток
Сплетенный из сучьев для пешех мосток –
Его разбросало водою;
Чтоб душу святой благодатью спасти,
Я здесь неглубокий поток перейти
Спешу обнаженной стопою.

Da setzt ihn der Graf auf sein ritterlich Pferd
Und reicht ihm die prächtigen Zäume,
Daß er labe den Kranken, der sein begehrt,
Und die heilige Pflicht nicht versäume.
Und er selber auf seines Knappen Tier
Vergnüget noch weiter des Jagens Begier,
Der andre die Reise vollführet;
Und am nächsten Morgen, mit dankendem Blick,
Da bringt er dem Grafen sein Roß zurück,
Bescheiden am Zügel geführet.

„Nicht wolle das Gott“, rief mit Demutsinn
Der Graf, „daß zum Streiten und Jagen
Das Roß ich beschrütte fürderhin,
Das meinen Schöpfer getragen!
Und magst du's nicht haben zu eignem Gewinst,
So bleib' es gewidmet dem göttlichen Dienst,
Denn ich hab' es dem ja gegeben,
Von dem ich Ehre und irdisches Gut
Zu Lehen trage und Leib und Blut
Und Seele und Atem und Leben.“

„So mög' Euch Gott, der allmächtige Hort,
Der das Flehen der Schwachen erhöret,
Zu Ehren Euch bringen hier und dort,
So wie Ihr jetzt ihn geehret.
Ihr seid ein mächtiger Graf, bekannt
Durch ritterlich Walten im Schweizerland,
Euch blühn sechs liebliche Töchter.
So mögen sie“, rief er begeistert aus,
„Sechs Kronen Euch bringen in Euer Haus
Und glänzen die spätesten Geschlechter!“

Und mit sinnendem Haupt saß der Kaiser da,
Als dächt' er vergangener Zeiten;
Jetzt, da er dem Sänger ins Auge sah,
Da ergreift ihn der Worte Bedeuten.

И пастырю витязь коня уступил
И подал ноге его стремя,
Чтоб он облегчить покаяньем спешил
Страдальцу греховное бремя.
И к ловчему сам на седло пересел
И весело в чашу на лов полетел;
Священник же, требу святую
Свершивши, при первом мерцании дня
Является к графу, смиренно коня
Ведя за узду золотую.

– Дерзну ли помыслить я, – граф возгласил,
Почтительно взоры склонивши, –
Чтоб конь мой ничтожной забаве служил,
Спасителю-Богу служивши?
Когда ты, отец, не приемлешь коня,
Пусть будет он даром благим от меня
Отныне Тому, чье даянье
Все блага земные, и силы, и честь,
Кому не помедлю на жертву принести
И силу, и честь, и дыханье.

– Да будет же вышний Господь над тобой
Своей благодатью святою;
Тебя да почтит Он в сей жизни и в той,
Как днесь Он почтён был тобою;
Гельвеция славой сияет твоей;
И шесть расцветают тебе дочерей,
Богатых дарами природы:
Да будут же (молвил пророчески он)
Уделом их шесть знаменитых корон;
Да славятся в роды и роды».

Задумавшись, голову кесарь склонил:
Минувшее в нем оживилось.
Вдруг быстрый он взор на певца устремил –
И таинство слов объяснилось:

Die Züge des Priesters erkennt er schnell
Und verbirgt der Tränen stürzenden Quell
In des Mantels purpurne Falten.
Und alles blickte den Kaiser an
Und erkannte den Grafen, der das getan,
Und verehrte das göttliche Walten.



BERGLIED

Am Abgrund leitet der schwindlichte Steg,
Er führt zwischen Leben und Sterben,
Es sperren die Riesen den einsamen Weg
Und drohen dir ewig Verderben;
Und willst du die schlafende Löwin nicht wecken,
So wandle still durch die Straße der Schrecken.

Es schwebt eine Brücke, hoch über den Rand
Der furchtbaren Tiefe gebogen,
Sie ward nicht erbauet von Menschenhand,
Es hätte sich's keiner verwogen;
Der Strom braust unter ihr spät und früh,
Speit ewig hinauf und zertrümmert sie nie.

Es öffnet sich schwarz ein schauriges Tor,
Du glaubst dich im Reiche der Schatten,
Da tut sich ein lachend Gelände hervor,
Wo der Herbst und der Frühling sich gatten:
Aus des Lebens Mühen und ewiger Qual
Möcht' ich fliehen in dieses glückselige Tal.

Vier Ströme brausen hinab in das Feld,
Ihr Quell, der ist ewig verborgen,

Он пастыря видит в певце пред собой;
И слезы свои от толпы золотой
Порфирой закрыл в умиление...
Все смолкло, на кесаря очи подняв,
И всяк догадался, кто набожный граф,
И сердцем почтил провиденье.



ГОРНАЯ ДОРОГА

Над страшною бездной дорога бежит,
Меж жизнью и смертью мчится;
Толпа великанов ее сторожит;
Погибель над нею гнездится.
Страшись пробужденья лавины ужасной:
В молчанье пройди по дороге опасной.

Там *мост* через бездну отважной дугой
С скалы на скалу перегнулся;
Не смертною был он поставлен рукой –
Кто смертный к нему бы коснулся?
Поток под него разъяренный бежит;
Сразить его рвется и ввек не сразит.

Там, грозно раздавшись, стоят *ворота*;
Мнишь: область теней пред тобою;
Пройди их – долина, долин красота,
Там осень играет с весною.
Приют сокровенный! желанный предел!
Туда бы от жизни ушел, улетел.

Четыре *потока* оттуда шумят –
Не зрели их выхода очи.

Sie fließen nach allen vier Straßen der Welt,
Nach Abend, Nord, Mittag und Morgen;
Und wie die Mutter sie rauschend geboren,
Fort fliehn sie und bleiben sich ewig verloren.
Zwei Zinken ragen ins Blaue der Luft,
Hoch über der Menschen Geschlechter,
Drauf tanzen, umschleiert mit goldenem Duft,
Die Wolken, die himmlischen Töchter.
Sie halten dort oben den einsamen Reihn,
Da stellt sich kein Zeuge, kein irdischer, ein.

Es sitzt die Königin hoch und klar
Auf unvergänglichem Throne,
Die Stirn umkränzt sie sich wunderbar
Mit diamantener Krone;
Drauf schießt die Sonne die Pfeile von Licht,
Sie vergolden sie nur und erwärmen sie nicht.



AN EMMA

Weit in nebelgrauer Ferne
Liegt mir das vergangne Glück,
Nur an e i n e m schönen Sterne
Weilt mit Liebe noch der Blick.
Aber, wie des Sternes Pracht,
Ist es nur ein Schein der Nacht.

Deckte dir der lange Schlummer,
Dir der Tod die Augen zu,
Dich besäße doch mein Kummer,
Meinem Herzen lebtest du.
Aber ach! du lebst im Licht,
Meiner Liebe lebst du nicht.

Стремятся они на восток, на закат,
Стремятся к полудню, к полночи;
Рождаются вместе; родясь, расстаются:
Бегут без возврата и ввек не сольются.

Там в блеске небес два *утеса* стоят,
Превыше всего, что земное;
Кругом облака золотые кипят,
Эфира семейство младое;
Ведут хороводы в стране голубой;
Там не был, не будет свидетель земной.

Царица сидит высоко и светло
На вечно незыблемом троне;
Чудесной красой обвивает чело
И блещет в алмазной короне;
Напрасно там солнцу сиять и гореть:
Ее золотит, но не может согреть.



К ЭММЕ

Ты вдали, ты скрыто мглою,
Счастье милой старины,
Неприступною звездю
Ты сияешь с вышины!
Ах! звезды не приманить!
Счастью бывшему не быть!

Если б жадною рукою
Смерть тебя от нас взяла,
Ты была б моей тоскою,
В сердце все бы ты жила!
Ты живешь в сиянье дня!
Ты живешь не для меня!

Kann der Liebe süß Verlangen,
Emma, kann's vergänglich sein?
Was dahin ist und vergangen,
Emma, kann's die Liebe sein?
Ihrer Flamme Himmelsglut,
Stirbt sie wie ein irdisch Gut?



DIE JUNGFRAU VON ORLEANS

Eine romantische Tragödie

PROLOG

Eine ländliche Gegend.
Vorn zur Rechten ein Heiligenbild in einer Kapelle;
zur Linken eine hohe Eiche.

Thibaut d'Arc. Seine drei Töchter.
Drei junge Schäfer, ihre Freier.

Thibaut:

Ja, liebe Nachbarn! Heute sind wir noch
Franzosen, freie Bürger noch und Herren
Des alten Bodens, den die Väter pflügten;
Wer weiß, wer morgen über uns befiehlt!
Denn allerorten läßt der Engelländer
Sein sieghaft Banner fliegen, seine Rosse
Zerstampfen Frankreichs blühende Gefilde.
Paris hat ihn als Sieger schon empfangen,
Und mit der alten Krone Dagoberts
Schmückt es den Sprößling eines fremden Stamms.

То, что нас одушевляло,
Эмма, как то пережить?
Эмма, то, что миновало,
Как тому любовью быть!
Небом в сердце зажжено,
Умирает ли оно!



ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА

Романтическая трагедия

ПРОЛОГ

Сельское место; впереди, на правой стороне,
часовня и в ней образ Богородицы;
на левой стороне высокий ветвистый дуб.

Тибо Д'Арк, Этьен, Арман, Раймонд,
Алина, Луиза, Иоанна.

Т и б о

Так, добрые соседи, нынче мы
Еще французы, граждане, свободно
Святой землей отцов своих владеем;
А завтра... как узнать? чьи мы? что наше?
Во всех местах пришелец торжествует;
Везде врагов знамена; их конями
Истоптаны отеческие нивы;
Париж врата их войскам отворил,
И древняя корона Дагоберта
Досталась в добычу иноземцу;
Внук королей без трона, без приюта,

Der Enkel unsrer Könige muß irren
 Enterbt und flüchtig durch sein eignes Reich,
 Und wider ihn im Heer der Feinde kämpft
 Sein nächster Vetter und sein erster Pair,
 Ja seine Rabenmutter führt es an.
 Rings brennen Dörfer, Städte. Näher stets
 Und näher wälzt sich der Verheerung Rauch
 An diese Täler, die noch friedlich ruhn.
 — Drum, liebe Nachbarn, hab' ich mich mit Gott
 Entschlossen, weil ich's heute noch vermag,
 Die Töchter zu versorgen; denn das Weib
 Bedarf in Kriegesnöten des Beschützers,
 Und treue Lieb' hilft alle Lasten heben.

Zu dem ersten Schäfer:

— Kommt, Etienne! Ihr werbt um meine Margot.
 Die Äcker grenzen nachbarlich zusammen,
 Die Herzen stimmen überein — das stiftet
 Ein gutes Ehband!

Zu dem zweiten.

Claude Marie! Ihr schweigt,
 Und meine Louison schlägt die Augen nieder?
 Werd' ich zwei Herzen trennen, die sich fanden,
 Weil Ihr nicht Schätze mir zu bieten habt?
 Wer hat jetzt Schätze? Haus und Scheune sind
 Des nächsten Feindes oder Feuers Raub —
 Die treue Brust des braven Manns allein
 Ist ein sturmfestes Dach in diesen Zeiten.

L o u i s o n :

Mein Vater!

C l a u d e M a r i e :

Meine Louison!

Скитается в своей земле, как странник;
Знатнейший пэр, ближайший из родных,
Против него с врагами в заговоре;
Родная мать ему готовит гибель;
Деревни, города пылают; тихо
Еще у нас в долинах... но дойдет,
Дойдет и к нам гроза опустошенья.
Итак, друзья, пока еще есть воля,
Я дочерей хочу пристроить с Богом:
Для женщины против времен опасных
Необходим заботливый защитник;
А с кем любовь, тому в бедах легко.
Этьен, тебе понравилась Алина;
У нас поля соседственно граничат,
Сердца же заодно... такой союз
Угоден Богу... Ты, Арман, ни слова;
А ты глаза, Луиза, опустила...
Друзья, друзья, вы встретились сердцами –
Не мне вас разлучать. К чему богатство?
Кто в наши дни богат? Теперь все наше
До первого врага или пожара;
Теперь один спасительный приют:
Грудь верная испытанного мужа.

Луиза

Арман!

Арман
(подавая ей руку)

Твой навсегда.

L o u i s o n

Johanna unarmend:

Liebe Schwester!

T h i b a u t :

Ich gebe jeder dreißig Acker Landes
Und Stall und Hof und eine Herde — Gott
Hat mich gesegnet, und so segn' er euch!

M a r g o t Johanna unarmend:

Erfreue unsern Vater. Nimm ein Beispiel!
Laß diesen Tag drei frohe Bande schließen.

T h i b a u t :

Geht! Machet Anstatt. Morgen ist die Hochzeit;
Ich will, das ganze Dorf soll sie mit feiern.

Die zwei Paare gehen Arm in Arm geschlungen ab.

Jeanette, deine Schwestern machen Hochzeit,
Ich seh' sie glücklich, sie erfreuen mein Alter;
Du, meine Jüngste, machst mir Gram und Schmerz.

R a i m o n d :

Was fällt Euch ein! Was scheltet Ihr die Tochter?

Луиза

А ты, сестра?

Тибо

На каждую дам тридцать десятин,
И огород, и двор, и стадо – Бог
Благословил меня, благословит
И вас.

Алина

Утешь отца, сестра Иоанна,
Пусть в этот день устроится три счастья.

Тибо

Подите; завтра мы сыграем свадьбу
И пир на всю деревню; приготовьте
Что надобно.

Алина, Луиза, Арман и Этьен уходят.

Твои, Жанета, сестры
Выходят замуж; их судьба счастлива;
При старости они мое веселье;
Одна лишь ты мне горе и печаль.

Раймонд

Сосед, на что Жанету огорчать?

Thibaut :

Hier dieser wackre Jüngling, dem sich keiner
Vergleicht im ganzen Dorf, der Treffliche,
Er hat dir seine Neigung zugewendet
Und wirbt um dich, schon ist's der dritte Herbst,
Mit stillem Wunsch, mit herzlichem Bemühn;
Du stößest ihn verschlossen, kalt zurück,
Noch sonst ein anderer von den Hirten allen
Mag dir ein gütig Lächeln abgewinnen.
— Ich sehe dich in Jugendfülle prangen,
Dein Lenz ist da, es ist die Zeit der Hoffnung,
Entfaltet ist die Blume deines Leibes,
Doch stets vergebens harr' ich, daß die Blume
Der zarten Lieb' aus ihrer Knospe breche
Und freudig reife zu der goldnen Frucht!
O das gefällt mir nimmermehr und deutet
Auf eine schwere Irrung der Natur!
Das Herz gefällt mir nicht, das streng und kalt
Sich zuschließt in den Jahren des Gefühls.

Raïmond :

Laßt's gut sein, Vater Arc! Laßt sie gewähren!
Die Liebe meiner trefflichen Johanna
Ist eine edle, zarte Himmelsfrucht,
Und still allmählich reift das Köstliche!
Jetzt liebt sie noch zu wohnen auf den Bergen,
Und von der freien Heide fürchtet sie
Herabzusteigen in das niedre Dach
Der Menschen, wo die engen Sorgen wohnen.
Oft seh' ich ihr aus tiefem Tal mit stillem
Erstaunen zu, wenn sie auf hoher Trift
In Mitte ihrer Herde ragend steht,
Mit edlem Leibe, und den ernsten Blick
Herabsenkt auf der Erde kleine Länder.
Da scheint sie mir was Höh'res zu bedeuten,
Und dünkt mir's oft, sie stamm' aus andern Zeiten.

Т и б о
(указывая на Раймонда)

Вот юноша прекрасный, честный; с ним
Никто у нас в деревне не сравнится;
Тебе он отдал душу; три весны,
Как он, задумчивый, с желаньем тихим,
С безропотным, покорным постоянством
Вздыхает по тебе; а ты молчишь,
Ты холодно сама в себе таишься;
И ни один из наших поселян
Улыбкою твоею не утешен.
Смотрю: ты в полноте прекрасной жизни;
Пора надежд, весна твоя пришла;
Цветешь... но я напрасно ожидаю,
Чтобы любовь в душе твоей созрела;
Прискорбно это мне. Боюсь, но вижу,
Что над тобой ошиблася природа;
Я не люблю души холодной, черствой,
Бесчувственной в поре прекрасной чувства.

Р а й м о н д

Не принуждай ее, мой честный Арк.
Любовь моей Иоанны есть прекрасный
Небесный плод; прекрасное свободно,
Оно медлительно и тайно зреет.
Теперь ее веселье жить в горах;
К нам в хижины, жилища суеты,
С вершины их она сходить боится.
Нередко я с благоговеньем тихим
Из дола вслед за ней смотрю, когда
Она одна в величии над стадом
Стоит и взор склоняет в размышленья
На мелкие обитатели земные.
Я вижу в ней тогда знаменованье
Чего-то высшего, и часто мнится,
Что из других времен пришла она.

Thibaut:

Das ist es, was mir nicht gefallen will!
Sie flieht der Schwestern fröhliche Gemeinschaft,
Die öden Berge sucht sie auf, verlässt
Ihr nächtlich Lager vor dem Hahnenruf,
Und in der Schreckensstunde, wo der Mensch
Sich gern vertraulich an den Menschen schließt,
Schleicht sie, gleich dem einsiedlerischen Vogel,
Heraus ins graulich düstre Geisterreich
Der Nacht, tritt auf den Kreuzweg hin und pflegt
Geheime Zwiesprach' mit der Luft des Berges.
Warum erwählt sie immer diesen Ort
Und treibt gerade hierher ihre Herde?
Ich sehe sie zu ganzen Stunden sinnend
Dort unter dem Druidenbaume sitzen,
Den alle glückliche Geschöpfe fliehn.
Denn nicht geheu'r ist's hier: ein böses Wesen
Hat seinen Wohnsitz unter diesem Baum
Schon seit der alten grauen Heidenzeit.
Die Ältesten im Dorf erzählen sich
Von diesem Baume schauerhafte Mären;
Seltsamer Stimmen wundersamen Klang
Vernimmt man oft aus seinen düstern Zweigen.
Ich selbst, als mich in später Dämmerung einst
Der Weg an diesem Baum vorüberführte,
Hab' ein gespenstisch Weib hier sitzen sehn.
Das streckte mir aus weitgefaltetem
Gewande langsam eine dürre Hand
Entgegen, gleich als winkt' es; doch ich eilte
Fürbaß, und Gott befahl ich meine Seele.

Т и б о

А это мне противно! Для чего
Чуждаться ей своих сестер веселых?
Всегда встает до ранних петухов,
Чтобы бродить по высотам пустынным;
И в страшный час, в который человек
Доверчивей теснится к человеку, –
Украдкою, как птица, друг развалин,
В туманное жилище привидений,
В ночную тьму бежит, чтоб горный ветер
Подслушивать на темном перекрестке.
Зачем она всегда на *этом* месте?
Зачем *сюда* гонять ей стадо? Часто
Видал я, как она час целый в думе
Под этим деревом друидов, где
Боится быть счастливое создание,
Сидит недвижима... а здесь не пусто:
Здесь водится недобрый с давних лет;
У стариков ужасные преданья
Сохранены об этом старом дубе;
И часто шум каких-то голосов
Нам слышится в его печальных ветвях.
Однажды мне случилось запоздать;
Меня вела дорога мимо дуба;
И вдруг мне видится: под ним сидит
Туманное – а что?.. не знаю! Тихо
Иссохшею рукой приподняло
Широкую одежду и меня
Как будто бы манило... Сотворив
Молитву, я бежал скорее прочь.

R a i m o n d *auf das Heiligenbild in der Kapelle zeigend:*

Des Gnadenbildes segenreiche Näh,
 Das hier des Himmels Frieden um sich streut,
 Nicht Satans Werk führt Eure Tochter her.

T h i b a u t :

O nein! nein! Nicht vergebens zeigt sich's mir
 In Träumen an und ängstlichen Gesichtern.
 Zu dreien Malen hab' ich sie gesehn
 Zu Reims auf unsrer Könige Stuhle sitzen,
 Ein funkelnd Diadem von sieben Sternen
 Auf ihrem Haupt, das Zepter in der Hand,
 Aus dem drei weiße Lilien entsprangen,
 Und ich, ihr Vater, ihre beiden Schwestern
 Und alle Fürsten, Grafen, Erzbischöfe,
 Der König selber neigten sich vor ihr.
 Wie kommt mir solcher Glanz in meine Hütte?
 O das bedeutet einen tiefen Fall!
 Sinnbildlich stellt mir dieser Warnungstraum
 Das eitle Trachten ihres Herzens dar.
 Sie schämt sich ihrer Niedrigkeit — weil Gott
 Mit reicher Schönheit ihren Leib geschmückt,
 Mit hohen Wundergaben sie gesegnet
 Vor allen Hirtenmädchen dieses Tals,
 So nährt sie sünd'gen Hochmut in dem Herzen,
 Und Hochmut ist's, wodurch die Engel fielen,
 Woran der Höllengeist den Menschen faßt.

R a i m o n d :

Wer hegt bescheidnern, tugendlichem Sinn
 Als Eure fromme Tochter? Ist sie's nicht,

Р а й м о н д

(указывая на образ в часовне)

Не верю я; не козни сатаны,
А чудотворный лик Пречистой Девы
Ее всегда приводит в это место.

Т и б о

Нет, нет! и сны и страшные виденья
Меня, мой друг, тревожат не напрасно:
Три ночи я все вижу, будто в Реймсе
Она сидит на королевском троне;
Семь ярких звезд венцом на голове,
В ее руке какой-то чудный скипетр,
И из него три белые лилеи;
И я – ее отец, и обе сестры,
И герцоги, и графы, и прелаты,
И сам король пред нею на коленях...
Моей ли хижине такая слава?
Нет, это не к добру; то знак паденья;
Иносказательно мне этот сон
Ее души изобразил надменность;
Убожества она стыдится; Бог
Ей даровал богатство красоты,
Ее щедрей всех наших поселянок
Благословил чудесными дарами...
И гордость грешная зашла к ней в душу;
А гордостью и ангелы погибли,
И ею враг в свои нас ловит сети.

Р а й м о н д

Но кто ж скромней, кто непорочней в нравах
Твоей смиренной Иоанны? Старшим

Die ihren ältern Schwestern freudig dient?
Sie ist die hochbegabteste von allen,
Doch seht Ihr sie wie eine niedre Magd
Die schwersten Pflichten still gehorsam üben
Und unter ihren Händen wunderbar
Gedeihen Euch die Herden und die Saaten;
Um alles, was sie schafft, ergießet sich
Ein unbegreiflich überschwenglich Glück.

T h i b a u t :

Jawohl! Ein unbegreiflich Glück — Mir kommt
Ein eigen Grauen an bei diesem Segen!
— Nichts mehr davon. Ich schweige. Ich will schweigen;
Soll ich mein eigen teures Kind anklagen?
Ich kann nichts tun als warnen, für sie beten!
Doch warnen muß ich — Fliehe diesen Baum,
Bleib nicht allein und grabe keine Wurzeln
Um Mitternacht, bereite keine Tränke
Und schreibe keine Zeichen in den Sand —
Leicht aufzuritzen ist das Reich der Geister,
Sie liegen wartend unter dünner Decke,
Und leise hörend stürmen sie herauf.
Bleib nicht allein, denn in der Wüste trat
Der Satansengel selbst zum Herrn des Himmels.

B e r t r a n d *tritt auf, einen Helm in der Hand.*

R a i m o n d :

Still! Da kommt Bertrand aus der Stadt zurück.
Sieh, was er trägt!

Сестрам она с веселым сердцем служит;
В селе у нас она всех выше... правда,
Но где найдешь работницу прилежней?
Бывал ли ей и низкий труд противен?
Ты видишь, под ее рукой чудесно
Твои стада и жатвы процветают;
На все, к чему она коснется, сходит
Непостижимое благословенье.

Т и б о

Непостижимое... так, правда! ужас
Объемлет при таком благословенье.
Ни слова; я молчу; молчать мне должно...
Мне ль вызывать на суд свое дитя?
Могу лишь остеречь; могу молиться;
Но остеречь мой долг... Оставь сей дуб;
Не будь одна; не рой кореньев в полночь;
Не составляй из сока их питья
И не черти в песке волшебных знаков.
Нам в области духов легко проникнуть;
Нас ждут они и молча стерегут
И, тихо внемля, в бурях вылетают.
Не будь одна: в пустыне искуситель
Перед самим создателем явился.

Б е р т р а н д входит с шлемом в руках.

Р а й м о н д

Молчи, идет Берtrand; он возвратился
Из города. Но что несет он?

B e r t r a n d :

Ihr staunt mich an, ihr seid
Verwundert ob des seltsamen Gerätes
In meiner Hand.

T h i b a u t :

Das sind wir. Saget an;
Wie kamt Ihr zu dem Helm, was bringt Ihr uns
Das böse Zeichen in die Friedensgend?

*J o h a n n a , welche in beiden vorigen Szenen still und
ohne Anteil auf der Seite gestanden,
wird aufmerksam und tritt näher.*

B e r t r a n d :

Kaum weiß ich selbst zu sagen, wie das Ding
Mir in die Hand geriet. Ich hatte eisernes
Gerät mir eingekauft zu Vaucouleurs.
Ein großes Drängen fand ich auf dem Markt,
Denn flücht'ges Volk war eben angelangt
Von Orleans mit böser Kriegespost.
Im Aufruhr lief die ganze Stadt zusammen,
Und als ich Bahn mir mache durchs Gewühl,
Da tritt ein braun Bohemerweib mich an
Mit diesem Helm, faßt mich ins Auge scharf
Und spricht: „Gesell, Ihr suchet einen Helm,
Ich weiß, Ihr suchet einen. Da! Nehmt hin!
Um ein Geringes steht er Euch zu Kaufe.“
„Geht zu den Lanzenknechten“, sagt' ich ihr,
„Ich bin ein Landmann, brauche nicht des Helmes“.
Sie aber ließ nicht ab und sagte ferner:
„Kein Mensch vermag zu sagen, ob er nicht

Б е р т р а н д

Вы

Дивитесь, что с таким добром я к вам
Являюсь?

Т и б о

Подлинно; откуда взял
Ты этот шлем? На что знак бед и смерти
Принес ты к нам в жилище тишины?

И о а н н а, которая до сих пор не принимала никакого
участия в том, что вокруг нее происходило,
становится внимательнее и подходит ближе.

Б е р т р а н д

И сам едва могу я объяснить,
Как мне достался он. Я покупал
Железные изделия в Вокулёре;
На площади толпилась тьма народа
Вкруг беглецов, лишь только прибежавших
С недоброю из Орлеана вестью;
Весь город был в волнение; сквозь толпу
С усилием я продирался... вдруг
Цыганка смуглая со мной столкнулась;
В руках у ней был этот шлем; она,
Пронзительно в глаза мне посмотрев,
Сказала: «Ты, я знаю, ищешь шлема;
Вот шлем, не дорог он, возьми». – «На что? –
Я отвечал ей. – К латникам пойди;
Я земледелец, мне нет нужды в шлеме». –
Но я никак не мог отговориться.
«Возьми, возьми! – она одно твердила. –

Des Helmes braucht. Ein stählern Dach fürs Haupt
Ist jetzo mehr wert als ein steinern Haus.“
So trieb sie mich durch alle Gassen, mir
Den Helm aufnötigend, den ich nicht wollte,
Ich sah den Helm, daß er so blank und schön
Und würdig eines ritterlichen Haupts,
Und da ich zweifelnd in der Hand ihn wog,
Des Abenteuers Seltsamkeit bedenkend,
Da war das Weib mir aus den Augen, schnell
Hinweggerissen hatte sie der Strom
Des Volkes, und der Helm blieb mir in Händen.

J o h a n n a

rasch und begierig darnach greifend:

Gebt mir den Helm!

B e r t r a n d :

Was frommt Euch dies Geräte?
Das ist kein Schmuck für ein jungfräulich Haupt.

J o h a n n a

entreibt ihm den Helm:

Mein ist der Helm, und mir gehört er zu.

T h i b a u t :

Was fällt dem Mädchen ein?

Теперь для головы стальная кровля
Приютнее всех каменных палат».
И так из улицы одной в другую
Она за мной гналася с этим шлемом.
Я посмотрел: он был красив и светел;
Был рыцарской достоин головы;
Я взял его, чтоб ближе разглядеть;
Но между тем, как я стоял в сомненье,
Она из глаз моих, как сон, пропала:
Ее толпой народа унесло...
И этот шлем в моих руках остался.

И о а н н а

(ухватясь за него поспешно)

Отдай мне шлем.

Б е р т р а н д

На что? Такой наряд
Не девичьей назначен голове.

И о а н н а

(вырывая шлем)

Отдай, он мой и мне принадлежит.

Т и б о

Иоанна, что с тобой?

R a i m o n d :

Laßt ihr den Willen!
Wohl ziemt ihr dieser kriegerische Schmuck,
Denn ihre Brust verschließt ein männlich Herz.
Denkt nach, wie sie den Tigerwolf bezwang,
Das grimmig wilde Tier, das unsre Herden
Verwüstete, den Schrecken aller Hirten.
Sie ganz allein, die löwenherz'ge Jungfrau,
Stritt mit dem Wolf und rang das Lamm ihm ab,
Das er im blut'gen Rachen schon davontrug.
Welch tapfres Haupt auch dieser Helm bedeckt,
Er kann kein würdigeres zieren!

T h i b a u t zu *Bertrand*:

Sprecht!
Welch neues Kriegesunglück ist geschehn?
Was brachten jene Flüchtigen?

B e r t r a n d :

Gott helfe
Dem König und erbarme sich des Landes!
Geschlagen sind wir in zwei großen Schlachten,
Mitten in Frankreich steht der Feind, verloren
Sind alle Länder bis an die Loire —
Jetzt hat er seine ganze Macht zusammen-
Geführt, womit der Orleans belagert.

T h i b a u t :

Gott schütze den König!

Р а й м о н д

Оставь ее;

В ней мужеством наполнена душа,
И ей убор воинственный приличен.
Ты помнишь сам, как прошлую весной
Она в горах здесь волка одолела,
Ужасного для стад и пастухов.
Одна, одна, душою львица, дева
Чудовище сразила и ягненка
Исторгнула из челюстей кровавых.
Чью б голову сей шлем ни украшал,
Но ей приличней он.

Т и б о

Бертранд, какая
Беда еще случилась? Что сказали
Бежавшие из Орлеана?

Б е р т р а н д

Боже,
Помилуй короля и наш народ!
Мы в двух больших сражениях разбиты;
Враги в середине Франции; все взято
До самых берегов Луары; войска
Со всех сторон сошлись под Орлеан,
И страшная осада началась.

Т и б о

Как! север весь уже опустошен,
А хищникам все мало; к югу мчатся
С войной...

B e r t r a n d :

Unermeßliches
 Geschütz ist aufgebracht von allen Enden,
 Und wie der Bienen dunkelnde Geschwader
 Den Korb umschwärmen in des Sommers Tagen,
 Wie aus geschwärzter Luft die Heuschreckwolke
 Herunterfällt und meilenlang die Felder
 Bedeckt in unabsehbarem Gewimmel,
 So goß sich eine Kriegeswolke aus
 Von Völkern über Orleans' Gefilde,
 Und von der Sprachen unverständlichem
 Gemisch verworren dumpf erbraust das Lager.
 Denn auch der mächtige Burgund, der Länder-
 Gewaltige, hat seine Mannen alle
 Herbeigeführt, die Lütticher, Luxemburger,
 Die Hennegauer, die vom Lande Namur,
 Und die das glückliche Brabant bewohnen,
 Die üpp'gen Genter, die in Samt und Seide
 Stolzieren, die von Seeland, deren Städte
 Sich reinlich aus dem Meereswasser heben,
 Die herdenmelkenden Holländer, die
 Von Utrecht, ja vom äußersten Westfriesland,
 Die nach dem Eispol schau'n — Sie folgen alle
 Dem Heerbann des gewaltig herrschenden
 Burgund und wollen Orleans bezwingen.

T h i b a u t :

O des unselig jammervollen Zwists,
 Der Frankreichs Waffen wider Frankreich wendet!

B e r t r a n d :

Auch sie, die alte Königin, sieht man,
 Die stolze Isabeau, die Bayerfürstin,
 In Stahl gekleidet durch das Lager reiten,

Б е р т р а н д

Бесчисленный снаряд осадный
Со всех сторон придвинут к Орлеану.
Как летом пчел волнующийся рой,
Слетаяся, жужжит кругом улья,
Как саранча, на нивы темной тучей
Обрушившись, кипит необозримо,
Так Орлеан бесчисленно народы
Осыпали, в одно столпившись войско;
От множества племен разноязычных
Наполнен стан глухим, невнятным шумом;
И всех своих землевластитель герцог
Бургундский в строй с пришельцами поставил:
Из Литтиха, из Генего, из Гента,
Богатого и бархатом и шелком,
Из мирного Брабанта, из Намура,
Из городов Зеландии приморских,
Блистающих опрятностью веселой,
От пажитей голландских, от Утрехта,
От северных Фризландии пределов
Под знамена могущего Бургунда
Сошлись полки разрушить Орлеан.

Т и б о

О горестный, погибельный раздор;
На Францию оружие французов!

Б е р т р а н д

И, броней покрывшись, Изабелла,
Мать короля, князей баварских племя,

Mit gift'gen Stachelworten alle Völker
Zur Wut aufregen wider ihren Sohn,
Den sie in ihrem Mutterschoß getragen!

T h i b a u t :

Fluch treffe sie! Und möge Gott sie einst
Wie jene stolze Jesabel verderben!

B e r t r a n d :

Der fürchterliche Salisbury, der Mauern-
Zertrümmerer, führt die Belagerung an,
Mit ihm des Löwen Bruder Lionel
Und Talbot, der mit mörderischem Schwert
Die Völker niedermähet in den Schlachten.
In frechem Mute haben sie geschworen,
Der Schmach zu weihen alle Jungfrauen
Und, was das Schwert geführt, dem Schwert zu opfern.
Vier hohe Warten haben sie erbaut,
Die Stadt zu überragen; oben späht
Graf Salisbury mit mordbegier'gem Blick
Und zählt den schnellen Wandrer auf den Gassen.
Viel tausend Kugeln schon von Zentners Last
Sind in die Stadt geschleudert, Kirchen liegen
Zertrümmert, und der königliche Turm
Von Notre-Dame beugt sein erhabnes Haupt.
Auch Pulvergänge haben sie gegraben,
Und über einem Höllenreiche steht
Die bange Stadt, gewärtig jede Stunde,
Daß es mit Donners Krachen sich entzünde.

J o h a n n a *horcht mit gespannter Aufmerksamkeit
und setzt sich den Helm auf.*

Примчалась в стан врагов и разжигает
Их хитрыми словами на погибель
Того, кто жизнь приял у ней под сердцем.

Т и б о

Срази ее проклятием Господь!
Богоотступница, погибнешь ты,
Как некогда Иезавель погибла.

Б е р т р а н д

Заботливо осадой управляет
Рушитель стен, ужасный Салисбури;
С ним Лионель, боец с душой звериной;
И вождь Тальбот, один судьбу сражений
Свершающий убийственным мечом;
Они клялись, в отваге дерзновенной,
Всех наших дев предать на посрамленье,
Сразить мечом, кто встретится с мечом.
Придвинуты к стенам четыре башни,
И, городом владычествуя грозно,
С их высоты уби́йства жадным оком,
Невидимый, считает Салисбури
На улицах поспешных пешеходов.
Уж много бомб упало в город; церкви
В развалинах, и сам великолепный
Храм Богоматери грозит паденьем.
Бесчисленны подкопы под стенами;
Весь Орлеан стоит теперь над бездной
И робко ждет, что вдруг под ним она,
Гремящая, разверзится и вспыхнет.

И о а н н а слушает с великим, беспрестанно усиливающимся вниманием
и наконец надевает на голову шлем.

T h i b a u t :

Wo aber waren denn die tapfern Degen
Saintrailles, La Hire und Frankreichs Brustwehr,
Der heldenmüt'ge Bastard, daß der Feind
So allgewaltig reißend vorwärts drang?
Wo ist der König selbst, und sieht er müßig
Des Reiches Not und seiner Städte Fall?

B e r t r a n d :

Zu Chinon hält der König seinen Hof,
Es fehlt an Volk, er kann das Feld nicht halten.
Was nützt der Führer Mut, der Helden Arm,
Wenn bleiche Furcht die Heere lähmt?
Ein Schrecken, wie von Gott herabgesandt,
Hat auch die Brust der Tapfersten ergriffen.
Umsonst erschallt der Fürsten Aufgebot.
Wie sich die Schafe bang zusammendrängen,
Wenn sich des Wolfes Heulen hören läßt,
So sucht der Franke, seines alten Ruhms
Vergessend, nur die Sicherheit der Burgen.
Ein einz'ger Ritter nur, hört' ich erzählen,
Hab' eine schwache Mannschaft aufgebracht
Und zieh' dem König zu mit sechzehn Fahnen.

J o h a n n a *schnell:*

Wie heißt der Ritter?

B e r t r a n d :

Baudricour. Doch schwerlich
Möcht' er des Feindes Kundschaft hintergehn,
Der mit zwei Heeren seinen Fersen folgt.

Т и б о

Но где Сантраль? Что сделалось с Ла Гиrom?
Где Дюнуа, отечества надежда?
С победою вперед стремится враг –
А мы об них не знаем и не слышим.
И что король? Ужель он равнодушен
К потере городов, к бедам народа?

Б е р т р а н д

Король теперь с двором своим в Шиноне;
Людей взять негде, все полки разбиты.
Что смелый вождь? Что рыцарей отважность,
Когда нет сил, когда все войско в страхе?
Нас Бог казнит; ниспосланный им ужас
К бесстрашнейшим запал глубоко в душу;
Все скрылося; все вызовы напрасны;
Как робкие бегут к заградам овцы,
Послышавши ужасный волчий вой,
Так, древней чести изменив, французы
Спешат искать защиты в крепких замках.
Едва один нашелся храбрый рыцарь:
Он слабый полк собрал и к королю
С шестнадцатью знаменами идет.

И о а н н а
(поспешно)

Кто этот рыцарь?

Б е р т р а н д

Бодрикур; но трудно
От поисков врага ему укрыться:
Две армии преследуют его.

J o h a n n a :

Wo hält der Ritter? Sagt mir's, wenn Ihr's wisset.

B e r t r a n d :

Er steht kaum eine Tagereise weit
Von Vaucouleurs.

T h i b a u t zu *Johanna*:

Was kümmert's dich! Du fragst
Nach Dingen, Mädchen, die dir nicht geziemen.

B e r t r a n d :

Weil nun der Feind so mächtig und kein Schutz
Vom König mehr zu hoffen, haben sie
Zu Vaucouleurs einmütig den Beschluß
Gefaßt, sich dem Burgund zu übergeben.
So tragen wir nicht fremdes Joch und bleiben
Beim alten Königsstamme — ja vielleicht
Zur alten Krone fallen wir zurück,
Wenn einst Burgund und Frankreich sich versöhnen.

J o h a n n a in *Begeisterung*:

Nichts von Verträgen! Nichts von Übergabe!
Der Retter naht, er rüstet sich zum Kampf.
Vor Orleans soll das Glück des Feindes scheitern,
Sein Maß ist voll, er ist zur Ernte reif.
Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau kommen

И о а н н а

Но где же он? Скажи скорей, что слышно?

Б е р т р а н д

На переход один от Вокулёра
Стоит он лагерем.

Т и б о
(Иоанне)

Молчи, Иоанна,
Ты говоришь о том, чего не смыслишь.

Б е р т р а н д

Уверившись, что враг неодолим,
И помощи от короля не чая, –
Чтобы спастись от ига иноземцев
И сохранить себя законной власти, –
Решились граждане Вокулёра
Могущему Бургунду покориться,
Но с тем, чтоб он их принял договор:
Чтоб возвратил нас древнему престолу,
Как скоро мир опять меж ними будет.

И о а н н а
(вдохновенно)

С кем договор? Ни слова о покорстве!
Спаситель жив; грядет, грядет он в силе!..
Могущий враг падет под Орлеаном:
Исполнилось! для жатвы он созрел!..
Своим серпом вооружилась дева;
Пожнет она кичливые надежды;

Und seines Stolzes Saaten niedermähn;
Herab vom Himmel reißt sie seinen Ruhm,
Den er hoch an den Sternen aufgehangen.
Verzagt nicht! Fliehet nicht! Denn eh der Roggen
Gelb wird, eh sich die Mondesscheibe füllt,
Wird kein engländisch Roß mehr aus den Wellen
Der prächtig strömenden Loire trinken.

B e r t r a n d :

Ach! Es geschehen keine Wunder mehr!

J o h a n n a :

Es geschehn noch Wunder — Eine weiße Taube
Wird fliegen und mit Adlerskühnheit diese Geier
Anfallen, die das Vaterland zerreißen.
Darniederkämpfen wird sie diesen stolzen
Burgund, den Reichsverräter, diesen Talbot,
Den himmelstürmend hunderthändigen,
Und diesen Salsbury, den Tempelschänder,
Und diese frechen Inselwohner alle
Wie eine Herde Lämmer vor sich jagen.
Der Herr wird mit ihr sein, der Schlachten Gott.
Sein zitterndes Geschöpf wird er erwählen,
Durch eine zarte Jungfrau wird er sich
Verherrlichen, denn er ist der Allmächt'ge!

T h i b a u t :

Was für ein Geist ergreift die Dirn?

Сорвет с небес продерзностную славу,
Взнесенную безумцами к звездам...
Не трепетать! вперед! не пожелтеет
Еще на ниве клас и круг луны
На небесах еще не совершится –
А ни один уже британский конь
Не будет пить из чистых вод Луары.

Б е р т р а н д

Ах! в наши дни чудес уж не бывает.

И о а н н а

Есть чудеса!.. Взовьется голубица
И налетит с отважностью орла
На ястребов, терзающих отчизну;
И низразит она сего Бургунда,
Цареотступника, сего Тальбота,
Сторукого громителя небес,
С ругателем святыни Салисбури;
И побегут толпы островитян,
Затрепетав, как агнцы, перед нею...
Господь с ней будет! Бог всеильный брани
Пошлет свое дрожащее создание;
Творец земли себя в смиренной деве
Явит земле... *зане Он всемогущий!*

Т и б о

Какой в ней дух пророчит?

R a i m o n d :

Es ist
Der Helm, der sie so kriegerisch beseelt.
Seht Eure Tochter an. Ihr Auge blitzt,
Und glühend Feuer sprühen ihre Wangen!

J o h a n n a :

Dies Reich soll fallen? Dieses Land des Ruhms,
Das schönste, das die ew'ge Sonne sieht
In ihrem Lauf, das Paradies der Länder,
Das Gott liebt wie den Apfel seines Auges,
Die Fesseln tragen eines fremden Volks!
— Hier scheiterte der Heiden Macht. Hier war
Das erste Kreuz, das Gnadenbild erhöht,
Hier ruht der Staub des heil'gen Ludewig,
Von hier aus ward Jerusalem erobert.

B e r t r a n d *erstaunt:*

Hört ihre Rede! Woher schöpfte sie
Die hohe Offenbarung — Vater Arc!
Euch gab Gott eine wundervolle Tochter!

J o h a n n a :

Wir sollen keine eigne Könige
Mehr haben, keinen eingebornen Herrn —
Der König, der nie stirbt, soll aus der Welt
Verschwinden — der den heil'gen Pflug beschützt,
Der die Trift beschützt und fruchtbar macht die Erde,
Der die Leibeignen in die Freiheit führt,
Der die Städte freudig stellt um seinen Thron,

Р а й м о н д

Этот шлем
Воинственно воспламенил в ней душу;
Взгляните на нее: глаза как звезды,
И все лицо ее преобразилось.

И о а н н а

Как! древнему престолу пасть? Стране,
Избранной славою, под вечным солнцем
Прекраснейшей, счастливому Эдему,
Стране, Творцу любезной, как зеница
Его очей, рабою быть пришельца?..
Здесь рухнула неверных сила; здесь
Был первый крест, спасенья знак, воздвигнут;
Здесь прах лежит святого Людовика;
Ерусалим отсюда завоеван...

Б е р т р а н д
(удивленно)

Вы слышите?.. Откуда вдруг открылся
Такой ей свет?.. О! дочерью чудесной,
Сосед, тебя Господь благословил.

И о а н н а

Нам не иметь властителей законных,
Воспитанных единым с нами небом?
Для нас король наш должен умереть,
Неумирающий, защитник плуга,
Хранитель стад, плодотворитель нив,
Невольникам дарующий свободу,
Скликающий пред трон свой наши грады,

Der dem Schwachen beisteht und den Bösen schreckt,
 Der den Neid nicht kennet — denn er ist der Größte —
 Der ein Mensch ist und ein Engel der Erbarmung
 Auf der feindsel'gen Erde. — Denn der Thron
 Der Könige, der von Golde schimmert, ist
 Das Obdach der Verlassenen — hier steht
 Die Macht und die Barmherzigkeit — es zittert
 Der Schuldige, vertrauend naht sich der Gerechte
 Und scherzet mit den Löwen um den Thron!
 Der fremde König, der von außen kommt,
 Dem keines Ahnherrn heilige Gebeine
 In diesem Lande ruhn, kann er es lieben?
 Der nicht jung war mit unsern Jünglingen,
 Dem unsre Worte nicht zum Herzen tönen,
 Kann er ein Vater sein zu seinen Söhnen?

T h i b a u t :

Gott schütze Frankreich und den König! Wir
 Sind friedliche Landleute, wissen nicht
 Das Schwert zu führen, noch das kriegerische Roß
 Zu tummeln. — Laßt uns still gehorchend harren,
 Wen uns der Sieg zum König geben wird.
 Das Glück der Schlachten ist das Urteil Gottes,
 Und unser H e r r ist, wer die heil'ge Ölung
 Empfängt und sich die Kron' aufsetzt zu Reims.
 — Kommt an die Arbeit! Kommt! Und denke jeder
 Nur an das Nächste! Lassen wir die Großen,
 Der Erde Fürsten um die Erde lösen;
 Wir können ruhig die Zerstörung schauen,
 Denn sturmfest steht der Boden, den wir bauen.
 Die Flamme brenne unsre Dörfer nieder,
 Die Saat zerstampfe ihrer Rosse Tritt,
 Der neue Lenz bringt neue Saaten mit,
 Und schnell erstehn die leichten Hütten wieder!

Alle außer der Jungfrau gehen ab.

Покров бессилия, гроза злодейства,
Без зависти возвышенный над миром,
И человек и ангел утешенья
На вражеской земле?.. Престол законных
Властителей и в пышности своей
Для слабого приют; при нем на страже
И власть и милость; стать пред ним боится
Виновный; пред него с надеждой правый
Идет в лицо судьи смотреть без страха...
Но царь-пришелец, чужой страны питомец,
Пред кем отцов священный прах не скрыт
У нас в земле, земли невзлюбит нашей.
Кто нашим юношам товарищ не был,
Кому язык наш в душу не бежит,
Тот будет ли для нас отец в короне?

Т и б о

Да защитит Всевышний короля
И Францию! Нам, мирным поселянам,
Меч незнаком; нам бранного коня
Не укротить; мы будем ждать смиренно,
Кого нам даст владыкою победа!
Сражения успех есть Божий суд.
Король наш тот, кто был миропомазан
В священном Реймсе, кто приял державу
Над древними гробами Сен-Дени...
Друзья, пора к работе; помни каждый
Ближайший долг свой; пусть князья земные
Земную власть по жребию берут!
А нам смотреть в тиши на разрушение:
Покорной нам земли оно не тронет;
Пускай пожжет селенья наши пламень,
Пускай кони притопчут наши нивы –
С молодой весной взойдет младая жатва,
А низкие легко восстанут кровли.

Все, кроме И о а н н ы, уходят.

J o h a n n a :

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften,
Ihr traulich stillen Täler, lebet wohl!
Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln,
Johanna sagt euch ewig Lebewohl,
Ihr Wiesen, die ich wässerte, ihr Bäume,
Die ich gepflanzt, grünet fröhlich fort!
Lebt wohl, ihr Grotten und ihr kühlen Brunnen!
Du Echo, holde Stimme dieses Tals,
Die oft mir Antwort gab auf meine Lieder —
Johanna geht, und nimmer kehrt sie wieder!

Ihr Plätze alle meiner stillen Freuden,
Euch lass' ich hinter mir auf immerdar!
Zerstreuet euch, ihr Lämmer, auf der Heiden,
Ihr seid jetzt eine hirtenlose Schar,
Denn eine andre Herde muß ich weiden,
Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr.
So ist des Geistes Ruf an mich ergangen,
Mich treibt nicht eitles, irdisches Verlangen.

Denn der zu Mosen auf des Horebs Höhen
Im feur'gen Busch sich flammend niederließ
Und ihm befahl, vor Pharao zu stehen.
Der einst den frommen Knaben Isais,
Den Hirten, sich zum Streiter ausersehen.
Der stets den Hirten gnädig sich bewies,
Er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen:
„Geh hin! Du sollst auf Erden für mich zeugen.

In rauhes Erz sollst du die Glieder schnüren,
Mit Stahl bedecken deine zarte Brust;
Nicht Männerliebe darf dein Herz berühren
Mit sünd'gen Flammen eitler Erdenlust,
Nie wird der Brautkranz deine Locke zieren,
Dir blüht kein lieblich Kind an deiner Brust,

И о а н н а

(долго стоит в задумчивости)

Простите вы, холмы, поля родные;
Приютно-мирный, ясный дол, прости;
С Иоанной вам уж боле не видаться,
Навек она вам говорит: прости!
Друзья-луга, древа, мои питомцы,
Вам без меня и цвезть и доцветать;
Ты, сладостный долины голос, эхо,
Так часто здесь игравшее со мной,
Прохладный грот, поток мой быстротечный,
Иду от вас и не приду к вам вечно.

Места, где все бывало мне усладой,
Отныне вы со мной разлучены;
Мои стада, не буду вам оградой...
Без пастыря бродить вы суждены;
Досталось мне пасти иное стадо
На пажитях кровавья войны.
Так вышнее назначило избранье;
Меня стремится не суетных желанье.

Кто некогда, гремя и пламенея,
В горящий куст к пророку нисходил,
Кто на царя воздвигнул Моисея,
Кто отрока Давида укрепил –
И с сильным в бой стал пастырь, не бледнея, –
Кто пастырям всегда благоволил,
Тот здесь вещал ко мне из сени древа:
«Иди о Мне свидетельствовать, дева!
Надеть должна ты латы боевые,
В железо грудь младую заковать;
Страшись надежд, не знай любви земныя:
Венчальных свеч тебе не зажигать;
Не быть тебе душой семьи родныя;
Цветущего младенца не ласкать...

Doch werd' ich dich mit kriegerischen Ehren,
Vor allen Erdenfrauen dich verklären.

Denn wenn im Kampf die Mutigsten verzagen,
Wenn Frankreichs letztes Schicksal nun sich naht,
Dann wirst du meine Oriflamme tragen
Und, wie die rasche Schnitterin die Saat,
Den stolzen Überwinder niederschlagen;
Umwälzen wirst du seines Glückes Rad,
Errettung bringen Frankreichs Heldensöhnen
Und Reims befrein und deinen König krönen!“

Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen,
Er sendet mir den Helm, er kommt von ihm,
Mit Götterkraft berühret mich sein Eisen,
Und mich durchflammt der Mut der Cherubim;
Ins Kriegsgewühl hinein will es mich reißen,
Es treibt mich fort mit Sturmes Ungestüm,
Den Feldruf hör' ich mächtig zu mir dringen,
Das Schlachtroß steigt, und die Trompeten klingen.

Sie geht ab.



Но в битвах Я главу твою прославлю;
Всех выше дев земных тебя поставлю.

Когда начнет бледнеть и смелый в брани
И роковой пробьет отчизне час –
Возьмешь Мою ты орифламму в длани
И мощь врагов сорвешь, как жница клас;
Поставишь их надменной власти грани,
Преобразишь во плач победный глас,
Дашь ратным честь, дашь блеск и силу трону,
И Карла в Реймс введешь принять корону».

Мне обещал небесный извещение;
Исполнилось... и шлем сей послан *Им*.
Как бранный огонь – Его прикосновенье,
С Ним мужество, как Божий херувим...
В кипящий бой несет души стремленье;
Как буря, пыл ее неукротим...
Се битвы клич! полки с полками стали!
Взвились кони, и трубы зазвучали!

(Уходит.)



DAS SIEGESFEST

Priams Feste war gesunken,
Troja lag in Schutt und Staub,
Und die Griechen, siegestrunken,
Reich beladen mit dem Raub,
Saßen auf den hohen Schiffen
Längs des Hellespontos Strand,
Auf der frohen Fahrt begriffen
Nach dem schönen Griechenland.

Stimmet an die frohen Lieder!
Denn dem väterlichen Herd
Sind die Schiffe zugekehrt,
Und zur Heimat geht es wieder.

Und in langen Reihen, klagend,
Saß der Trojerinnen Schar,
Schmerzvoll an die Brüste schlagend,
Bleich, mit aufgelöstem Haar.
In das wilde Fest der Freuden
Mischten sie den Wehgesang,
Weinend um das eigne Leiden
In des Reiches Untergang.

Lebe wohl, geliebter Boden!
Von der süßen Heimat fern
Folgen wir dem fremden Herrn.
Ach wie glücklich sind die Toten!

Und den hohen Göttern zündet
Kalchas jetzt das Opfer an.
Pallas, die die Städte gründet
Und zertrümmert, ruft er an,
Und Neptun, der um die Länder
Seinen Wogengürtel schlingt,
Und den Zeus, den Schreckensender,
Der die Ägis grausend schwingt.
Ausgestritten, ausgerungen

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Пал Приамов град священный;
Грудой пепла стал Пергам;
И, победой насыщенные,
К острогрудым кораблям
Собрались элены – тризну
В честь минувшего свершить
И в желанную отчизну,
К берегам Эллады плыть.

Пойте, пойте гимн согласный:
Корабли обращены
От враждебной стороны
К нашей Греции прекрасной.

Брегом шла толпа густая
Илионских дев и жен:
Из отеческого края
Их вели в далекий плен.
И с победной песнью дикой
Их сливался тихий стон
По тебе, святой, великий,
Невозвратный Илион.

Вы, родные холмы, нивы,
Нам вас боле не видать;
Будем в рабстве увядать...
О, сколь мертвые счастливы!

И с предведением во взгляде
Жертву сам Калхас заклал:
Грады зиждущей Палладе
И губящей (он воззвал),
Буреносцу Посидону,
Воздымателю валов,
И носящему Горгону
Богу смертных и богов!

Суд окончен; спор решился;
Прекратилась борьба;

Ist der lange, schwere Streit,
Ausgefüllt der Kreis der Zeit,
Und die große Stadt bezwungen.

Atreus' Sohn, der Fürst der Scharen,
Übersah der Völker Zahl,
Die mit ihm gezogen waren
Einst in des Skamanders Tal.
Und des Kammers finstre Wolke
Zog sich um des Königs Blick:
Von dem hergeführten Volke
Bracht' er wen'ge nur zurück.
Drum erhebe frohe Lieder,
Wer die Heimat wiedersieht,
Wem noch frisch das Leben blüht!
Denn nicht alle kehren wieder.

Alle nicht, die wiederkehren,
Mögen sich des Heimzugs freun,
An den häuslichen Altären
Kann der Mord bereitet sein.
Mancher fiel durch Freundestücke,
Den die blut'ge Schlacht verfehlt!
Sprach Ulyß mit Warnungsblicke,
Von Athenens Geist beseelt.
Glücklich, wem der Gattin Treue
Rein und keusch das Haus bewahrt!
Denn das Weib ist falscher Art,
Und die Arge liebt das Neue.

Und des frisch erkämpften Weibes
Freut sich der Atrid und strickt
Um den Reiz des schönen Leibes
Seine Arme hochbeglückt.
Böses Werk muß untergehen,
Rache folgt der Freveltat,
Denn gerecht in Himmelshöhen
Waltet des Kroniden Rat.

Все исполнила Судьба:
Град великий сокрушился.

Царь народов, сын Атрея
Обозрел полков число:
Вслед за ним на брег Сигея
Много, много их пришло...
И незапный мрак печали
Отуманил царский взгляд:
Благороднейшие пали...
Мало с ним пойдет назад.
Счастлив тот, кому сиянье
Бытия сохранено,
Тот, кому вкусить дано
С милой родиной свиданье!

И не всякий насладится
Миром, в свой пришедши дом:
Часто злобный ков таится
За домашним алтарем;
Часто Марсом пощаженный
Погибает от друзей
(Рек, Палладой вдохновенный,
Хитроумный Одиссей).
Счастлив тот, чей дом украшен
Скромной верностью жены!
Жены алчут новизны:
Постоянный мир им страшен.

И стоящий близ Елены
Менелай тогда сказал:
Плод губительный измены –
Ею сам изменник пал;
И погиб виной Парида
Отягченный Илион...
Неизбежен суд Кронида,
Все блюдет с Олимпа он.

Böses muß mit Bösem enden;
An dem frevelnden Geschlecht
Rächet Zeus das Gastesrecht,
Wägend mit gerechten Händen.

Wohl dem Glücklichen mag's ziemen,
Ruft Oileus' tapfrer Sohn,
Die Regierenden zu rühmen
Auf dem hohen Himmelsthron!
Ohne Wahl verteilt die Gaben,
Ohne Billigkeit das Glück;
Denn Patroklos liegt begraben,
Und Thersites kommt zurück!
 Weil das Glück aus seinen Tonnen
 Die Gesicke blind verstreut,
 Freue sich und jauchze heut,
 Wer das Lebenslos gewonnen!

Ja, der Krieg verschlingt die Besten!
Ewig werde dein gedacht,
Bruder, bei der Griechen Festen,
Der ein Turm war in der Schlacht.
Da der Griechen Schiffe brannten,
War in deinem Arm das Heil;
Doch dem Schlaunen, Vielgewandten
Ward der schöne Preis zuteil.
 Friede deinen heil'gen Resten!
 Nicht der Feind hat dich entrafft:
 Ajax fiel durch Ajax' Kraft.
 Ach, der Zorn verderbt die Besten!

Dem Erzeuger jetzt, dem großen,
Gießt Neoptolem des Weins:
Unter allen ird'schen Losen,
Hoher Vater, preis' ich deins.
Von des Lebens Gütern allen
Ist der Ruhm das höchste doch;

Злому злой конец бывает:
Гибнет жертвой Эвменид,
Кто безумно, как Парид,
Право гостя оскверняет.

Пусть веселый взор счастливых
(Оилеев сын сказал)
Зрит в богах богов правдивых;
Суд их часто слеп бывал:
Скольких бодрых жизнь поблекла!
Скольких низких рок щадит!..
Нет великого Патрокла;
Жив презрительный Терсит.
Смертный, царь Зевес Фортуне
Своенравной предал нас:
Уловляй же быстрый час,
Не тревожа сердца втуне.

Лучших бой похитил ярый!
Вечно памятен нам будь,
Ты, мой брат, ты, под удары
Подставлявший твердо грудь,
Ты, который нас, пожаром
Осажденный, защитил...
Но коварнейшему даром
Щит и меч Ахиллов был.
Мир тебе во тьме Эрева!
Жизнь твою не враг отнял:
Ты своею силой пал,
Жертва гибельного гнева.

О Ахилл! о мой родитель!
(Возгласил Неоптолем)
Быстрый мира посетитель,
Жребий лучший взял ты в нем.
Жить в любви племен делами –
Благо первое земли;

Wenn der Leib in Staub zerfallen,
Lebt der große Name noch.
 Tapfrer deines Ruhmes Schimmer
 Wird unsterblich sein im Lied;
 Denn das ird'sche Leben flieht,
 Und die Toten dauern immer.

Wenn des Liedes Stimmen schweigen
Von dem überwundenen Mann,
So will ich für Hektorn zeugen,
Hub der Sohn des Tydeus an;
Der für seine Hausaltäre
Kämpfend, ein Beschirmer, fiel —
Krönt den Sieger größte Ehre,
Ehret *ihn* das schönre Ziel.
 Der für seine Hausaltäre
 Kämpfend sank, ein Schirm und Hort,
 Auch in Feindes Munde fort
 Lebt ihm seines Namens Ehre.

Nestor jetzt, der alte Zecher,
Der drei Menschenalter sah,
Reicht den laubumkränzten Becher
Der betränkten Hekuba:
Trink ihn aus, den Trank der Labe,
Und vergiß den großen Schmerz!
Wundervoll ist Bacchus' Gabe,
Balsam fürs zerrißne Herz.
 Trink ihn aus, den Trank der Labe,
 Und vergiß den großen Schmerz!
 Balsam fürs zerrißne Herz,
 Wundervoll ist Bacchus' Gabe.

Denn auch Niobe, dem schweren
Zorn der Himmlischen ein Ziel,
Kostete die Frucht der Ähren
Und bezwang das Schmerzgefühl;

Будем вечны именами
И сокрытые в пыли!
 Слава дней твоих нетленна;
 В песнях будет цвeсть она:
 Жизнь живущих неверна,
 Жизнь отживших неизменна!

Смерть велит умолкнуть злобе
(Диомед провозгласил):
Слава Гектору во гробе!
Он краса Пергама был;
Он за край, где жили девы,
Веледушно пролил кровь;
Победившим – честь победы!
Охранявшему – любовь!
 Кто, на суд явясь кровавый,
 Славно пал за отчий дом;
 Тот, почтенный и врагом,
 Будет жить в преданьях славы.

Нестор, жизнью убеленный,
Нацедил вина фиал
И Гекубе сокрушенной
Дружелюбно выпить дал.
Пей страданий утоленье;
Добрый Вакхов дар вино:
И веселость и забвенье
Проливает в нас оно.
 Пей, страдалица! печали
 Услаждаются вином:
 Боги жалостные в нем
 Подкрепленье сердцу дали.

Вспомни мать Ниобею:
Что изведала она!
Сколь ужасная над нею
Казнь была совершена!

Denn solange die Lebensquelle
 Schäumt an der Lippen Rand,
 Ist der Schmerz in Lethes Welle
 Tief versenkt und festgebannt!
 Denn solange die Lebensquelle
 An der Lippen Rande schäumt,
 Ist der Jammer weggeträumt,
 Fortgespült in Lethes Welle.

Und von ihrem Gott ergriffen,
 Hub sich jetzt die Seherin,
 Blickte von den hohen Schiffen
 Nach dem Rauch der Heimat hin:
 Rauch ist alles ird'sche Wesen;
 Wie des Dampfes Säule weht,
 Schwinden alle Erdengrößen,
 Nur die Götter bleiben stet.
 Um das Roß des Reiters schweben,
 Um das Schiff die Sorgen her;
 Morgen können wir's nicht mehr,
 Darum laßt uns heute leben!



DER TAUCHER

„Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp',
 Zu tauchen in diesen Schlund?
 Einen goldnen Becher werf ich hinab,
 Verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund.
 Wer mir den Becher kann wieder zeigen,
 Er mag ihn behalten, er ist sein eigen.“

Der König spricht es und wirft von der Höh'
 Der Klippe, die schroff und steil
 Hinaushängt in die unendliche See,

Но и с нею, безотрадной,
Добрый Вакх недаром был:
Он струею виноградной
Вмиг тоску в ней усыпил.
 Если грудь вином согрета
 И в устах вино кипит:
 Скорби наши быстро мчит
 Их смывающая Лета.

И вперила взор Кассандра,
Вняв шепнувшим ей богам,
На пустынный брег Скамандра,
На дымящийся Пергам.
Все великое земное
Разлетается, как дым;
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим...
 Смертный, силе, нас гнетущей,
 Покоряйся и терпи;
 Спящий в гробе, мирно спи;
 Жизнью пользуйся, живущий.



КУБОК

«Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой,
В ту бездну прыгнет с вышины?
Бросаю мой кубок туда золотой:
Кто сыщет во тьме глубины
Мой кубок и с ним возвратится безвредно,
Тому он и будет наградой победной».

Так царь возгласил, и с высокой скалы,
Висевшей над бездной морской,

Den Becher in der Charybde Geheul.
„Wer ist der Beherzte, ich frage wieder,
Zu tauchen in diese Tiefe nieder?“

Und die Ritter, die Knappen um ihn her
Vernehmen's und schweigen still,
Sehen hinab in das wilde Meer,
Und keiner den Becher gewinnen will.
Und der König zum drittenmal wieder fraget:
„Ist keiner, der sich hinunterwaget?“

Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor;
Und ein Edelknecht, sanft und keck,
Tritt aus der Knappen zagendem Chor,
Und den Gürtel wirft er, den Mantel weg,
Und alle die Männer umher und Frauen
Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen.

Und wie er tritt an des Felsen Hang
Und blickt in den Schlund hinab,
Die Wasser, die sie hinunterschlang,
Die Charybde jetzt brüllend wiedergab,
Und wie mit des fernen Donners Getöse
Entstürzen sie schäumend dem finstern Schoße.

Und es waltet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt,
Bis zum Himmel spritzt der dampfende Gischt,
Und Flut auf Flut sich ohn' Ende drängt,
Und will sich nimmer erschöpfen und leeren,
Als wollte das Meer noch ein Meer gebären.

Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt,
Und schwarz aus dem weißen Schaum
Klafft hinunter ein gähnender Spalt,
Grundlos, als ging's in den Höllenraum,
Und reißend sieht man die brandenden Wogen
Hinab in den strudelnden Trichter gezogen.

В пучину бездонной, зияющей мглы
Он бросил свой кубок златой.
«Кто, смелый, на подвиг опасный решится?
Кто съест мой кубок и с ним возвратится?»

Но рыцарь и латник недвижно стоят;
Молчанье – на вызов ответ;
В молчанье на грозное море глядят;
За кубком отважного нет.
И в третий раз царь возгласил громогласно:
«Отыщется ль смелый на подвиг опасный?»

И все безответны... вдруг паж молодой
Смиренно и дерзко вперед;
Он снял епанчу, и снял пояс он свой;
Их молча на землю кладет...
И дамы и рыцари мыслят, безгласны:
«Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?»

И он подступает к наклону скалы
И взор устремил в глубину...
Из чрева пучины бежали валы,
Шумя и гремя, в вышину;
И волны спирались, и пена кипела:
Как будто гроза, наступая, ревела.

И воеет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом;
Пучина бунтует, пучина клокочет...
Не море ль из моря извергнуться хочет?

И вдруг, успокоясь, волнение легло;
И грозно из пены седой
Разинулось черною щелью жерло;
И воды обратно толпой

Jetzt schnell, eh die Brandung wiederkehrt,
Der Jüngling sich Gott befiehlt,
Und — ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört,
Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült,
Und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer
Schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer.

Und stille wird's über dem Wasserschlund,
In der Tiefe nur brauset es hohl,
Und bebend hört man von Mund zu Mund:
„Hochherziger Jüngling, fahre wohl!“
Und hohler und hohler hört man's heulen,
Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weilen.

Und warfst du die Krone selber hinein
Und sprächst: Wer mir bringet die Krön',
Er soll sie tragen und König sein —
Mich gelüstete nicht nach dem teuren Lohn.
Was die heulende Tiefe da unten verhehle,
Das erzählt keine lebende glückliche Seele.

Wohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefaßt,
Schoß gäh in die Tiefe hinab,
Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast
Hervor aus dem alles verschlingenden Grab. —
Und heller und heller, wie Sturmes Sausen,
Hört man's näher und immer näher brausen.

Und es waltet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt,
Bis zum Himmel sprizet der dampfende Gischt,
Und Well' auf Well' sich ohn' Ende drängt,
Und wie mit des fernen Donners Getöse
Entstürzt es brüllend dem finstern Schoße.

Помчались во глубь истощенного чрева;
И глубь застонала от грома и рева.

И он, упредя разъяренный прилив,
Спасителя-Бога призвал,
И дрогнули зрители, все возопив, –
Уж юноша в бездне пропал.
И бездна таинственно зев свой закрыла:
Его не спасет никакая уж сила.

Над бездной утихло... в ней глухо шумит...
И каждый, очей отвести
Не смея от бездны, печально твердит:
«Красавец отважный, прости!»
Все тише и тише на дне ее воеет...
И сердце у всех ожиданием ноет.

«Хоть брось ты туда свой венец золотой,
Сказав: *кто венец возвратит,*
Тот с ним и престол мой разделит со мной! –
Меня твой престол не прельстит.
Того, что скрывает та бездна немая,
Ничья здесь душа не расскажет живая.

Немало судов, закруженных волной,
Глотала ее глубина:
Все мелкой назад вылетали щепой
С ее неприступного дна...»
Но слышится снова в пучине глубокой
Как будто роптанье грозы недалекой.

И воеет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом...
И брызнул поток с оглушительным ревом,
Извергнутый бездны зияющим зевом.

Und sieh! aus dem finster flutenden Schoß
Da hebet sich's schwanenweiß,
Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß,
Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß,
Und er ist's, und hoch in seiner Linken
Schwingt er den Becher mit freudigem Winken.

Und atmete lang und atmete tief
Und begrüßte das himmlische Licht.
Mit Frohlocken es einer dem andern rief:
„Er lebt! Er ist da! Es behielt ihn nicht!
Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle
Hat der Brave gerettet die lebende Seele.“

Und er kommt, es umringt ihn die jubelnde Schar,
Zu des Königs Füßen er sinkt,
Den Becher reicht er ihm kniend dar,
Und der König der lieblichen Tochter winkt,
Die füllt ihn mit funkelndem Wein bis zum Rande,
Und der Jüngling sich also zum König wandte:

„Lang lebe der König! Es freue sich,
Wer da atmet im rosigten Licht!
Da unten aber ist's fürchterlich,
Und der Mensch versuche die Götter nicht
Und begehre nimmer und nimmer zu schauen,
Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen.

Es riß mich hinunter blitzesschnell —
Da stürzt' mir aus felsigtem Schacht
Wildflutend entgegen ein reißender Quell;
Mich packte des Doppelstroms wütende Macht,
Und wie einen Kreisel mit schwindelndem Drehen
Trieb mich's um, ich konnte nicht widerstehen.

Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief
In der höchsten schrecklichen Not,

Вдруг... что-то сквозь пену седой глубины
Мелькнуло живой белизной...
Мелькнула рука и плечо из волны...
И борется, спорит с волной...
И видят – весь берег потрясся от клича –
Он левою правит, а в правой добыча.

И долго дышал он, и тяжело дышал,
И божий приветствовал свет...
И каждый с весельем: «Он жив! – повторял. –
Чудеснее подвига нет!
Из темного гроба, из пропасти влажной
Спас душу живую красавец отважный».

Он на берег вышел; он встречен толпой;
К царевым ногам он упал;
И кубок у ног положил золотой;
И дочери царь приказал:
Дать юноше кубок с струей винограда;
И в сладость была для него та награда.

«Да здравствует царь! Кто живет на земле,
Тот жизнью земной веселись!
Но страшно в подземной таинственной мгле...
И смертный пред Богом смирись:
И мыслью своей не желай дерзновенно
Знать тайны, им мудро от нас сокровенной.

Стрелую стремглав полетел я туда...
И вдруг мне навстречу поток;
Из трещины камня лилася вода;
И вихорь ужасный повлек
Меня в глубину с непонятною силой...
И страшно меня там кружило и било.

Но Богу молитву тогда я принес,
И Он мне спасителем был:

Aus der Tiefe ragend ein Felsenriff,
Das erfaßt' ich behend und entrann dem Tod.
Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen,
Sonst wär' er ins Bodenlose gefallen.

Denn unter mir lag's noch, bergetief,
In purpurner Finsternis da,
Und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief,
Das Auge mit Schaudern hinuntersah,
Wie's von Salamandern und Molchen und Drachen
Sich regt' in dem furchtbaren Höllenrachen.

Schwarz wimmelten da, in grauem Gemisch,
Zu scheußlichen Klumpen geballt,
Der stachlige Roche, der Klippenfisch,
Des Hammers greuliche Ungestalt,
Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne
Der entsetzliche Hai, des Meeres Hyäne.

Und da hing ich und war's mir mit Grausen bewußt,
Von der menschlichen Hilfe so weit,
Unter Larven die einzige fühlende Brust,
Allein in der gräßlichen Einsamkeit,
Tief unter dem Schall der menschlichen Rede
Bei den Ungeheuern der traurigen Öde.

Und schauernd dacht' ich's, da kroch's heran,
Regte hundert Gelenke zugleich,
Will schnappen nach mir — in des Schreckens Wahn
Lass' ich los der Koralle umklammerten Zweig;
Gleich faßt mich der Strudel mit rasendem Toben,
Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach oben.“

Der König darob sich verwundert schier
Und spricht: „Der Becher ist dein,
Und diesen Ring noch bestimm' ich dir,
Geschmückt mit dem köstlichsten Edelgestein,

Торчащий из мглы я увидел утес
И крепко его обхватил;
Висел там и кубок на ветви коралла:
В бездонное влага его не умчала.

И смутно все было внизу подо мной
В пурпуровом сумраке там;
Все спало для слуха в той бездне глухой;
Но виделось страшно очам,
Как двигались в ней безобразные груды,
Морской глубины несказанные чуды.

Я видел, как в черной пучине кипят,
В громадный свиваяся клуб,
И млат водяной, и уродливый скат,
И ужас морей однозуб;
И смертью грозил мне, зубами сверкая,
Мокой ненасытный, гиена морская.

И был я один с неизбежной судьбой,
От взора людей далеко;
Один меж чудовищ с любящей душой,
Во чреве земли, глубоко
Под звуком живым человеческого слова,
Меж страшных жильцов подземелья немова.

И я содрогался... вдруг слышу: ползет
Стоногое грозно из мглы,
И хочет схватить, и разинулся рот...
Я в ужасе прочь от скалы!..
То было спасеньем: я схвачен приливом
И выброшен вверх водомета порывом».

Чудесен рассказ показался царю:
«Мой кубок возьми золотой;
Но с ним я и перстень тебе подарю,
В котором алмаз дорогой,

Versuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde,
Was du sahst auf des Meers tiefunterstem Grunde.“

Das hörte die Tochter mit weichem Gefühl,
Und mit schmeichelndem Munde sie fleht:
„Laßt, Vater, genug sein das grausame Spiel!
Er hat Euch bestanden, was keiner besteht,
Und könnt Ihr des Herzens Gelüsten nicht zähmen,
So mögen die Ritter den Knappen beschämen.“

Drauf der König greift nach dem Becher schnell,
In den Strudel ihn schleudert hinein:
„Und schaffst du den Becher mir wieder zur Stell',
So sollst du der trefflichste Ritter mir sein
Und sollst sie als Ehgemahl heut noch umarmen,
Die jetzt für dich bittet mit zartem Erbarmen.“

Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt,
Und es blitzt aus den Augen ihm kühn,
Und er siehet erröten die schöne Gestalt
Und sieht sie erbleichen und sinken hin —
Da treibt's ihn, den köstlichen Preis zu erwerben,
Und stürzt hinunter auf Leben und Sterben.

Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück,
Sie verkündigt der donnernde Schall;
Da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick —
Es kommen, es kommen die Wasser all,
Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder,
Den Jüngling bringt keines wieder.



Когда ты на подвиг отважишься снова
И тайны все дна перескажешь морскова».

То слыша, царица с волнением в груди,
Краснея, царю говорит:
«Довольно, родитель, его пощади!
Подобное кто совершит?
И если уж должно быть опыту снова,
То рыцаря вышли, не пажа младова».

Но царь, не внимая, свой кубок златой
В пучину швырнул с высоты:
«И будешь здесь рыцарь любимейший мой,
Когда с ним воротишься, ты;
И дочь моя, ныне твоя предо мною
Заступница, будет твоею женою».

В нем жизнью небесной душа зажжена;
Отважность сверкнула в очах;
Он видит: краснеет, бледнеет она;
Он видит: в ней жалость и страх...
Тогда, неописанной радостью полный,
На жизнь и погибель он кинулся в волны...

Утихнула бездна... и снова шумит...
И пеною снова полна...
И с трепетом в бездну царица глядит...
И бьет за волною волна...
Приходит, уходит волна быстротечно:
А юноши нет и не будет уж вечно.



DER HANDSCHUH

Vor seinem Löwengarten,
Das Kampfspiel zu erwarten,
Saß König Franz,
Und um ihn die Großen der Krone
Und rings auf hohem Balkone
Die Damen in schönem Kranz.
Und wie er winkt mit dem Finger,
Auf tut sich der weite Zwinger,
Und hinein mit bedächtigem Schritt
Ein Löwe tritt,
Und sieht sich stumm
Rings um,
Mit langem Gähnen,
Und schüttelt die Mähnen
Und streckt die Glieder
Und legt sich nieder.

Und der König winkt wieder,
Da öffnet sich behend
Ein zweites Tor,
Daraus rennt
Mit wildem Sprunge
Ein Tiger hervor.
Wie der den Löwen erschaut,
Brüllt er laut,
Schlägt mit dem Schweif
Einen furchtbaren Reif
Und reckt die Zunge,
Und im Kreise scheu
Umgeht er den Leu
Grimmig schnurrend;
Drauf streckt er sich murrend
Zur Seite nieder.

Und der König winkt wieder,
Da speit das doppelt geöffnete Haus

ПЕРЧАТКА

Повесть

Перед своим зверинцем,
С баронами, с наследным принцем,
Король Франциск сидел;
С высокого балкона он глядел
На поприще, сраженья ожидая;
За королем, обворожая
Цветущей прелестию взгляд,
Придворных дам являлся пышный ряд.

Король дал знак рукою –
Со стуком растворилась дверь,
И грозный зверь
С огромной головою,
Косматый лев
Выходит;
Кругом глаза угрюмо водит;
И вот, все оглядев,
Наморщил лоб с осанкой горделивой,
Пошевелил густою гривой,
И потянулся, и зевнул,
И лег. Король опять рукой махнул –
Затвор железной двери грянул,
И смелый тигр из-за решетки прынул;
Но видит льва, робеет и ревет,
Себя хвостом по ребрам бьет,
И крадется, косясь взглядом,
И лижет морду языком,
И, обошедши льва кругом,
Рычит и с ним ложится рядом.

И в третий раз король махнул рукой –
Два барса дружную четой

Zwei Leoparden auf einmal aus.
Die stürzen mit mutiger Kampfbegier
Auf das Tigertier;
Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen,
Und der Leu mit Gebrüll
Richtet sich auf — da wird's still,
Und herum im Kreis,
Von Mordsucht heiß,
Lagern die greulichen Katzen.
Da fällt von des Altans Rand
Ein Handschuh von schöner Hand
Zwischen den Tiger und den Leun
Mitten hinein.

Und zu Ritter Delorges spottenderweis'
Wendet sich Fräulein Kunigund':
„Herr Ritter, ist Eure Lieb' so heiß,
Wie Ihr mir's schwört zu jeder Stund',
Ei, so hebt mir den Handschuh auf!“

Und der Ritter in schnellem Lauf
Steigt hinab in den furchtbarn Zwinger
Mit festem Schritte,
Und aus der Ungeheuer Mitte
Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger.

Und mit Erstaunen und mit Grauen
Sehen's die Ritter und Edelfrauen,
Und gelassen bringt er den Handschuh zurück.
Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde,
Aber mit zärtlichem Liebesblick —
Er verheißt ihm sein nahes Glück —
Empfängt ihn Fräulein Kunigunde.
Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht:
„Den Dank, Dame, begeh'r ich nicht!“
Und verläßt sie zur selben Stunde.



В один прыжок над тигром очутились;
Но он удар им тяжелой лапой дал,
А лев с рыканьем встал...
Они смирились,
Оскалив зубы, отошли,
И зарычали, и легли.

И гости ждут, чтоб битва началась.
Вдруг женская с балкона сорвалась
Перчатка... все глядят за ней...
Она упала меж зверей.

Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной
И колкою улыбкою глядит
Его красавица и говорит:
«Когда меня, мой рыцарь верный,
Ты любишь так, как говоришь,
Ты мне перчатку возвратишь».

Делорж, не отвечав ни слова,
К зверям идет,
Перчатку смело он берет
И возвращается к собранью снова.

У рыцарей и дам при дерзости такой
От страха сердце помутилось;
А витязь молодой,
Как будто ничего с ним не случилось,
Спокойно всходит на балкон;
Рукоплесканьем встречен он;
Его приветствуют красавицыны взгляды...
Но, холодно приняв привет ее очей,
В лицо перчатку ей
Он бросил и сказал: «Не требую награды».



DER RING DES POLYKRATES

Er stand auf seines Daches Zinnen,
Er schaute mit vergnügten Sinnen
Auf das beherrschte Samos hin.
„Dies alles ist mir untertänig“,
Begann er zu Ägyptens König,
„Gestehe, daß ich glücklich bin.“

„Du hast der Götter Gunst erfahren
Die vormals deinesgleichen waren,
Sie zwingt jetzt deines Zepters Macht.
Doch einer lebt noch, sie zu rächen,
Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen,
Solang des Feindes Auge wacht.“

Und eh der König noch geendet,
Da stellt sich, von Milet gesendet,
Ein Bote dem Tyrannen dar:
„Laß, Herr, des Opfers Däfte steigen
Und mit des Lorbeers muntern Zweigen
Bekränze dir dein festlich Haar!

Getroffen sank dein Feind vom Speere,
Mich sendet mit der frohen Märe
Dein treuer Feldherr Polydor —“
Und nimmt aus einem schwarzen Becken,
Noch blutig, zu der beiden Schrecken,
Ein wohlbekanntes Haupt hervor.

Der König tritt zurück mit Grauen:
„Doch warn' ich dich, dem Glück zu trauen“,
Versetzt er mit besorgtem Blick.
„Bedenk', auf ungetreuen Wellen —
Wie leicht kann sie der Sturm zerschellen! —
Schwimmt deiner Flotte zweifelnd Glück.“

Und eh er noch das Wort gesprochen,
Hat ihn der Jubel unterbrochen,

ПОЛИКРАТОВ ПЕРСТЕНЬ

На кровле он стоял высоко
И на Самос богатый око
С весельем гордым преклонял:
«Сколь щедро взыскан я богами!
Сколь счастлив я между царями!» –
Царю Египта он сказал:

«Тебе благоприятны боги;
Они к твоим врагам лишь строги
И всех их предали тебе;
Но жив один, опасный мститель:
Пока он дышит... победитель,
Не доверяй своей судьбе».

Еще не кончил он ответа,
Как из союзного Милета
Явился присланный гонец:
«Победой ты украшен новой;
Да обовьет опять лавровый
Главу властителя венец;

Твой враг постигнут строгой мезтью;
Меня послал к вам с этой вестью
Наш полководец Полидор».
Рука гонца сосуд держала:
В сосуде голова лежала;
Врага узнал в ней царский взор.

И гость воскликнул с содроганьем:
«Страшись! Судьба очарованьем
Тебя к гибели влечет.
Неверные морские волны
Обломков корабельных полны:
Еще не в пристани твой флот».

Еще слова его звучали...
А клики брег уж оглашали,

Der von der Reede jauchzend schallt.
Mit fremden Schätzen reich beladen,
Kehrt zu den heimischen Gestaden
Der Schiffe mastenreicher Wald.

Der königliche Gast erstaunet:
„Dein Glück ist heute gut gelaunet,
Doch fürchte seinen Unbestand.
Der Kreter waffenkund'ge Scharen
Bedräuen dich mit Kriegsgefahren;
Schon nahe sind sie diesem Strand.“

Und eh ihm noch das Wort entfallen,
Da sieht man's von den Schiffen wallen,
Und tausend Stimmen rufen: „Sieg!
Von Feindesnot sind wir befreiet,
Die Kreter hat der Sturm zerstreuet,
Vorbei, geendet ist der Krieg!“

Das hört der Gastfreund mit Entsetzen:
„Fürwahr, ich muß dich glücklich schätzen,
Doch“, spricht er, „zitr' ich für dein Heil.
Mir grauet vor der Götter Neide;
Des Lebens ungemischte Freude
Ward keinem Irdischen zuteil.

Auch mir ist alles wohl geraten,
Bei allen meinen Herrschertaten
Begleitet mich des Himmels Huld;
Doch hatt' ich einen teuren Erben,
Den nahm mir Gott, ich sah ihn sterben,
Dem Glück bezahlt' ich meine Schuld.

Drum, willst du dich vor Leid bewahren,
So flehe zu den Unsichtbaren,
Daß sie zum Glück den Schmerz verleihn.
Noch keinen sah ich fröhlich enden,

Народ на пристани кипел;
И в пристань, царь морей крылатый,
Дарами дальних стран богатый,
Флот торжествующий влетел.

И гость, увидя то, бледнеет.
«Тебе Фортуна благодееет...
Но ты не верь, здесь хитрый ков,
Здесь тайная погибель скрыта:
Разбойники морские Крита
От здешних близко берегов».

И только выронил он слово,
Гонец вбегает с вестью новой:
«Победа, царь! Судьбе хвала!
Мы торжествуем над врагами:
Флот критский истреблен богами;
Его их буря пожрала».

Испуган гость нежданной вестью...
«Ты счастлив; но судьбины лестью
Такое счастье мнится мне:
Здесь вечны блага не бывали,
И никогда нам без печали
Не доставались оне.

И мне все в жизни улыбалось;
Неизменяемо, казалось,
Я силой вышней был храним;
Все блага прочил я для сына...
Его, его взяла судьбина;
Я долг мой сыном заплатил.

Чтоб верной избежать напасти,
Моли невидимые власти
Подлить печали в твой фиал.
Судьба и в милостях мздоимец:

Auf den mit immer vollen Händen
Die Götter ihre Gaben streun.

Und wenn's die Götter nicht gewähren,
So acht auf eines Freundes Lehren
Und rufe selbst das Unglück her;
Und was von allen deinen Schätzen
Dein Herz am höchsten mag ergötzen,
Das nimm und wirf's in dieses Meer.“

Und jener spricht, von Furcht bewegt:
„Von allem, was die Insel heget,
Ist dieser Ring mein höchstes Gut.
Ihn will ich den Erinnen weihen,
Ob sie mein Glück mir dann verzeihen.“
Und wirft das Kleinod in die Flut.

Und bei des nächsten Morgens Lichte,
Da tritt mit fröhlichem Gesichte
Ein Fischer vor den Fürsten hin:
„Herr, diesen Fisch hab' ich gefangen,
Wie keiner noch ins Netz gegangen,
Dir zum Geschenke bring' ich ihn.“

Und als der Koch den Fisch zerteilet,
Kommt er bestürzt herbeigeeilet
Und ruft mit hoherstauntem Blick:
„Sieh, Herr, den Ring, den du getragen,
Ihn fand ich in des Fisches Magen,
O, ohne Grenzen ist dein Glück!“

Hier wendet sich der Gast mit Grausen:
„So kann ich hier nicht ferner hausen,
Mein Freund kannst du nicht weiter sein.
Die Götter wollen dein Verderben,
Fort eil' ich, nicht mit dir zu sterben.“
Und sprach's und schiffte schnell sich ein.



Какой, какой ее любимец
Свой век не бедственно кончал?

Когда ж в несчастье рок откажет,
Исполни то, что друг твой скажет:
Ты призови несчастье сам.
Твои сокровища несметны:
Из них скорей, как дар заветный,
Отдай любимое богам».

Он гостю внемлет с содроганьем:
«Моим избранным достояньем
Доныне этот перстень был;
Но я готов властям незримым
Добром пожертвовать любимым...»
И перстень в море он пустил.

Наутро, только луч денницы
Озолотил верхи столицы,
К царю является рыбарь:
«Я рыбу, пойманную мною,
Чудовище величиною,
Тебе принес в подарок, царь!»

Царь изъявил благоволенье...
Вдруг царский повар в исступленье
С неожиданной вестию бежит:
«Найден твой перстень драгоценный,
Огромной рыбой поглощенный,
Он в ней ножом моим открыт».

Тут гость, как пораженный громом,
Сказал: «Беда над этим домом!
Нельзя мне другом быть твоим;
На смерть ты обречен судьбою:
Бегу, чтоб здесь не пасть с тобою...»
Сказал и разлучился с ним.



KLAGE DER CERES

Ist der holde Lenz erschienen?
Hat die Erde sich verjüngt?
Die besonnten Hügel grünen,
Und des Eises Rinde springt.
Aus der Ströme blauem Spiegel
Lacht der unbewölkte Zeus,
Milder wehen Zephirs Flügel,
Augen treibt das junge Reis.
In dem Hain erwachen Lieder,
Und die Oreade spricht:
Deine Blumen kehren wieder,
Deine Tochter kehret nicht.

Ach wie lang ist's, daß ich walle
Suchend durch der Erde Flur!
Titan, deine Strahlen alle
Sandt' ich nach der teuren Spur;
Keiner hat mir noch verkündet
Von dem lieben Angesicht,
Und der Tag, der alles findet,
Die Verlorne fand er nicht.
Hast du, Zeus, sie mir entrissen?
Hat, von ihrem Reiz gerührt,
Zu des Orkus schwarzen Flüssen
Pluto sie hinabgeführt?

Wer wird nach dem düstern Strande
Meines Grames Bote sein?
Ewig stößt der Kahn vom Lande,
Doch nur Schatten nimmt er ein.
Jedem sel'gen Aug' verschlossen
Bleibt das nächtliche Gefild',
Und solange der Styx geflossen,
Trug er kein lebendig Bild.
Nieder führen tausend Steige,

ЖАЛОБА ЦЕРЕРЫ

Снова гений жизни веет;
Возвратилась весна;
Холм на солнце зеленеет;
Лед разрушила волна;
Распустившийся дымится
Благовониями лес,
И безоблачен глядится
В воды зеркальны Зевес;
Все цветет – лишь мой единый
Не взойдет прекрасный цвет:
Прозерпины, Прозерпины
На земле моей уж нет.

Я везде ее искала,
В дневном свете и в ночи;
Все за ней я посылала
Аполлоновы лучи;
Но ее под сводом неба
Не нашел всезрящий бог;
А подземной тьмы Эреба
Луч его пронзить не мог:
Те берега недостижимы,
И богам их страшен вид...
Там она! неумолимый
Ею властвует Аид.

Кто ж мое во мрак Плутона
Слово к ней перенесет?
Вечно ходит челн Харона,
Но лишь тени он берет.
Жизнь подземного страшится;
Недоступен ад и тих;
И с тех пор, как он стремится,
Стикс не видывал живых;
Тьма дорог туда низводит;
Ни одной оттуда нет;

Keiner führt zum Tag zurück,
Ihre Tränen bringt kein Zeuge
Vor der bangen Mutter Blick.

Mütter, die aus Pyrrhas Stamme
Sterbliche geboren sind,
Dürfen durch des Grabes Flamme
Folgen dem geliebten Kind;
Nur was Jovis Haus bewohnt,
Nahet nicht dem dunkeln Strand,
Nur die Seligen verschonet,
Parzen, eure strenge Hand.
Stürzt mich in die Nacht der Nächte
Aus des Himmels goldnem Saal!
Ehret nicht der Göttin Rechte,
Ach, sie sind der Mutter Qual!

Wo sie mit dem finstern Gatten
Freudlos thronet, stieg' ich hin,
Träte mit den leisen Schatten
Leise vor die Herrscherin.
Ach, ihr Auge, feucht von Zähren,
Sucht umsonst das goldne Licht,
Irret nach entfernten Sphären,
Auf die Mutter fällt es nicht,
Bis die Freude sie entdeckt,
Bis sich Brust mit Brust vereint,
Und zum Mitgefühl erwecket
Selbst der rauhe Orkus weint.

Eitler Wunsch! Verlorne Klagen!
Ruhig in dem gleichen Gleis
Rollt des Tages sichrer Wagen,
Ewig steht der Schluß des Zeus.
Weg von jenen Finsternissen
Wandt' er sein beglücktes Haupt;
Einmal in die Nacht gerissen,

И отшедший не приходит
Никогда опять на свет.

Сколь завидна мне, печальной,
Участь смертных матерей!
Легкий пламень погребальный
Возвращает им детей;
А для нас, богов нетленных,
Что усладою утрат?
Нас, безрадостно-блаженных,
Парки строгие щадят...
Парки, парки, поспешите
С неба в ад меня послать;
Прав богини не щадите:
Вы обрадуете мать.

В тот предел – где, утешенью
И веселию чужда,
Дочь живет – свободной тенью
Полетела б я тогда;
Близ супруга, на престоле
Мне предстала бы она,
Грустной думою о воле
И о матери полна;
И ко мне бы взор склонился,
И меня узнал бы он,
И над нами б прослезился
Сам безжалостный Плутон.

Тщетный призрак! стон напрасный!
Все одним путем небес
Ходит Гелиос прекрасный;
Все навек решил Зевес;
Жизнью горнею доволен,
Ненавидя адску ночь,
Он и сам отдать неволен
Мне утраченную дочь.

Bleibt sie ewig mir geraubt,
Bis des dunkeln Stromes Welle
Von Aurorens Farben glüht,
Iris mitten durch die Hölle
Ihren schönen Bogen zieht.

Ist mir nichts von ihr geblieben?
Nicht ein süß erinnernd Pfand,
Daß die Fernen sich noch lieben,
Keine Spur der teuren Hand?
Knüpfet sich kein Liebesknoten
Zwischen Kind und Mutter an?
Zwischen Lebenden und Toten
Ist kein Bündnis aufgetan?
Nein, nicht ganz ist sie entflohen!
Nein, wir sind nicht ganz getrennt!
Haben uns die ewig Hohen
E i n e Sprache doch vergönnt!

Wenn des Frühlings Kinder sterben,
Wenn von Nordes kaltem Hauch
Blatt und Blume sich entfärben,
Traurig steht der nackte Strauch,
Nehm' ich mir das höchste Leben
Aus Vertumnus reichem Horn,
Opfernd es dem Styx zu geben,
Mir des Samens goldnes Korn.
Trauernd senk' ich's in die Erde,
Leg' es an des Kindes Herz,
Daß es eine Sprache werde
Meiner Liebe, meinem Schmerz.

Führt der gleiche Tanz der Horen
Freudig nun den Lenz zurück,
Wird das Tote neu geboren
Von der Sonne Lebensblick;
Keime, die dem Auge starben

Там ей быть, доколь Аида
Не осветит Аполлон
Или радугой Ирида
Не сойдет на Ахерон!

Нет ли мне чего от милой,
В сладкопамятный завет:
Что осталось все, как было,
Что для нас разлуки нет?
Нет ли тайных уз, чтоб ими
Снова сблизить мать и дочь,
Мертвых с милыми живыми,
С светлым днем подземну ночь?..
Так, не все следы пропали!
К ней дойдет мой нежный клик:
Нам святые боги дали
Усладительный язык.

В те часы, как хлад Борея
Губит нежных чад весны,
Листья падают, желтея,
И леса обнажены:
Из руки Вертумна щедрой
Семя жизни взять спешу
И, его в земное недро
Бросив, Стиксу приношу;
Сердцу дочери вверяю
Тайный дар моей руки
И, скорбя, в нем посылаю
Весть любви, залог тоски.

Но когда с небес слетает
Вслед за бурями весна:
В мертвом снова жизнь играет,
Солнце греет семена;
И, умершие для взора,
Вняв они весны привет,

In der Erde kaltem Schoß,
In das heitre Reich der Farben
Ringen sie sich freudig los.
Wenn der Stamm zum Himmel eilet,
Sucht die Wurzel scheu die Nacht,
Gleich in ihre Pflege teilet
Sich des Styx, des Äthers Macht.

Halb berühren sie der Toten,
Halb der Lebenden Gebiet;
Ach, sie sind mir teure Boten,
Süße Stimmen vom Cocyt!
Hält er gleich sie selbst verschlossen
In dem schauervollen Schlund,
Aus des Frühlings jungen Sprossen
Redet mir der holde Mund,
Das auch fern vom goldnen Tage,
Wo die Schatten traurig ziehn,
Liebend noch der Busen schlage,
Zärtlich noch die Herzen glühn.

O so laßt euch froh begrüßen,
Kinder der verjüngten Au,
Euer Kelch soll überfließen
Von des Nektars reinstem Tau.
Tauchen will ich euch in Strahlen,
Mit der Iris schönstem Licht
Will ich eure Blätter malen,
Gleich Aurorens Angesicht.
In des Lenzes heiterm Glanze
Lese jede zarte Brust,
In des Herbstes welkem Kranze
Meinen Schmerz und meine Lust.



Из подземного затвора
Рвутся радостно на свет:
Лист выходит в область неба,
Корень ищет тьмы ночной;
Лист живет лучами Феба,
Корень Стиксовой струей.

Ими таинственно слита
Область тьмы с страной дня,
И приходят от Коцита
С ними вести для меня;
И ко мне в живом дыханье
Молодых цветов весны
Подымается признание,
Глас родной из глубины;
Он разлуку услаждает,
Он душе моей твердит:
Что любовь не умирает
И в отшедших за Коцит.

О! приветствую вас, чада
Расцветающих полей;
Вы тоски моей услада,
Образ дочери моей;
Вас налью благоуханьем,
Напою живой росой,
И с Аврориным сияньем
Поравняю красотой;
Пусть весной природы младость,
Пусть осенний мрак полей
И мою вещают радость
И печаль души моей.



DAS ELEUSISCHE FEST

Windet zum Kranze die goldenen Ähren,
Flechtet auch blaue Cyanen hinein!
Freude soll jedes Auge verklären,
Denn die Königin ziehet ein,
Die Bezähmerin wilder Sitten,
Die den Menschen zum Menschen gesellt
Und in friedliche feste Hütten
Wandelte das bewegliche Zelt.

Scheu in des Gebirges Klüften
Barg der Troglodyte sich,
Der Nomade ließ die Triften
Wüste liegen, wo er strich,
Mit dem Wurfspieß, mit dem Bogen
Schritt der Jäger durch das Land;
Weh dem Fremdling, den die Wogen
Warfen an den Unglücksstrand!

Und auf ihrem Pfad begrüßte,
Irrend nach des Kindes Spur,
Ceres die verlaßne Küste,
Ach, da grünte keine Flur!
Daß sie hier vertraulich weile,
Ist kein Obdach ihr gewährt,
Keines Tempels heitre Säule
Zeuet, daß man Götter ehrt.

Keine Frucht der süßen Ähren
Lädt zum reinen Mahl sie ein,
Nur auf gräßlichen Altären
Dorret menschliches Gebein.
Ja, so weit sie wandernd kreiste,
Fand sie Elend überall,
Und in ihrem großen Geiste
Jammert sie des Menschen Fall.

ЭЛЕВЗИНСКИЙ ПРАЗДНИК

Свивайте венцы из колосьев златых;
Цианы лазурные в них заплетайте;
Сбирайтесь плясать на коврах луговых
И пеньем благую Цереру встречайте.
Церера сдружила враждебных людей;
Жестокие нравы смягчила;
И в дом постоянный меж нив и полей
Шатер подвижной обратила.

Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал;
По полям Номад скитался
И поля опустошал;
Зверолов с копьем, стрелами,
Грозен, бегал по лесам...
Горе брошенным волнами
К неприятным их брегам!

С Олимпийския вершины
Сходит мать Церера вслед
Похищенной Прозерпины:
Дик лежит пред нею свет.
Ни угла, ни угощенья
Нет нигде богине там;
И нигде богопочтенья
Не свидетельствует храм.

Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях;
И куда печальным оком
Там Церера ни глядит:
В унижении глубоком
Человека всюду зрит.

„Find' ich so den Menschen wieder,
Dem wir unser Bild geliehn,
Dessen schöngestalte Glieder
Droben im Olympus blühn?
Gaben wir ihm zum Besitze
Nicht der Erde Götterschoß,
Und auf seinem Königssitze
Schweift er elend, heimatlos?

Fühlt kein Gott mit ihm Erbarmen?
Keiner aus der Sel'gen Chor
Hebet ihn mit Wunderarmen
Aus der tiefen Schmach empor?
In des Himmels sel'gen Höhen
Rühret sie nicht fremder Schmerz;
Doch der Menschheit Angst und Wehen
Fühlet mein gequältes Herz.

Daß der Mensch zum Menschen werde,
Stift' er einen ew'gen Bund
Gläubig mit der frommen Erde,
Seinem mütterlichen Grund,
Ehre das Gesetz der Zeiten
Und der Monde heil'gen Gang,
Welche still gemessen schreiten
Im melodischen Gesang.“

Und den Nebel teilt sie leise,
Der den Blicken sie verhüllt,
Plötzlich in der Wilden Kreise
Steht sie da, ein Götterbild.
Schwelgend bei dem Siegesmahle
Findet sie die rohe Schar,
Und die blutgefüllte Schale
Bringt man ihr zum Opfer dar.

«Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человек?
Для того ль тебя красою
Олимпийскою облек
Бог богов и во владенье
Мир земной тебе отдал,
Чтоб ты в нем, как в заточенье
Узник брошенный, страдал?

Иль ни в ком между богами
Сожаленья к людям нет,
И могучими руками
Ни один из бездны бед
Их не вырвет? Знать, к блаженным
Скорбь земная не дошла?
Знать, одна я огорченным
Сердцем горе поняла?

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью-землею
Он ступил в союз навек;
Чти закон времен спокойный;
Знай течение лун и лет,
Знай, как движется под стройной
Их гармонию свет».

И мгновенно расступилась
Тьма, лежавшая на ней,
И небесная явилась
Божеством пред дикарей:
Кончив бой, они, как тигры,
Из черепьев вражьих пьют
И ее на зверски игры
И на страшный пир зовут.

Aber schauernd, mit Entsetzen
Wendet sie sich weg und spricht:
„Blut'ge Tigermahle netzen
Eines Gottes Lippen nicht.
Reine Opfer will er haben,
Früchte, die der Herbst beschert,
Mit des Feldes frommen Gaben
Wird der Heilige verehrt.“

Und sie nimmt die Wucht des Speeres
Aus des Jägers rauher Hand,
Mit dem Schaft des Mordgewehres
Furchet sie den leichten Sand,
Nimmt von ihres Kranzes Spitze
Einen Kern, mit Kraft gefüllt,
Senkt ihn in die zarte Ritze,
Und der Trieb des Keimes schwillt.

Und mit grünen Halmen schmücket
Sich der Boden alsobald,
Und so weit das Auge blicket,
Wogt es wie ein goldner Wald.
Lächelnd segnet sie die Erde,
Flicht der ersten Garbe Bund,
Wählt den Feldstein sich zum Herde,
Und es spricht der Göttin Mund:

„Vater Zeus, der über alle
Götter herrscht in Äthers Höh'n,
Daß dies Opfer dir gefalle,
Laß ein Zeichen jetzt geschehn!
Und dem unglücksel'gen Volke,
Das dich, Hoher, noch nicht nennt,
Nimm hinweg des Auges Wolke,
Daß es seinen Gott erkennt!“

Но богиня, с содроганьем
Отвратясь, рекла: «Богам
Кровь противна; с сим даяньем
Вы, как звери, чужды нам;
Чистым чистое угодно;
Дар, достойнейший небес:
Нивы колос первородный,
Сок оливы, плод древес».

Тут богиня исторгает
Тяжкий дротик у стрелка;
Острием его пронзает
Грудь земли ее рука;
И берет она живое
Из венца главы зерно,
И в пронзенное земное
Лоно брошено оно.

И выводит молодые
Класы тучная земля;
И повсюду, как золотые
Волны, зыблются поля.
Их она благословляет
И, колосья в сноп сложив,
На смиренный возлагает
Камень жертву первых нив.

И гласит: «Прими даянье,
Царь Зевес, и с высоты
Нам подай знаменованье,
Что доволен жертвой ты.
Вечный бог, сними завесу
С них, не знающих тебя:
Да поклонятся Зевесу,
Сердцем правду возлюбя».

Und es hört der Schwester Flehen
Zeus auf seinem hohen Sitz,
Donnernd aus den blauen Höhen
Wirft er den gezackten Blitz.
Prasselnd fängt es an zu lohen,
Hebt sich wirbelnd vom Altar,
Und darüber schwebt in hohen
Kreisen sein geschwinder Aar.

Und gerührt zu der Herrscherin Füßen
Stürzt sich der Menge freudig Gewühl,
Und die rohen Seelen zerfließen
In der Menschlichkeit erstem Gefühl,
Werfen von sich die blutige Wehre,
Öffnen den düstergebundenen Sinn
Und empfangen die göttliche Lehre
Aus dem Munde der Königin.

Und von ihren Thronen steigen
Alle Himmlischen herab,
Themis selber führt den Reigen,
Und mit dem gerechten Stab
Mißt sie jedem seine Rechte,
Setzet selbst der Grenze Stein,
Und des Styx verborgne Mächte
Ladet sie zu Zeugen ein.

Und es kommt der Gott der Esse:
Zeus' erfindungsreicher Sohn,
Bildner künstlicher Gefäße,
Hochgelehrt in Erz und Ton.
Und er lehrt die Kunst der Zange
Und der Blasebälge Zug,
Unter seines Hammers Zwange
Bildet sich zuerst der Pflug.

Чистой жертвы не отринул
На Олимпе царь Зевес;
Он во знамение кинул
Гром излучистый с небес:
Вмиг алтарь воспламенился;
К небу жертвы дым взлетел,
И над ней горé явился
Зевсов пламенный орел.

И чудо проникло в сердца дикарей;
Упали во прах перед дивной Церерой;
Исторгнулись слезы из грубых очей,
И сладкой сердца растворилися верой.
Оружие кинув, теснятся толпой
И ей воздают поклоненье;
И с видом смиренным покорной душой
Приемлют ее поученье.

С высоты небес нисходит
Олимпийцев светлый сонм;
И Фемида их предводит,
И своим она жезлом
Ставит грани юных, жатвой
Озлатившихся полей
И скрепляет первой клятвой
Узы первые людей.

И приходит благ податель,
Друг пиров, веселый Ком;
Бог, ремесл изобретатель,
Он людей дружит с огнем;
Учит их владеть клещами;
Движет мехом, млатом бьет
И искусными руками
Первый плуг им создает.

Und Minerva, hoch vor allen
Ragend mit gewicht'gem Speer,
Läßt die Stimme mächtig schallen
Und gebeut dem Götterheer.
Feste Mauern will sie gründen,
Jedem Schutz und Schirm zu sein,
Die zerstreute Welt zu binden
In vertraulichem Verein.

Und sie lenkt die Herrschersritte
Durch des Feldes weiten Plan,
Und an ihres Fußes Tritte
Heftet sich der Grenzgott an.
Messend führet sie die Kette
Um des Hügels grünen Saum,
Auch des wilden Stromes Bette
Schließt sie in den heil'gen Raum.

Alle Nymphen, Oreaden,
Die der schnellen Artemis
Folgen auf des Berges Pfaden,
Schwingend ihren Jägerspieß,
Alle kommen, alle legen
Hände an, der Jubel schallt,
Und von ihrer Äxte Schlägen
Krachend stürzt der Fichtenwald.

Auch aus seiner grünen Welle
Steigt der schilfbekränzte Gott,
Wälzt den schweren Floß zur Stelle
Auf der Göttin Machtgebot,
Und die leichtgeschürzten Stunden
Fliegen ans Geschäft, gewandt,
Und die rauhen Stämme runden
Zierlich sich in ihrer Hand.

И вослед ему Паллада
Копьеносная идет
И богов к строенью града
Крепкостенного зовет:
Чтоб приютно-безопасный
Кров толпам бродящим дать
И в один союз согласный
Мир рассеянный собрать.

И богиня утверждает
Града нового чертеж;
Ей покорный, означает
Термин камнями рубеж;
Цепью смерена равнина;
Холм глубоким рвом обвит;
И могучая плотина
Гранью бурных вод стоит.

Мчатся Нимфы, Ореады
(За Дианой по лесам,
Через потоки, водопады,
По долинам, по холмам
С звонким скачущие луком);
Блещет в их руках топор,
И обрушился со стуком
Побежденный ими бор.

И, Палладою призванный,
Из зеленых вод встает
Бог, осокою венчанный,
И тяжелый строит плот;
И, сияя, низлетают
Оры легкие с небес
И в колонну округляют
Суковатый ствол древес.

Auch den Meergott sieht man eilen,
Rasch mit des Tridentes Stoß
Bricht er die granitnen Säulen
Aus dem Erdgerippe los,
Schwingt sie in gewalt'gen Händen
Hoch wie einen leichten Ball,
Und mit Hermes, dem behenden,
Türmet er der Mauern Wall.

Aber aus den goldnen Saiten
Lockt Apoll die Harmonie
Und das holde Maß der Zeiten
Und die Macht der Melodie.
Mit neunstimmigem Gesange
Fallen die Kamönen ein,
Leise nach des Liedes Klange
Füget sich der Stein zum Stein.

Und der Tore weite Flügel
Setzet mit erfahrner Hand
Cybele und fügt die Riegel
Und der Schlösser festes Band.
Schnell durch rasche Götterhände
Ist der Wunderbau vollbracht,
Und der Tempel heitre Wände
Glänzen schon in Festespracht.

Und mit einem Kranz von Myrten
Naht die Götterkönigin,
Und sie führt den schönsten Hirten
Zu der schönsten Hirtin hin.
Venus mit dem holden Knaben
Schmücket selbst das erste Paar,
Alle Götter bringen Gaben
Segnend den Vermählten dar.

И во грудь горы вонзает
Свой трезубец Посидон;
Слой гранитный отторгает
От ребра земного он;
И в руке своей громаду,
Как песчинку, он несет;
И огромную ограду
Во мгновенье создает.

И вливает в струны пенье
Светлоглавый Аполлон:
Пробуждает вдохновенье
Их согласно-мерный звон;
И веселые Камены
Сладким хором с ним поют,
И красивых зданий стены
Под напев их восстают.

И творит рука Цибелы
Створы врат городских:
Держат петли их дебели,
Утвержден замок на них;
И чудесное творенье
Довершает, в честь богам,
Совокупное строенье
Всех богов, великий храм.

И Юнона, с оком ясным
Низлетев от высоты,
Сводит с юношей прекрасным
В храме деву красоты;
И Киприда обвивает
Их гирляндю цветов,
И с небес благословляет
Первый брак отец богов.

Und die neuen Bürger ziehen,
Von der Götter sel'gem Chor
Eingeführt, mit Harmonien
In das gastlich offne Tor,
Und das Priesteramt verwaltet
Ceres am Altar des Zeus,
Segnend ihre Hand gefaltet
Spricht sie zu des Volkes Kreis:

„Freiheit liebt das Tier der Wüste,
Frei im Äther herrscht der Gott,
Ihrer Brust gewalt'ge Lüste
Zähmet das Naturgebot;
Doch der Mensch, in ihrer Mitte,
Soll sich an den Menschen reih'n,
Und allein durch seine Sitte
Kann er frei und mächtig sein.“

Windet zum Kranze die goldenen Ähren,
Flechtet auch blaue Cyanen hinein!
Freude soll jedes Auge verklären,
Denn die Königin ziehet ein,
Die uns die süße Heimat gegeben,
Die den Menschen zum Menschen gesellt,
Unser Gesang soll sie festlich erheben,
Die beglückende Mutter der Welt.



И с торжественной игрою
Сладких лир, поющих в лад,
Вводят боги за собою
Новых граждан в новый град;
В храме Зевсовом царица,
Мать Церера там стоит,
Жжет курения, как жрица,
И пришельцам говорит:

«В лесе ищет *зверь* свободы,
Правит всем свободно *бог*,
Их закон – закон природы.
Человек, прияв в залог
Зоркий ум – звено меж ними, –
Для гражданства сотворен:
Здесь лишь правами одними
Может быть свободен он».

Свивайте венцы из колосьев златых;
Цианы лазурные в них заплетайте;
Сбирайтесь плясать на коврах луговых;
И с пеньем благую Цереру встречайте:
Всю землю богинин приход изменил;
Признавши ее руководство,
В союз человек с человеком вступил
И жизни постиг благородство.



DER KAMPF MIT DEM DRACHEN

Was rennt das Volk, was wälzt sich dort
Die langen Gassen brausend fort?
Stürzt Rhodus unter Feuers Flammen?
Es rottet sich im Sturm zusammen,
Und einen Ritter, hoch zu Roß,
Gewahr' ich aus dem Menschentroß,
Und hinter ihm, welch Abenteuer!
Bringt man geschleppt ein Ungeheuer;
Ein Drache scheint es von Gestalt,
Mit weitem Krokodilesrachen,
Und alles blickt verwundert bald
Den Ritter an und bald den Drachen.

Und tausend Stimmen werden laut:
„Das ist der Lindwurm, kommt und schaut,
Der Hirt und Herden uns verschlungen!
Das ist der Held, der ihn bezwungen!
Viel andre zogen vor ihm aus,
Zu wagen den gewalt'gen Strauß,
Doch keinen sah man wiederkehren;
Den kühnen Ritter soll man ehren!“
Und nach dem Kloster geht der Zug,
Wo Sankt Johannis des Täufers Orden,
Die Ritter des Spitals, im Flug
Zu Rate sind versammelt worden.

Und vor den edeln Meister tritt
Der Jüngling mit bescheidnem Schritt,
Nachdrängt das Volk, mit wildem Rufen,
Erfüllend des Geländers Stufen.
Und jener nimmt das Wort und spricht:
„Ich hab' erfüllt die Ritterpflicht.
Der Drache, der das Land verödet,
Er liegt von meiner Hand getötet,
Frei ist dem Wanderer der Weg,
Der Hirte treibe ins Gefilde,
Froh walle auf dem Felsensteg
Der Pilger zu dem Gnadenbilde.“

СРАЖЕНИЕ С ЗМЕЕМ

Повесть

Что за тревога в Родосе? Все улицы полны народом;
Мчатся толпами, вóпят, шумят. На коне величавом
Едет по улице рыцарь красивый; за рыцарем тащат
Мертвого змея с кровавой разинутой пастью; все смотрят
С радостным чувством на рыцаря, с страхом невольным
на змея.

«Вот! – говорят, – посмотрите, тот враг, от которого
столько

Времени не было здесь ни стадам, ни людям проходу.
Много рыцарей храбрых пыталось с чудовищем выйти
В бой... все погибли. Но Бог нас помиловал:

вот наш спаситель;

Слава ему!» И вслед за младым победителем íдут
Все в монастырь Иоанна Крестителя, где иоаннитов
Был знаменитый капитул собран в то время. Смирненно
Рыцарь подходит к престолу магистера; шумной толпою
Ломится следом за ним в палату народ. Преклонивши
Голову, юноша так говорить начинает: «Владыка!
Рыцарский долг я исполнил: змей, разоритель Родоса,
Мною убит; безопасны дороги для путников; смело
Могут стада выгонять пастухи; на молитву
Может без страха теперь пилигрим к чудотворному лику

Doch strenge blickt der Fürst ihn an
Und spricht: „Du hast als Held getan;
Der Mut ist's, der den Ritter ehret,
Du hast den kühnen Geist bewähret.
Doch sprich! Was ist die erste Pflicht
Des Ritters, der für Christum ficht,
Sich schmücket mit des Kreuzes Zeichen?“
Und alle ringsherum erbleichen.
Doch er mit edlem Anstand spricht,
Indem er sich errötend neiget:
„Gehorsam ist die erste Pflicht,
Die ihn des Schmuckes würdig zeigt.“

„Und diese Pflicht, mein Sohn“, versetzt
Der Meister, „hast du frech verletzt,
Den Kampf, den das Gesetz versaget,
Hast du mit frevlem Mut gewaget!“
„Herr, richte, wenn du alles weißt“,
Spricht jener mit gesetztem Geist,
„Denn des Gesetzes Sinn und Willen
Vermeint' ich treulich zu erfüllen;
Nicht unbedachtsam zog ich hin,
Das Ungeheuer zu bekriegen,
Durch List und kluggewandten Sinn
Versucht' ich's, in dem Kampf zu siegen.

Fünf unsers Ordens waren schon,
Die Zierden der Religion,
Des kühnen Mutes Opfer worden,
Da wehrtest du den Kampf dem Orden.
Doch an dem Herzen nagte mir
Der Unmut und die Streitbegier,
Ja selbst im Traum der stillen Nächte
Fand ich mich keuchend im Gefechte,
Und wenn der Morgen dämmernd kam
Und Kunde gab von neuen Plagen,
Da faßte mich ein wilder Gram,
Und ich beschloß, es frisch zu wagen.

Деву Пречистой ходить». Но с суровым ответствовал

ВЗГЛЯДОМ

Строгий магистер: «Сын мой, подвиг отважный с успехом
Ты совершил: отважность рыцарю честь. Но ответствуй:
В чем обязанность главная рыцарей, верных Христовых
Слуг, христианства защитников, в знак смиренья носящих
Крест Иисуса Христа на плечах?» То зрители внемля,
Все оробели. Но рыцарь, краснея, ответствовал: «Первый
Рыцарский долг есть покорность». – «И рыцарский долг сей
Ныне, сын мой, ты нарушил: ты мной запрещенный
Подвиг дерзнул совершить». – «Владыка, сперва благосклонно
Выслушай слово мое, потом осуди. Не с слепую
Дерзостью я на опасное дело решился; но верно
Волю закона исполнить хотел: одной осторожной
Хитростью мнил одержать я победу. Пять благородных
Рыцарей нашего ордена, честь христианства, погибли
В битве с чудовищем. Ты запретил нам сей подвиг;
Мы покорились. Но душу мою нестерпимо терзали
Бедствия гибнущих братьев; стремленьем спасти их томимый,
Днем я покоя не знал, и сны ужасные ночью

Und zu mir selber sprach ich dann:
Was schmückt den Jüngling, ehrt den Mann?
Was leisteten die tapfern Helden,
Von denen uns die Lieder melden,
Die zu der Götter Glanz und Ruhm
Erhub das blinde Heidentum?
Sie reinigten von Ungeheuern
Die Welt in kühnen Abenteuern,
Begegneten im Kampf dem Leun
Und rangen mit dem Minotauren,
Die armen Opfer zu befreien,
Und ließen sich das Blut nicht dauren.

Ist nur der Sarazen es wert,
Daß ihn bekämpft des Christen Schwert?
Bekriegt er nur die falschen Götter?
Gesandt ist er der Welt zum Retter,
Von jeder Not und jedem Harm
Befreien muß sein starker Arm;
Doch seinen Mut muß Weisheit leiten,
Und List muß mit der Stärke streiten.
So sprach ich oft und zog allein,
Des Raubtiers Fährte zu erkunden;
Da flößte mir der Geist es ein,
Froh rief ich aus: Ich hab's gefunden!

Und trat zu dir und sprach dies Wort:
,Mich zieht es nach der Heimat fort.'
Du, Herr, willfahrtest meinen Bitten,
Und glücklich war das Meer durchschnitten.
Kaum stieg ich aus am heim'schen Strand,
Gleich ließ ich durch des Künstlers Hand,
Getreu den wohlbemerkten Zügen,
Ein Drachenbild zusammenfügen.
Auf kurzen Füßen wird die Last
Des langen Leibes aufgetürmet,
Ein schuppigt Panzerhemd umfaßt
Den Rücken, den es furchtbar schirmet.

Мучили душу мою, представляя мне призрак сраженья
С змеем; и все как будто бы чудилось мне, что небесный
Голос мне возбуждал и твердил мне: *дерзай!* и дерзнул я.
Вот что я мыслил: ты рыцарь; одних ли врагов христианства
Должен твой меч поражать? Твое назначенье святое:
Быть защитником слабых, спасти от гоненья гонимых,
Грозных чудовищ разить; но дерзкою силой искусство,
Мужеством мудрость должны управлять. И в таком убежденье
Долго себя я готовил к опасному бою, и часто
К месту, где змей обитал, я тайком подходил, чтоб заране
С сильным врагом ознакомиться; долго обдумывал средства,
Как мне врага победить; наконец вдохновение свыше
Душу мою просветило: найдено средство! сказал я
В радости сердца. Тогда у тебя позволения, владыка,
Я испросил посетить отеческий дом мой; угодно
Было тебе меня отпустить. Переплыв безопасно

Lang strecket sich der Hals hervor,
Und gräßlich, wie ein Höllentor,
Als schnappt' es gierig nach der Beute,
Eröffnet sich des Rachens Weite,
Und aus dem schwarzen Schlunde dräun
Der Zähne stacheligte Reih'n,
Die Zunge gleicht des Schwertes Spitze,
Die kleinen Augen sprühen Blitze,
In einer Schlange endigt sich
Des Rückens ungeheure Länge,
Rollt um sich selber fürchterlich,
Daß es um Mann und Roß sich schlänge.

Und alles bild' ich nach genau
Und kleid' es in ein scheußlich Grau;
Halb Wurm erschien's, halb Molch und Drache,
Gezeuget in der gift'gen Lache.
Und als das Bild vollendet war,
Erwähl' ich mir ein Doggenpaar,
Gewaltig, schnell, von flinken Läufen,
Gewohnt, den wilden Ur zu greifen.
Die hetz' ich auf den Lindwurm an,
Erhitze sie zu wildem Grimme,
Zu fassen ihn mit scharfem Zahn,
Und lenke sie mit meiner Stimme.

Und wo des Bauches weiches Vlies
Den scharfen Bissen Blöße ließ,
Da reiz' ich sie, den Wurm zu packen,
Die spitzen Zähne einzuhacken.
Ich selbst, bewaffnet mit Geschoß,
Besteige mein arabisch Roß,
Von adeliger Zucht entstammet,
Und als ich seinen Zorn entflammet,
Rasch auf den Drachen spreng' ich's los
Und stachl' es mit den scharfen Sporen
Und werfe zielend mein Geschoß,
Als wollt' ich die Gestalt durchbohren.

Море и на берег вышед, в отеческом доме немедля
Все к предпринятому подвигу стал я готовить. Искусством
Сделан был змей, подобный тому, которого образ
Врезался в память мою; на коротких лапах громадой
Тяжкое чрево лежало; хребет, чешуею покрытый,
Круто вздымался; на длинной гривистой шее торчала,
Пастью зияя, зубами грозя, голова; из отверстых
Челюстей острым копьём выставлялся язык, и змеиный
Хвост сгибался в огромные кольца, как будто готовый,
Вдруг обхватив ездока и коня, задушить их обоих.
Все учредивши, двух собак, могучих и к бою
С диким быком приученных, я выбрал и мнимого змея
Ими травил, чтоб привыкли они по единому клику
Зубы вонзать в не покрытое броней чешуйчатой чрево.
Сам же, сидя на коне благородной арабской породы,
Я устремлялся на змея и руку мою беспрестанно
В верном метанье копья упражнял. Сначала от страха
Конь мой, храпя, на дыбы становился и выли собаки;

Ob auch das Roß sich grauend bäumt
Und knirscht und in den Zügel schäumt,
Und meine Doggen ängstlich stöhnen,
Nicht rast' ich, bis sie sich gewöhnen.
So üb' ich's aus mit Emsigkeit,
Bis dreimal sich der Mond erneut,
Und als sie jedes recht begriffen,
Führ' ich sie her auf schnellen Schiffen.
Der dritte Morgen ist es nun,
Daß mir's gelungen, hier zu landen;
Den Gliedern gönnt' ich kaum zu ruhn,
Bis ich das große Werk bestanden.

Denn heiß erregte mir das Herz
Des Landes frisch erneuter Schmerz:
Zerrissen fand man jüngst die Hirten,
Die nach dem Sumpfe sich verirrtent;
Und ich beschließe rasch die Tat,
Nur von dem Herzen nehm' ich Rat.
Flugs unterricht' ich meine Knappen,
Besteige den versuchten Rappen,
Und von dem edeln Doggenpaar
Begleitet, auf geheimen Wegen,
Wo meiner Tat kein Zeuge war,
Reit' ich dem Feinde frisch entgegen.

Das Kirchlein kennst du, Herr, das hoch
Auf eines Felsenberges Joch,
Der weit die Insel überschauet,
Des Meisters kühner Geist erbauet.
Verächtlich scheint es, arm und klein,
Doch ein Mirakel schließt es ein,
Die Mutter mit dem Jesusknaben,
Den die drei Könige begaben.
Auf dreimal dreißig Stufen steigt
Der Pilgrim nach der steilen Höhe,
Doch hat er schwindelnd sie erreicht,
Erquickt ihn seines Heilands Nähe.

Tief in den Fels, auf dem es hangt,
Ist eine Grotte eingesprengt,
Vom Tau des nahen Moors befeuchtet,

Но наконец победило мое постоянство их робость.
Так совершилось три месяца. Я возвращаюсь. Вот третий
День, как пристал я к Родосу. О новых бедствиях вести
Душу мою возмутили. Горя нетерпением кончить
Дело начатое, слуг собираю моих и, ученых
Взявши собак, на верном коне, никому не сказавшись,
Еду отыскивать змея. Ты знаешь, владыка, часовню,
Где богомольствовать сходится здешний народ: на утесе
В диком месте она возвышается; образ Пречистой
Матери Божией, видимый там, знаменит чудесами;
Трудно всходить на утес, и доселе сей путь был опасен.
Там, у подошвы утеса, в норе, недоступной сиянью
Дня, гнездился чудовищный змей, сторожа́ проходящих;
Горе тому, кто дорогу терял! из темной пещеры
Враг исторгался, добычу ловил и ее в свой глубокий
Лог увлекал на пожранье. В ту часовню Пречистой

Wohin des Himmels Strahl nicht leuchtet;
Hier hausete der Wurm und lag,
Den Raub erspähend, Nacht und Tag.
So hielt er wie der Höllendrache
Am Fuß des Gotteshauses Wache,
Und kam der Pilgrim hergewallt
Und lenkte in die Unglücksstraße,
Hervor brach aus dem Hinterhalt
Der Feind und trug ihn fort zum Fraße.

Den Felsen stieg ich jetzt hinan,
Eh' ich den schweren Strauß begann,
Hin kniet' ich vor dem Christuskinde
Und reinigte mein Herz von Sünde;
Drauf gürt' ich mir im Heiligtum
Den blanken Schmuck der Waffen um,
Bewehre mit dem Spieß die Rechte,
Und nieder steig' ich zum Gefechte.
Zurück bleibt der Knappen Troß,
Ich gebe scheidend die Befehle
Und schwinge mich behend aufs Roß,
Und Gott empfehl' ich meine Seele.

Kaum seh' ich mich im ebenen Plan,
Flugs schlagen meine Doggen an,
Und bang beginnt das Roß zu keuchen
Und bäumet sich und will nicht weichen,
Denn nahe liegt, zum Knäuel geballt,
Des Feindes scheußliche Gestalt
Und sonnet sich auf warmem Grunde.
Auf jagen ihn die flinken Hunde,
Doch wenden sie sich pfeilgeschwind,
Als es den Rachen gähnend teilet
Und von sich haucht den gift'gen Wind
Und winselnd wie der Schakal heulet.

Doch schnell erfrisch' ich ihren Mut,
Sie fassen ihren Feind mit Wut,
Indem ich nach des Tieres Lende
Aus starker Faust den Speer versende;
Doch machtlos wie ein dünner Stab
Prallt er vom Schuppenpanzer ab,

Девы пошел я, там пал на колена, усердной мольбою
В помощь призвал Богоматерь в грехах принес покаянье,
Таин святых причастился; потом, сошедши с утеса,
Латы надел, взял меч и копье и, раздав приказанья
Спутникам (им же велел дожидаться меня близ часовни),
Сел на коня, поручил вездесущему Господу Богу
Душу мою и поехал. Едва я увидел на ровном
Месте себя, как собаки мои, почуявши змея,
Подняли ноздри, а конь захрапел и пятиться начал:
Блещущим свившись клубом, вблизи он грелся на солнце.
Дружно и смело помчались в бой с ним собаки; но с воем
Кинулись обе назад, когда, развернувшись быстро,
Вдруг он разинул огромную пасть, и их ядовитым
Обдал дыханьем, и с страшным шипеньем поднялся на лапы.
Крик мой собак ободрил: они вцепились в змея.
Сильной рукой я бросаю копье; но, ударясь в чешуйный,
Крепкий хребет, оно, как тонкая трость, отлетело;
Новый удар я спешу нанести; но испуганный конь мой
Бешено стал на дыбы; раскаленные очи, зиянье
Пасти зубастой, и свист, и дыханье палящее змея
В ужас его привели, и он опрокинулся. Видя
Близкую гибель, проворно спрыгнул я с седла и в сраженье
Пеший вступил с обнаженным мечом; но меч мой напрасно

Und eh' ich meinen Wurf erneuet,
Da bäumet sich mein Roß und scheuet
An seinem Basiliskenblick
Und seines Atems gift'gem Wehen,
Und mit Entsetzen springt's zurück,
Und jetzo war's um mich geschehen —

Da schwing' ich mich behend vom Roß,
Schnell ist des Schwertes Schneide bloß,
Doch alle Streiche sind verloren,
Den Felsenharnisch zu durchbohren;
Und wütend mit des Schweifes Kraft
Hat es zur Erde mich gerafft,
Schon seh' ich seinen Rachen gähnen,
Es haut nach mir mit grimmen Zähnen,
Als meine Hunde, wutentbrannt,
An seinen Bauch mit grimm'gen Bissen
Sich warfen, daß es heulend stand,
Von ungeheurem Schmerz zerrissen.

Und eh es ihren Bissen sich
Entwindet, rasch erhebe' ich mich,
Erspähe mir des Feindes Blöße
Und stoße tief ihm ins Gekröse,
Nachbohrend bis ans Heft, den Stahl;
Schwarzquellend springt des Blutes Strahl,
Hin sinkt es und begräbt im Falle
Mich mit des Leibes Riesenballe,
Daß schnell die Sinne mir vergehn.
Und als ich neugestärkt erwache,
Seh' ich die Knappen um mich stehn,
Und tot im Blute liegt der Drache.“ —

Des Beifalls lang gehemmte Lust
Befreit jetzt aller Hörer Brust,
Sowie der Ritter dies gesprochen,
Und zehnfach am Gewölb gebrochen
Wälzt der vermischten Stimmen Schall
Sich brausend fort im Widerhall,
Laut fordern selbst des Ordens Söhne,
Daß man die Heldenstirne kröne,
Und dankbar im Triumphgepräng'

Колет и рубит: как сталь чешуя. Вдруг змей, разъярившись,
Сильным ударом хвоста меня повалил и поднялся
Дыбом, как столб, надо мной, и уже растворил он огромный
Зев, чтоб зубами стиснуть меня; но в это мгновенье
В чрево его, чешуей не покрытое, вгрызлись собаки;
Взвыл он от боли и бешено начал кидаться... напрасно!
Стиснувши зубы, собаки повисли на нем; я поспешно
На ноги стал и бросился к ним, и меч мой вонзился
Весь в чрево чудовища: хлынула черным потоком
Кровь; согнувшись в дугу, он грянулся оземь и, тяжким
Телом меня заваливши, издох надо мною. Не помню,
Долго ль бесчувствен под ним я лежал; глаза открываю:
Слуги мои предо мною, а змей в крови неподвижен». –
Рыцарь, докончивши повесть свою, замолчал. Раздались
Громкие клики; дрогнули своды палаты от гула
Рукоплеканий, и самые рыцари ордена вместе
С шумной толпой возгласили: «Хвала!» Но магистер,
Строго нахмурив чело, повелел, чтоб все замолчали, –
Все замолчали. Тогда он сказал победителю: «Змея,
Долго Родос ужасавшего, ты поразил, благородный
Рыцарь; но, богом являясь народу, врагом ты явился
Нашему ордену: в сердце твоём поселился отныне

Will ihn das Volk dem Volke zeigen —
Da faltet seine Stirne streng
Der Meister und gebietet Schweigen.

Und spricht: „Den Drachen, der dies Land
Verheert, schlugst du mit tapfrer Hand:
Ein Gott bist du dem Volke worden,
Ein Feind kommst du zurück dem Orden,
Und einen schlimmern Wurm gebar
Dein Herz, als dieser Drache war.
Die Schlange, die das Herz vergiftet,
Die Zwietracht und Verderben stiftet,
Das ist der widerspenst'ge Geist,
Der gegen Zucht sich frech empöret,
Der Ordnung heilig Band zerreißt;
Denn der ist's, der die Welt zerstöret.

Mut zeigt auch der Mameluck,
Gehorsam ist des Christen Schmuck;
Denn wo der Herr in seiner Größe
Gewandelt hat in Knechtes Blöße,
Da stifteten, auf heil'gem Grund,
Die Väter dieses Ordens Bund,
Der Pflichten schwerste zu erfüllen:
Zu bändigen den eignen Willen.
Dich hat der eitle Ruhm bewegt,
Drum wende dich aus meinen Blicken!
Denn wer des Herren Joch nicht trägt,
Darf sich mit seinem Kreuz nicht schmücken.“

Da bricht die Menge tobend aus,
Gewalt'ger Sturm bewegt das Haus,
Um Gnade flehen alle Brüder;
Doch schweigend blickt der Jüngling nieder,
Still legt er von sich das Gewand
Und küßt des Meisters strenge Hand
Und geht. Der folgt ihm mit dem Blicke,
Dann ruft er liebend ihn zurücke
Und spricht: „Umarme mich, mein Sohn!
Dir ist der härtere Kampf gelungen.
Nimm dieses Kreuz: es ist der Lohn
Der Demut, die sich selbst bezwungen.“



Змей, ужасней тобою сраженного, змей, отравитель
Воли, сеятель смут и раздоров, презритель смиренья,
Недруг порядка, древний губитель земли. Быть отважным
Может и враг ненавистный Христа, мамелюк; но покорность
Есть одних христиан достоянье. Где сам Искупитель,
Бог всемогущий, смиренно стерпел поношенье и муку,
Там в старину основали отцы наш орден священный;
Там, облачась крестом, на себя они возложили
Долг, труднейший из всех: *свою обуздывать волю.*
Суетной славой ты был обольщен – удались; ты отныне
Нашему братству чужой: кто Господнее иго отринул,
Тот и Господним крестом себя украшать недостойн».
Так магистер сказал, и в толпе предстоявших поднялся
Громкий ропот, и рыцари ордена сами владыку
Стали молить о прощенье; но юноша молча, потупив
Очи, снял епанчу, у магистра строгую руку
Поцеловал и пошел. Его проводивши глазами,
Гневный смягчился судья и, назад осужденного кротким
Голосом кликнув, сказал: «Обними меня, мой достойный
Сын: ты победу теперь одержал, труднейшую первой.
Снова сей крест возложи: он твой, он награда смиренью».



DER GANG NACH DEM EISENHAMMER

Ein frommer Knecht war Fridolin
Und in der Furcht des Herrn
Ergeben der Gebieterin,
Der Gräfin von Savern.
Sie war so sanft, sie war so gut,
Doch auch der Launen Übermut
Hätt er geeifert zu erfüllen
Mit Freudigkeit, um Gottes willen.

Früh von des Tages erstem Schein,
Bis spät die Vesper schlug,
Lebt' er nur ihrem Dienst allein,
Tat nimmer sich genug.
Und sprach die Dame: „Mach dir's leicht!“
Da wurd ihm gleich das Auge feucht,
Und meinte seiner Pflicht zu fehlen,
Durft er sich nicht im Dienste quälen.

Drum vor dem ganzen Dienertroß
Die Gräfin ihn erhob,
Aus ihrem schönen Munde floß
Sein unerschöpftes Lob.
Sie hielt ihn nicht als ihren Knecht,
Es gab sein Herz ihm Kindesrecht,
Ihr klares Auge mit Vergnügen
Hing an den wohlgestalten Zügen.

Darob entbrennt in Roberts Brust,
Des Jägers, gift'ger Groll,
Dem längst von böser Schadenlust
Die schwarze Seele schwoll.
Und trat zum Grafen, rasch zur Tat
Und offen des Verführers Rat,
Als einst vom Jagen heim sie kamen,
Streut' ihm ins Herz des Argwohns Samen.

„Wie seid Ihr glücklich, edler Graf“,
Hub er voll Arglist an,
„Euch raubet nicht den goldnen Schlaf
Des Zweifels gift'ger Zahn.
Denn Ihr besitzt ein edles Weib,

СУД БОЖИЙ

Повесть

Был непорочен душой Фридолин; он в страхе Господнем
Верно служил своей госпоже, графине Савернской.
Правда, не трудно было служить ей: она добронравна
Свойством, тиха в обращении была; но и тяжкую должность
С кротким терпением он исполнял бы, покорствуя Богу.
С самого раннего утра до поздней ночи, всечасно
Был он на службе ее, ни минуты покоя не зная;
Если ж случалось сказать ей ему: Фридолин, успокойся!
Слезы в его появлялись глазах: за нее и мученье
Было бы сладостно сердцу его, и не службой считал он
Легкую службу. Зато и его отличала графиня;
Вечно хвалила и прочим слугам в пример подражанья
Ставила; с ним же с самим она обходилась, как с сыном
Мать, а не так, как с слугой госпожа. И было приятно
Ей любоваться прекрасным, невинным лицом Фридолина.
То примечая, сокольничий Роберт досадовал; зависть
Грызла его свирепую душу. Однажды, с охоты
С графом вдвоем возвращаясь в замок, Роберт, лукавым
Бесом прельщенный, вот что сказал господину, стараясь
В сердце его заронить подозрение: «Счастьем завидным

Es gürtet Scham den keuschen Leib;
Die fromme Treue zu berücken,
Wird nimmer dem Versucher glücken.“

Da rollt der Graf die finstern Brau'n;
„Was redst du mir, Gesell?
Werd ich auf Weibestugend baun,
Beweglich wie die Well?
Leicht locket sie des Schmeichlers Mund,
Mein Glaube steht auf festerm Grund:
Vom Weib des Grafen von Saverne
Bleibt, hoff ich, der Versucher ferne.“

Der andre spricht: „So denkt Ihr recht.
Nur Euren Spott verdient
Der Tor, der, ein geborner Knecht,
Ein solches sich erkühnt
Und zu der Frau, die ihm gebeut,
Erhebt der Wünsche Lüsternheit.“ —
„Was? “ fällt ihm jener ein und betet,
„Redst du von einem, der da lebet?“ —

„Ja doch, was aller Mund erfüllt,
Das bärg sich meinem Herrn?
Doch weil Ihr's denn mit Fleiß verhüllt,
So unterdrück ich's gern.“ —
„Du bist des Todes, Bube, sprich!“
Ruft jener streng und fürchterlich.
„Wer hebt das Aug zu Kunigonden?“ —
„Nun ja, ich spreche von dem Blondem.“

Er ist nicht häßlich von Gestalt“,
Fährt er mit Arglist fort,
Indem's den Grafen heiß und kalt
Durchrieselt bei dem Wort.
„Ist's möglich, Herr? Ihr saht es nie,
Wie er nur Augen hat für sie?
Bei Tafel Eurer selbst nicht achtet,
An ihren Stuhl gefesselt schmachtet?“

Seht da die Verse, die er schrieb
Und seine Glut gesteht —“
„Gesteht!“ — „Und sie um Gegenlieb,

Бог наградил вас, граф государь; он дал вам в супруге
Вашей сокровище; нет ей подобной на свете; как ангел
Божий прекрасна, добра, целомудренна; спите спокойно:
Мыслью никто не посмеет приблизиться к ней». Заблестали
Грозно у графа глаза. «Что смеешь ты бредить? – сказал он. –
Женская верность слово пустое; на ней опираться
То же, что строить на зыбкой воде; берегися как хочешь:
Все оболститель отыщет дорогу к женскому сердцу.
Вера моя на другом, твердейшем стоит основаньи:
Кто помыслить дерзнет о жене Савернского графа!»
«Правда, – коварно отвечивал Роберт, – подобная дерзость
Только безумному в голову может зайти. Лишь презренья
Стоит жалкий глупец, который, воспитанный в рабстве,
Смеет глаза подымать на свою госпожу и, служа ей,
В сердце развратном желанья таить». – «Что слышу! – воскликнул
Граф, побледневши от гнева. – О ком говоришь ты? И жив он?» –
«Все об нем говорят, государь; а я из почтения
К вам, полагая, что все вам известно, молчал: что самим вам
В тайне угодно держать, то должно и для нас быть священной
Тайной». – «Злодей, говори! – в исступленьи ужасном воскликнул
Граф. – Ты погиб, когда не скажешь мне правды! кто этот
Дерзкий?» – «Паж Фридолин; он молод, лицом миловиден. –
[Так шипел предательски Роберт, а графа бросало

Der freche Bube! fleht.
Die gnäd'ge Gräfin, sanft und weich,
Aus Mitleid wohl verbarg sie's Euch;
Mich reuet jetzt, daß mir's entfahren,
Denn, Herr, was habt Ihr zu befahren?“

Da ritt in seines Zornes Wut
Der Graf ins nahe Holz,
Wo ihm in hoher Öfen Glut
Die Eisenstufe schmolz.
Hier nährten früh und spät den Brand
Die Knechte mit geschäft'ger Hand;
Der Funke sprüht, die Bälge blasen,
Als galt es, Felsen zu verglasen.

Des Wassers und des Feuers Kraft
Verbündet sieht man hier;
Das Mühlrad, von der Flut gerafft,
Umwälzt sich für und für.
Die Werke klappern Nacht und Tag,
Im Takte pocht der Hämmer Schlag,
Und bildsam von den mächt'gen Streichen
Muß selbst das Eisen sich erweichen.

Und zweien Knechten winket er,
Bedeutet sie und sagt:
„Den ersten, den ich sende her,
Und der euch also fragt:
,Habt ihr befolgt des Herren Wort?‘
Den werft mir in die Hölle dort,
Daß er zu Asche gleich vergehe
Und ihn mein Aug nicht weiter sehe!“

Des freut sich das entmenschte Paar
Mit roher Henkerslust,
Denn fühllos wie das Eisen war
Das Herz in ihrer Brust.
Und frischer mit der Bälge Hauch
Erhitzen sie des Ofens Bauch
Und schicken sich mit Mordverlangen,
Das Todesopfer zu empfangen.

В холод и жар от речей ядовитых.]

Возможно ль, чтоб сами

Вы не видали того, что каждому видно? За нею

Всюду глазами он следует; ей одной, забывая

Все, за столом он служит; за стулом ее, как волшебной

Скованный силой, стоит он и рдеет любовью преступной.

Он и стихи написал и в них перед ней признается

В нежной любви». – «Признается!» – «И даже молит о взаимном

Чувстве дерзает. Конечно, графиня, по кротости сердца,

Скрыла от вас, государь, безумство такое, и сам я

Лучше бы сделал, когда б промолчал: чего вам страшиться?»

Граф не отвечивал: ярость душила его. Приближались

В это время они к огромной литейной палате:

Там непрестанно огонь, как будто в адской пучине,

В горнах пылал и железо, как лава кипя, клокотало;

День и ночь работники там суетились вокруг горнов,

Пламя питая; взвивались вихрями искры; свистали

Страшно мехи; колесо под водою средь брызжащей пены

Тяжко вертелось; и молот огромный, гремя неумолчно,

Сам, как живой, подымался и падал. Граф, подозвавши

Двух из работников, так им сказал: «Исполните в точность

Волю мою; того, кто первый придет к вам и спросит:

«Сделано ль то, что граф приказал?» – без всякой пощады

Drauf Robert zum Gesellen spricht
Mit falschem Heuchelschein:
„Frisch auf, Gesell, und säume nicht,
Der Herr begehret dein.“
Der Herr, der spricht zu Fridolin:
„Mußt gleich zum Eisenhammer hin,
Und frage mir die Knechte dorten,
Ob sie getan nach meinen Worten.“

Und jener spricht: „Es soll geschehn!“
Und macht sich flugs bereit.
Doch sinnend bleibt er plötzlich stehn:
„Ob *sie* mir nichts gebeut?“
Und vor die Gräfin stellt er sich:
„Hinaus zum Hammer schickt man mich,
So sag, was kann ich dir verrichten?
Denn dir gehören meine Pflichten.“

Darauf die Dame von Savern
Versetzt mit sanftem Ton:
„Die heil'ge Messe hört ich gern,
Doch liegt mir krank der Sohn.
So gehe denn, mein Kind, und sprich
In Andacht ein Gebet für mich,
Und denkst du reuig deiner Sünden,
So laß auch mich die Gnade finden!“

Und froh der vielwillkommenen Pflicht
Macht er im Flug sich auf;
Hat noch des Dorfes Ende nicht
Erreicht im schnellen Lauf,
Da tönt ihm von dem Glockenstrang
Hellschlagend des Geläutes Klang,
Das alle Sünder, hochbegnadet,
Zum Sakramente festlich ladet.

„Dem lieben Gotte weich nicht aus,
Findst du ihn auf dem Weg!“
Er spricht's und tritt ins Gotteshaus;
Kein Laut ist hier noch reg.
Denn um die Ernte war's, und heiß
Im Felde glüht' der Schnitter Fleiß,
Kein Chorgehilfe war erschienen,
Die Messe kundig zu bedienen.

Бросьте в огонь, чтоб его и следов не осталось». С свирепым
Смехом рабы обещались покорствовать графскому слову;
Души их были суровой железа; рвенье удвоив,
Начали снова работать они и, убийством заране
Жадную мысль веселя, дожидались обещанной жертвы.
К графу тем временем хитрый наушник позвал Фридолина.
Граф, увидя его, говорит: «Ты должен, не медля нимало,
В лес пойти и спросить от меня у литейщиков: все ли
Сделано то, что я приказал?» – «Исполнено будет, –
Скромно ответствует паж; и готов уж идти, но, подумав:
Может быть, даст ему и она порученье какое,
Он приходит к графине и ей говорит: «Господином
Послан я в лес; но вы моя госпожа; не угодно ли
Будет и вам чего приказать?» Ему с благосклонным
Взором графиня отвечает: «Друг мой, к обедне хотелось
Ныне сходить мне, но болен мой сын; сходи, помолися
Ты за меня; а если и сам согрешил, то покайся».
Весело в путь свой пошел Фридолин; и еще из деревни
Он не вышел, как слышит благовест: колокол звонким
Голосом звал христиан на молитву. «От встречи Господней
Ты уклоняться не должен», – сказал он и в церковь с смиренным,
Набожным сердцем вступил; но в церкви пусто и тихо:
Жатва была, и все поселяне работали в поле.

Entschlossen ist er alsobald
Und macht den Sakristan.
„Das“, spricht er „ist kein Aufenthalt,
Was fördert himmelan.“
Die Stola und das Zingulum
Hängt er dem Priester dienend um,
Bereitet hurtig die Gefäße,
Geheiligt zum Dienst der Messe.

Und als er dies mit Fleiß getan,
Tritt er als Ministrant
Dem Priester zum Altar voran,
Das Meßbuch in der Hand,
Und knieet rechts und knieet links
Und ist gewärtig jedes Winks,
Und als des Sanktus Worte kamen,
Da schellt er dreimal bei dem Namen.

Drauf als der Priester fromm sich neigt
Und, zum Altar gewandt,
Den Gott, den gegenwärt'gen, zeigt
In hocherhabner Hand,
Da kündet es der Sakristan
Mit hellem Glöcklein klingend an,
Und alles kniet und schlägt die Brüste,
Sich fromm bekreuzend vor dem Christe.

So übt er jedes pünktlich aus
Mit schnell gewandtem Sinn,
Was Brauch ist in dem Gotteshaus,
Er hat es alles inn';
Und wird nicht müde bis zum Schluß,
Bis beim Vobiscum Dominus
Der Priester zur Gemein sich wendet,
Die heil'ge Handlung segnend endet.

Da stellt er jedes wiederum
In Ordnung säuberlich,
Erst reinigt er das Heiligtum,
Und dann entfernt er sich
Und eilt in des Gewissens Ruh
Den Eisenhütten heiter zu,
Spricht unterwegs, die Zahl zu füllen,
Zwölf Paternoster noch im stillen.

Там стоял священник один: никто не явился
Быть на время обедни прислужником в храме. «Господу Богу
Прежде свой долг отдай, потом господину». С такою
Мыслью усердно он начал служить: священнику ризы,
Стóлу и сингулум подал; потом приготовил святые
Чаши; потом, молитвенник взявши, стал умиленно
Долг исправлять министранта: и там и тут на колени,
Руки сжав, становился; звонил в колокольчик, как скоро
Провозглашаемо было великое *s a n c t u s*; когда же
Тайну священник свершил, предстоя алтарю, и возвысил
Руку, чтоб верным явить Спасителя-Бога в бескровной
Жертве, он звоном торжественным то возвестил и смиренно
Пал на колени пред Господом, в грудь себя поражая,
Тихо молитву творя и крестом себя знаменуя.
Так до конца литургии он все, что уставлено чином,
В храме свершал. Напоследок, окончивши службу святую,
Громко священник воскликнул: «*Vobiscum Dominus*», верных
Благословил; и церковь совсем опустела; тогда он,
Все в порядок приведши, и чаши, и ризы, и утварь,
Церковь оставил, и к лесу пошел, и вдобавок дорогой
P a t e r n o s t e r двенадцать раз прочитал. Подошедши
К лесу, он видит огромный дымящийся горн; перед горном,
Черны от дыма, стоят два работника. К ним обратясь,

Und als er rauchen sieht den Schlot
 Und sieht die Knechte stehn,
 Da ruft er: „Was der Graf gebot,
 Ihr Knechte, ist's geschehn?“
 Und grinsend zerrn sie den Mund
 Und deuten in des Ofens Schlund:
 „Der ist besorgt und aufgehoben,
 Der Graf wird seine Diener loben.“

Die Antwort bringt er seinem Herrn
 In schnellem Lauf zurück.
 Als der ihn kommen sieht von fern,
 Kaum traut er seinem Blick.
 „Unglücklicher! wo kommst du her?“ —
 „Vom Eisenhammer.“ — „Nimmermehr!
 So hast du dich im Lauf verspätet?“ —
 „Herr, nur so lang, bis ich gebetet.“

Denn als von Eurem Angesicht
 Ich heute ging, verzeiht,
 Da fragt ich erst, nach meiner Pflicht,
 Bei der, die mir gebeut.
 Die Messe, Herr, befahl sie mir
 Zu hören; gern gehorcht ich ihr
 Und sprach der Rosenkränze viere
 Für Euer Heil und für das ihre.“

In tiefes Staunen sinket hier
 Der Graf, entsetzet sich:
 „Und welche Antwort wurde dir
 Am Eisenhammer? sprich!“ —
 „Herr, dunkel war der Rede Sinn,
 Zum Ofen wies man lachend hin:
 „Der ist besorgt und aufgehoben,
 Der Graf wird seine Diener loben.““

„Und Robert?“ fällt der Graf ihm ein,
 Es überläuft ihn kalt,
 „Sollt er dir nicht begegnet sein?
 Ich sandt ihn doch zum Wald.“ —
 „Herr, nicht im Wald, nicht in der Flur
 Fand ich von Robert eine Spur.“ —
 „Nun“, ruft der Graf und steht vernichtet,
 „Gott selbst im Himmel hat gerichtet!“

Сделано ль то, что граф приказал? он спросил. И, оскалив
Зубы смехом ужасным, они указали на пламень
Горна. «Он там! – прошептал сипловатый их голос, – как должно,
Прибран, и граф нас похвалит». С таким их ответом обратно
В замок пошел Фридолин. Увидя его издалека,
Граф не поверил глазам. «Несчастный! откуда идешь ты?» –
«Из лесу прямо». – «Возможно ль? Ты, верно, промешкал в дороге?» –
«В церковь зашел я. Простите мне, граф государь; повеленье
Ваше приняв, у моей госпожи, по обычному долгу,
Также спросил я, не будет ли мне и ее приказанья?
Выслушать в церкви обедню она приказала. Исполнив
Волю ее, помолился я там и за здравие ваше».

Граф трепетал и бледнел. «Но скажи мне, – спросил он, –
Что отвечали тебе?» – «Непонятен ответ был. Со смехом
Было на горн мне указано. Там он, сказали, как должно,
Прибран, и граф нас похвалит!» – «А Роберт?» – спросил, леденя
В ужасе, граф. – Ты с ним не встречался? Он послан был мною
В лес». – «Государь, ни в лесу, ни в поле, нигде я не встретил
Роберта». – «Ну! – вскричал уничтоженный граф, опустивши
В землю глаза. – Сам Бог решил правосудный! – И, с кроткой
Ласкою за руку взяв Фридолина, с ним вместе пошел он
Прямо к супруге и ей [хотя сокровенного смысла

Und gütig, wie er nie gepflegt,
Nimmt er des Dieners Hand,
Bringt ihn der Gattin, tiefbewegt,
Die nichts davon verstand.
„Dies Kind, kein Engel ist so rein,
Laßt's Eurer Huld empfohlen sein!
Wie schlimm wir auch beraten waren,
Mit dem ist Gott und seine Scharen.“



AUS „PARABELN UND RÄTSEL“

I

Von Perlen baut sich eine Brücke
Hoch über einen grauen See,
Sie baut sich auf im Augenblicke,
Und schwindelnd steigt sie in die Höh.

Der höchsten Schiffe höchste Masten
Ziehn unter ihrem Bogen hin,
Sie selber grug noch keine Lasten
Und scheint, wie die ihr nahst, zu fliehn.

Sie *wird* erst *mit* dem Strom, und schwindet,
Sowie des Wassers Flut versiegt.
So sprich, wo sich die Brücke findet,
Und wer sie künstlich hat gefügt?

III

Auf einer großen Weide gehen
Viel tausend Schafe silberweiß;

Речи его она не постигла] сказал, представляя
Милого юношу, робко пред ними склонившего очи: –
Он, как дитя, непорочен; нет ангела на небе чище;
Враг коварен; но с ним Господь и всевышние силы».



ДВЕ ЗАГАДКИ

I

Не человеческими руками
Жемчужный разноцветный мост
Из вод построен над водами.
Чудесный вид! огромный рост!
Раскинув паруса шумящи,
Не раз корабль под ним проплыл;
Но на хребет его блестящий
Еще никто не восходил!
Идешь к нему – он прочь стремится
И в то же время недвижим;
С своим потоком он родится
И вместе исчезает с ним.

II

На пажити необозримой,
Не убавляясь никогда,
Скитаются неисчислимо
Сереброрунные стада.
В рожок серебряный играет

Wie wir sie heute wandelnd sehen,
Sah sie der allerält'ste Greis.

Sie altern nie und trinken Leben
Aus einem unerschöpften Born,
Ein *Hirt* ist ihnen zugegeben
Mit schön gebognem Silberhorn.

Er treibt sie aus zu goldnen Toren,
Er überzählt sie jede Nacht
Und hat der Lämmer keins verloren,
So oft er auch den Weg vollbracht.

Ein treuer *Hund* hilft sie ihm leiten,
Ein muntre *Widder* geht voran.
Die *Herde*, kannst du sie mir deuten?
Und auch den Hirten zeig mir an.



Пастух, приставленный к стадам:
Он их в золотую дверь впускает
И счет ведет им по ночам.
И, недочета им не зная,
Пасет он их давно, давно,
Стада поит вода живая,
И умирать им не дано.
Они одной дорогой бродят
Под стражей пастырской руки,
И юноши их там находят,
Где находили старики;
У них есть вождь – *Овен* прекрасный,
Их сторожит огромный *Пес*,
Есть *Лев* меж ними неопасный
И *Дева* – чудо из чудес.



Johann Peter Hebel

DAS HABERMUS

's Habermues wär ferig; se chömmet, ihr Chinder, un esset!
 Bettet: ‚Aller Augen‘ — un gent mer ordeli Achtig,
 aß ich nit am rueßige Tüpfi 's Ärmeli schwarz wird.
 Esset denn, un segn ich's Gott, un wachset un trüeihet!
 Gsäiht het der Ätti der Haber un abegeget im Früeihjohr,
 un der himmlisch Vatter het gsait: „Jetz chasch wider haimgoh;
 aß es wachst un zytig wird, für sell will i sorge.“
 Denket numme, Chinder: es schlooft in jedwedem Chörnli,
 chlai un zart, e Chiimli; das Chiimli tuet ich ke Schnüüfli,
 nai, es schlooft un sait kai Wort un ißt nit un trinkt nit,
 bis es in de Fure lyt, im luckere Bode.
 Aber in de Furen un in der füechtige Wärmü
 wacht es haimli uf uus sym verschwigene Schlööfli,
 streckt die zarte Glidli un suuget am saftige Chörnli
 wie ne Muetterchind; 's isch alles, aß es nit briegget.
 Siiderie wird's größer un haimli schöner un stärcher
 un schlieft uus de Windle, es streckt e Würzeli abe,
 tiefer aben in Grund un suecht sy Nahrig un findt si.
 Jo, u'n's sticht's der Wunderfitz, 's möcht nummen au wisse,
 wie's denn wyter oben isch. Gar haimli un furchtsem
 güggelet's zuem Boden uus. — Potz tausig, wie gfallt's em!
 Üüse lieber Herget, er schickt en Engeli abe:
 „Bring em e Tröpfli Tau, un sag em fründli Gottwilche!“
 Un es trinkt, un 's schmeckt em wohl, un 's streckt si gar sölli.
 Siider strehlt si d'Sunne, un wenn si gwäschen un gstrehlt isch,
 chunnt si mit der Strickete füre hinter de Berge,

Иоганн Петер Гебель

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ

Дети, овсяный кисель на столе; читайте молитву;
Смирно сидеть, не марать рукавов и к горшку не соваться;
Кушайте: всякий нам дар совершен и даяние благо;
Кушайте, светы мои, на здоровье; Господь вас помилуй.
В поле отец посеял овес и весной заскородил.
Вот Господь Бог сказал: поди домой, не заботься;
Я не засну; без тебя он взойдет, расцветет и созреет.
Слушайте ж, дети: в каждом зернышке тихо и смирно
Спит невидимкой малютка-зародыш. Долго он, долго
Спит, как в люльке, не ест, и не пьет, и не пикнет, доколе
В рыхлую землю его не положат и в ней не согреют.
Вот он лежит в борозде, и малютке тепло под землю;
Вот тихомолком проснулся, взглянул и сосет, как младенец,
Сок из родного зерна, и растет, и невидимо зреет;
Вот уполз из пелен, молодой корешок пробуравил;
Роется вглубь, и корма ищет в земле, и находит.
Что же?.. Вдруг скучно и тесно в потемках... «Как бы
проведать,
Что там, на белом свете, творится?..» Тайком, боязливо
Выглянул он из земли... Ах; царь мой небесный, как любо!
Смотришь – Господь Бог ангела шлет к нему с неба:
«Дай росинку ему и скажи от Создателя: здравствуй».
Пьет он... ах! как же малюточке сладко, свежо и свободно.
Рядится красное солнышко; вот нарядилось, умылось,
На горы вышло с своим рукодельем; идет по небесной
Светлой дороге; прилежно работая, смотрит на землю,

wandelt ihre Weg hoch an der himmlische Landstrooß,
 strickt un lueget aben, äs wie ne fründliche Muetter
 noo de Chindlene luegt; si lächlet gegen em Chiimli,
 un es tuet em wohl bis tief ins Würzeli abe:

„So ne tolli Frau, un doch so gütig un fründli!“
 Aber was si strickt? He, Gwülch uus himmlische Düfte!
 's tröpflet scho, ne Sprützerli chunnt, druf regnet's gar sölli.
 's Chiimli trinkt bis gnuog; druf wäiht e Lüftli un trochnet's,
 un es sait: „Jetzt gang i nümmen unter e Bode,
 um ke Priis! Do bliib i, geb, was no uus mer will werde!“

Esset, Chindli, gsegn es Gott, un wachset un trüeihet!
 's wartet herbi Zyt ufs Chiimli. Wulken an Wulke
 stöhn am Himmel Tag un Nacht, un d'Sunne verbirgt si.
 Uf de Berge schneit's, un wyter nide hurniglet's.
 Schocheli schoch, wie schnatteret jetz un briegget my Chiimli;
 un der Boden isch zue, un 's het gar chündigi Nahrig.
 „Isch denn d'Sunne gstorbe“, sait es, „aß si nit choo will,
 oder förcht si au, es frier si? Wär i doch blibe,
 wo n i gsi bi, still un chlai, im mehliche Chörnli
 un deheim im Boden un in der füechtige Wärmi!“
 Lueget, Chinder, so goht's! Der werdet au no so sage,
 wenn der uusechömmet un unter fremde Lüte
 schaffe müent un reble un Brot un Plunder verdiene:
 „Wär i doch deheim bym Muetterli hinter em Of!“
 Trost ich Gott! 's nimmt au en End un chunnt wider besser,
 wie's im Chiimli gangen isch. Am haitere Maitag
 wäihts so lau, un d'Sunne stygt so chräftig vom Berg uf,
 un si luegt, was 's Chiimli macht, un gitt em e Schmützli.
 Jetz isch em wider wohl, un 's waiß nit z'blibe vor Freude.

Nootnoo prange d'Matte mit Gras un farbige Blueme;
 Nootnoo duftet 's Chriesibluest, un grüenet der Pfluumbaum;
 nootnoo wird der Rogge buschig, Waizen un Gerste,
 un my Häberli sait: „Do bliib i au nit dehinte!“
 Nai, er spraitet d'Blättli uus, wer het em si gwobe?
 Un jetz schießt der Halm — wer trübt in Röhren an Röhre

Словно как мать на дитя, и малютке с небес улыбнулось,
Так улыбнулось, что все корешки молодые взыграли.
«Доброе солнышко, даром вельможа, а всякому ласка!»
В чем же его рукоделье? Точит облачко дождевое.
Смотришь: посмеркло; вдруг каплет; вдруг полилось, зашумело.
Жадно зародышек пьет; но подул ветерок – он обсохнул.
«Нет (говорит он), теперь уж под землю меня не заманят,
Что мне в потемках? здесь я останусь; пусть будет

что будет».

Кушайте, светы мои, на здоровье; Господь вас помилуй.
Ждет и малюточку тяжкое время: темные тучи
День и ночь на небе стоят, и прячется солнце;
Снег и метель на горах, и град с гололедицей в поле.
Ах! мой бедный зародышек, как же он зябнет! как ноет!
Что с ним будет? земля заперлась, и негде взять пищи.
«Где же (он думает) красное солнышко? Что не выходит?
Или боится замерзнуть? Иль и его нет на свете?
Ах! зачем покидал я родимое зернышко? дома
Было мне лучше; сидеть бы в уютном тепле под землею».
Детушки, так-то бывает на свете; и вам доведется
Вчуже, меж злыми, чужими людьми, с трудом добывая
Хлеб свой насущный, сквозь слезы сказать в одинокой печали:
«Худо мне; лучше бы дома сидеть у родимой за печкой...»
Бог вас утешит, друзья; всему есть конец; веселее
Будет и вам, как былиночке. Слушайте, в ясный день майский
Свежесть повеяла... солнышко яркое на горы вышло,
Смотрит: где наш зародышек? что с ним? и крошку целует.
Вот он ожил опять и себя от веселья не помнит.
Мало-помалу оделись поля муравой и цветами;
Вишня в саду зацвела, зеленеет и слива, и в поле
Гуще становится рожь, и ячмень, и пшеница, и просо;
Наша былиночка думает: «Я назади не останусь!»
Кстати ль! листки распустила... кто так прекрасно

соткал их?

Вот стебелек показался... кто из жилочки в жилку
Чистую влагу провел от корня до маковки сочной?

's Wasser uus de Wurzle bis in die saftige Spitze?
 Endli schlieft en Ähri uus un schwankt in de Lüfte —
 sag mer au e Mensch: wer het an siidene Fäde
 do ne Chnöspli ghenkt un dort mit chünstliche Hände?
 D'Engeli, wer denn sust? Si wandle zwische de Furen
 uf un ab vo Halm zue Halm un schaffe gar sölli.
 Jetz hangt Bluest an Bluest am zarte, schwankigen Ähri,
 un my Haber stoht as wie ne Brüütli im Chilchstuchl.
 Jetz sinn zarti Chörnli drin un wachsen im Stille,
 un my Haber merkt afange, was es will werde.
 D'Chäferli un d'Fliege, si chömme z'Stubete zue n em,
 luege, was er macht, un singen: ‚Eie Popeie!‘
 Jo, 's Schiiwürmli chunnt, potz tausig! mit em Laternli,
 z'Nacht um nüüni z'Liecht, wenn d'Fliegen un d'Chäferli schloofe.

Esset, Chinder, gsegn es Gott, un wachset un trüeihet!
 Siider het me gheuet un Chriesi gunne noo pfingste;
 siider het me Pflüümli gunne hinter em Garte;
 siider henn si Rogge gschnitte, Waizen un Gerste,
 un die arme Chinder henn barfiß zwische de Stupfle
 gfalleni Ähri glesen, un 's Müüsli het ene ghulfe.
 Druf het au der Haber blaicht. Voll mehligi Chörner
 het er gschwankt un gsait: „Jetz isch's mer afange verlaidet,
 un i merk, my Zyt isch uus; was tuen i ellai do
 zwische de Stupfelrüeben un zwische de Grumbirestunde?“
 Druf isch 's Vreni uusen un 's Effersynli un 's Plunni,
 's het si scho an d'Finger gfreore z'Morgen un z'Obe.
 Endli isch er choo, un in der staubige Schüüre
 hai si en dröscht vo früeih um zwai bis z'Oben um vieri.
 Druf isch 's Müllers Esel choo un het en in d'Mühli
 gholt un wider broocht, in chlaini Chörnli vermahle;
 un mit faister Milch vom junge, fleckige Chüehli
 het en 's Muetterli gchocht im Tüpfli. — Geltet, 's isch guet gsi?
 Wüschet d'Löffel ab, un bett ais: ‚Danket dem Heeren!‘
 Un jetz göhnt in d'Schuel; dort hangt der Oser am Simse!
 Fall mer kais, gent Achtig, un lehret, was men ich ufgitt!
 Wenn der wider chömmet, se chömmet der Zibbertli über.



Вот проглянул, налился и качается в воздухе колос...
Добрые люди, скажите: кто так искусно развесил
Почки по гибкому стеблю на тоненьких шелковых нитях?
Ангелы! кто же другой? Они от былинки к былинке
По полю взад и вперед с благодатью небесной летают.
Вот уж и цветом нежный, зыбучий колосик осыпан:
Наша былинка стоит, как невеста в уборе венчальном.
Вот налилось и зерно и тихохонько зреет; былинка
Шепчет, качая в раздумье головкой: я знаю, что будет.
Смотришь: слетаются мошки, жучки молодую поздравить,
Пляшут, толкутся кругом, припевают ей: *многие лета*;
В сумерки ж, только что мошки, жучки позаснут и замолкнут,
Тащится в травке светляк с фонарем осветить ей в потемках.
Кушайте, светы мои, на здоровье; Господь вас помилуй.
Вот уж и Троицын день миновался, и сено скосили;
Собраны вишни; в саду ни одной не осталось сливки;
Вот уж побжали и рожь, и ячмень, и пшеницу, и просо;
Уж и на жниво собирать босиком ребятишки сходились
Колос оброшенный; им помогла тихомолком и мышка.
Что-то былиночка делает? О! уж давно пополнела;
Много, много в ней зернышек; гнется и думает: «Полно;
Время мое миновалось; зачем мне одной оставаться
В поле пустом меж картофелем, пухлою репой и свеклой?»
Вот с серпами пришли и Иван, и Лука, и Дуняша;
Уж и мороз покусал им утром и вечером пальцы;
Вот и снопы уж сушили в овине; уж их молотили
С трех часов поутру до пяти пополудни на риге;
Вот и Гнедко потащился на мельницу с возом тяжелым;
Начал жернов молотить; и зернышки стали мукою;
Вот молочка надоила от пестрой коровки родная
Полный горшочек; сварила кисель, чтоб детушкам кушать;
Детушки скушали, ложки обтерли, сказали: «спасибо».



DER KARFUNKEL

Wo der Ätti sy Tubak schnätzlet, se lueget en d'Marei
fründli un bittwiis a: „Verzähl is näumis, o Ätti!
Waisch, so wider wie necht, wo 's Chünggi het welle
vertschloofe!“

Drüber rucke 's Chünggi un 's Anne-Bäbi um d'Marei
mit de Chunklen ans Liecht un spanne d'Saiten un striiche
mit em Schwärtli 's Rad un zupfen enander am Ärmel.
Un der Jobbi nimmt e Hampfle Liechtspöö un setzt si
neben e Liechtstock hi un sait: „Für das will i Sorge.“
Aber der Hansjerg lyt e lange Weg über en Ofe,
lueget aben un denkt: „Do obe hör i's am beste
un bi niemes im Weg.“

Druf, wo der Ätti sy Tubak
gschnitte het un 's Pfiifli gfüllt, se chunnt er an Liechtspöö
un hebt 's Pfiifli unter un trinkt in gierige Züge,
bis es brennt; druf druckt er 's Ffür mit de Fingere abe
un macht 's Deckeli zue.

„Se will i denn näumis verzähle“,
sait er un sitzt nider; „doch müent der ordeli still sii,
aß i nit verstuun, öb's uus isch; un du dört obe,
pack di vom Ofen abe! Hesch wider niene ke Platz gwüßt?
Isch's der z'wohl, un glust's di wider noo nem Charfunkel?
Numme ken, wie selle gsi isch, wo n i im Sinn ha. —

's isch e Plätzli näume, 's goht weder Ege no Pflueg druf,
Hurst an Hurst scho hundert Johr un giftigi Chrüter;
's singt kai Trostle drin, kai Sommervögeli bsuecht si:
braiti Dosche hüete dört e zaichnete Chörper.

's wär ke ungschickt Bürstli gsi, seil sait me, doch seig er
zytli ins Wirtshuus gwandelt, un über Bibel un Gsangbuech
sinn em d'Charte gsi am Samstag z'Nacht un am Sunntig.
Flueche het er chönne, ne Hex im rueßige Chemi
hätt si bsegnet un bettet, un d'Sternen am Himmel henn zittret.

КРАСНЫЙ КАРБУНКУЛ

Сказка

Дедушка резал табак на прилавке; к нему подлетела
С видом умильным Луиза. «Дедушка, сядь к нам, голубчик;
Сядь, расскажи нам, как, помнишь, когда сестра Маргарета
Чуть не заснула». Вот Маргарета, Луиза и Лотта
С донцами, с пряжей проворно подсели к огню и примолкли;
Фриц, наколовши лучины, придвинул к подсвечнику лавку,
Сел и сказал: «Мне смотреть за огнем»; а Энни, на печке
Нежась, поглядывал вниз и думал: «Здесь мне слышнее».
Вот, табаку накрошивши, дедушка вычистил трубку,
Туго набил, подошел к огоньку, осторожно приставил
Трубку к горящей лучине, раза два пыхнул, – струею
Легкий дымок побежал; он, пальцем огонь придавивши,
Кровелькой трубку закрыл и сказал: «Послушайте, дети,
Будет вам сказка; но с уговором – дослушать порядком;
Слова не молвить, пока не dokonчу; а ты на печурке
Полно валяться, ленивец; опять, как в норе, закопался;
Слезь, говорят. Ну, дети, вот сказка про *красный карбункул*.
Знайте: есть страшное место; на нем не пашут, не сеют;
Боле ста лет, как оно густою крапивой заглохло;
Там дрозды не поют, не водятся летние пташки;
Там стерегут огромные жабы проклятое тело.
Всем был Вальтер хорош, и умен, и проворен; но рано
Стал он трактиры любить; не псалтырь, не молитвенник – карты
Брал он по праздникам в руки, когда христиане молились.
Часто ругался он именем Бога так страшно, что ведьма,
Сидя в трубе, творила молитву, и звезды дрожали.
Вот однажды косматый стрелок в зеленом кафтане
Молча смотрел на игру их и слушал, с какими божбами
Карту за картой и деньги проигрывал бешеный Вальтер.
«Ты не уйдешь от меня!» – проворчал, покосившись, Зеленый.
«Верно, рекрутский наборщик?» – шепнула хозяйка, подслушав.
Нет, то был не рекрутский наборщик, узнаете сами.

's het emool im grüne Rock e borstige Jäger
 zuegluegt, wie si spile. Mit unerhörte Flüeche
 het der Michel Stich um Stich un Büeßli verlöre.
 ‚Du vertlaufsch mer nit!‘ sait für si selber der Grünenrock.
 D'Wirtene het's no ghört un denkt: ‚Isch's öbbe ne Werber!‘
 's isch ke Werber gsi; der werdet's besser erfahre,
 wenn der Michel gwiibet het un 's Gütli verlumpet.
 Was het 's Strooßwirts Tochter denkt? Si het em uus Liebi
 Hand un Jowort gee; doch nit uus Liebi zuem Michel,
 nai, zue Vatter un Muetter; es isch ihr Willen un Wunsch gsi.
 Sellen Oben isch's in schwere Gidanke vertschloofe;
 selli Mittnacht het's e schwere, bidütseme Traum gha.
 's isch em gsi, es chömm vo Staufe füren an d'Landstrooß;
 an der Landstrooß goht e Chapeziner un bettet.
 ‚Schenket mer au ne Helgli, Heer Pater, went Der so guet sii!
 Bin i nit e Bruut? 's cha sii, 's het gueti Bidütig.‘
 Landsem schüttlet sy Chopf der Pater, un unter der Chutte
 lengt er e Hampfle voll Helge. ‚Do zieh der selber ain uuse!‘
 Sait's, un wo n es zieht, se lengt's in schmutzigi Charte.
 ‚Hesch echt 's Eckstai-As? — 's bidüet e rote Charfunkel;
 's isch ke guete Schick.‘ — ‚Jo weger‘, sait es, ‚das han i.‘
 Wider sait der Pater: ‚Waisch was, o Brüütli, zieh anderst!
 Hesch echt sibe Chrütz?‘ — ‚Jo weger‘, sait es un süüzget. —
 ‚Tröst di Gott, zieh anderst! 's chia sii, die dritti isch besser.
 Hesch e bluetig Herz?‘ ‚Jo weger!‘ sait's un loßt's falle.
 ‚Jetzt zieh nonemool; 's cha sii, dy Hailige chunnt no!
 Isch's der Schuuflebueb?‘ — ‚I waiß nit; bschauet en selber!‘ —
 ‚Jo, de hesch en! Tröst di Gott! Er schuuflet di abe.‘
 So het's im Kätterli träumt, un so het's sellemool gschloofe.
 Strooßwirts Tochter, was hesch denkt, un hesch mer en doch gnoo?
 Jo, es het jo müessen un gsait: ‚In 's Heere Gotts Name!
 Noo de sibe Chrützen un hinterem bluetige Herze
 chunnt my Hailige, will's der Heer, un schuuflet mi abe.‘
 Zerst hätt's möge goh. Wohl menggmool het zwor der Michel
 wider gspilt un trunke un gfluecht un 's Kätterli plooget.
 Menggmool isch er in si gange, wenn's en mit Träne
 bittet het un bette. Nemool se sait er: ‚Jetzt will i

Только что женится Вальтер и все промытарит на картах.
Где же, скажите, у Мины был ум? Из любви согласилась
Мина за Вальтера выйти; да! из любви... но к нему ли?..
Нет, друзья, не к нему: к отцу, к матери – им в угожденье.
Слушайте ж: за день до свадьбы Мина с печалью заснула;
Вот ей страшный, пророческий сон к полуночи приснился:
Видит, будто куда-то одна идет по дороге;
Черный монах на дороге стоит и читает молитву.
«Честный отец, подари мне святой образок; я невеста.
Вынь мне: что вынешь, тому и со мной неминуемо сбыться».
Долго, долго качал головою чернец: из мошонки
Горсть образочков достал он. «Сама выбирай», – говорит ей.
Вот она вынула... что ж ей, подумайте, вынулось? Карта.
«Туз бубновый, не так ли? Плохо: ведь красный карбункул
Значит он... доля недобрая». – «Правда», – Мина сказала.
«Мой совет, – говорит ей чернец, – попытаться в другой раз.
Что? Семерка крестовая?» – «Правда», – сказала, вздохнувши,
Мина. «Господь защити и помилуй тебя! Вынь, дружочек,
В третий раз; может быть, лучше удастся. Что там? Червонный
Туз?.. Кровавое сердце». – «Ах, правда!» – Мина сказала,
Карту из рук уронивши. «Послушай, отведай еще раз.
Что? Не туз ли виновый?» – «Смотри, я не знаю». – «Он, точно!
Ах! невеста, черный заступ, заступ могильный;
Горе, горе! молися, дружок: он тебя закопает».
Вот что, друзья, накануне свадьбы приснилось Мине.
Что ж, помогло предвещанье? Все Мина за Вальтера вышла.
Мина подумала, Мина сказала: «Как Богу угодно!
Семь крестов да кровавое сердце; а после... что ж после?
Воля Господня! пусть черный мой заступ меня закопает».
Дети, сначала было ей сносно: хоть Вальтер и часто
Пил, и играл, и святыней ругался, и бедную мучил;
Но случалось, что, тронутый горем ее и слезами,
Он утихал – и вот что однажды сказал он ей: «Слушай;
Я от игры откажусь и карты проклятые брошу;
Душу возьми сатана, как скоро хоть пальцем их трону.
Но отстать от вина – и во сне не проси; не отстану.

mit der akkordieren, un d'Charte will i verflueche.
 Soll mi der Teufel hole, soball i aini meh arüehr!
 Aber ins Wirtshuus gang i, sell will i, sell chan i nit miide.
 Grums un hüül, solang 's der gfallt; i cha der nit helfe!
 Het er's erst mit ghalte, sen isch er im andere treu gsi.
 Wo n er ins Wirtshuus chunnt, se sitzt my borstige Grünenrock
 hinter em Tisch selbdritt un müschlet d'Charten un rüeft em:
 ‚Bisch mer e Kamerad, se chumm, se wemmer ais mache!‘
 ‚Ich nit‘, sait der Michel. ‚Bas Margret, leng mer e Schöppli!‘
 ‚Du nit?‘ sait der Grünen. ‚Chumm numme, bis de dy Schoppe
 trunke hesch; un 's goht um nüt; 's isch ebe für Churzwiil!‘
 „He“, denkt by n em selber der Michel, „wenn es um nüt goht,
 sell isch jo nit gspilt“, un setzt si richtig zuem Grünenrock.
 's chunnt e Chnab ans Fenster mit lockiger Stirnen un rüeft em:
 ‚Maister Michel, uf e Wort! Der Strooßewirt schickt mi.‘
 ‚Schick en wider‘, sait er; ‚i waiß scho, was er im Chopf het.
 Wer spilt uus? Un was isch Trumpf? Un gstoche das Eckstai!‘
 Druf un druf! Zletscht sait der Grünenrock: ‚Was bisch du ne
 Glückschind!

Wemmer um e Chrützer mache?‘ „Sell isch jetz aitue“,
 denkt der Michel, „gspilt isch gspilt, un “ „Myntwege“, sait er.
 ‚Chömmet‘, rüeft der Chnab un pöpperlet wider am Fenster,
 ‚nummen uf en ainzig Wörtli‘ — ‚Loß mi unghait jetz!
 Chrütz im Baum, un Schuufle noo, un nonemool Schuufle!‘
 Un so goht's vom Chrützer bis endlü uf e Dublone.

Wo si ufstöhn, sait der Grünenrock: ‚Michel, i cha di
 jetz nit zahle. Magsch derfür my Fingerring b'halte,
 bis i en wider lös. Es sinn verborgene Chräfte
 in dem rote Charfunkel. O lueg doch, wie n er ain a'blitzt!‘
 's drittmool chlopft's am Fenster: ‚O Michel, chömmet, wil's Zyt isch!‘
 ‚Loß en schwätze‘, sait der Grünenrock; ‚wenn er nit goh will!
 Nimm du do my Fingerring; un wenn de ke Chrützer
 Geld deham un niene hesch, es cha der nit fehle.
 Wenn der Ring am Finger steckt, un wenn de in Sack lengsch
 alli Tag emool, se hesch e bayrische Taler.

Плачь и крушися, как хочешь; хоть с горя умри; не поможешь». Ах! друзья, не сдержал одного, да сдержал он другое. Вот пришел он в трактир; а Зеленый уж там и тасует Карты, сидя за столом сам-третей, и Вальтера кличет: «Вальтер, со мной пополам; садись, сыграем игорку». – «Я не играю», – Вальтер сказал и пива напенил Полную кружку. «Вздор! – возразил, сдавая, Зеленый. – Мы играем не в деньги, а даром; садись, не упрямясь». «Что же? (думает сам в себе Вальтер) если не в деньги, То и игра не в игру...» – и садится рядом с Зеленым. Вот белокуренький мальчик к окну подошел и стучится. «Вальтер (кличет он), Вальтер, послушай, выдь на словечко». Вальтер ни с места. «После приди, – говорит он. –

Что козырь?»

Взятку берет он за взяткой. «Ты счастлив, – заметил

Зеленый, –

Дай сыграем на крейцер; безделка!» Задумался Вальтер.

«В деньги иль даром... игра все игра. Согласен», – сказал он.

«Вальтер (кличет мальчик опять и пуще стучится),

Выдь на минутку; словечко, не боле». – «Отстань же, не выду;

Козырь!.. туз бубновый!.. семерка крестовая!.. козырь!»

Крейцер да крейцер, а там, поглядишь, вынимай и дублоны.

Кончив игру, Зеленый сказал: «Со мною нет денег.

Хочешь ли? Вот тебе перстень; возьми: он сто́ит дороже;

Камень редкий, карбункул; в нем же есть тайная сила».

В третий раз кличет в окошко: «Выдь, Вальтер, пока еще время». –

«Пусть кричит, – Зеленый сказал, – покричит и отстанет.

Что ж, возьмешь ли мой перстень? Бери, в убытке не будешь.

Знай: как скоро нет денег, ты перстень на палец да смело

Руку в карман – и вынется звонкий серебряный талер.

Но берегися... раз на́ день, не боле; и в будни, не в праздник;

Слышишь ли, слышишь ли, Вальтер? Я сам не советую в праздник.

Если ж нужда случится во мне, ты крикни лишь: Бука;

(Букой слыву я в народе) – откликнись тотчас. До свиданья».

Nummen an kem Fiirtig! Sell wott i der selber nit roote.
Chasch mi wyters bruuche, se rüef mer nummen! I hör di.
Haiß i nit Vizli Buzli, un han i d'Ohre nit by mer?'

Siider briegget d'Frau deheim im ainseme Stübli
un list in der Bibel un im verrissene Bettbuech;
un der Michel chunnt un schändet: ‚Rind i di wider
an dym ewige Betten un dunderschießige Hüüle?
Lueg do, was i gunne ha: ne rote Charfunkel!
's Kätterli verschrickt: ‚O Jesis', sait es, ‚was sih n i!
's isch ke guete Schick!' — un sinkt dernider in Ohmacht.

Wärsch doch nümme verwacht, wie mengge bittere Chummer
hättsch verschloofen, armi Frau, wo dyner no wartet!

Jetz wird's tägli schlimmer. Uf alle Märte flankiert er,
goht uf jedi Chülbi; un wo me ne Wirtshuus bitrittet,
z'Nacht um zwölfi, vormittag un z'Oben um vieri,
sitzt der Michel dört un müschlet trüeglich Charta.
's Chind verwildret, 's Gütli schwindet, Acker um Acker
chunnt an Stab, un d'Frau vergoht in bittere Träne.
Goht er öbbe haim, gitt's schnödi Reden un Antwort:
,Chunnsch, du Lump?' un so un so. — Mit trunkene Lippe
fluecht der Michel, schlacht sy Frau. Jetz mueß er zuem Pfarer.
Jetz vor Oberamt un mit em Haschierer im Turn zue.
Goht er schlimm, se chunnt er ärger, wenn em der Vizli
Buzli wider d'Ohre striicht un Gallen ins Bluet mischt.

So wäht's sibe Johr. Emool, se bringt en der Buzli
wider uus em Turn, un ‚Allo göhn mer ins Wirtshuus,
eb de haimchunnsch mit de Straiche, wo si der gee henn!
Was der d'Frau zuem Willkumm präglet, wird di nit brenne.
Loos, de duursch mi, wenn i dra denk, 's möcht ain verspreng,
wie's der goht, un wie der d'Frau dy Lebe verbittret.
So ne Maa wie du, wo 's Tags sy Taler vertue cha!
Glückli bisch im Spile; doch noo n em laidige Sprichwort,
mit em Wiibe hesch's nit tröffe, chan i der sage.

Что-то делает Мина?.. Одна, запершись в каморке,
Мина сидит над разодранной Библией в тяжелой печали.
Муж пришел, и война поднялась. «Ненасытная плакса,
Долго ль молитвы тебе бормотать? Когда ты уймешься?
Вот, горемыка, смотри, что я выиграл: перстень, карбункул».
Мина, взглянув, обомлела: карбункул! Творец милосердый,
Доля недобрая!.. сердце в ней сжалось, и замертво пала...
Бедная Мина, зачем ты, зачем ты в себя приходила?
Сколько б кручины жестокой тебя миновало на свете.
Вот чем дале, тем хуже; день ли в деревне торговый,
Ярманка ль в праздник у церкви – Вальтер наш там.

Кто заглянет

В полночь в трактир, иль в полдень, иль в три часа
пополудни –

Вальтер сидит за столом и тасует крапленые карты.
Брошены дети; что было, то сплыло; поле за полем
Проданы все с молотка, и жена пропадает от горя.
Дома же только и дела, что крик, да упреки, да слезы;
Нынче драка, а завтра к пастору, а там для ответа
В суд, а там и в тюрьму на хлеб с водой попоститься.
Плох он пойдет, а воротится хуже. Бука не дремлет;
Бука в уши свистит и желчи в кровь подливает.
Так проходят семь лет. Ну, послушайте ж: Вальтера Бука
Вывел опять из тюрьмы. «Не зайти ль по дороге, –

сказал он, –

Выпить чарку в трактире? С чем ты покажешься дома?
Как тебя примут? Ты голоден, холоден, худ и оборван.
Что на свиданье жена припасла, то тебя не согреет.
Правду молвить, ты мученик; лопнуть готов я с досады,
Видя, какую ты от жены пьешь горькую чашу.
Много ль подобных тебе? Что сутки, то талер, и даром.
Права пословица: счастлив игрою, несчастлив женою.
Будь ты один – ни забот, ни хлопот; женился – каков ты?
Нет лица на тебе; как усопший; кожа да кости.
Выпей же чарку, дружок: авось на душе просветлеет».
Мина тем временем, руки к сердцу прижавши, в потемках

Wärsch ellai, wie hättsch's so guet un lebtisch so rüeihig!
 's pün'get di, i sih der's a, un d'Odere schwelle.
 Trink e Schlückli Brenz, er chüelt der öbbe dy Jast ab!

Aber d'Frau deheim, mit zemmegschlagene Hände
 sitzt si uf em Bank un luegt dur Tränen an Himmel.
 ‚Sibe Johr un sibe Chrütz!‘ so schluchzget si endli.
 ‚s wird mer redli wohr, un Gott im Himmel well's ende!
 Sait's un nimmt e Buech un bettet in Todesgidanke.
 Drüber schnellt der Michel d'Tür uf, un fürchterli schnauzt er:
 ‚Hüülsch au wider? Du hesch's nötig, falschi Kanalli!
 Suurchrut choch mer!‘ 's Kätterli sait: ‚s isch niene ke Fүүr meh!‘ –
 ‚Suurchrut will i! Lueg, i dräh der 's Messer im Liib um.‘ —
 ‚Lieber hüt äs morn. De bringsch mi unter e Bode
 ai Weg wie der ander, un 's Buebli hesch mer scho gmordet.‘ —
 ‚Di soll der Dunder un 's Wetter in Erdboden abe verschlage!
 Sait's un zuckt, un sinnlos trümmlet 's Kätterli nider.
 ‚O my bluetig Herz!‘ so stöhnt's no liisli im Falle.
 ‚Chumm, o Schuuflebueb; do hesch mi, schuufle mi abe!‘
 Jetz der Michel furt; vom schnelle Schrecken ergriffe,
 lauft ins Feld; der Bode schwankt, un 's raßlet im Nußbaum.
 ‚Vizli Buzli, root mer du!‘ So rüeft er. Der Buzli,
 hinter em Nußbaum stoht er un chunnt un froogt en: ‚Was fehlt der?‘ –
 ‚D'Kättrii han i verstoche; jetz root mer, was i soll mache!‘ —
 ‚Isch das alles?‘ sait der Buzli. ‚Weger, de chasch ain
 doch verschrecken, aß me maint, was wunder passiert seig!
 Närsch, jetz chasch im Land nit bliibe, 's möcht e Verdruß gee.
 Isch nit dort der Rhii? Un chumm, i will di biglaite,
 's stoht e Schiff am Gstad!‘ — Jetz styge si ehnen im Sunggäu
 frisch ans Land, un quer dur 's Feld. Im ainseme Wirtshuus
 brennt e Liecht. ‚Mer wenn doch luege, wer no do inn isch‘,
 sait der Grünen; ‚wer weiß, de chasch der d'Grille vertriibe!‘

Aber im Wirtshuus sitze no spooti, nächtliche Gselle,
 un 's goht vornen a mit Bankettieren un Spile.
 ‚Chrütz isch Trumpf! Un nonemool! Un chönnet der die do?
 Gstoche die; un no ne Trumpf! Un — gstoche das Herzli!‘ —

Дома сидит одинешенька, смотрит сквозь слезы на небо.
«Так, семь лет, семь крестов!.. (и слезы ручьем полилися)
Все, как должно, сбылось; пошли же конец, мой Создатель!»
Молвила, книжку взяла и молитву прочла по усопшем.
Вдруг растворилась дверь, и Вальтер вбежал как безумный.
«Плачешь, змея? (загремел он) плачь! теперь не напрасно!
Ужин, проворнее!» – «Где взять? Все пусто; в доме ни корки». –
«Ужин, тебе ль говорят? Хоть тресни, иль нож тебе в сердце!» –
«Что ж, чем скорее, тем лучше: в могилу снесут, да и только;
Мне же там быть не одной: детей давно ты зарезал». –
«Сгинь же!» – он гаркнул... и Мина в крови ударилась об пол.
«Ах! мое кровавое сердце! (она простонала)
Где ты, заступ? Твоя черед: закопай меня в землю». –
Ужас, как холод, облил убийцу... бежит неоглядкой;
Ночь; под ним шевелится земля; в орешнике шорох.
«Бука, где ты?» – он крикнул... Громко откликнулось в поле.
Бука стоит за орешником... выступил... «Что ты?» – спросил он.
«Бука... я Мину зарезал... скажи, присоветуй, что делать?..» –
«Только? – тот возразил. – Чего ж испугался, безмозглый?
Мину зарезал – великое диво! туда и дорога!
Но... послушай, здесь оставаться теперь не годится;
Будет плохо; Рейн близко – ступай, передем;
Лодка у берега есть...» Садятся, плывут, переплыли,
На берег вышли и по полю бегом. В сторонке, в трактире,
Светится свечка. Зеленый сказал: «Зайдем на минутку;
Тут есть добрые люди; помогут тебе разгуляться».
Входят. В трактире сидят запоздалые, пьют и играют.
Вальтер с Зеленым подвинулись к ним, и война закипела.
«Бей!» – кричат. «Подходи!» – «Я лопнул!» – «Козырь!» – «Зарезал!»
Вот они козыряют, а маятник ходит да ходит.
Стрелка взошла на двенадцать... Ах! белокуренький мальчик,
Стукни в окошко!.. Не стукнет: дело кончается, Вальтер.
Как же ты плохо играешь!.. зарезал... глубоко, глубоко
В сердце к нему заронилось тяжелое слово; а Бука,

's warnt scho uf zwölfi. O, will mit lockiger Stirne
 jetz ke Chnab erschiine? Nai weger! Michel, das endet!
 O, wie spilsch so sölli ungschickt! ‚Gstochte das Herzli‘
 lengt em tief in d’Seel, un allimool, wenn er e Stich macht,
 widerholt’s der Buzli un wirft im Michel e Blick zue.
 's schlacht scho zwölfi uus. Mit allewiil schlechtere Charte
 spilt er allewiil schlechter un zahlt afange mit Chriide.
 's schlacht e Viertel uf ais. Jetz lengt er mit gringletem Finger
 frisch in Sack: ‚Wer wechslet no ne bayrische Taler?‘
 Schlechti Münz, Heer Michel! Er lengt in glasigi Scherbe,
 tuet e Schrai un luegt mit Gruus un Schrecke der Grünen a.
 Aber der Buzli leert sy Brenntewiigläslı un schmazget:
 ‚Michel, chumm jezt furt; der Wirt würd wellen ins Bett goh!
 's chömme hüt viil Gäst, si henn e lustige Fiirtig.
 Isch mit Ludwigstag, der fünfezwenzigst Augusti?
 Dräh am Ring, so lang de witt, de bringsch en nit abel!
 O, wie het der Michel gloost — e lustige Fiirtig!
 O, wie het er d’Füeß am Tischbai unte verchlammret!
 's hilft nit lang un tuet nit guet. Mit ängstlichem Bebe
 stoht er uf un sait ke Wort, un göhn mitenander,
 vornen a der Grünen un an de Ferse der Michel,
 wie ne Chalb im Metzger folgt zuer bluetige Schlachtbank.
 Öbbe ne Büchseschuß vom Wirtshuus stellt en der Buzli.
 ‚Michel‘, sait er, ‚lueg, es stoht kai Sternli am Himmel!
 Lueg, der Himmel hangt voller Wetter über un über!
 's goht kai Luft, es schwankt kai Nast, es rüehrt si ke Läubli.
 Un du bisch mer au so still! De wirsch doch nit bette?
 Machsche der öbbe d’Ürte? Gell, 's Lebe isch der verlaidet?
 Wie de mainsch! Dy Wahl isch schlecht, i mueß der’s bikenne.
 Se, do hesch e Messer; i ha’s am Blotzemer Märt gehauft!
 Hau der d’Gurgle selber ab, se chost’s di ke Trinkgeld!“

So het der Ätti verzählt, un mit engbrüstigem Odem
 said druf d’Muetter: „Bisch ball ferig? Mach mer die Maidli
 nit so z’förche; 's sinn doch nummen erdichteti Märli!“
 „Jo, i bi jo ferig!“ erwidert der Ätti. „Dort lyt er
 mit sym Ring im Dorneghürst, wo d’Trostle nit singe.“

Только что взятку возьмут, повторит да на Вальтера взглянет.
Вот пробило двенадцать. К Вальтеру масть, как на выбор,
Все негодная сыплет; мелком он проигрыш пишет.
Вот... и первого четверть. С перстнем на пальце он руку
Всунул в карман: «Разменяйте мне талер». Плохая монета,
Вальтер, плохая монета; в кармане битые стекла...
Руку отдернув, в страхе глаза он устал на Буку;
Бука сидит да винцо попивает, и нет ему дела.
«Вальтер (допивши, сказал он), пора! хозяин уж дремлет.
Нынче праздник, двадцать пятое августа; много
Будет в трактире гостей; пойдем, зачем нам тесниться?
Полно перстнем вертеть; не трудись, ничего не добудешь».
Праздник!.. Ах! Вальтер, как бы ты рад был ослышаться! как бы
Рад был ногами к столу прирасти, чтоб не сдвинуться с места!
Поздно, поздно; ничто не поможет... бледен как мертвый,
Встал он, ни слова не молвил и в поле темное с Букой –
Бука вперед, а он позади – побрел, как ягненок
Вслед за своим мясником бредет к кровавой колоде.
Бука ставит его на выстрел ружейный от места.
«Видишь, Вальтер? – сказал он. – Звезды на небе смеркли.
Видишь? Тяжелыми тучами небо кругом обложилось;
Воздух душен; ветка не тронется; листик не дрогнет.
Вальтер, что же ты так замолчал?.. Уж не молишься ль, Вальтер?
Или считаешь свой проигрыш? Все проиграл невозвратно.
Как быть! а выбор остался плохой, я сам признаюся.
Вот тебе нож... я украл у убийцы, когда обдирал он
Мертвое тело... зарежь себя сам, так за труд не заплатишь».

Так рассказывал дедушка внукам. Чуть смея дыханье
В страхе отвести, говорит ему бабушка: «Скоро ль ты кончишь?
Девки боятся; на что их страшать небывальщиной? Полно!» –
«Я dokonчил, – старик отвечал. – Там лежит он, и с перстнем,
В дикой крапиве, где нет дроздов и не водятся пташки».
Тут Луиза примолвила: «Бабушка, кто же боится?»

Aber d'Marei sait: „O Muetter, wer wird em denn förche!
Denksch, i merk nit, was er maint, un was er will sage?
Jo, der Vizli Buzli, das isch die bösi Versuechig.
Lockt si nit, un fñehrt si nit in Sñnden un Elend,
wenn e Mensch nit bette mag un folgt nit un schafft nüt?
Un der lockig Chnab isch gueti Warnig im Gwisse.
O, i chenn my Ätti wohl un syni Gidanke!“



DER WÄCHTER
IN DER MITTERNACHT

*Looset, was i euch will sage!
D'Glocke het zwölfi gschlage.*

Wie still isch alles! Wie verborgen isch,
was Lebe haibt, im Schooß der Mitternacht
uf Strooß un Feld! Es tönt kai Menschtritt,
es fahrt kai Wagen uus der Ferni her,
kai Huustür gahret, un kai Odem schnuoft,
un nit emool e Möhnli rüeft im Bach.
's lyt alles hinterm Umhang jetz un schlooft;
un öb mit liichtem Fueß un stillem Tritt
e Gaist vorüberwandlet, waiß i nit.

Doch was i sag! Ruscht nit der Tüch? Er schießt
im Leerlauf ab am müede Mühlirad,
un näume schlicht der Iltis unterm Dach
de Treemle noo; un lueg, do obe zieht
vom Chilchturn her en Üül im stille Flug
dur d'Mitternacht. Un hangt denn nit im Gwülch
die groði Nachtlaterne dört, der Moon?
Still hangt si dört, un d'Sterne flimmere,
wie wemmen in der dunkle Regenacht,
vom wyte Gang ermattet, uf der Strooß

Или, думаешь, трудно до смысла сказки добраться?
Я добралась: Бука есть искушение злое.
Разве не вводит оно нас в грех и в напасти, когда мы
Бога не помним, советов не любим, не делаем дела?
Мальчик в окошечке... кто он? Верный учитель наш, совесть.
О! я дедушку знаю, я знаю и все его мысли».



ДЕРЕВЕНСКИЙ СТОРОЖ В ПОЛНОЧЬ

*Полночь било; в добрый час
Спите, Бог не спит за нас!*

Как все молчит!.. В полночной глубине
Окрестность вся как будто притаилась;
Нет шороха в кустах; тиха дорога;
В пустой дали не простучит телега,
Не скрипнет дверь; дыханье не провееет,
И коростель замолк в траве болотной.
Все, все теперь под занавесом спит;
И легкою ль, неслышную стопую
Прокрался здесь бесплотный дух... не знаю.
Но чу... там пруд шумит; перебираясь
По мельничным колесам неподвижным,
Сонливою струей бежит вода;
И ласточка тайком ползет по бревнам
Под кровлю; и сова перелетела
По небу тихому от колокольни;
И в высоте фонарь ночной, луна
Висит меж облаков и светит ясно,
И звездочки в дали небесной брезжут...
Не так же ли, когда осенней ночью,

an d'Haimet chunnt, no kaini Dächer siht
un numme do un dört e fründli Liecht.

Wie wird's mer doch uf aimool so kurios?
Wie wird's mer doch so waich um Brust un Herz?
As wenn i briegge möcht, waiß nit, worum;
as wenn i 's Haimweh hätt, waiß nit, noo was.

*Looset, was i euch will sage!
D'Glocke het zwölfi gschlage.*

*Un isch's so schwarz un finster do,
se schiine d'Sternli no so froh,
un uus der Haimet chunnt der Schii;
's mueß liebli in der Haimet sii!*

Was will i? Will i dur de Chilchhof goh
ins Unterdorf? Es isch mer, d'Tür seig off,
as wenn die Toten in der Mitternacht
uus ihre Gräbere giengen un im Dorf
e wenig luegten, ob no alles isch
wie almig, 's isch mer doch bis dato ken
bigegnet, aß i waiß. Denkwohl, i tue's
un rüef de Tote — nai, sell tuen i nit!
Still will i uf de stille Gräbere goh!
Si henn jo d'Uhr im Turn; un waiß i denn,
isch au scho ihri Mitternacht verbei?
's cha sii, es fällt no dunkler allewiil
un schwärzer uf si abe — d'Nacht isch lang;
's cha sii, es zuckt e Straifli Morgerot
scho an de Bergen uf — i waiß es nit.

Wie isch's so haimli do! Si schloofe wohl,
Gott gunn ene's! — E bitzli schuuderig,
sell leugn i nit; doch isch nit alles tot.
I hör jo 's Unrueih in der Chilche; 's isch
der Puls der Zyt in ihrem tiefe Schloof

Измокнувший, усталый от дороги,
Придешь домой, еще не видишь кровель,
А огонек уж там и тут сверкает?..
Но что ж во мне так сердце разгорелось?
Что на душе так радостно и смутно?
Как будто в ней по родине тоска!
Я плачу... но о чем? И сам не знаю!

*Полночь было; в добрый час!
Спите, Бог не спит за нас!*

*Пускай темно на высоте;
Сияют звезды в темноте.
То свет родимой стороны;
Про нас они там зажжены.*

Куда идти мне? В нижнюю деревню,
Через кладбище?.. Дверь отворена.
Подумаешь, что в полночь из могил
Покойники выходят навестить
Свое село, проведать, все ли там
Как было в старину. До сей поры,
Мне помнится, еще ни одного
Не встретил я. Не прокричать ли: *полночь!*
Покойникам?.. нет, лучше по гробам
Пройду я молча, есть у них на башне
Свои часы. К тому же... как узнать!
Прошла ль уже их полночь или нет?
Быть может, что теперь лишь только тьма
Сгущается в могилах... ночь долга;
Быть может также, что струя рассвета
Уже мелькнула и для них... кто знает?
Как смирно здесь! знать, мертвые покойны?
Дай Бог!.. Но мне чего-то страшно стало.
Не все здесь умерло: я слышу, ходит
На башне маятник... ты скажешь, бьется

un d'Mitternacht schnuoft vo de Berge her.
 Ihr Odem wandlet über d'Matte, spilt
 dört mit em Tschäubeli am grüne Nast,
 un pfiift dur d'Scheie her am Gartehag.
 Si chuuchet füecht an d'Chilchemuur un chalt;
 die lange Fenster schnattere dervo
 un 's lopprig Chrütz. Un lueg, do lüftet si
 en offe Grab! — Du gueten alte Franz,
 se henn si der dy Bett scho gmacht im Grund,
 un 's Deckbett wartet uf die nebedra,
 un d'Liechtli uus der Haimet schiine drii!

He nu, es goht is alle so: Der Schloof
 zwingt jeden uf em Weg, un öb er gar
 in d'Haimet dure chunnt; doch wer emool
 sy Bett im Chilchhof het, gottlob, er isch
 zuem letschemool do niden übernacht;
 un wenn es taget, un mer wachen uf
 un chömmen uuse, hemmer nümme wyt,
 e Stündli öbben, oder nit emool. —
 Se stolper i denn au no d'Stäppli ab,
 un bi so nüechter blibe hinechtie.

Looset, was i euch will sage!

D'Glocke het zwölfi gschlage.

Un d'Sternli schiine no so froh,

un uus der Haimet schimmrel's so,

un 's isch no um e chlaini Zyt.

Vom Chilchhof het me nümme wyt.

Wo bin i gsi? Wo bin i echterst jetz?
 E Stäppli uf, e Stäppli wider ab,
 un wyters nüt? Nai weger, wyters nüt!
 Isch nit 's ganz Dörfli in der Mitternacht
 e stille Chilchhof? Schlooft nit alles do
 wie dört vom lange, müede Wachen uus,

Пульс времени в его глубоком сне.
И холодом с вершины дует полночь;
В лугу ее дыханье бродит, тихо
Соломою на кровлях шевелит
И пробирается сквозь тын со свистом,
И сыростью от стен церковных пышет –
Окончины трясутся, и порой
Скрипит, качаясь, крест – здесь подувает
Оно в открытую могилу... Бедный Фриц!
И для тебя готовят уж постелю,
И каменный покров лежит при ней,
И на нее огни отчизны светят.

Как быть! а всем одно, всех на пути
Застигнет сон... что ж нужды! все мы будем
На милой родине; кто на кладбище
Нашел постель – в час добрый; ведь могила
Последний на земле ночлег; когда же
Проглянет день и мы, проснувшись, выйдем
На новый свет, тогда пути и часу
Не будет нам с ночлега до отчизны.

*Полночь било; в добрый час!
Спите, Бог не спит за нас!*

*Сияют звезды с вышины,
То свет родимой стороны;
Туда через могилу путь;
В могиле ж... только отдохнуть.*

Где был я? где теперь? Иду деревней;
Прошел через кладбище... Все покойно
И здесь и там... И что ж деревня в полночь?
Не тихое ль кладбище? Разве там,
Равно как здесь, не спят, не отдыхают
От долгия усталости житейской,

vo Freud un Laid, un lyt in Gottis Hand,
do unterm Straudach, dort im chüele Grund,
un warte, bis es taget um si her?

He, 's würd jo öbbe! Un wie lang un schwarz
au d'Nacht vom hoche Himmel abehangt,
verschloofen isch der Tag deswege nie;
un bis i wider chumm un nonemool,
se genn mer d'Gühl scho Antwort, wenn i rüef,
se wäiht mer scho der Morgeluft ins Gsicht.
Der Tag verwacht im Tannewald; er lüpft
alsgmach der Umhang obsi; 's Morgeliecht,
es rislet still in d'Nacht, un endli wahl'ts
in goldene Strömen über Berg un Tal.
Es zuckt un wacht an allen Orte; 's goht
e Lade do, un dort e Huustür uf,
un 's Lebe wandlet uuse frei un froh.

Du liebi Seel, was wird's e Fiirtig sii,
Wenn mit der Zyt die letschi Nacht versinkt
un alli goldne Sterne, groß un chlai,
un wenn der Moon un 's Morgerot un d'Sunn
in Himmelslicht verrinnen un der Glast
bis in die tiefe Gräber abedringt,
un d'Muetter rüeft de Chindlene: „'s isch Tag!“,
un alles uus em Schloof verwacht, un do
ne Laden ufgoht, dört e schveri Tür!
Die Tote luegen uuse, jung un schön;
's het mengge Schade guetet übernacht,
un menggi tiefi Schnatte bis ins Herz
isch hail. Si luegen uuse, gsund un schön,
un tunke 's Gsicht in Himmelsluft; si stärkt
bis tief ins Herz — du alte Nar, was brieggsch?

Looset, was i euch will sage!

D'Glocke het zwölfi gschlage.

От скорби, радости, под властью Бога,
Здесь в хижине, а там в сырой земле,
До ясного, небесного рассвета?

А он уж недалеко... Как бы ночь
Ни длилась и неба ни темнила,
А все рассвета нам не миновать.
Деревню раз, другой я обойду –
И петухи начнут мне откликаться,
И воздух утренний начнет в лицо
Мне дуть; проснется день в бору, отдернет
Небесный занавес, и утро тихой
Струей прольется в сумрак; наконец
Посмотришь: холм, и дол, и лес сияют;
Все встрепенулося; там ставень вскрылся,
Там открылась дверь; и все очнулось,
И всюду жизнь свободная разыграла.
Ах! Царь Небесный, что за праздник будет,
Когда последняя промчится ночь!
Когда все звезды, малые, большие,
И месяц, и заря, и солнце вдруг
В небесном пламени растают, свет
До самой глубины могил прольется,
И скажут матери младенцам: *утро!*
И все от сна пробудится; там дверь
Тяжелая отворится, там ставень;
И выглянут усопшие оттуда!..
О, сколько бед забыто в тихом сне!
И сколько ран глубоких в самом сердце
Исцелено! Встают здоровы, ясны;
Пьют воздух жизни; он вливает крепость
Им в душу... Но когда ж тому случиться?

*Полночь било; в добрый час!
Спите, Бог не спит за нас!*

*Un d'Liechli brennen alli no;
 der Tag will jemerst no nit choo.
 Doch Gott im Himmel lebt un wacht;
 er hört wohl, wenn es vieri schlacht.*



DIE VERGÄNGLICHKEIT

Gespräch auf der Straße nach Basel,
 zwischen Steinen und Brombach, in der Nacht

der Bueb sait zuem Ätti:

Fast allmool, Ätti, wenn mer 's Röttier Schloß
 so vor den Auge stoht, se denk i dra,
 öb's üüsem Huus echt au emool so goht.
 Stoht's denn hit dort so schuudrig wie der Tod
 im Basler Totetanz? Es gruuset aim,
 wie länger as me's bschaut. Un üüser Huus,
 es sitzt jo wie ne Chilchli uf em Berg,
 un d'Fenster glitzeren, es isch e Staat.
 Schwätz, Ätti, goht's em echterst au no so?
 I main emool, es chönn schier gar nit sii.

der Ätti sait:

Du guete Burst, 's cha friili sii, was mainsch?
 's chunnt alles jung un neu, un alles schliicht
 im Alter zue, un alles nimmt en End,
 un nüt stoht still. Hörsch nit, wie 's Wasser ruuscht,
 un sihsch am Himmel obe Stern an Stern?
 Me maint, vo alle mehr si kain, un doch
 ruckt alles wyters, alles chunnt un goht.

*Еще лежит на небе тень;
Еще далеко светлый день;
Но жив Господь, Он знает срок:
Он вышлет утро на восток.*



ТЛЕННОСТЬ

Разговор на дороге, ведущей в Базель,
в виду развалин замка Ретлера, вечером.

В н у к

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль: что, если то ж случится
И с нашей хижинкой?.. Как страшно там!
Ты скажешь: смерть сидит на этих камнях.
А домик наш?.. Взгляни: как будто церковь,
Светлеет на холме, и окна блещут.
Скажи ж, как может быть, чтобы и с ним
Случилось то ж, что с этим старым замком?

Д е д у ш к а

Как может быть?.. Ах! друг мой, это будет.
Всему черед; за молодостью вслед
Тащится старость: все идет к концу
И ни на миг не постоит. Ты слышишь:
Без умолку шумит вода; ты видишь:
На небесах сияют звезды; можно

Jee, 's isch nit anderst, lueg mi a, wie d' witt.
 De bisch no jung; Närsch, i bi au so gsi,
 jetz würd's mer anderst, 's Alter, 's Alter chunnt,
 un wo n i gang, go Gresgen oder Wis,
 in Feld un Wald, go Basel oder haim,
 's isch ainerlai, i gang im Chilchhof zue —
 briegg alder nit! — un bis de bisch wie n i,
 e gstandne Maa, se bin i nümme do,
 un d'Schoof un Gaiße waiden uf mym Grab,
 jo Wegerli; un 's Huus wird alt un wüest;
 der Rege wäscht der's wüester alli Nacht,
 un d'Sunne blächt der's schwärzer alli Tag,
 un im Vertäfer popperet der Wurm.
 Es regnet no dur d'Bühni ab, es pfiift
 der Wind dur d'Chlimse. Drüber tuesch du au
 no d'Auge zue; es chömme Chindeschind
 un pletze dra. Zletscht fuult's im Fundement,
 un 's hilft nüt meh. Un wemme nootnoo gar
 zwaituusig zehlt, isch alles zemmekeit;
 un 's Dörfli sinkt no selber in sy Grab.
 Wo d'Chilche stoht, wo 's Vogts un 's Heere Huus,
 goht mit der Zyt der Pflueg. —

der Bueb sait:

Nai, was de saisch!

der Ätti sait:

Jee, 's isch nit anderst, lueg mi a wi e d'witt!
 Isch Basel nit e schöni, tolli Stadt?
 's sinn Hüüser drin, 's isch menggi Chilche nit
 so groß, un Chilche, 's sinn in menggem Dorf
 nit so viil Hüüser. 's isch e Volchspiel, 's wohnt
 e Riichtum drin, un mengge brave Heer,

Подумать, что они ни с места... нет!
Все движется, приходит и уходит.
Дивись, как хочешь, друг, а это так.
Ты молод; я был также молод прежде,
Теперь уж все иное... старость, старость!
И что ж? Куда бы я ни шел – на пашню,
В деревню, в Базель, – все иду к кладбищу!
Я не тужу... и ты, как я, созреешь.
Тогда посмотришь, где я?.. Нет меня!
Уж вокруг моей могилы бродят козы;
А домик, между тем, дряхлей, дряхлей;
И дождь его сечет, и зной палит,
И тихомолком червь буравит стены,
И в кровлю течь, и в щели свищет ветер...
А там и ты закрыл глаза; детей
Сменили внуки; то чини, другое;
А там и нечего чинить... все сгнило!
А поглядишь: лет тысяча прошло –
Деревня вся в могиле; где стояла
Когда-то церковь, там соха гуляет.

В н у к

Ты шутишь: быть не может!

Д е д у ш к а

Будет, будет!
Дивись, как хочешь, друг; а это так!
Вот Базель наш... сказать, прекрасный город!
Домов не счесть – иной огромней церкви;
Церквей же боле, чем в иной деревне
Домов; все улицы кипят народом;
И сколько ж добрых там людей!.. Но что же?
Как многих нет, которых я, бывало,

un mengge, wo n i chennt ha, lyt scho lang
 im Chrützgang hinterm Münsterplatz un schlooft.
 's isch aitue, Chind, es schlacht emool e Stund,
 goht Basel au ins Grab, un streckt no do
 un dört e Glid zuem Boden uus, e Joch,
 en alte Turn, e Gibelwand; es wachst
 do Holder druf, do Büecli, Tanne dört
 un Moos un Farn, un Raiger niste drin —
 's isch schad derfür! — Un sinn bis dörthi d'Lüt
 so närsch wie jetz, se göhn au Gspenster um.
 D'Frau Faste, 's isch mer jetz, si fang scho a,
 me sait's emool — der Lippi Läppeli,
 un was waiß i, wer meh. Was stoßisch mi?

der Bueb sait:

Schwätz liisli, Ätti, bis mer über d'Bruck
 do sinn un do an Berg un Wald verbei!
 Dört obe jagt e wilde Jäger, waisch?
 Un lueg, do niden in de Hürste seig
 gwiß 's Eiermaidli glege, halber fuul,
 's isch Johr un Tag. Hörsch, wie der Laubi schnuufft?

der Ätti sait:

Er het der Pfnüsel. Seig doch nit so närsch!
Hüst, Laubi, Merz! — Un loß die Tote goh;
 si tüen der nüt meh! — Jee, was han i gsait?
 Vo Basel, aß es au emool verfallt. —
 Un goht in langer Zyt e Wandersmaa,
 ne halbi Stund, e Stund wyt dra verbei,
 se luegt er dure, lyt kc Nebel druf,
 un sait sym Kamerad, wo mit em goht:
 „Lueg, dort isch Basel gstande! Selle Turn
 seig d'Peterschilche gsi; 's isch schad derfür!“

Встречал там... где они? Лежат давно
За церковью и спят глубоким сном.
Но только ль, друг? Ударит час – и Базель
Сойдет в могилу; кое-где, как кости,
Выглядывать здесь будут из земли:
Там башня, там стена, там свод упавший
На них же, по местам, береза, куст,
И мох седой, и в нем на гнездах цапли...
Жаль Базеля! А если люди будут
Все так же глупы и тогда, как нынче,
То заведутся здесь и привиденья,
И черный волк, и огненный медведь,
И мало ли...

В н у к

Не громко говори;
Дай мост нам перейти; там у дороги,
В кустарнике, прошедшею весной
Похоронен утопленник. Смотри,
Как пятится Гнедко и уши поднял;
Глядит туда, как будто что-то видит.

Д е д у ш к а

Молчи, глупец; Гнедко пужлив: там куст
Чернеется – оставь в покое мертвых,
Нам их не разбудить; а речь теперь
О Базеле; и он в свой час умрет.
И много, много лет спустя, быть может,
Здесь остановится прохожий: взглянет
Туда, где нынче город... там все чисто,
Лишь солнышко над пустырем играет;
И спутнику он скажет: «В старину
Стоял там Базель; эта груда камней
В то время церковью Петра была...
Жаль Базеля».

der Bueb sait:

Nai, Ätti, isch's der Ernst? Es cha nit sii!

der Ätti sait:

Jee, 's isch nit anderst, lueg mi a, wie d' witt.
 Un mit der Zyt verbrennt die ganzi Welt.
 Es goht e Wächter uus um Mitternacht,
 e fremde Maa, me waiß nit, wer er isch;
 er funklet wie ne Stern un rüeft: „*Wacht auf!
 Wacht auf, es kommt der Tag!*“ — Drob rötet si
 der Himmel, un es dundret überal,
 zerst haimli, alsmach luut, wie sellemool,
 wo Anno sechsenünzgi der Franzos
 so uding gschosse het. Der Bode wankt,
 aß d'Chilchtürn guuge; d'Glocke schlagen a
 un lütte selber Bettzyt wyt un brait,
 un alles bettet. Drüber chunnt der Tag;
 o, bhüet is Gott, me bruucht ke Sunn derzue:
 Der Himmel stoht im Blitz un d'Welt im Glast.
 Druf gschicht no viil, i ha jetz nit der Zyt;
 un endli zündet's a un brennt un brennt,
 wo Boden isch, un niemes löscht. Es glumst
 wohl selber ab. Wie-mainsch, siht's uus dernoo?

der Bueb sait:

O Ätti, sag mer nüt me! Zwor, wie goht's
 de Lüte denn, wenn alles brennt un brennt?

der Ätti sait:

He, d'Lüt sinn nümme do; wenn's brennt, si sinn —
 wo sinn si? Seig du fromm un halt di wohl;
 geb, wo de bisch, un bhalt dy Gwisse rain!

В н у к

Как может это случиться?

Д е д у ш к а

Не верь иль верь, а это не минует.
Придет пора – сгорит и свет. Послушай:
Вдруг о полночи выходит сторож –
Кто он, не знают – он не здешний; ярче
Звезды блестит он и гласит: *Проснитесь!*
Проснитесь, скоро день!.. Вдруг небо рдеет
И загорается, и гром сначала
Едва стучит; потом сильней, сильней;
И вдруг отсюда загремело; страшно
Дрожит земля; колокола гудят
И сами свет сзывают на молитву:
И вдруг... все молится; и всходит день –
Ужасный день: без утра и без солнца;
Все небо в молниях, земля в блистанье;
И мало ль что еще!.. Все, наконец,
Зажглось, горит, горит и прогорает
До дна, и некому тушить, и само
Потухнет... Что ты скажешь? Какова
Покажется тогда земля?

В н у к

Как страшно!
А что с людьми, когда земля сгорит?

Д е д у ш к а

С людьми?.. Людей давно уж нет: они...
Но где они?.. Будь добр; смиренным сердцем
Верь Богу; береги в душе невинность –

Sihsch nit, wie d'Luft mit schöne Sterne prangt?
 's isch jede Stern verglichlige ne Dorf,
 un wyter obe seig e schöni Stadt;
 me siht si nit vo do; un haltsch di guet,
 se chunnsch in so ne Stern, un 's isch der wohl,
 un findsch der Ätti dört, wenn's Gottswill isch,
 un 's Chünggi selig, d'Muetter. Öbbe fahrsch
 au d'Milchstrooß uf in die verborgni Stadt,
 un wenn de sytwärts abeluegsch, was sihsch?
e Röttler Schloß! Der Belche stoht verchohlt,
 der Blauen au, as wie zwee alti Türn,
 un zwischedrin isch alles uusebrennt
 bis tief in Boden abe. D'Wise het
 ke Wasser meh; 's isch alles öd un schwarz
 un totestill, so wyt me luegt. Das sihsch,
 un saisch dym Kamerad, wo mit der goht:
 „Lueg, dört isch *d'Erde* gsi, un selle Berg
 het Belche ghaiße! Nit gar wyt dervo
 isch Wislet gsi; dört han i au scho glebt
 un Stiere gwettet, Holz go Basel gführt
 un broochet. Matte graust un Liechtspöö gmacht
 un gvätterlet bis an my selig End;
 un möcht jetz nümme hi.“ — *Hüst, Laubi, Merz!*



DER MORGENSTERN

Woher so früeih, wo ane scho,
 Heer Morgestern, enandernoo
 in dyner glitzrige Himmelstracht,
 in dyner goldige Locke Pracht,
 mit dynen Auge, chloor un blau
 un suufer gwäschén im Morgetau?

И все тут!.. Посмотри: там светят звезды;
И что звезда, то ясное селенье;
Над ними ж, слышно, есть прекрасный город;
Он невидим... но будешь добр, и будешь
В одной из звезд, и будет мир с тобою;
А если Бог посудит, то найдешь
Там и своих: отца, и мать, и... деда.
А может быть, когда идти случится
По Млечному Пути в тот тайный город, –
Ты вспомнишь о земле, посмотришь вниз
И что ж внизу увидишь? *Замок Ретлер.*
Все в уголь сожжено; а наши горы,
Как башни старые, чернеют; вокруг
Зола; в реке воды нет, только дно
Осталось пустое – мертвый след
Давнишнего потока; и все тихо,
Как гроб. Тогда товарищу ты скажешь:
«Смотри: там в старину земля была;
Близ этих гор и я живал в ту пору,
И пас коров, и сеял, и пахал;
Там деда и отца отнес в могилу;
Был сам отцом, и радостного в жизни
Мне было много; и Господь мне дал
Кончину мирную... и здесь мне лучше».



УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА

Откуда, звездочка-краса?
Что рано так на небеса
В одежде праздничной твоей,
В огне блистающих кудрей,
В красе воздушно-голубой,
Умывшись утренней росой?

Hesch gmaint, de seigsch ellainig do?
Nai, weger nai, mer mäihe scho!
Mer mäihe scho ne halbi Stund;
früeih ufstoh isch de Glidere gsund,
es macht e frische, frohe Muet,
un d'Suppe schmeckt aim no so guet.

's gitt Lüt, si dose friili no,
si chönne schier nit uuse choo.
Der Mähder un der Morgestern
stöhn zytli uf un wache gern;
un was me früeih um vieri tuet,
das chunnt aim z'Nacht um nüüni guet.

Un d'Vögeli sinn au scho do,
si stimmen ihri Pfiifli scho,
un uf em Baum un hinterm Hag
sait ais im andere guete Tag!
Un 's Turteltüübli ruukt un lacht,
un 's Bettzytglöckli isch au verwächt.

„Se helf is Gott, un geb is Gott
e guete Tag, un bhüet is Gott!
Mer betten um e christli Herz,
es chunnt aim wohl in Freud un Schmerz;
wer christli lebt, het frohe Muet:
der lieb Gott stoht für alles guet.“

Waisch, Jobbeli, was der Morgestern
am Himmel suecht? Me sait's nit gern!
Er wandlet ime Sternli noo,
er cha schier gar nit von em loo;
doch maint sy Muetter, 's müeß nit sii,
un tuet en wie ne Hühnli ii.

Drum stoht er uf vor Tag un goht
sym Sternli noo im Morgerot;

Ты скажешь: встала раньше нас?
Ан нет! мы жнем уж целый час;
Не счесть накиданных снопов.
Кто встал до дня, тот днем здоров;
Бодрей глядит на божий свет;
Ему за труд вкусней обед.

Другой привык до полдня спать;
Зато и утра не видать.
А жнец с восточною звездой
Всегда встает перед зарей.
Работа рано поутру –
Досуг и песни ввечеру.

А птички? Все давно уж тут;
Играют, свищут и поют;
С куста на куст, из сени в сень;
Кричат друг дружке: «Добрый день».
И томно горлинки журчат;
Да чу! и к заутрене звонят.

Везде молитва началась:
«Небесный Царь, услыши нас;
Твое владычество приди;
Нас в искушенье не введи;
На путь спасения наставь
И от лукавого избавь».

Зачем же звездочка-краса
Всегда так рано в небеса?..
Звезда-подружка там горит.
Пока родное солнце спит,
Спешат увидеться оне
В уединенной вышине.

Тайком сквозь дремлющий рассвет
Она за милою вослед

er suecht, un 's wird em windeweh,
er möcht em gern e Schmützli gee;
er möcht em sagen: „I bi der hold!“
Es wär em über Geld un Gold.

Doch wenn er schier gar by n em wär,
verwacht sy Muetter handumchehr;
un wenn si rüeft enandernoo,
sen isch my Bürstli niene do.
Druf flicht sie ihre Chranz ins Hoor
un lueget hinter de Berge vor.

Un wenn der Stern sy Muetter siht,
se wird er todesbleich un flieht;
er rüeft sym Sternli: „Bhüet di Gott!“
Es isch, as wenn er sterbe wott.
Jetz, Morgestern, hesch hochi Zyt,
dy Mütterli isch nümme wyt.

Dört chunnt si scho, i ha's jo gsait,
in ihrer stille Heerlichkait!
Si zündet ihri Strahlen a,
der Chilchturn wärmt si au scho dra;
un wo si fallen in Berg un Tal,
se rüehrt si 's Leben überal.

Der Storch probiert sy Schnabel scho:
„De chasch's perfekt wie gester no!“
Un d'Chemi rauchen au alsgmach;
hörsch 's Mühlirad am Erlebach,
un wie im dunkle Buechewald
mit schwere Straiche d'Holzax fällt?

Was wandlet dort im Morgestrah
mit Tuech un Chorb dur 's Mattetal?
's sinn d'Maidli, jung un flink un froh,
si bringe weger d'Suppe scho;

Бежит, сияя, на восток;
И будит ранний ветерок;
И, тихо вея с высоты,
Он милой шепчет: «Где же ты?»

Но что ж? Увидеться ли?.. Нет.
Спешит за ними солнце вслед.
Уж вот оно: восток зажгло,
Свой алый завес подняло,
Надело знойный свой убор
И ярко смотрит из-за гор.

А звездочка?.. Уж не блеснит;
Печально-бледная, бежит;
Подружке шепчет: «Бог с тобой!»
И скрылась в бездне голубой.
И солнце на небе одно,
Великолепно и красно.

Идет по светлой высоте
В своей спокойной красоте;
Затеплился на церкви крест;
И тонкий пар встает окрест;
И взглянет лишь куда оно,
Там мигом все оживлено.

На кровле аист нос острит;
И в небе ласточка кружит,
И дым клубится из печей;
И будит мельницу ручей;
И тихо рдеет темный бор;
И звучно в нем стучит топор.

Но кто там в утренних лучах
Мелькнул и спрятался в кустах?
С ветвей посыпалась роса.
Не ты ли, девица-краса,

un 's Anne-Meili vornen a,
es lacht mi scho vo wytem a.

Wenn i der Sunn ihr Büepli wär,
un 's Anne-Meili chäm ungfähr
im Morgerot, ihm gieng i noo,
i müeßt vom Himmel abe choo!
Un wenn au d'Muetter balge wott,
i chönnt's nit loo, verzaih mer's Gott!



DER SOMMERABEND

O, lueg doch, wie isch d'Sunn so müed,
lueg, wie si d'Haimet abeziehet!
O lueg, wie Strahl um Strahl verglimmt,
un wie si 's Fazenetli nimmt,
e Wülkli, blau mit rot vermüschet,
un wie si an der Stirne wüschet!

's isch wohr, si her au übel Zyt,
im Summer gar: der Weg isch wyt,
un Arbet findt si überall,
in Huus un Feld, in Berg un Tal;
's will alles Liecht un Wärmli ha
un spricht si um e Segen a.

Mengg Blüemli het si uusstaffiert
un mit scharmante Farbe ziert
un menggem Imkli z'trinke gee

Душе сказалася моей
Веселой прелестью своей?

Будь я восточною звездой
И будь на тверди голубой,
Моя звезда-подружка, ты
И мне сияй из высоты –
О звездочка-душа моя,
Не испугался б солнца я.



ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Знать, солнышко утомлено:
За горы прячется оно;
Луч погашает за лучом
И, алым тонким облачком
Задержав лик усталый свой,
Уйти готово на покой.

Пора ему и отдохнуть;
Мы знаем, летний долог путь.
Везде ж работа: на горах,
В долинах, в рощах и лугах;
Того согрей; тем свету дай
И всех при том благословляй.

Буди заснувшие цветы
И им расписывай листы;
Потом медвяною росой

un gfroogt: Hesch gnueg, un witt no meh?
 Un 's Chäferli het hintenoo
 doch au sy Tröpfli überchoo.

Mengg Soomechöfli het si gsprengt
 u n 's zytig Söömli uuseglengt.
 Henn d'Vögel nit bis z'allerletscht
 e Bettles gha un d'Schnäbel gwetzt?
 Un kain goht hungerig ins Bett,
 wo nit sy Tail im Chröpfli het.

Un wo am Baum e Chriesi lacht,
 se het si 'm roti Bäckli gmacht;
 un wo im Feld en Ähri schwankt,
 un wo am Pfohl e Rebe rankt,
 se het si eben abeglengt
 un het's mit Laub un Bluest umhängt.

Un uf der Blaichi het si gschafft
 hütie un je uus aller Chraft.
 Der Blaicher het si selber gfreut,
 doch het er nit vergelt's Gott! gsait.
 Un het e Frau ne Wäschli gha,
 se het si trochnet druf un dra.

's isch weger wohr, un überal,
 wo d'Sägesen im ganze Tal
 dur Gras un Halme gangen isch,
 se het si gheuet froh un frisch.
 Es isch e Sach, by myner Treu,
 am Morge Gras un z'Obe Heu!

Drum isch si jetz so sölli müed
 un bruucht zuem Schloof kei Obelied;
 kai Wunder, wenn si schnuufft un schwitzt.
 Lueg, wie si dört ufs Bergli sitzt!
 Jetz lächlet si zuem letschtemool;
 jetz sait si: Schloofet alli wohl!

Пчелу-работницу напой
И чистых капель меж листов
Оставь про резвых мотыльков.

Зерну скорлупку расколи
И молодую из земли
Былинку выведи на свет;
Пичужкам приготовь обед;
Тех приюти между ветвей;
А тех на гнездышке согрей.

И вишням дай румяный цвет;
Не позабудь горячий свет
Рассыпать на зеленый сад,
И золотистый виноград
От зноя листьями прикрыть,
И колос зрелостью налить.

А если жар для стад жесток,
Смани их к роще в холодок;
И тучку темную скопи,
И травку влагой окропи,
И яркой радугой с небес
Сойди на темный луг и лес.

А где под острою косою
Трава ложится полосой,
Туда безоблачно сияй
И сено в копны собирай,
Чтоб к ночи луг от них пестрел
И с ними ряд возов скрипел.

Итак, совсем немудрено,
Что разгорелось оно,
Что отдыхает на горах
В полупотухнувших лучах
И нам, сходя за небосклон,
В прохладе шепчет: «Добрый сон».

Un dunten isch si! Bhüet di Gott!
Der Guhl, wo uf em Chilchtum stoht,
het no nit gnueg, er bschaut si no.
Du Wunderfitz, was gaffsch denn so?
Was gilt's, si tuet der ball derfür
un zieht e roten Umhang für.

Si duuret ain, die gueti Frau,
si het ihr redli Huuschrütz au.
Si lebt gwiß mit em Maa nit guet,
un chunnt si haim, nimmt er sy Huet.
Un was i sag: jetz chunnt er bald;
dort sitzt er scho im Fohrewald.

Er macht so lang, was triibt er echt?
Me maint schier gar, er trau nit recht.
Chumm numme, si isch nümme do;
's wird alles sii, se schlooft si scho.
Jetz stoht er uf, er luegt ins Tal,
un 's Möhnli grüeßt en überal.

Denkwohl, mer göhn jetz au ins Bett;
un wer kai Dorn im Gwisse het,
der bruucht zuem Schloofen au kai Lied;
me wird vom Schaffe selber müed;
un öbbe hemmer Schöchli gmacht!
Drum geb is Gott e gueti Nacht!



И вот сошло, и свет потух;
Один на башне лишь петух
За ним глядит, сияя, вслед...
Гляди, гляди! В том пользы нет!
Сейчас оно перед тобой
Задернет алый завес свой.

Есть и про солнышко беда:
Нет ладу с сыном никогда.
Оно лишь только в глубину,
А он как раз на вышину;
Того и жди, что заблестит;
Давно за горкой он сидит.

Но что ж так медлит он вставать?
Все хочет солнце переждать.
Вставай, вставай, уже давно
Заснуло в сумерках оно.
И вот он всходит, в дол глядит
И бледно зелень серебрит.

И ночь уж на небо взошла
И тихо на небе зажгла
Гостеприимные огни;
И все замолкнуло в тени;
И по долинам, по горам
Все спит... Пора ко сну и нам.



SONNTAGSFRÜHE

Der Samstag het zuem Sunntig gsait:
 „Jetzt han i alli schloofe glait;
 si sinn vom Schaffe her un hi
 gar sölli müed un schlööfrig gsi;
 un 's goht mer schier gar selber so,
 i cha fast uf ke Bai meh stoh.“

So sait er, un wo 's zwölfi schlacht,
 se sinkt er aben in d'Mitternacht.
 Der Sunntig sait: „Jetzt isch 's an mir!“
 Gar still un haimli bschließt er d'Tür.
 Er düuselet hinter de Sterne noo
 un cha schier gar nit obsi choo.

Doch endli riibt er d'Augen uus;
 er chunnt der Sunn an Tür un Huus.
 Si schlooft im stille Chämmerli;
 er pöpperlet am Lädemli,
 er rüeft der sunne: „D'Zyt isch do!“
 Si sait: „I chumm enandernoo.“ —

Un liisli uf de Zeeche goht
 un haiter uf de Berge stoht
 der Sunntig, un 's schlooft alles no;
 es siht un hört en niemes goh;
 er chunnt ins Dorf mit stillem Tritt
 un winkt im Guhl: „Verroot mi nit!“

Un wemmen endli au verwacht
 un gschloofe het die ganzi Nacht,
 se stoht er do im Sunneschii
 un luegt aim zue de Fenstren ii
 mit synen Auge mild un guet
 un mit em Maien uf em Huet.

Drum maint er's treu, un was i sag,
 es freut en, wemme schloofe mag
 un maint, es seig no dunkel Nacht,

ВОСКРЕСНОЕ УТРО В ДЕРЕВНЕ

Слушай, дружок! (говорит Воскресенью Суббота) деревня
Вся уж заснула давно; в окрестности все уж покойно;
Время и мне на покой: меня одолела дремота;
Полночь близко!.. И только успела Суббота промолвить:
«Полночь!», а полночь уж тут и ее принимает безмолвно
В тихое лоно. «Моя черед!» – говорит Воскресенье:
Легкой рукою, тихонько двери свои отворило,
Вышло и смотрит на звезды: звезды ярко сияют;
На небе тёмно и чисто; у солнышка завес задернут.
Долго еще до рассвета; все спит; иногда повеваает
Свежий ночной ветерок, сквозь сон встрепенувшись,
как будто
Утра далекий приход боясь пропустить. Невидимкой
Ходит, как дух бестелесный, неслышной стопой Воскресенье.
В рощу заглянет – там тихо; листья молчат; сквозь вершины
Темных дерев, как бесчисленны очи, звездочки смотрят;
Кое-где яркий светляк на листочке горит, как лампада
В келье отшельника. По лугу тихо пройдет – там незримый
Шепчет ручей, пробираясь по камням; кругом
вся окрестность,
Холмы, деревья в неверные тени слилися и молча
Слушают шепот. Зайдет на кладбище – могилы в глубоком
Сне, и под легким их дерном как будто что дышит
свободным,

wenn d'Sunn am haitere Himmel lacht.
 Drum isch er au so liisli choo,
 drum stoht er au so liebli do.

Wie glitzeret uf Gras un Laub
 vom Morgetau der Silberstaub!
 Wie wäiht e frische Maieluft,
 voll Chriesibluest un Schleecheduft!
 Un d'Immli sammle flink un frisch;
 si wüsse nit, aß 's Sunntig isch.

Wie pranget nit im Garteland
 der Chriesibaum im Maiegwand,
 Gelveieli un Tulipa
 un Sterneblueme nebedra
 un gfüllti Zinkli, blau un wyß:
 me maint, me lueg ins Paredies!

Un 's isch so still un haimli do,
 men isch so rüeihig un so froh!
 Me hört im Dorf kai „Hüst“ un „Hott“;
 e „Guete Tag“ und „Dank der Gott“
 un „'s gitt gottlob e schöne Tag“
 isch alles, was me höre mag.

Un 's Vögeli sait: „Friili jo!
 Potz tausig, jo, do isch er scho!
 Er dringt jo in sym Himmelsglast
 dur Bluest un Laub in Hurst un Nast!“
 Un 's Distelzwiigli vorne dra
 het 's Sunntigröckli au scho a.

Si lüte weger 's Zaiche scho;
 der Pfarer, schiint's, well zytii choo.
 Gang, brech mer ais Aurikli ab,
 verwüschet mer der Staub nit drab;
 un Chüinggeli, leg di waidli a,
 de muesch dernoo ne Maie ha!



Свежим дыханьем. В село завернет – и там все покойно,
Пусто на улице; спят петухи, и сельская церковь
С темной своей колокольней, внутри озаренная слабым
Блеском свечи пред иконой, стоит, как будто безмолвный
Сторож деревни. – Спокойно на паперти сев, Воскресенье
Ждет посреди глубокой тьмы и молчанья, чтоб утро
На небе тронулось... Тронулось утро; во тьму и молчанье
Что-то живое проникло; стало свежее, и звезды
Начали тускнуть... петух закричал. Воскресенье тихонько
Подняло занавес спящего солнца, тихонько шепнуло:
«Солнышко, встань!»... И разом подернулся бледной струею
Темный восток; началось там движенье, и следом за яркой
Утренней звездочкой рой облаков прилетел и усыпал
Небо, и луч за лучом полились, облака зажигая...
Вдруг между ними, как радостный ангел, солнце явилось.
Вся деревня проснулась и видит: стоит Воскресенье
В свежем венке из цветов и, сияя на солнце,
«Доброе утро!» всем говорит. И торжественно-тихий
Праздник приходит на смену заботливо-трудной недели;
Благовест звонкий в церковь зовет – и в одежде воскресной
Старый и малый идут на молитву... в деревне молчанье;
В церкви дымятся кадила, и тихое слышится пенье.



KANNITVERSTAN

Der Mensch hat wohl täglich Gelegenheit, in Emmendingen und Gundelfingen so gut als in Amsterdam, Betrachtungen über den Unbestand aller irdischen Dinge anzustellen, wenn er will, und zufrieden zu werden mit seinem Schicksal, wenn auch nicht viel gebratene Tauben für ihn in der Luft herumfliegen. Aber auf dem seltsamsten Umweg kam ein deutscher Handwerksbursche in Amsterdam durch den Irrtum zur Wahrheit und zu ihrer Erkenntnis. Denn als er in diese große und reiche Handelsstadt voll prächtiger Häuser, wogender Schiffe und geschäftiger Menschen gekommen war, fiel ihm sogleich ein großes und schönes Haus in die Augen, wie er auf seiner ganzen Wanderschaft von Tuttlingen bis nach Amsterdam noch keines erlebt hatte. Lange betrachtete er mit Verwunderung dies kostbare Gebäude, die sechs Kamine auf dem Dach, die schönen Gesimse und die hohen Fenster, größer als an des Vaters Haus daheim die Tür. Endlich konnte er sich nicht entbrechen, einen Vorübergehenden anzureden. „Guter Freund“, redete er ihn an, „könnt Ihr mir nicht sagen, wie der Herr heißt, dem dieses wunderschöne Haus gehört mit den Fenstern voll Tulipanen, Stern Blumen und Levkojen?“ Der Mann aber, der vermutlich etwas Wichtigeres zu tun hatte und zum Unglück geradesoviel von der deutschen Sprache verstand als der Fragende von der holländischen, nämlich nichts, sagte kurz und schnauzig: „Kannitverstan!“ und schnurrte vorüber. Dies war nur ein holländisches Wort, oder drei, wenn man's recht betrachtet, und heißt auf deutsch soviel als: Ich kann Euch nicht verstehn. Aber der gute Fremdling glaubte, es sei der Name des Mannes, nach dem er gefragt hatte. Das muß ein grundreicher Mann sein, der Herr Kannitverstan, dachte er und ging weiter. Gaß aus, Gaß ein kam er endlich an den Meerbusen, der da heißt: Het Ei, oder auf deutsch: das Ypsilon. Da stand nun Schiff an Schiff und Mastbaum an Mastbaum, und er wußte anfänglich nicht, wie er es mit seinen zwei einzigen Augen durchfechten werde, alle diese Merkwürdigkeiten genug zu sehen und zu betrachten, bis endlich ein großes Schiff seine Aufmerksamkeit

ИЗ «ДВЕ БЫЛИ И ЕЩЕ ОДНА»

Часто

Мы на свою негодуем судьбу; а если рассудишь,
Как все на свете неверно, то сердцем смиришься

и станешь

Бога за участь свою прославлять. Иному труднее
Опыт такой достается, иному легче. И вот как
Раз до премудрости этой, не умствуя много, а просто
Случаем странным, одною забавной ошибкой добрался
Бедный немецкий ремесленник. Был по какому-то делу
Он в Амстердаме, голландском городе; город богатый,
Пышный, зданья огромные, тьма кораблей, загляделся
Бедный мой немец, глаза разбежались, вдруг он увидел
Дом, какого не снилось ему и во сне: до десятка
Труб, три жилья, зеркальные окна, ворота
С добрый сарай – удивленье! С смиренным поклоном

спросил он

Первого встречного: «Чей это дом, в котором так много
В окнах тюльпанов, нарциссов и роз?» Но, видно,

прохожий

Или был занят, или столько же знал по-немецки,
Сколько тот по-голландски, то есть не знал ни полслова;
Как бы то ни было, *Каннитферштан!* отвечал он. А это
Каннитферштан есть голландское слово иль, лучше,

четыре

Слова, и значит оно: *не могу вас понять*. Простодушный
Немец, напротив, вздумал, что так назывался владелец
Дома, о коем он спрашивал. «Видно, богат не на шутку
Этот *Каннитферштан*», – сказал про себя он, любуясь
Домом. Потом отправился дале. Приходит на пристань –
Новое диво: там кораблей числа нет; их мачты
Словно как лес. Закружилась его голова, и сначала
Он не видал ничего, так много он разом увидел.
Но наконец на огромный корабль обратил он вниманье.
Этот корабль недавно пришел из Ост-Индии; много
Вкруг суетилось людей: его выгружали. Как горы,

an sich zog, das vor kurzem aus Ostindien angelangt war und jetzt eben ausgeladen wurde. Schon standen ganze Reihen von Kisten und Ballen auf- und nebeneinander am Lande. Noch immer wurden mehrere herausgewälzt, und Fässer voll Zucker und Kaffee, voll Reis und Pfeffer und salveni Maudreck darunter. Als er aber lange zugesehen hatte, fragte er endlich einen, der eben eine Kiste auf der Achsel heraustrug, wie der glückliche Mann heiße, dem das Meer alle diese Waren an das Land bringe. „Kannitverstan!“ war die Antwort. Da dachte er: Haha, schaut’s da heraus? Kein Wunder! Wem das Meer solche Reichtümer an das Land schwemmt, der hat gut solche Häuser in die Welt stellen und solcherlei Tulipanen vor die Fenster in vergoldeten Scherben. Jetzt ging er wieder zurück und stellte eine recht traurige Betrachtung bei sich selbst an, was er für ein armer Teufel sei unter so viel reichen Leuten in der Welt. Aber als er eben dachte: Wenn ich’s doch nur auch einmal so gut bekäme, wie dieser Herr Kannitverstan es hat!, kam er um eine Ecke und erblickte einen großen Leichenzug. Vier schwarz verummte Pferde zogen einen ebenfalls schwarz überzogenen Leichenwagen langsam und traurig, als ob sie wüßten, daß sie einen Toten in seine Ruhe führten. Ein langer Zug von Freunden und Bekannten des Verstorbenen folgte nach, Paar und Paar, verhüllt in schwarze Mäntel und stumm. In der Ferne läutete ein einsames Glöcklein. Jetzt ergriff unsern Fremdling ein wehmütiges Gefühl, das an keinem guten Menschen vorübergeht, wenn er eine Leiche sieht, und blieb mit dem Hut in den Händen andächtig stehen, bis alles vorüber war. Doch machte er sich an den letzten vom Zug, der eben in der Stille ausrechnete, was er an seiner Baumwolle gewinnen könnte, wenn der Zentner um zehn Gulden aufschlüge, ergriff ihn sachte am Mantel und bat ihn treuherzig um Exküse. „Das muß wohl auch ein guter Freund von Euch gewesen sein“, sagte er, „dem das Glöcklein läutet, daß Ihr so betrübt und nachdenklich mitgeht?“ — „Kannitverstan!“ war die Antwort. Da fielen unserm guten Tuttlinger ein paar große Tränen aus den Augen, und es ward ihm auf einmal schwer und wieder leicht ums Herz. „Armer

Были навалены тюки товаров: множество бочек
 С сахаром, кофе, перцем, пшеном сарацинским. Разинув
 Рот, с удивленьем глядел на товары наш немец; и сведать
 Крепко ему захотелось, чьи были они. У матроса,
 Несшего тюк огромный, спросил он: «Как назывался
 Тот господин, которому море столько сокровищ
 Разом прислало?» Нахмурясь, матрос проворчал

мимоходом:

Каннитферштан. «Опять! смотри пожалуй! Какой же
 Этот *Каннитферштан* молодец! Мудрено ли построить
 Дом с богатством таким и расставить в горшках

золоченых

Столько тюльпанов, нарциссов и роз по окошкам?»

Пошел он

Медленным шагом назад и задумался; горе
 Взяло его, когда он размыслил, сколько богатых
 В свете и как он беден. Но только что начал с собою
 Он рассуждать, какое было бы счастье, когда б он
 Сам был *Каннитферштан*, как вдруг перед ним –

погребень.

Видит: четыре лошади в черных длинных пополах
 Гроб на дрогах везут и тихо ступают, как будто
 Зная, что мертвого с гробом в могилу навеки отвозят;
 Вслед за гробом родные, друзья и знакомые молча
 В трауре идут; вдали одиноко звонит погребальный
 Колокол. Грустно стало ему, как всякой смиренно
 Доброй душе, при виде мертвого тела; и, снявши
 Набожно шляпу, молитву творя, проводил он глазами
 Ход погребальный; потом подошел к одному из последних
 Шедших за гробом, который в эту минуту был занят
 Важным делом: рассчитывал, сколько прибыли чистой
 Будет ему от продажи корицы и перцу; тихонько
 Дернув его за кафтан, он спросил: «Конечно, покойник
 Был вам добрый приятель, что так вы задумались?»

Кто он?»

Каннитферштан! был короткий ответ. Покатились слезы
 Градом из глаз у честного немца; сделалось тяжело

Kannitverstan“, rief er aus, „was hast du nun von allem deinem Reichtum? Was ich einst von meiner Armut auch bekomme: ein Totenkleid und ein Leintuch, und von allen deinen schönen Blumen vielleicht einen Rosmarin auf die kalte Brust oder eine Raute.“ Mit diesem Gedanken begleitete er die Leiche, als wenn er dazugehörte, bis ans Grab, sah den vermeinten Herrn Kannitverstan hinabsenken in seine Ruhestätte und ward von der holländischen Leichenpredigt, von der er kein Wort verstand, mehr gerührt als von mancher deutschen, auf die er nicht achtgab. Endlich ging er leichten Herzens mit den andern wieder fort, verzehrte in einer Herberge, wo man Deutsch verstand, mit gutem Appetit ein Stück Limburger Käse, und wenn es ihm wieder einmal schwerfallen wollte, daß so viele Leute in der Welt so reich seien und er so arm, so dachte er nur an den Herrn Kannitverstan in Amsterdam, an sein großes Haus, an sein reiches Schiff und an sein enges Grab.



UNVERHOFFTES WIEDERSEHEN

In Falun in Schweden küßte vor guten fünfzig Jahren und mehr ein junger Bergmann seine junge, hübsche Braut und sagte zu ihr: „Auf Sankt Luciä wird unsere Liebe von des Priesters Hand gesegnet. Dann sind wir Mann und Weib und bauen uns ein eigenes Nestlein.“ — „Und Friede und Liebe soll darin wohnen“, sagte die schöne Braut mit holdem Lächeln, „denn du bist mein einziges und alles, und ohne dich möchte ich lieber im Grab sein als an einem andern Ort.“ Als sie aber vor Sankt Luciä der Pfarrer zum zweiten Male in der Kirche ausgerufen hatte: „So nun jemand Hindernis wüßte anzuzeigen, warum diese Personen nicht möchten ehelich zusammenkommen“, da meldete sich der Tod. Denn als der Jüngling den andern Morgen in seiner schwarzen Bergmannskleidung an

Сердцу его, а потом и легко; и, вздохнувши, сказал он: «Бедный, бедный *Каннитферштан!* от такого богатства Что осталось тебе? Не то же ль, что рано иль поздно Мне от моей останется бедности? Саван и тесный Гроб». И в мыслях таких побрел он за телом, как будто Сам был роднею покойнику; в церковь вошел за другими; Там голландскую проповедь, в коей не понял ни слова, Выслушал с чувством глубоким; потом, когда опустили *Каннитферштана* в землю, заплакал; потом с облегченным Сердцем пошел своею дорогой. И с тех пор, как скоро Грусть посещала его и ему становилось досадно Видеть счастье богатых людей, он всегда утешался, Вспомнив о *Каннитферштане*, его несметном богатстве, Пышном доме, большом корабле и тесной могиле».



НЕОЖИДАННОЕ СВИДАНИЕ

Быль

Лет за семьдесят, в Швеции, в городе горном Фаллуне, Утром одним молодой рудокоп на свиданье с своею Скромной, милой невестою так ей сказал: «Через месяц (Месяц не долгов) мы будем муж и жена; и над нами Благословение Божие будет». – «И в нашей убогой Хижине радость и мир поселятся», – сказала невеста. Но когда возгласил во второй раз священник в приходской Церкви: «*Кто законное браку препятствие знает, Пусть объявит об нем*», тогда с запрещеньем явилась Смерть. Накануне брачного дня, идя в рудокопню В черном платье своем (рудокоп никогда не снимает Черного платья), жених постучался в окошко невесты, С радостным чувством сказал он ей: *доброе утро!* – но *добрый*

ihrem Haus vorbeiging — der Bergmann hat sein Totenkleid immer an —, da klopfte er zwar noch einmal an ihrem Fenster und sagte ihr guten Morgen, aber keinen guten Abend mehr. Er kam nimmer aus dem Bergwerk zurück, und sie säumte vergeblich selbigen Morgen ein schwarzes Halstuch mit rotem Rand für ihn zum Hochzeitstag, sondern als er nimmer kam, legte sie es weg und weinte um ihn und vergaß ihn nie. Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben zerstört, und der Siebenjährige Krieg ging vorüber, und Kaiser Franz der Erste starb, und der Jesuitenorden wurde aufgehoben und Polen geteilt, und die Kaiserin Maria Theresia starb, und der Struensee wurde hingerichtet, Amerika wurde frei, und die vereinigte französische und spanische Macht konnte Gibraltar nicht erobern. Die Türken schlossen den General Stein in der Veteraner Höhle in Ungarn ein, und der Kaiser Joseph starb auch. Der König Gustav von Schweden eroberte Russisch-Finnland, und die Französische Revolution und der lange Krieg fing an, und der Kaiser Leopold der Zweite ging auch ins Grab. Napoleon eroberte Preußen, und die Engländer bombardierten Kopenhagen, und die Ackerleute säeten und schnitten. Der Müller mahlte, und die Schmiede hämmerten, und die Bergleute gruben nach den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt. Als aber die Bergleute in Falun im Jahr 1809 etwas vor oder nach Johannis zwischen zwei Schachten eine Öffnung durchgraben wollten, gute dreihundert Ellen tief unter dem Boden, gruben sie aus dem Schutt und Vitriolwasser den Leichnam eines Jünglings heraus, der ganz mit Eisenvitriol durchdrungen, sonst aber unverwest und unverändert war, also daß man seine Gesichtszüge und sein Alter noch völlig erkennen konnte, als wenn er erst vor einer Stunde gestorben oder ein wenig eingeschlafen wäre an der Arbeit. Als man ihn aber zu Tag ausgefördert hatte, Vater und Mutter, Gefreundte und Bekannte waren schon lange tot, kein Mensch wollte den schlafenden Jüngling kennen oder etwas von seinem Unglück wissen, bis die ehemalige Verlobte des Bergmanns kam, der eines Tages auf die Schicht gegangen war und nimmer zurückkehrte. Grau und zusammengeschrumpft kam sie an einer Krücke an den Platz

Вечер! он уж ей не сказал, и назад не пришел он
К ней ни в тот день, ни на другой, ни на третий, ни после...
Рано поутру оделась она в венчальное платье,
Долго ждала своего жениха, и когда не пришел он,
Платье венчальное снявши, она заплакала горько,
Плакала долго об нем и его никогда не забыла.
Вот в Португалии весь Лиссабон уничтожен был страшным
Землетрясением; война Семилетняя кончилась; умер
Франц-император; был иезуитский орден разрушен;
Польша исчезла, скончалась Мария-Терезия; умер
Фридрих Великий; Америка стала свободна; в могилу
Лег император Иосиф Второй; революции пламя
Вспыхнуло; добрый король Людовик, возведенный на плаху,
Умер святым; на русском престоле не стало великой
Екатерины; и много тронов упало; и новый
Сильный воздвигся, и все перевысил, и рухнул;
И на далекой скале океана изгнанником умер
Наполеон. А поля, как всегда, покрывались жатвой,
Пашни сочной травой, холмы золотым виноградом;
Пахарь сеял и жал, и мельник молот, и глубоко
В недра земли проникал с фонарем рудокоп, открывая
Жилы металлов. И вот случилось, что близко Фаллуна,
Новый ход проложив, рудокопы в давнишнем обвале
Вырыли труп неизвестного юноши: был он не тронут
Гленьем, был свеж и румян; казалось, что умер
С час, не боле, иль только прилег отдохнуть и забылся
Сном. Когда же на свет он из темной земныя утробы
Вынесен был, – отец, и мать, и друзья, и родные
Мертвы уж были давно; не нашлось никого, кто б о спящем
Юноше знал, кто б помнил, когда с ним случилось несчастье.
Мертвый товарищ умершего племени, чуждый живому,
Он сиротою лежал на земле, посреди равнодушных

und erkannte ihren Bräutigam; und mehr mit freudigem Entzücken als mit Schmerz sank sie auf die geliebte Leiche nieder, und erst als sie sich von einer langen heftigen Bewegung des Gemüts erholt hatte, „es ist mein Verlobter“, sagte sie endlich, „um den ich fünfzig Jahre lang getrauert hatte und den mich Gott noch einmal sehen läßt vor meinem Ende. Acht Tage vor der Hochzeit ist er auf die Grube gegangen und nimmer gekommen.“ Da wurden die Gemüter aller Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als sie sahen die ehemalige Braut jetzt in der Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters und den Bräutigam noch in seiner jugendlichen Schöne und wie in ihrer Brust nach fünfzig Jahren die Flamme der jugendlichen Liebe noch einmal erwachte; aber er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln oder die Augen zum Wiedererkennen; und wie sie ihn endlich von den Bergleuten in ihr Stübchen tragen ließ, als die einzige, die ihm angehöre und ein Recht an ihn habe, bis sein Grab gerüstet sei auf dem Kirchhof. Den andern Tag, als das Grab gerüstet war auf dem Kirchhof und ihn die Bergleute holten, schloß sie ein Kästlein auf, legte ihm das schwarzseidene Halstuch mit roten Streifen um und begleitete ihn in ihrem Sonntagsgewand, als wenn es ihr Hochzeittag und nicht der Tag seiner Beerdigung wäre. Denn als man ihn auf dem Kirchhof ins Grab legte, sagte sie: „Schlafe nun wohl, noch einen Tag oder zehn im kühlen Hochzeitbett, und laß dir die Zeit nicht lang werden. Ich habe nur noch wenig zu tun und komme bald, und bald wird's wieder Tag. Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten Male auch nicht behalten“, sagte sie, als sie fortging und noch einmal umschaute.



Зрителей, всем незнакомый, дотоле, пока не явилась
Тут невеста того рудокопа, который однажды
Утром, за день до свадьбы своей, пошел на работу
В рудник и боле назад не пришел. Подпираясь клюкою,
Трепетным шагом туда прибрела седая старушка;
Смотрит на тело и вмиг узнает жениха. И с живою
Радостью боле, чем с грустью, она предстоявшим сказала:
«Это мой бывший жених, о котором так долго, так долго
Плакала я и с которым Господь еще перед смертью
Дал мне увидеться. За день до свадьбы пошел он работать
В землю, но там и остался». У всех разогрелось сердце
Нежным чувством при виде бывшей невесты, увядшей,
Дряхлой, над бывшим ее женихом, сохранившим всю прелесть
Младости свежей. Но он не проснулся на голос знакомый;
Он не открыл ни очей для узнанья, ни уст для привета.
В день же, когда на кладбище его понесли, с умилением
Друга давнишняя младости в землю она проводила;
Тихо смотрела, как гроб засыпали; когда же исчез он,
Свежей могиле она поклонилась, пошла и сказала:
«Что однажды земля отдала, то отдаст и в другой раз!»



Friedrich von Matthisson

ELYSIUM

Hain! der von der Götter Frieden,
Wie vom Tau die Rose, träuft,
Wo die Frucht der Hesperiden
Zwischen Silberblüten reift;
Den ein rosenfarbner Äther
Ewig unbewölkt umfließt,
Der den Klage-ton verschmähter
Zärtlichkeit verstummen heißt:

Freudig schauernd, in der Fülle
Hoher Götterseligkeit,
Grüßt, entflohn der Erdenhülle,
Psyche deine Dunkelheit.
Wonne! wo kein Nebelschleier
Ihres Urstoffs Reine trübt,
Wo sie geistiger und freier
Den entbundnen Fittig übt.

Ha! schon eilt auf Rosenwegen,
In verklärter Lichtgestalt,
Sie dem Schattental entgegen,
Wo die heilige Lethe wallt;
Fühlt sich magisch hingezogen,
Wie von leiser Geisterhand,
Schaut entzückt die Silberwogen
Und des Ufers Blumenrand;

Фридрих фон Маттисон

ЭЛИЗИУМ

Песня

Роща, где, податель мира,
Добрый Гений смерти спит,
Где румяный блеск эфира
С тенью зыбких сеней слит,
Где источника журчанье,
Как далекий отзвев лир,
Где печаль, забыв роптанье,
Обретает сладкий мир:

С тайным трепетом, смятенна,
В упоении богов,
Для бессмертья возрожденна,
Сбросив пепельный покров,
Входит в сумрак твой Психея;
Неприкованна к земле,
Юной жизнью пламенея,
Развила она криле.

Полетела в тихом свете,
С обновленною красой,
В дол туманный, к тайной Лете;
Мнилось, легкою рукой
Гений влек ее незримый;
Видит мирные луга;
Видит Летою кропимы
Очарованны брега.

Kniet voll süßer Ahnung nieder,
Schöpfet, und ihr zitternd Bild
Leuchtet aus dem Strome wieder,
Der der Menschheit Jammer stillt,
Wie auf sanfter Meeresfläche
Die entwölkte Luna schwimmt,
Oder im Kristall der Bäche
Hespers goldne Fackel glimmt.

Psyche trinkt, und nicht vergebens!
Plötzlich in der Fluten Grab
Sinkt das Nachtstück ihres Lebens
Wie ein Traumgesicht hinab.
Glänzender auf kühnern Flügeln,
Schwebt sie aus des Tales Nacht
Zu den goldbeblühten Hügeln,
Wo ein ewger Frühling lacht.

Welch ein feierliches Schweigen!
Leise, kaum wie Zephirs Hauch,
Säuselt's in den Lorbeerzweigen,
Bebt's im Amarantenstrauch!
So in heilger Stille ruhten
Luft und Wogen, so nur schwieg
Die Natur als aus den Fluten
Anadiomene stieg.

Welch ein ungewohnter Schimmer!
Erde! dieses Zauberlicht
Flammte selbst im Lenze nimmer
Von Aurorens Angesicht!
Sieh! des glatten Epheus Ranken
Tauchen sich in Purpurglanz!
Blumen, die den Quell umwanken,
Funkeln wie ein Sternenkrantz!

В ней надежда, ожиданье;
 Наклонилась к водам,
Усмиряющим страданье...
 Лик простерся по струям;
Так безоблачен играет
 В море месяц молодой;
Так в источнике сверкает
 Факел Геспера златой.

Лишь фиал воды забвенья
 Поднесла к устам она –
Дней минувших привиденья
 Скрылись легкой тенью сна.
Заблестала, полетела
 К очарованным холмам,
Где журчат, как филомела,
 Светлы воды по цветам.

Все в торжественном молчанье
 Притаились ветерки;
Лавров стихло трепетанье;
 Спят на розах мотыльки.
Так молчало все творенье –
 Море, воздух, берег дик, –
Зря пенистых вод рожденье,
 Анадиомены лик.

Всюду яркий блеск Авроры,
 Никогда такой красой
Не сияли рощи, горы,
 Обновленные весной;
Мирты с зыбкими листьями
 Тонут в пурпурных лучах;
Розы светлыми звездами
 Отразились в водах.

So begann's im Hain zu tagen,
Als die keusche Cynthia,
Hoch vom stolzen Drachenwagen
Den geliebten Schläfer sah,
Als die Fluren sich verschönten,
Und, mit holdem Zauberton,
Göttermelodien tönent:
Seliger Endymion!



Так волшебный луч Селены
 В лес Карийский проникал,
Где, ловитвой утомленный,
 Сладко друг Дианы спал;
Как струи ленивой ропот,
 Как воздушной арфы звон,
Разливался в лесе шепот:
 Пробудись, Эндимион!



Friedrich de la Motte Fouqué

UNDINE

Eine Erzählung

Zueignung zur zweiten Auflage 1814

Undine, liebes Bildchen du,
Seit ich zuerst aus alten Kunden
Dein seltsam Leuchten aufgefunden,
Wie sangst du oft mein Herz in Ruh!

Wie schmiegtest du dich an mich lind,
Und wolltest alle deine Klagen
Ganz sacht nur in das Ohr mir sagen,
Ein halb verwöhnt, halb scheues Kind.

Doch meine Zither tönte nach
Aus ihrer goldbezognen Pforte
Jedwedes deiner leisen Worte,
Bis fern man davon hört und sprach.

Und manch ein Herz gewann dich lieb,
Trotz deinem launisch dunklen Wesen,
Und viele mochten gerne lesen
Ein Büchlein, das von dir ich schrieb.

Heut wollen sie nun allzumal
Die Kunde wiederum vernehmen.
Darfst dich, Undinchen, gar nicht schämen;
Nein, tritt vertraulich in den Saal.

Фридрих де ла Мотт Фуке

УНДИНА

Старинная повесть

Бывали дни восторженных видений;
Моя душа поэзией цвела;
Ко мне летал с вестями чудный Гений;
Природа вся мне песнию была.

Оно прошло, то время золотое;
С природы снят магический венец;
Свет узанный свое лицо земное
Разоблачил, и призракам конц.

Но о Мечте, как о весенней птичке,
Певавшей мне, с усладой помню я;
И Прелести явленьем по привычке
Любуется, как встарь, душа моя.

Здесь есть *одна* – жива как вдохновенье,
Как ясная надежда молода, –
На душу мне ее одно явленье
Поэзию наводит завсегда...

Перед пустой когда-то колыбелью
Задумчиво-безмолвен я стоял.
«Кто обречен святому новоселью
Тобой в жильцы?» – судьбу я вопрошал.

И с первою блеснувшей мне денницей
Уж милый гость в той колыбели был;
Он в ней лежал под царской багряницей,
Прекрасен, тих, как божий ангел мил.

Grüß sittig jeden edlen Herrn,
Doch grüß vor allen mit Vertrauen
Die lieben, schönen deutschen Frauen;
Ich weiß, die haben dich recht gern.

Und fragt dann eine wohl nach mir,
So sprich: „Er ist ein treuer Ritter,
Und dient den Fraun mit Schwert und Zither
Bei Tanz und Mahl, Fest und Turnier.“



ERSTES KAPITEL

Wie der Ritter zu dem Fischer kam

Es mögen nun wohl schon viele hundert Jahre her sein, da gab es einmal einen alten guten Fischer, der saß eines schönen Abends vor der Tür und flickte seine Netze. Er wohnte aber in einer überaus anmutigen Gegend. Der grüne Boden, worauf seine Hütte gebaut war, streckte sich weit in einen großen Landsee hinaus, und es schien ebensowohl, die Erdzunge habe sich aus Liebe zu der bläulich klaren, wunderhellen Flut in diese hineingedrängt, als auch, das Wasser habe mit verliebten Armen nach der schönen Aue gegriffen, nach ihren hochschwankenden Gräsern und Blumen und nach dem erquicklichen Schatten ihrer Bäume. Eins ging bei dem andern zu Gaste, und eben deshalb war jegliches so schön. Von Menschen freilich war an dieser hübschen Stelle wenig oder gar nichts anzutreffen, den Fischer und seine Hausleute ausgenommen. Denn hinter der Erdzunge lag ein sehr wilder Wald, den die mehrsten Leute wegen seiner Finsternis und Unwegsamkeit wie auch wegen der wundersamen Kreaturen und Gaukeleien, die man darin antreffen sollte, allzusehr scheueten, um sich ohne Not hineinzugeben. Der alte fromme Fischer jedoch durchschritt ihn ohne Anfechtung zu vielen Malen, wenn er die köstlichen Fische, die er auf seiner schönen Landzunge fing, nach einer großen Stadt trug, welche

Года прошли – и мой расцвел младенец,
Прекрасен, тих, как божий ангел мил;
И мнится мне, что неба уроженец
Утехой в нем на землю прислан был.

Его-то я порою здесь встречаю,
Как чистую Поэзию мою;
Им иногда я душу воскрешаю;
При нем подчас, забывшись, и пою.



ГЛАВА I

О том, как рыцарь приехал в хижину рыбака

Лет за пятьсот и поболее случилось, что в ясный весенний Вечер сидел перед дверью избушки своей престарелый Честный рыбак и починивал сеть. Сторона та, в которой Жил он, была прекрасное место. Луг, где стояла Хижина, длинной косою входил в широкое лоно Моря: можно было подумать, что берег душистый В светло-лазурные, чудно-прозрачные воды с любовью Нежной теснился, что море, влажной трепещущей грудью Нежно прижавшись к нему и его обнимая, пленялось Свежестью шелковой зелени, блеском цветов и прохладой Темных сеней древесных. Правда, в краю том немного Было людей: рыбак с женою, и только; дремучий Лес отделял полуостров от твердой земли. И ужасен Был тот лес своей темнотой неприступной; и слухи Страшные были об нем в народе; там было нечисто: Злые духи гнездились в нем и пугали прохожих Так, что не смели и близко к нему подходить. Но смиренный Старый рыбак не боялся враждебных духов; на продажу Рыбу носил он в город, лежавший за лесом; полон

nicht sehr weit hinter dem großen Walde lag. Es ward ihm wohl mehrenteils deswegen so leicht, durch den Forst zu ziehn, weil er fast keine andre als fromme Gedanken hegte und noch außerdem jedesmal, wenn er die verrufenen Schatten betrat, ein geistliches Lied aus heller Kehle und aufrichtigem Herzen anzustimmen gewohnt war.

Da er nun an diesem Abende ganz arglos bei den Netzen saß, kam ihn doch ein unversehener Schrecken an, als er es im Waldesdunkel rauschen hörte wie Roß und Mann und sich das Geräusch immer näher nach der Landzunge herauszog. Was er in manchen stürmigen Nächten von den Geheimnissen des Forstes geträumt hatte, zuckte ihm nun auf einmal durch den Sinn, vor allem das Bild eines riesenmäßig langen, schneeweißen Mannes, der unaufhörlich auf eine seltsame Art mit dem Kopfe nickte. Ja, als er die Augen nach dem Walde aufhob, kam es ihm ganz eigentlich vor, als sehe er durch das Laubgegitter den nikkenden Mann hervorkommen. Er nahm sich aber bald zusammen, erwägend, wie ihm doch niemals in dem Walde selbstens was Bedenkliches widerfahren sei und also auf der freien Landzunge der böse Geist wohl noch minder Gewalt über ihn ausüben dürfe. Zugleich betete er recht kräftiglich einen biblischen Spruch laut aus dem Herzen heraus, wodurch ihm der kecke Mut auch zurückkam und er fast lachend sah, wie sehr er sich geirrt hatte. Der weiße, nickende Mann ward nämlich urplötzlich zu einem ihm längs wohlbekanntem Bächlein, das schäumend aus dem Forste hervorrann und sich in den Landsee ergoß. Wer aber das Geräusch verursacht hatte, war ein schöner geschmückter Reiter, der zu Roß durch den Baumschatten gegen die Hütte vorgeritten kam. Ein scharlachroter Mantel hing ihm über sein veilchenblaues goldgesticktes Wams herab; von dem goldfarbigen Barette wallten rote und veilchenblaue Federn, am goldnen Wehrgehenke blitzte ein ausnehmend schönes und reichverziertes Schwert. Der weiße Hengst, der den Ritter trug, war schlankeren Baues, als man es sonst bei Streitrossen zu sehen gewohnt ist, und trat so leicht über den Rasen hin, daß dieser grünbunte Teppich auch nicht die mindeste Verletzung davon zu empfangen schien. Dem alten Fischer war es noch immer nicht ganz geheuer zumut, obwohl er einzusehn meinte, daß von einer so holden Erscheinung nichts Übles zu befahren sei, weshalb er auch seinen Hut ganz sittig vor dem näher kommenden Herrn abzog und gelassen bei seinen Netzen verblieb. Da hielt der

Набожных мыслей, входил он в его глубину, и ни разу Там ничего он не встретил, хранимый небесною силой. Сидя беспечно в тот вечер за неводом, вдруг он услышал Шум в лесу, как будто бы топот коня и железной Брони звук; он слушает: шум приближается; робость Им овладела, и все, что до тех пор в ненастные ночи Снилось ему о таинственном лесе, представилось разом Мыслям его; особливо ж один, великанского роста, Белый, всегда головою странно кивающий. В темный Лес он со страхом глядит, и ему показалось, что в самом Деле сквозь черные ветви смотрит кивающий призрак. Вспомнив однако, что все никакой еще не случилось С ним беды ни в лесу, ни в избушке, в которой так долго Жил он с женою вдвоем, что нечистый над ними не властен, Он ободрился, прочел молитву, и сделалось скоро Даже ему и смешно, когда он увидел, какую Шутку с ним глупая робость сыграла: кивающий образ Был не что иное, как быстрый ручей, из середины Леса бегущий и с пеной впадающий в озеро; шум же, Слышанный им, был от рыцаря: шагом на белом Бодром коне из чащи лесной он ехал и прямо К хижине их приближался. Мантией алого цвета Был покрыт его фиолетовый, золотом шитый Стройный колет; на бархатном черном берегу вились Белые перья; висел у бедра на цепи драгоценной Меч с золотой рукоятью искусной работы; а белый Рыцарев конь был статен, силен и жив; он, копытом Легким едва к луговой мураве прикасаясь, воздушной Поступью шел и, сгибая красивую шею, как лебедь, Грыз узду, облитую пеной. Старик, пораженный Видом статного рыцаря, невод покинул и, снявши Шляпу, смотрел на него с приветной улыбкой. Приблизась, Рыцарь сказал: «Могу ль я с конем найти здесь на эту Ночь убежище?» – «Милости просим, гость благородный; Лучшим стойлом будет коню твоему наш зеленый Луг, под кровлей ветвистых дерев; а вкусную пищу

Ritter stille und fragte, ob er wohl mit seinem Pferde auf diese Nacht hier Unterkommen und Pflege finden könne. — „Was Euer Pferd betrifft, lieber Herr“, entgegnete der Fischer, „so weiß ich ihm keinen bessern Stall anzuweisen als diese beschattete Wiese und kein besseres Futter als das Gras, welches darauf wächst. Euch selbst aber will ich gerne in meinem kleinen Hause mit Abendbrot und Nachtlager bewirten, so gut es unsereiner hat.“ — Der Ritter war damit ganz wohl zufrieden, er stieg von seinem Rosse, welches die beiden gemeinschaftlich losgürteten und loszügelten, und ließ es alsdann auf den blumigen Anger hinlaufen, zu seinem Wirte sprechend: „Hätt ich Euch auch minder gastlich und wohlmeinend gefunden, mein lieber alter Fischer, Ihr wäret mich dennoch wohl für heute nicht wieder losgeworden, denn, wie ich sehe, liegt vor uns ein breiter See, und mit sinkendem Abende in den wunderlichen Wald zurückzureiten, davor bewahre mich der liebe Gott!“ — „Wir wollen nicht allzuviel davon reden“, sagte der Fischer und führte seinen Gast in die Hütte.

Drinne saß bei dem Herde, von welchem aus ein spärliches Feuer die dämmernde, reinliche Stube erhellte, auf einem großen Stuhle des Fischers betagte Frau; beim Eintritte des vornehmen Gastes stand sie freundlich grüßend auf, setzte sich aber an ihren Ehrenplatz wieder hin, ohne diesen dem Fremdling anzubieten, wobei der Fischer lächelnd sagte: „Ihr müßt es ihr nicht verübeln, junger Herr, daß sie Euch den bequemsten Stuhl im Hause nicht abtritt; das ist so Sitte bei armen Leuten, daß der den Alten ganz ausschließlich gehört.“ — „Ei, Mann“, sagte die Frau mit ruhigem Lächeln, „wo denkst du auch hin? Unser Gast wird doch zu den Christenmenschen gehören, und wie könnte es alsdann dem lieben jungen Blute einfallen, alte Leute von ihren Sitzen zu verjagen? — Setzt Euch, mein junger Herr“, fuhr sie, gegen den Ritter gewandt, fort; „es steht dorten noch ein recht artiges Sesselein, nur müßt Ihr nicht allzu ungestüm damit hin und her rutschen, denn das eine Bein ist nicht allzu feste mehr.“ — Der Ritter holte den Sessel achtsam herbei, ließ sich freundlich darauf nieder, und es war ihm zumute, als sei er mit diesem kleinen Haushalt verwandt und eben jetzt aus der Ferne dahin heimgekehrt.

Die drei guten Leute fingen an, höchst freundlich und vertraulich miteinander zu sprechen. Vom Walde, nach welchem sich der Ritter einige Male erkundigte, wollte der alte Mann

Сам он найдет у себя под ногами; тебе ж мы охотно
Угол очистим в нашем убогом жилище и ужин
Скудный с тобою разделим». Рыцарь, кивнув головою,
Спрыгнул с коня, его разнуздал и по свежему лугу
Бегать пустил; потом сказал рыбаку: «Ты охотно,
Добрый старик, принимаешь меня, но когда б и не столько
Был ты сговорчив, то все бы со мной не разделался нынче:
Море, вижу я, здесь перед нами, и дале дороги
Нет никакой; а вечером поздно в этот проклятый
Лес возвращаться избави Боже!» – «Не станем об этом
Слишком много теперь говорить», – сказал, озираясь,
Старый рыбак и в хижину ввел усталого гостя.
Там, перед ярким огнем, горевшим в камине и в чистой
Горнице трепетный блеск разливавшим, на стуле широком
С спинкой резною сидела жена рыбака пожилая.
Гостя увидев, старушка встала, ему поклонилась
Чинно и села опять, ему отдать не подумав
Место свое. Рыбак, засмеявшись, сказал: «Благородный
Рыцарь, прошу не взыскать, что хозяйка моя свой покойный
Стул для себя сберегла: у нас такой уж обычай;
Лучшее место всегда старикам уступается». – «Что ты,
Дедушка! – с кроткой усмешкой сказала хозяйка. –

Ведь гость наш,

Верно, такой же Христов человек, как и мы, и придет ли,
Сам ты скажи, молодому на ум, чтоб ему уступали
Старые люди лучшее место? Садися, мой добрый
Рыцарь, на эту скамейку, – она продолжала, – да только
Тише сиди, не ворочайся, ножка одна ненадежна».
Рыцарь взял осторожно скамейку, придвинул к камину.
Сел, и сердцу его так стало приятно, как будто б
Был он у милых родных, возвратяся из чужи в отчизну.
Стали они разговаривать. Рыцарь разведать о страшном
Лесе хотел, но рыбак ночью порою боялся
Речь о нем заводить; зато о своей одинокой
Жизни и промысле трудном своем рассказывал много.
С жадностью слушали муж и жена, когда говорил им

freilich nicht viel wissen; am wenigsten, meinte er, passe sich das Reden davon jetzt in der einbrechenden Nacht; aber von ihrer Wirtschaft und sonstigem Treiben erzählten die beide Eheleute desto mehr und hörten auch gerne zu, als ihnen der Rittersmann von seinen Reisen vorsprach, und daß er eine Burg an den Quellen der Donau habe und Herr Huldbrand von Ringstetten geheißener sei. Mitten durch das Gespräch hatte der Fremde schon bisweilen ein Plätschern am niedrigen Fensterlein vernommen, als sprütze jemand Wasser dagegen. Der Alte runzelte bei diesem Geräusche jedesmal unzufrieden die Stirn; als aber endlich ein ganzer Guß gegen die Scheiben flog und durch den schlechtverwahrten Rahmen in die Stube hereinsprudelte, stand er unwillig auf und rief drohend nach dem Fenster hin: „Undine! Wirst du endlich einmal die Kindereien lassen. Und ist noch obenein heute ein fremder Herr bei uns in der Hütte.“ — Es ward auch draußen stille, nur ein leises Gekicher ließ sich noch vernehmen, und der Fischer sagte, zurückkommend: „Das müßt Ihr nun schon zugute halten, mein ehrenwerter Gast, und vielleicht noch manche Ungezogenheit mehr, aber sie meint es nicht böse. Es ist nämlich unsere Pflgetochter Undine, die sich das kindische Wesen gar nicht abgewöhnen will, ob sie gleich bereits in ihr achtzehntes Jahr gehen mag. Aber wie gesagt, im Grunde ist sie doch von ganzem Herzen gut.“ — „Du kannst wohl sprechen!“ entgegnete kopfschüttelnd die Alte. „Wenn du so vom Fischfang heimkommst oder von der Reise, da mag es mit ihren Schäkereien ganz was Artiges sein. Aber sie den ganzen Tag lang auf dem Halse haben und kein kluges Wort hören und statt bei wachsendem Alter Hülfe im Haushalte zu finden, immer nur dafür sorgen müssen, daß uns ihre Torheiten nicht vollends zugrunde richten — da ist es gar ein andres, und die heilige Geduld selbstn würd es am Ende satt.“ — „Nun, nun“, lächelte der Hausherr, „du hast es mit Undinen und ich mit dem See. Reißt mir der doch auch oftmals meine Dämme und Netze durch, aber ich hab ihn dennoch gern und du mit allem Kreuz und Elend das zierliche Kindlein auch. Nicht wahr?“ — „Ganz böse kann man ihr eben nicht werden“, sagte die Alte und lächelte beifällig.

Da flog die Tür auf, und ein wunderschönes Blondchen schlüpfte lachend herein und sagte: „Ihr habt mich nur gefoppt, Vater; wo ist denn nun Euer Gast?“ — Selben Augenblicks aber ward sie auch den Ritter gewahr und blieb staunend vor dem schönen Jünglinge stehn. Huldbrand ergötzte sich an der holden

Рыцарь о том, как в разных землях он бывал, как отцовский Замок его у истоков Дуная стоит, как прекрасна Та сторона; он прибавил: «Меня называют Гульбрандом, Имя же замка Рингштеттен». Так говоря, не однажды Рыцарь слышал какой-то шорох и плеск за окошком, Точно как будто водой кто опрыскивал стекла снаружи. Всякий раз с досадой нахмурил брови, услышав плесканье, Старый рыбак; но когда же как ливнем вдруг обдало стекла, Так, что окно зазвенело и в горницу брызги влетели, С сердцем вскочил он и крикнул в окошко с угрозой: «Ундина! Полно проказничать; стыдно; в хижине гости». При этом Слове стало там тихо, лишь изредка слышен был легкий Шепот, как будто бы кто потихоньку смеялся. «Почтенный Гость, не взыщи, – сказал рыбак, возвратившись на место. – Может быть, шалостей много еще ты увидишь, но злого Умысла нет у нее. То наша дочка Ундина, Только не дочка родная, а найденыш; сущий младенец, Все проказит, а будет ей лет уж осьмнадцать; но сердце Самое доброе в ней». Покачав головою, старушка Молвила: «Так говорить ты волен; когда ты усталый С ловли приходишь домой, то тебе на досуге забавны Эти проказы; но, с утра до вечера дома глаз на глаз С нею пробив, от нее не добиться путного слова – Дело иное; тут и святой потеряет терпенье». – «Полно, старуха, – рыбак отвечал, – ты бьешься с Ундиной, Я с причудливым морем: разве не часто мой невод Портит оно и плотины мои размывает, а все мне Любо с ним: то же и ты, хоть порою и охнешь, однако Все Ундиночку любишь. Не так ли?» – «Что правда, то правда; Вовсе ее разлюбить уж нельзя», – кивнув головою, Кротко сказала старушка. Вдруг растворилась настежь Дверь; и в нее, белокурая, легкая станом, с веселым Смехом впорхнула Ундина, как что-то воздушное. «Где же Гости, отец? Зачем ты меня обманул?» Но, увидя Рыцаря, вдруг замолчала она, и глаза голубые, Вспыхнув звездами под сумраком черных ресниц, устремились

Gestalt und wollte sich die lieblichen Züge recht achtsam einprägen, weil er meinte, nur ihre Überraschung lasse ihm Zeit dazu, und sie werde sich bald nachher in zwiefacher Blödigkeit vor seinen Blicken abwenden. Es kam aber ganz anders. Denn als sie ihn nun recht lange angesehen hatte, trat sie zutraulich näher, kniete vor ihm nieder und sagte, mit einem goldenen Schaupfennige, den er an einer reichen Kette auf der Brust trug, spielend: „Ei, du schöner, du freundlicher Gast, wie bist du denn endlich in unsre arme Hütte gekommen? Mußtest du denn jahrelang in der Welt herumstreifen, bevor du dich auch einmal zu uns fandest? Kommst du aus dem wüsten Walde, du schöner Freund?“ — Die scheltende Alte ließ ihm zur Antwort keine Zeit. Sie ermahnte das Mädchen, fein sittig aufzustehen und sich an ihre Arbeit zu begeben. Undine aber zog, ohne zu antworten, eine kleine Fußbank neben Huldbrands Stuhl, setzte sich mit ihrem Gewebe darauf nieder und sagte freundlich: „Hier will ich arbeiten.“ Der alte Mann tat, wie Eltern mit verzogenen Kindern zu tun pflegen. Er stellte sich, als merkte er von Undines Unart nichts, und wollte von etwas anderm anfangen. Aber das Mädchen ließ ihn nicht dazu. Sie sagte: „Woher unser holder Gast kommt, habe ich ihn gefragt, und er hat mir noch nicht geantwortet.“ — „Aus dem Walde komme ich, du schönes Bildchen“, entgegnete Huldbrand, und sie sprach weiter: „So mußt du mir erzählen, wie du da hineinkamst, denn die Menschen scheuen ihn sonst, und was für wunderliche Abenteuer du darinnen erlebt hast, weil es doch ohne dergleichen dorten nicht abgehn soll.“ — Huldbrand empfand einen kleinen Schauer bei dieser Erinnerung und blickte unwillkürlich nach dem Fenster, weil es ihm zumute war, als müsse eine von den seltsamlichen Gestalten, die ihm im Forste begegnet waren, von dort hereingrinsen; er sah nichts als die tiefe, schwarze Nacht, die nun bereits draußen vor den Scheiben lag. Da nahm er sich zusammen und wollte eben seine Geschichte anfangen, als ihn der Alte mit den Worten unterbrach: „Nicht also, Herr Ritter; zu dergleichen ist es jetzt keine gute Zeit.“ — Undine aber sprang zornmütig von ihrem Bänkchen auf, setzte die schönen Arme in die Seiten und rief, sich dicht vor den Fischer hinstellend: „Er soll nicht erzählen, Vater? Er soll nicht? Ich aber will's; er soll! Er soll doch!“ — Und damit trat das zierliche Füßchen heftig gegen den Boden, aber das alles mit solch einem drollig anmutenden Anstande, daß Huldbrand jetzt in ihrem Zorn fast weniger noch

Быстро на гостя, а он, изумленный чудным явлением,
Был как вкопанный, жадно смотрел на нее и боялся
Взор отвести: он думал, что видит сон, вглядеться
В образ прекрасный спешил, пока он не скрылся. Ундина
Долго смотрела, пурпурные губки раскрыв, как младенец;
Вдруг, встрепенувшись резвою птичкой, она подбежала
К рыцарю, стала пред ним на колена и, цепью блестящей,
К коей привешен был меч, играя, сказала: «Прекрасный,
Милый гость, какую судьбой очутился ты в нашей
Хижине? Долго ты по́ свету должен был странствовать, прежде
Нежели к нам дорогу найти? Скажи, через лес наш
Как ты проехал?» Но он отвечать не успел; на Ундину
Крикнула с сердцем старушка: «Оставь в покое, Ундина,
Гостя; встань и возьмись за работу». Ундина, ни слова
Ей не сказавши в ответ, схватила скамейку и, севши
Подле Гульбранда с своим рукодельем, тихонько шепнула:
«Вот где я буду работать». Старик, притворясь, что не видит
Новой проказы ее, хотел продолжать; но Ундина
Речь перебила его: «У тебя я спросила, мой милый
Гость, откуда приехал ты к нам? Дождусь ли ответа?» –
«Из лесу прямо приехал я, прелесть моя». – «Расскажи же,
Как ты в лесу очутился и что в нем чуждого видел?»
Трепет почувствовал рыцарь, вспомнив о лесе; невольно
Он обратил глаза на окошко, в которое кто-то
Белый, ему показалось, глядел; но было в окошке
Пусто, за стеклами ночь густая чернела. Собравшись
С духом, рассказ он готов был начать, но старик торопливо
Молвил ему: «Недоброе время теперь нам об лесе
Речь заводить; расскажешь нам завтра». Услышавши это,
С места вскочила Ундина, и глазки ее засверкали.
«Нынче, не завтра он должен рассказывать! нынче, теперь же!» –
Вскрикнула с сердцем она и, бровки угрюмо нахмутив,
Топнула маленькой ножкою об пол; и в эту минуту
Так забавно мила и прелестна была, что в Гульбранде
Вспыхнуло сердце, и он еще боле пленился смешною,
Детской ее запальчивостью, нежели резвостью прежней.

die Augen von ihr wegbringen konnte als vorher in ihrer Freundlichkeit. Bei dem Alten hingegen brach der zurückgehaltene Unwillen in volle Flammen aus. Er schalt heftig gegen Undines Ungehorsam und unsittiges Betragen gegen den Fremden, und die gute alte Frau stimmte mit ein. Da sagte Undine: „Wenn ihr zanken wollt und nicht tun, was ich haben will, so schlaft allein in eurer alten räucherigen Hütte!“ — Und wie ein Pfeil war sie aus der Thür und flüchtigen Laufes in die finstere Nacht hinaus.

ACHTES KAPITEL

Der Tag nach der Hochzeit

Ein frisches Morgenlicht weckte die jungen Eheleute. Undine verbarg sich schamhaft unter ihre Decken, und Huldbrand lag still sinnend vor sich hin. Sooft er in der Nacht eingeschlafen war, hatten ihn wunderlich grausende Träume verstört von Gespenstern, die sich heimlich grinsend in schöne Frauen zu verkleiden strebten, von schönen Frauen, die mit einem Male Drachenangesichter bekamen. Und wenn er von den häßlichen Gebilden in die Höhe fuhr, stand das Mondlicht bleich und kalt draußen vor den Fenstern; entsetzt blickte er nach Undinen, an deren Busen er eingeschlafen war und die in unverwandelter Schönheit und Anmut neben ihm ruhte. Dann drückte er einen leichten Kuß auf die rosigen Lippen und schlief wieder ein, um von neuen Schrecken erweckt zu werden. Nachdem er sich nun alles dieses recht im vollen Wachen überlegt hatte, schalt er sich selbst über jedweden Zweifel aus, der ihn an seiner schönen Frau hatte irremachen können. Er bat ihr auch sein Unrecht mit klaren Worten ab, sie aber reichte ihm nur die schöne Hand, seufzte aus tiefem Herzen und blieb still. Aber ein unendlich in-niger Blick aus ihren Augen, wie er ihn noch nie gesehn hatte, ließ ihm keinen Zweifel, daß Undine von keinem Unwillen gegen ihn wisse. Er stand dann heiter auf und ging zu den Hausgenossen in das gemeinsame Zimmer vor. Die dreie saßen mit besorglichen Mienen um den Herd, ohne daß sich einer getraut hätte, seine Worte laut werden zu lassen. Es sähe aus, als

Но рыбак, рассердясь не на шутку, причудницу начал
Крепко журить за ее упрямство и дерзкую вольность
С гостем. Старушка пристала к нему. Тут Ундина сказала:
«Если браниться хотите со мной, а того не хотите
Сделать, о чем я прошу, так прощайте ж; одни оставайтесь
В вашей скучной, дымной лачужке». С сими словами
Прыгнула в двери она и в минуту во мраке пропала.

ГЛАВА VIII

О том, что случилось на другой день свадьбы

Свежий утренний луч разбудил новобрачных; блаженством
Ясные очи Ундины горели; а рыцарь в глубокой
Думе молчал про себя; всю ночь он видел какой-то
Странный, мучительный сон: все снилось ему, что хотели
Бесы его обольстить под видом красавиц, что в змеев
Адских красавицы все перед ним обращались. Проснувшись
В страхе, он начал смотреть недоверчиво: тут ли Ундина?
Нет ли в ней какой перемены?.. Но было все тихо,
Буря кончилась; полный месяц светил, и Ундина
Сном глубоким спала, положивши горячую щеку
На руку; вольно дышала она, и сквозь сон, как журчанье,
Шепот невнятный бродил по жарко раскрывшимся губкам.
Видом таким успокоенный, рыцарь заснул, но в другой раз
Тот же сон! наконец засияла заря, и проснулись оба.
Сон рассказавши, рыцарь просил, чтоб Ундина простила
Страх безрассудный ему. Вздохнувши, прекрасную руку
С грустью она ему подала, и ни слова; но сладкий,
Полный глубокой любовью взгляд, какого дотоле
Рыцарь в лазоревых глазках ее не встречал, безответно
Выразил все. С довольным сердцем он встал и к домашним
Вышел; все трое сидели молча, на лицах их видно
Было, что тяжко тревожило их ожиданье развязки;

bete der Priester in seinem Innern um Abwendung alles Übels. Da man nun aber den jungen Ehemann so vergnügt hervorgehn sah, glätteten sich auch die Falten in den übrigen Angesichtern; ja, der alte Fischer fing an, mit dem Ritter zu scherzen, auf eine recht sittige, ehrbare Weise, so daß selbst die alte Hausfrau ganz freundlich dazu lächelte. Darüber war endlich Undine auch fertig geworden und trat nun in die Tür; alle wollten ihr entgegen gehn, und alle blieben voll Verwunderung stehen, so fremd kam ihnen die junge Frau vor und doch so wohlbekannt. Der Priester schritt zuerst mit Vaterliebe in den leuchtenden Blicken auf' sie zu, und wie er die Hand zum Segnen emporhob, sank das schöne Weib andächtig schauernd vor ihm in die Knie. Sie bat ihn darauf mit einigen freundlich demütigen Worten wegen des Törichten, das' sie gestern gesprochen haben möge, um Verzeihung und ersuchtet ihn mit sehr bewegtem Tone, daß er für das Heil ihrer Seele beten wolle. Dann erhob sie sich, küßte ihre Pflegeeltern und sagte, für alles genossene Gute dankend: „O jetzt fühle ich es im innersten Herzen, wie viel, wie unendlich viel ihr für mich getan habt, ihr lieben, lieben Leute!“ — Sie konnte erst gar nicht wieder von ihren Liebkosungen abrechnen, aber kaum gewahrte sie, daß die Hausfrau nach dem Frühstücke hinsah, so stand sie auch bereits am Herde, kochte und ordnete an und litt nicht, daß die gute alte Mutter auch nur die geringste Mühwaltung über sich nahm.

Sie blieb den ganzen Tag so; still, freundlich und achtsam, ein Hausmütterlein und ein zart verschämtes, jungfräuliches Wesen zugleich. Die dreie, welche sie schon länger kannten, dachten in jedem Augenblick irgendein wunderliches Wechselspiel ihres launischen Sinnes hervorbrechen zu sehn. Aber sie warteten vergebens darauf. Undine blieb engelmild und sanft. Der Priester konnte seine Augen gar nicht von ihr wegwenden und sagte mehrere Male zum Bräutigam: „Herr, einen Schatz hat Euch gestern die himmlische Güte durch mich Unwürdigen anvertraut; wahr't ihn, wie es sich gebührt, so wird er Euer ewiges und zeitliches Heil befördern.“

Gegen Abend hing sich Undine mit demütiger Zärtlichkeit an des Ritters Arm und zog ihn sanft vor die Tür hinaus, wo die

Видно было, что внутренне Бога священник молил: да поможет Им защититься от козней врага. Но как скоро явился С ясным лицом новобрачный, то вмиг и у них просияли Души и лица; рыбак и старушка заплакали; к небу Взор благодарный поднял священник. Потом и Ундина Вышла; они хотели пойти к ней навстречу, но стали Все неподвижны: так знакома и так незнакома Им в красоте довершенной она показалась. Священник Первый к ней подошел; но лишь только он руку, чтоб дать ей Благословение, поднял, она ему поклонилась В землю и стала прощенья просить в словах безрассудных, Сказанных ею вчера; потом примолвила: «Добрый Друг, помолись о спасенье моей души многогрешной». Вставши, она обняла стариков, и то, что сказала Им, было так полно души, так было их слуху Ново и так далеко от всего, что прежде пленяло В ней, не касаясь до сердца, что оба они, зарыдавши, Стали молиться вслух и ее называли небесным Ангелом, дочкой родною; она же с сердечным смиреньем Их целовала; такой и осталась она с той минуты: Кроткой, покорной женою, хозяйкой заботливой, в то же Время девственно-чистым, божественно-милым созданием. Рыцарь, старик и старушка, давно уж привыкнув к причудам Детским ее, все ждали, что снова она, как и пржде, Станет проказить, но в этот раз они обманулись: Ангелом тихим осталась Ундина. Священник, любуясь Ею, воскликнул: «Радуйтесь, рыцарь; Господь милосердый Вам даровал чрез меня, недостойного, редкое счастье; Будет добро вам и в здешней и в будущей жизни, когда вы Чистым его сохраните. Господь помощи вам обоим». Около вечера с нежностью робкой Ундина, взявши Гюльбранда За руку, тихо его повлекла за собою на вольный Воздух. Безоблачно солнце садилось, светя на зеленый Дерн сквозь чашу дерев, за которыми тихо горело Море вдали. Во взорах жены молодой трепетало Пламя любви, как роса на лазурных листках; но, казалось,

sinkende Sonne anmutig über den frischen Gräsern und um die hohen, schlanken Baumstämme leuchtete. In den Augen der jungen Frau schwamm es wie Tau der Wehmut und der Liebe, auf ihren Lippen schwebte es wie ein zartes, besorgliches Geheimnis, das sich aber nur in kaum vernehmlichen Seufzern kundgab. Sie führte ihren Liebling schweigend immer weiter mit sich fort; was er sagte, beantwortete sie nur mit Blicken, in denen zwar keine unmittelbare Auskunft auf seine Fragen, wohl aber ein ganzer Himmel der Liebe und schüchternen Ergebenheit lag. So gelangte sie an das Ufer des übergetreten Waldstroms, und der Ritter erstaunte, diesen in leisen Wellen verrinnend dahinrieseln zu sehn, so daß keine Spur seiner vorigen Wildheit und Fülle mehr anzutreffen war. — „Bis morgen wird er ganz versiegt sein“, sagte die schöne Frau weinerlich, „und du kannst dann ohne Widerspruch reisen, wohinaus du willst.“ — „Nicht ohne dich, Undinchen“, entgegnete der lachende Ritter, „denke doch, wenn ich auch Lust hätte auszureisen, so müßte ja Kirche und Geistlichkeit und Kaiser und Reich dreinschlagen und dir den Flüchtling wiederbringen.“ — „Kommt alles auf dich an, kommt alles auf dich an“, flüsterte die Kleine, halb weinend, halb lächelnd. „Ich denke aber doch, du wirst mich wohl behalten; ich bin dir ja gar zu innig gut. Trage mich nun hinüber auf die kleine Insel, die vor uns liegt. Da soll sich's entscheiden. Ich könnte wohl leichtlich selbst durch die Wellen schlüpfen, aber in deinen Armen ruht sich's so gut, und verstößest du mich, so hab ich doch noch zum letzten Male anmutig darin geruht.“ — Huldbrand, voll von einer seltsamen Bangigkeit und Rührung, wußte ihr nichts zu erwidern. Er nahm sie in seine Arme und trug sie hinüber, sich nun erst besinnend, daß es dieselbe kleine Insel war, von wo er sie in jener ersten Nacht dem alten Fischer zurückgetragen hatte. Jenseits ließ er sie in das weiche Gras nieder und wollte sich schmeichelnd neben seine schöne Bürde setzen; sie aber sagte: „Nein, dorthin, mir gegenüber. Ich will in deinen Augen lesen, noch ehe deine Lippen sprechen: höre nun recht achtsam zu, was ich dir erzählen will.“ Und sie begann:

„Du sollst wissen, mein süßer Liebling, daß es in den Elementen Wesen gibt, die fast aussehen wie ihr und sich doch

Грустная тайна уста ей смыкала, порой выражаясь
Вздохом невнятным. В молчанье она вела за собою
Рыцаря дале; когда же с ней говорил он, ответа
Не было, взор один отвечал; но в этом сердечном
Взоре целое небо любви и смиренья лежало.
Так подошли напоследок они к лесному потоку...
Что же рыцарь увидел? Разлив уже миновался;
Мелким ручьем стремился поток. «Он исчезнет
К утру совсем, – сказала Ундина, скрывая рыданье, –
Завтра кончится все, и тебе уж препятствия боле,
Милый, не будет отсель удалиться, как скоро захочешь». –
«Вместе с тобою, Ундиночка», – рыцарь отвечивал. «Это
В воле твоей, – шепнула она, усмехаясь сквозь слезы. –
Друг, я знаю, что ты Ундиночку любишь. Она же
Всею душою твоя, и навек. Но, милый, послушай,
Перенеси меня на руках на этот зеленый
Остров; там приятней. Хотя и самой мне сквозь волны
Было б нетрудно туда проскользнуть, но, друг, мне так сладко
Быть на руках у тебя. И если нам должно расстаться,
То хоть в последние счастьем земным подышу я
Здесь у тебя на груди». И, растроган, встревожен,
Рыцарь Ундину на руки взял и понес через воду.
Было то место знакомо, то был островок, на котором
Встретился рыцарь с Ундиною в бурю. Ее опустил он
Тихо на шелковый дерн и хотел поместиться с ней рядом.
«Нет, не рядом со мной, а против меня ты садися,
Милый, – сказала она, – хочу я прежде, чем словом
Будешь отвечать мне, твой ответ в непритворных
Взорах твоих заране угадывать. Слушай. Ты должен
Знать, уж на деле узнал ты, что есть на свете созданья,
Вам подобные видом, но с вами различного свойства.
Редко их видите вы. В огне живут саламандры,
Чудные, резвые, легкие; в недрах земли, неприступных
Свету, водятся хитрые гномы; в воздухе веют
Сильфы; лоно морей, озер и ручьев населяют
Духи веселые вод. Прекрасно и вольно живется

nur selten vor euch blicken lassen. In den Flammen glitzern und spielen die wunderlichen Salamander, in der Erden tief hausen die dürrn, tückischen Gnomen, durch die Wälder streifen die Waldleute, die der Luft angehören, und in den Seen und Strömen und Bächen lebt der Wassergeister ausgebreitetes Geschlecht. In klingenden Kristallgewölben, durch die der Himmel mit Sonn und Sternen hereinsieht, wohnt sich's schön; hohe Korallenbäume mit blau und roten Früchten leuchten in den Gärten; über reinlichen Meeressand wandelt man über schöne, bunte Muscheln, und was die alte Welt des also Schönen besaß, das die heutige nicht mehr sich dran zu freuen würdig ist, das überzogen die Fluten mit ihren heimlichen Silberschleiern, und unten prangen die edlen Denkmale, hoch und ernst und anmutig betaut vom liebenden Gewässer, das aus ihnen schöne Moosblumen und kränzende Schilfbüschel hervorlockt. Die aber dorten wohnen, sind gar hold und lieblich anzuschauen, meist schöner, als die Menschen sind. Manch einem Fischer ward es schon so gut, ein zartes Wasserweib zu belauschen, wie sie über die Fluten hervorstieg und sang. Der erzählte dann von ihrer Schöne weiter, und solche, wundersame Frauen werden von den Menschen Undinen genannt. Du aber siehst jetzt wirklich eine Undine, lieber Freund.“

Der Ritter wollte sich einreden, seiner schönen Frau sei irgendeine ihrer seltsamen Launen wach geworden, und sie finde ihre Lust daran, ihn mit bunt erdachten Geschichten zu necken. Aber sosehr er dies auch vorsagte, konnte er doch keinen Augenblick daran glauben; ein seltsamer Schauer zog durch sein Innres; unfähig, ein Wort hervorzubringen, starrte er unverwandten Auges die holde Erzählerin an. Diese schüttelte betrübt den Kopf, seufzte aus vollem Herzen und fuhr alsdann folgendermaßen fort:

„Wir wären weit besser daran als ihr andern Menschen; denn Menschen nennen wir uns auch, wie wir es denn der Bildung und dem Leibe nach sind — aber es ist ein gar Übles dabei. Wir und unsresgleichen in den andern Elementen, wir zerstieben und vergehn mit Geist und Leib, daß keine Spur von uns rückbleibt, und wenn ihr andern dermaleinst zu einem reinem Leben

Там, под звонко-кристальными сводами; небо и солнце
Светят сквозь них; и небесные звезды туда проникают;
Там на высоких деревьях коралловых пурпуром ярким,
Темным сапфиром блистают плоды; там гуляешь по мягким,
Свежим песочным коврам, узорами раковин пестрых
Хитро украшенным; многое, бывшее чудом минувших
Лет, облеченное тайным серебряных вод покрывалом,
Видится там в величавых развалинах: влага с любовью
Их объекает, в мох и цветы водяные их рядит,
Пышным венцом тростника их седые главы обвивает.
Жители стран водяных обольстительно-милы, прекрасней
Самих людей. Случалось не раз, что рыбак, подглядевши
Деву морскую – когда, из воды подымаяся тайно,
Пела она и качалась на зыбкой волне, – повергался
В хладную влагу за нею. Ундинами чудные эти
Девы слывут у людей. И, друг, ты теперь пред собою
В самом деле видишь ундины». Гульбранд содрогнулся;
Холод по членам его пробежал; неподвижен как камень,
Молча и дико смотрел он в лицо рассказчицы милой,
Сил не имея очей отвести. Покачав головою,
Грустно замолкла она, вздохнула, потом продолжала:
«Видом наружным мы то же, что люди, быть может и лучше,
Нежели люди; но с нами не то, что с людьми; покидая
Жизнь, мы вдруг пропадем как призрак, и телом и духом
Гибнем вполне, и самый наш след исчезает; из праха
В лучшую жизнь переходите вы; а мы остаемся
Там, где жили, в воздухе, искре, волне и пылинке.
Нам души не дано; пока продолжается наше
Здесь бытие, нам стихии покорны; когда ж умираем,
В их переходим мы власть, и они нас вмиг истребляют;
Веселы мы, и нас ничто не тревожит, как птичек
В роще, рыбок в воде, мотыльков на лугу благовонном.
Все, однако, стремится возвыситься: так и отец мой,
Сильный царь в голубой глубине Средиземного моря,
Мне, любимой, единственной дочери, душу живую
Дать пожелал, хотя он и ведал, что с нею и горе

erwacht, sind wir geblieben, wo Sand und Funk und Wind und Welle blieb. Darum haben wir auch keine Seelen; das Element bewegt uns, gehorcht uns oft, so lange wir leben, zerstäubt uns immer, sobald wir sterben, und wir sind lustig, ohne uns irgend zu grämen, wie es die Nachtigallen und Goldfischlein und andre hübsche Kinder der Natur ja gleichfalls sind. Aber alles will höher, als es steht. So wollte mein Vater, der ein mächtiger Wasserfürst im Mittelländischen Meere ist, seine einzige Tochter solle einer Seele theilhaftig werden und müsse sie darüber auch viele Leiden der beseelten Leute bestehn. Eine Seele aber kann unsresgleichen nur durch den innigsten Verein der Liebe mit einem eures Geschlechtes gewinnen. Nun bin ich beseelt, dir dank ich die Seele, o du unaussprechlich Geliebter, und dir werd ich es danken, wenn du mich nicht mein ganzes Leben hindurch elend machst. Denn was soll aus mir werden, wenn du mich scheuest und mich verstoßest? Durch Trug aber mocht ich dich nicht behalten. Und willst du mich verstoßen, so tu es nun, so geh allein ans Ufer zurück. Ich tauche mich in diesen Bach, der mein Oheim ist und hier im Walde sein wunderliches Einsiedlerleben, von den übrigen Freunden entfernt, führt. Er ist aber mächtig und vielen großen Strömen wert und teuer, und wie er mich leichtes und lachendes Kind herführte zu den Fischern, wird er mich auch wieder heimführen zu den Eltern, mich beseelte, liebende, leidende Frau.“

Sie wollte noch mehr sagen, aber Huldbrand umfaßte sie voll der innigsten Rührung und Liebe und trug sie wieder ans Ufer zurück. Hier erst schwur er unter Tränen und Küssen, sein holdes Weib niemals zu verlassen, und pries sich glücklicher als den griechischen Bildner Pygmalion, welchem Frau Venus seinen schönen Stein zur Geliebten belebt habe. Im süßen Vertrauen wandelte Undine an seinem Arm nach der Hütte zurück und empfand nun erst von ganzem Herzen, wie wenig sie die verlassenen Kristallpaläste ihres wundersamen Vaters bedauern dürfe.

(Всех, одаренных душою, удел) меня не минует.
Но душа не иначе дана быть нам может, как только
Тесным союзом любви с человеком. И, милый, отныне
Я с душою навеки; тебе одному благодарна
Я за нее, и тебе ж благодарна останусь, когда ты
Жизнь не осудишь мою на вечное горе. Что будет
С бедной Ундиной, когда ты покинешь ее? Но обманом
Сердце твое сохранить она не хотела. Теперь ты
Знаешь все, и, если меня оттолкнуть ты решился,
Сделай это теперь же: один перейди на противный
Берег; я брошусь в этот поток – он мой дядя; издавна
В нашем лесу он свободную, чудную жизнь, как пустынный,
Розно с родней и друзьями проводит. Он силен и многим
Старым рекам и могучим потокам союзник. Принес он
Некогда к жителям хижины здешней меня беззаботным,
Ясным, веселым младенцем; и он же ныне отсюда
В дом отца моего меня отнесет измененным, живую
Душу приявшим созданием, любящей, скорбящей женою».
Дале она говорить не могла; пораженный, плененный,
Рыцарь ее обхватил, и на руки поднял, и вынес
На берег; там перед небом самым повторил он обет свой
С ней неразлучно жить на земле и делить все земное.
В сладком согласии, за руки взявшись, медлительным шагом
В хижину оба вошли. И Ундина, глубоко постигнув
Благо святое души, перестала жалеть о прозрачном
Море и влажных жилищах отцовского чудного царства.

FÜNFZEHNTE KAPITEL

Die Reise nach Wien

Es lebte sich seit der letzten Begebenheit still und ruhig auf dem Schloß. Der Ritter erkannte mehr und mehr seiner Frau himmlische Güte, die sich durch ihr Nacheilen und Retten im Schwarztales, wo Kühleborns Gewalt wieder anging, so herrlich offenbart hatte; Undine selbst empfand den Frieden und die Sicherheit, deren ein Gemüt nie ermangelt, solange es mit Besonnenheit fühlt, daß es auf dem rechten Wege sei, und zudem gingen ihr in der neu erwachenden Liebe und Achtung ihres Ehemannes vielfache Schimmer der Hoffnung und Freude auf. Bertalda hingegen zeigte sich dankbar, demütig und scheu, ohne daß sie wieder diese Äußerungen als etwas Verdienstliches angeschlagen hätte. Sooft ihr eines der Eheleute über die Verdeckung des Brunnens oder über die Abenteuer im Schwarztales irgend etwas Erklärendes sagen wollte, bat sie inbrünstig, man möge sie damit verschonen, weil sie wegen des Brunnens allzu viele Beschämung und wegen des Schwarztales allzu viele Schrecken empfinde. Sie erfuhr daher auch von beiden weiter nichts; und wozu schien es auch nötig zu sein? Der Friede und die Freude hatten ja ihren sichtbaren Wohnsitz in Burg Ringstetten genommen. Man ward darüber ganz sicher und meinte, nun könne das Leben gar nichts mehr tragen als anmutige Blumen und Früchte.

In so erlabenden Verhältnissen war der Winter gekommen und vorübergegangen, und der Frühling sah mit seinen hellgrünen Sprossen und seinem lichtblauen Himmel zu den fröhlichen Menschen herein. Ihm war zumut wie ihnen, und ihnen wie ihm. Was Wunder, daß seine Störche und Schwalben auch in ihnen die Reiselust anregten! Während sie einmal nach den Donauquellen hinab lustwandelten, erzählte Huldbrand von der Herrlichkeit des edlen Stromes, und wie er wachsend durch gesegnete Länder fließe, wie das köstliche Wien an seinen Ufern emporglänze und er überhaupt mit jedem Schritte seiner Fahrt an Macht und Lieblichkeit gewinne. — „Es müßte herrlich sein, ihn so bis Wien einmal hinabzufahren!“ brach Bertalda aus, aber gleich darauf in ihre jetzige Demut und Bescheidenheit zurückgesunken, schwieg

ГЛАВА XV

О том, как они ездили в Вену

С этой поры, мой читатель, жилось покойно и мирно
В замке Рингштеттене. Рыцарь все чувствовал боле и боле
Прелесть небесную доброго сердца Ундины, забывшей
Все для спасенья соперницы. В доброй Ундине
Всякая память о прошлом исчезла: она беззаботным
Сердцем любила и, зная, что шла прямою дорогой,
Ясную в нем питала доверенность; все в настоящем
Было ей радостно; в будущем все улыбалось. Бертальда,
Снова ей с прежней любовью всю душу отдав, благодарной,
Кроткой и нежной являлась; короче, замок Рингштеттен
Стал обителью светлого счастья. Дни пролетали
Быстро за днями; зима наступила; зима миновалась;
Вот и весна с благовонно-зеленой своей муравою,
Светло-лазоревым небом своим улыбнулась веселым
Жителям замка; стало на сердце их радостно, стало и смутно.
Что ж тут дивиться, если, при виде, как в воздухе вешнем
Нитью вились журавли и легкие ласточки мчались,
Стало и их позывать в далекую даль. Раз случилось
Рыцарю вместе с женой и Бертальдой в прекрасное утро
Около светлых истоков Дуная гулять; им об этой
Славной реке он рассказывал много: как протекала
Пышным, широким потоком она по землям благодатным,
Как на ее берегах прекрасная Вена сияла,
Как по ней величаво ходили суда, как бежали
Мимо плывущих назад берега, услаждая их очи
Зрелищем пажитей, нив, городов и рыцарских замков.
«О! – сказала Бертальда, – как было бы весело съездить
В Вену водой...» – но, опомнясь, она покраснела и взоры
Робко потупила. Милым ее смущеньем Ундина
Тронувшись, руку ей подала, и в ней загорелось
Сильное желанье утешить подругу свою. «Да за чем же
Дело стало? – сказала она. – Ничто не мешает

sie errötend still. Eben dies rührte Undinen sehr, und im lebhaftesten Wunsch, der lieben Freundin eine Lust zu machen, sagte sie: „Wer hindert uns denn, die Reise anzutreten?“ — Bertalda hüpfte vor Freuden in die Höhe, und die beiden Frauen begannen sogleich, sich die anmutige Donaufahrt mit den allerhellsten Farben vor die Sinne zu rufen. Auch Huldbrand stimmte fröhlich darin ein; nur sagte er einmal besorgt Undinen ins Ohr: „Aber weiterhin ist Kühleborn wieder gewaltig?“ — „Laß ihn nur kommen“, entgegnete sie lachend; „ich bin ja dabei, und vor mir wagt er sich mit keinem Unheil hervor.“ — Damit war das letzte Hindernis gehoben, man rüstete sich zur Fahrt und trat sie alsbald mit frischem Mut und den heitersten Hoffnungen an.

Wundert euch aber nur nicht, ihr Menschen, wenn es dann immer ganz anders kommt, als man gemeint hat. Die tückische Macht, die lauert, uns zu verderben, singt ihr auserkornes Opfer gern mit süßen Liedern und goldnen Märchen in den Schlaf. Dagegen pocht der rettende Himmelsbote oftmals scharf und erschreckend an unsre Tür.

Sie waren die ersten Tage ihrer Donaufahrt hindurch außerordentlich vergnügt gewesen. Es ward auch alles immer besser und schöner, so wie sie den stolzen flutenden Strom weiter hinunterschifften. Aber in einer sonst höchst anmutigen Gegend, von deren erfreulichem Anblick sie sich die beste Freude versprochen hatten, fing der ungebändigte Kühleborn ganz unverhohlen an, seine hier eingreifende Macht zu zeigen. Es blieben zwar bloß Neckereien, weil Undine oftmals in die emporröthenden Wellen oder in die hemmenden Winde hineinschalt und sich dann die Gewalt des Feindseligen augenblicklich in Demut ergab; aber wieder kamen die Angriffe, und wieder brauchte es der Mahnung Undines, so daß die Lustigkeit der kleinen Reisegesellschaft eine gänzliche Störung erlitt. Dabei zischelten sich noch immer die Fährleute zagend in die Ohren und sahen mißtrauisch auf die drei Herrschaften, deren Diener selbst mehr und mehr etwas Unheimliches zu ahnen begannen und ihre Gebieter mit seltsamen Blicken verfolgten. Huldbrand sagte öfters bei sich im stillen Gemüte: „Das kommt davon, wenn gleich sich nicht zu gleich gesellt, wenn Mensch und Meerfräulein ein wunderliches Bündnis schließen.“ — Sich entschuldigend, wie wir es denn überhaupt lieben, dachte er freilich oftmals dabei:

Съездить нам в Вену». Бертальда запрыгала с радости. Вместе
Стали они учредить поездку свою и заране
Тем, что представится им на пути, восхищались. И рыцарь
С ними был заодно; Ундине, однако, шепнул он:
«Вспомни о Струе; ведь он могуч на Дунае». – «Не бойся, –
С смехом сказала Ундина, – пускай он попробует сделать
Что-нибудь с нами; я тут! при мне уж никак колобродить
Он не посмеет». Ответом таким уничтожены были
Все затрудненья, и с бодрым духом, с веселой надеждой
Стали готовиться в путь. Но скажите мне, добрые люди,
Все ли сбывается так на земле, как надежда сулит нам?
Хитрая Власть, стерегущая нас для гибели нашей,
Сладкие песни, чудные сказки подмеченной жертве
На ухо часто поет, чтоб ее убаюкать. Напротив,
Часто спасительный божий посланник громко и страшно
В двери наши стучится. Как бы то ни было, наши
Путники весело плыли в первые дни по Дунаю:
День ото дня река становилась шире и виды
Пышных ее берегов живописней. Но вдруг – и на самом
Чудно-преlestном месте – открыл свои нападения
Бешеный Струй; то были сначала простые помехи
(Волны бурлили без ветра; ветер отвсюду, меняясь,
Дул и судно качал); но Ундина одною угрозой,
Словом сердитым одним на воздух и в воды смиряла
Силу врага; то было, однако, ненадолго: снова
Он гомозился, и снова Ундина его унимала;
Словом сказать, веселость дороги расстроилась вовсе.
В то же время гребцы, дивясь тому, что в глазах их
Делалось, между собою часто шептались; и скоро
Стали на все с подозреньем посматривать; самые слуги
Рыцаря, чувствуя что-то недоброе, диким и робким
Взором следили Господ; а Гульбранд, задумавшись грустно,
Сам про себя говорил: «Таково-то бывает, как скоро
Здесь неровные сходятся; худо, если вступает
В грешный союз земной человек с женой водяною».
Вот что, однако, себе в утешенье твердил он: «Ведь прежде

„Ich hab es ja nicht gewußt, daß sie ein Meerfräulein war. Mein ist das Unheil, das jeden meiner Schritte durch der tollen Verwandtschaft Grillen bannt und stört, aber mein ist nicht die Schuld.“ — Durch solcherlei Gedanken fühlte er sich einigermaßen gestärkt, aber dagegen ward er immer verdrießlicher, ja feindseliger wider Undinen gestimmt. Er sah sie schon mit mürrischen Blicken an, und die arme Frau verstand deren Bedeutung wohl. Dadurch und durch die beständige Anstrengung wider Kühleborns Listen erschöpft, sank sie gegen Abend, von der sanft gleitenden Barke angenehm gewiegt, in einen tiefen Schlaf.

Kaum aber, daß sie die Augen geschlossen hatte, so wählte jedermann im Schiffe, nach der Seite, wo er grade hinaussah, ein ganz abscheuliches Menschenhaupt zu erblicken, das sich aus den Wellen emporhob, nicht wie das eines Schwimmenden, sondern ganz senkrecht, wie auf den Wasserspiegel grade eingepfählt, aber mitschwimmend, so wie die Barke schwamm. Jeder wollte dem andern zeigen, was ihn erschreckte, und jeder fand zwar auf des andern Gesicht das gleiche Entsetzen, Hand und Auge nach einer andern Richtung hinzeigend, als wo ihm selbst das halb lachende, halb dräuende Scheusal vor Augen stand. Wie sie sich nun aber einander darüber verständigen wollten und alles rief: „Sieh dorthin, nein, dorthin!“ — da wurden jedwedem die Greuelbilder aller sichtbar, und die ganze Flut um das Schiff her wimmelte von den entsetzlichsten Gestalten. Von dem Geschrei, das sich darüber erhob, erwachte Undine. Vor ihren aufgehenden Augenlichtern verschwand der mißgeschaffnen Gesichter tolle Schar. Aber Huldbrand war empört über so viele häßliche Gaukeleien. Er wäre in wilde Verwünschungen ausgebrochen, nur daß Undine mit den demütigsten Blicken und ganz leise bittend, sagte: „Um Gott, mein Eheherr, wir sind auf den Fluten; zürne jetzt nicht auf mich.“ — Der Ritter schwieg, setzte sich und versank in ein tiefes Nachdenken. Undine sagte ihm ins Ohr: „Wär es nicht besser, mein Liebling, wir ließen die törichte Reise und kehrten nach Burg Ringstetten in Frieden zurück?“ — Aber Huldbrand murmelte feindselig: „Also ein Gefangner soll ich sein auf meiner eignen Burg? Und atmen nur können, solange der Brunnen zu ist? So wollt ich, daß die tolle Verwandtschaft“ — Da drückte

Сам я не ведал, кто она; правда, тяжело порою
Мне приходит от этой бесовской родни; но мое здесь
Горе, вина ж не моя». Хотя иногда и вливал он
Несколько бодрости в душу свою таким рассуждением,
Но зато, с другой стороны, все боле и боле
Против бедной Ундины был раздражаем. То слишком,
Слишком она понимала, и в смертную робость угрюмый
Рыцарев вид ее приводил. Утомленная страхом,
Горем и тщетной борьбой с необузданным Струем, присела
Под вечер к мачте она, и движение тихо плывущей
Лодки ее укачало: она погрузилась в глубокий
Сон. Но едва на мгновение одно успели закрыться
Светлые глазки ее, как вдруг перед каждым из бывших
В лодке, в той стороне, куда он смотрел, появилась,
Вынырнув с шумом из вод, голова с растворенным зубастым
Ртом и кривлялась, выпучив страшно глаза. Закричали
Разом все; отразился на каждом лице одинакий
Ужас, и каждый в свою указывал сторону с криком:
«Здесь! сюда посмотри!» И из каждой волны создастся
Вдруг голова с ужасным лицом, и поверхность Дуная
Вся как будто бы прыгала, вся сверкала глазами,
Щелкала множеством зуб, хохотала, гремела, шипела,
Шикала. Крик разбудил Ундину, и вмиг при воззренье
Гневном ее пропали страшилища все. Но рыцарь ужасно
Был раздражен; с умоляющим взглядом Ундина сказала:
«Ради Бога, здесь, на водах, меня не брани ты».
Он умолкнул, сел и задумался. «Друг мой, – шепнула
Снова Ундина, – не лучше ль нам дале не ездить? Не лучше ль
В замок Рингштеттен обратно отправиться? В замке
Будем спокойны». – «Итак, – проворчал, нахмурившись,
рыцарь, –
В собственном доме своем осужден я жить как невольник!
Только до тех пор и можно дышать мне, пока на колоде
Будет камень! Чтоб этой проклятой родне...» Но Ундина
Речь его перебила, с улыбкой ему наложивши
На губы руку. Опять замолчал он, вспомнив о данном

Undine schmeichelnd ihre schöne Hand auf seine Lippen. Er schwieg auch und hielt sich still, so manches, was ihm Undine früher gesagt hatte, erwägend.

Indessen hatte Bertalda sich allerhand seltsam umschweifenden Gedanken überlassen. Sie wußte vieles von Undinens Herkommen und doch nicht alles, und vorzüglich war ihr der furchtbare Kühleborn ein schreckliches, aber noch immer ganz dunkles Rätsel geblieben; so daß sie nicht einmal seinen Namen je vernommen hatte. Über alle diese wunderlichen Dinge nachsinnend, knüpfte sie, ohne sich dessen recht bewußt zu werden, ein goldnes Halsband los, welches ihr Huldrand auf einer der letzten Tagereisen von einem herumziehenden Handelsmann gekauft hatte, und ließ es dicht über der Oberfläche des Flusses spielen, sich halb träumend an dem lichten Schimmer ergötzend, den es in die abendhellen Gewässer warf. Da griff plötzlich eine große Hand aus der Donau herauf, erfaßte das Halsband und fuhr damit unter die Fluten. Bertalda schrie laut auf, und ein höhnisches Gelächter schallte aus den Tiefen des Stromes drein. Nun hielt sich des Ritters Zorn nicht länger. Aufspringend schalt er in die Gewässer hinein, verwünschte alle, die sich in seine Verwandtschaft und sein Leben drängen wollten, und forderte sie auf, Nix oder Sirene, sich vor sein blankes Schwert zu stellen. Bertalda weinte indes um den verlorenen, ihr so innig lieben Schmuck und goß mit ihren Tränen Öl in des Ritters Zorn, während Undine ihre Hand über den Schiffesbord in die Wellen getaucht hielt, in einem fort sacht vor sich hin murmelnd und nur manchmal ihr seltsam heimliches Geflüster unterbrechend, indem sie bittend zu ihrem Ehherrn sprach: „Mein Herzlichlieber, hier schilt mich nicht. Schilt alles, was du willst, aber hier mich nicht: Du weißt ja!“ — Und wirklich enthielt sich seine vor Zorn stammelnde Zunge noch jedes Wortes unmittelbar wider sie. Da brachte sie mit der feuchten Hand, die sie unter den Wogen gehalten hatte, ein wunderschönes Korallenhalsband hervor, so herrlich blitzend, daß allen davon die Augen fast geblendet wurden. „Nimm hin“, sagte sie, es Bertalden freundlich hinhaltend; „das hab ich dir zum Ersatz bringen lassen, und sei nicht weiter betrübt, du armes Kind.“ — Aber der Ritter sprang dazwischen. Er riß den schönen Schmuck Undinen aus der Hand, schleuderte ihn wieder in den Fluß und schrie wutentbrannt: „So hast du

Им обещанье Ундине. В эту минуту Бертальда,
В мыслях о том, что делалось с ними, сидела на крае
Лодки и в воды глядела; сама того не приметив,
С шеи своей она сняла ожерелье, подарок
Рыцаря; им водила она на поверхности ровных
Вод, любуясь, как будто сквозь сон, сверканьем жемчужных
Зерен в прозрачной, вечерним лучом орумяненной влаге.
Вдруг расступилась вода, и кто-то, огромную руку
Высунув, ею схватил ожерелье и быстро пропал с ним.
Вскрикнула громко Бертальда, и хохот пронзительный грянул
Отзывом крика ее по водам. Тут более рыцарь
Гнева не мог удержать; он вскочил в исступленье и в реку
Начал кричать, вызывая на битву с собой всех подводных
Демонов, никс и сирен; а Бертальда своим безутешным
Плачем о милой утрате и пуще его раздражала.
Тою порою Ундина, к реке наклонясь, окунула
Руку в прозрачные волны и что-то над ними шептала;
Но поминутно она прерывала свой шепот, Гульбранду
Голосом нежным твердя: «Возлюбленный, милый, подумай,
Где мы; брани их как хочешь; со мной же ни слова; ни слова,
Ради Бога, со мною одною; ты знаешь». И рыцарь
Как ни был раздражен, но ее пощадил. Вдруг Ундина
Вынула влажную руку из вод, и в ней ожерелье
Было из чудных кораллов; своим очарованным блеском
Всех ослепило оно. Его подавая Бертальде,
«Вот что, – сказала она, – для тебя из реки мне прислали,
Друг мой, в замену потери твоей. Возьми же, и полно
Плакать». Но рыцарь в бешенстве кинулся к ней, ожерелье
Вырвал, швырнул в Дунай и воскликнул: «Ты с ними
Все еще водишь знакомство, лукавая тварь! пропади ты
Вместе с своими подарками, вместе с своею роднею!
Сгинь, чародейка, от нас и оставь нас в покое!..» С рукою,
Все еще поднятой вверх, как держала она ожерелье,
Бледная, страхом убитая, взор неподвижный, но полный
Слез устремив на Гульбранда, Ундина его слова роковые
Слушала; вдруг начала, как милый ребенок, который

denn immer Verbindung mit ihnen? Bleib bei ihnen in aller Hexen Namen mit all deinen Geschenken und laß uns Menschen zufrieden, Gauklerin du!“ — Starren, aber tränenströmenden Blickes sah ihn die arme Undine an, noch immer die Hand ausgestreckt, mit welcher sie Bertalden ihr hübsches Geschenk so freundlich hatte hinreichen wollen. Dann fing sie immer herzlicher an zu weinen, wie ein recht unverschuldet und recht bitterlich gekränktes liebes Kind. Endlich sagte sie ganz matt: „Ach, holder Freund, ach, lebe wohl! Sie sollen dir nichts tun; nur bleibe treu, daß ich sie dir abwehren kann. Ach, aber fort muß ich, muß fort auf diese ganze junge Lebenszeit. O weh, o weh, was hast du angerichtet! O weh, o weh!“

Und über den Rand der Barke schwand sie hinaus. — Stieg sie hinüber in die Flut, verströmte sie darin, man wußte es nicht, es war wie beides und wie keins. Bald aber war sie in die Donau ganz verronnen; nur flüsterten noch kleine Wellchen schluchzend um den Kahn, und fast vernehmlich war's als spräche sie: „O weh, o weh! Ich bleibe treu! O weh!“ —

Huldbrand aber lag in heißen Tränen auf dem Verdecke des Schiffes, und eine tiefe Ohnmacht hüllte den Unglücklichen bald in ihre mildernden Schleier ein.

ACHTZEHNTE KAPITEL

Wie der Ritter Huldbrand Hochzeit hielt

Wenn ich euch erzählen sollte, wie es bei der Hochzeitfeier auf Burg Ringstetten zuging, so würde euch zumute werden, als sähet ihr eine Menge von blanken und erfreulichen Dingen aufgehäuft, aber darüberhin einen schwarzen Trauerflor gebreitet, aus dessen verdunkelnder Hülle hervor die ganze Herrlichkeit minder einer Lust gliche als einem Spott über die Nichtigkeit aller irdischen Freuden. Es war nicht etwa, daß irgendein gespenstisches Unwesen die festliche Geselligkeit verstört hätte, denn wir wissen ja, daß die Burg vor den Spukereien der dräuenden Wassergeister eine gefeite Stätte war. Aber es war dem Ritter und dem Fischer und allen Gästen zumute, als fehle noch die Hauptperson bei dem Feste und als müsse diese

Был без вины жестоко наказан, с тяжким рыданьем
Плакать и вот что сказала потом истощенным от горя
Голосом: «Ах, мой сладостный друг! ах, прости невозвратно!
Их не бойся; останься лишь верен, чтоб было мне можно
Зло от тебя отвратить. Но меня уводят; отсюда
Прочь мне должно на всю молодую жизнь... о мой милый,
Что ты сделал! ах, что ты сделал! о горе! о горе!..»
Тут из лодки быстро она в реку ускользнула:
В воду ль она погрузилась, сама ли водой разлилася,
В лодке никто не приметил; было и то и другое,
Было ни то ни другое. Следа не оставив, в Дунае
Вся распустилась она; но долго мелкие струйки
Около судна шептали, журчали, рыдая; и вслух доходили
Внятно как будто слова: «О горе! будь верен! о горе!..»
С жалобным криком рыцарь упал, и обморок сильный
Душу ему на минуту отвел от тяжелыя муки.

ГЛАВА XVIII

О том, как рыцарь праздновал свадьбу

Если рассказывать мне, читатель, подробно, каков был
В замке Рингштеттене свадебный пир, то будет с тобою
То же, как если бы вдруг ты увидел множество всяких
Редких сокровищ, покрытых траурным флером, и в этом
Злую насмешку нашел над ничтожностью счастья земного.
Правда, в этот свадебный день ничего не случилось
Страшного в замке – духам водяным, уж это мы знаем,
Было проникнуть в него нельзя, – но со всем тем наш рыцарь,
Гости, рыбак и даже служители были все как-то
Смутны; казалось всем, что на празднике с ними кого-то
Главного нет и что этим главным никто уж не мог быть,
Кроме смиренной, ласковой, всеми любимой Ундины.

Hauptperson die allgeliebte freundliche Undine sein. Sooft eine Tür aufging, starrten aller Augen unwillkürlich dahin, und wenn es dann weiter nichts war als der Hausmeister mit neuen Schüsseln oder der Schenk mit einem Trunk noch edlern Weins, blickte man wieder trüb vor sich hin, und die Funken, die etwa hin und her von Scherz und Freude aufgeblitzt waren, erloschen in dem Tau wehmütigen Erinnerns. Die Braut war von allen die leichtsinnigste und daher auch die vergnügteste; aber selbst ihr kam es bisweilen wunderlich vor, daß sie in dem grünen Kranze und den goldgestickten Kleidern an der Oberstelle der Tafel sitze, während Undine als Leichnam starr und kalt auf dem Grunde der Donau liege oder mit den Fluten forttreibe ins Weltmeer hinaus. Denn seit ihr Vater ähnliche Worte gesprochen hatte, klangen sie ihr immer vor den Ohren und wollten vorzüglich heute weder wanken noch weichen.

Die Gesellschaft verlor sich bei kaum eingebrochener Nacht; nicht aufgelöst durch des Bräutigams hoffende Ungeduld, wie sonst Hochzeitversammlungen, sondern nur ganz trüb und schwer auseinander gedrückt durch freudlose Schwermut und Unheil kündende Ahnungen. Bertalda ging mit ihren Frauen, der Ritter mit seinen Dienern, sich auszukleiden: von dem scherzend fröhlichen Geleit der Jungfrauen und Junggesellen bei Braut und Bräutigam war an diesem trüben Feste die Rede nicht.

Bertalda wollte sich aufheitern; sie ließ einen prächtigen Schmuck, den Huldbrand ihr geschenkt hatte, samt reichen Gewanden und Schleiern vor sich ausbreiten, ihren morgenden Anzug aufs schönste und heiterste daraus zu wählen. Ihre Dienerinnen freueten sich des Anlasses, vieles und Fröhliches der jungen Herrin vorzusprechen, wobei sie nicht ermangelten, die Schönheit der Neuvermählten mit den lebhaftesten Worten zu preisen. Man vertiefte sich mehr und mehr in diese Betrachtungen, bis endlich Bertalda, in einen Spiegel blickend, seufzte: „Ach, aber seht ihr wohl die werdenden Sommersprossen hier seitwärts am Halse?“ — Sie sahen hin und fanden es freilich, wie es die schöne Herrin gesagt hatte, aber ein liebliches Mal nannten sie's, einen kleinen Flecken, der die Weiße der zarten Haut noch erhöhe. Bertalda schüttelte den Kopf und meinte, ein Makel bleib es doch immer. — „Und ich könnte es los sein“, seufzte sie endlich. „Aber der Schloßbrunnen ist zu, aus dem ich sonst immer

Всякий раз, когда отворялися двери, невольно
Все на них обращали глаза и ждали; когда же
Вместо желанной являлся иль с блюдом дворецких,
иль ключник
С кубком вина благородного, каждый печально в тарелку
Взор опускал и сидел безгласен, как будто бы в грустной
Думе о прошлом. Всех веселее была молодая;
Но и ей самой как будто совестно было
В брачном зеленом венце, в жемчугах и в богатом венчальном
Платье на первом месте сидеть, тогда как Ундина
«Трупом, еще не отпетым, на дне Дуная лежала
Или носима была без приюта морскими волнами».
Эти отцовы слова и прежде мучили ей сердце;
Тут же они отзывались в ушах ее беспрестанно.
Рано гости оставили замок, и каждый с каким-то
Тяжким предчувствием. Рыцарь пошел к себе, молодая
Также к себе – раздеваться. Кругом новобрачной
Были прислужницы. Вот, чтоб немного свои порассеять
Черные мысли, Бертальда велела подать дорогие
Перстни, жемчужные нитки и платья, рыцарем к свадьбе
Ей подаренные; стала примеривать то и другое.
Льстя ей, прислужницы вслух восхищались ее красотой:
С видом довольным слушая их, Бертальда смотрелась
В зеркало; вдруг сказала: «Ах! боже! какая досада!
Вот опять у меня на шее веснушки! а можно б
Тотчас согнать их; стоило б только водой из колодца
Нашего раз обтереться; ах! если б мне нынче ж хоть
кружку

Этой воды достали!» – «О чем же тут думать?» – сказала,
Бросившись в двери, одна из прислужниц. Неужто успеет
Эта проказница камень поднять! – с довольной усмешкой
Вслед за нею смотря, Бертальда подумала. Скоро
Сделался шум на дворе: с рычагами к колодцу бежали
Люди. Бертальда села подле окна, и при ярком
Блеске полной луны, освещавшем двор замка, ей было
Видно все, что делалось там. Работники дружно

das köstliche, hautreinigende Wasser schöpfen ließ. Wenn ich doch heut nur eine Flasche davon hätte!“ — „Ist es nur das?“ lachte eine behende Dienerin und schlüpfte aus dem Gemach. — „Sie wird doch nicht so toll sein“, fragte Bertalda wohlgefällig erstaunt, „noch heut abend den Brunnenstein abwälzen zu lassen?“ — Da hörte man bereits, daß Männer über den Hof gingen, und konnte aus dem Fenster sehn, wie die gefällige Dienerin sie grade auf den Brunnen losführte und sie Hehebäume und andres Werkzeug auf den Schultern trugen. — „Es ist freilich mein Wille“, lächelte Bertalda; „wenn es nur nicht zu lange währt.“ — Und froh im Gefühl, daß ein Wink von ihr jetzt vermöge, was ihr vormals so schmerzhaft geweigert worden war, schaute sie auf die Arbeit in den mondhellen Burghof hinab.

Die Männer hoben mit Anstrengung an dem großen Steine; bisweilen seufzte wohl einer dabei, sich erinnernd, daß man hier der geliebten vorigen Herrin Werk zerstöre. Aber die Arbeit ging übrigens viel leichter, als man gemeint hatte. Es war, als hülfe eine Kraft aus dem Brunnen heraus den Stein emporbringen. — „Es ist ja“, sagten die Arbeiter erstaunt zueinander, „als wäre das Wasser drinnen zum Springborne worden.“ — Und mehr und mehr hob sich der Stein, und fast ohne Beistand der Werkleute rollte er langsam mit dumpfem Schallen auf das Pflaster hin. Aber aus des Brunnens Öffnung stieg es gleich einer weißen Wassersäule feierlich herauf; sie dachten erst, es würde mit dem Springbrunnen Ernst, bis sie gewahrten, daß die aufsteigende Gestalt ein bleiches, weißverschleiertes Weibsbild war. Das weinte bitterlich; das hob die Hände ängstlich ringend über das Haupt und schritt mit langsam ernstem Gange nach dem Schloßgebäu. Auseinander stob das Burggesind vom Brunnen fort, bleich stand, Entsetzens starr, mit ihren Dienerinnen die Braut am Fenster. Als die Gestalt nun dicht unter deren Kammern hinschritt, schaute sie winselnd nach ihr empor, und Bertalda meinte, unter dem Schleier Undinens bleiche Gesichtszüge zu erkennen. Vorüber aber zog die Jammernde, schwer, gezwungen, zögernd, wie zum Hochgericht. Bertalda schrie, man solle den Ritter rufen; es wagte sich keine der Zofen aus der Stelle, und auch die Braut selber verstummte wieder, wie vor ihrem eignen Laut erbebend.

Während jene noch immer bang am Fenster standen, wie

Двинули камень, хотя иному из них и прискорбно
Было подумать, что им теперь надлежало разрушить
То, что было приказано сделать прежнею, доброй
Их госпожою; но труд был не так-то велик, как сначала
Думали; им извнутри колодца как будто какая
Сила камень поднять помогала. Дивясь, говорили
Между собою работники: «Можно подумать, что бьет там
Сильный ключ». И в самом деле, с отверстия камень
Сам собой подымался; без всякой помощи, свободно
Сдвинулся он и, со стуком глухим откатясь, повалился.
Вдруг из колодца что-то, как будто белый прозрачный
Столб водяной, поднялося торжественно, тихо. Сначала
Подлинно бьющим ключом показалось оно, но, поднявшись
Выше, каким-то бледным, в белый покров облеченным
Женским образом стало. И плача и жалобно руки
Вверх подымая, оно медлительно, шагом воздушным
Прямо к замку двигалось. В ужасе все отбежали
Прочь от колодца. Бертальда же, стоя в окне, цепенела,
Холодом страха облитая. Вот, когда поравнялся
С самым окошком идущий образ, сквозь покрывало
Он поглядел на Бертальду пронзительным оком, с тяжелым
Вздохом; и бледным лицом Ундины тогда показался
Образ Бертальде: мимо ее она, упинаясь,
Нехотя, медленно шла, как будто на суд. «Позовите
Рыцаря!» – громко вскричала Бертальда. Но все в неподвижном
Страхе стояли на месте. Сама Бертальда, как будто
Собственным криком своим приведенная в ужас, умолкла.
Тою порою чудесная гостья приблизилась к двери
Замка, знакомую лестницу, ряд знакомых покоев
Тихо, молча, плача, прошла... о, такую ль, бывало,
Здесь видали ее? В то время еще не раздетый
Рыцарь в уборной своей стоял перед зеркалом. Тусклый
Свет проливала свеча. Вдруг кто-то легонько
Стукнул в дверь... так точно, бывало, стучалась Ундина.
«Все это призрак! – сказал он. – Пора мне в постелю».

– «В постеле

Bildsäulen regungslos, war die seltsame Wanderin in die Burg gelangt, die wohlbekanntes Treppen hinauf, die wohlbekanntes Hallen durch, immer in ihren Tränen still. Ach, wie so anders war sie einstens hier umgewandelt! —

Der Ritter aber hatte seine Diener entlassen. Halbausgekleidet in betrübten Sinnen, stand er vor einem großen Spiegel; die Kerze brannte dunkel neben ihm. Da klopfte es an die Tür mit leisem, leisem Finger. Undine hatte sonst wohl so geklopft, wenn sie ihn freundlich necken wollte. — „Es ist alles nur Phantasterei!“ sagte er zu sich selbst. „Ich muß ins Hochzeitbett.“ — „Das mußt du, aber in ein kaltes!“ hörte er eine weinende Stimme draußen vor dem Gemache sagen, und dann sah er im Spiegel, wie die Tür aufging, langsam, langsam, und wie die weiße Wanderin hereintrat und sittig das Schloß wieder hinter sich zudrückte. „Sie haben den Brunnen aufgemacht“, sagte sie leise, „und nun bin ich hier, und nun mußt du sterben.“ — Er fühlte in seinem stockenden Herzen, daß es auch gar nicht anders sein könne, deckte aber die Hände über die Augen und sagte: „Mache mich nicht in meiner Todesstunde durch Schrecken toll. Wenn du ein entsetzliches Antlitz hinter dem Schleier trägst, so lüfte ihn nicht, und richte mich, ohne daß ich dich schaue.“ — „Ach“, entgegnete die Wanderin, „willst du mich denn nicht noch ein einziges Mal sehn? Ich bin schön, wie als du auf der Seespitze um mich warbst.“ — „O wenn das wäre!“ seufzte Huldbrand; „und wenn ich sterben dürfte an einem Kusse von dir.“ — „Recht gern, mein Liebling“, sagte sie. Und ihre Schleier schlug sie zurück, und himmlisch schön lächelte ihr holdes Antlitz daraus hervor. Behend vor Liebe und Todesnähe neigte sich der Ritter ihr entgegen, sie küßte ihn mit einem himmlischen Kusse, aber sie ließ ihn nicht mehr los, sie drückte ihn inniger an sich und weinte, als wolle sie ihre Seele fortweinen. Die Tränen drangen in des Ritters Augen und wogten im lieblichen Wehe durch seine Brust, bis ihm endlich der Atem entging und er aus den schönen Armen als ein Leichnam sanft auf die Kissen des Ruhebettes zurücksank.

„Ich habe ihn totgeweint!“ sagte sie zu einigen Dienern, die ihr im Vorzimmer begegneten, und schritt durch die Mitte der Erschreckten langsam nach dem Brunnen hinaus.

Будешь ты скоро, но только в холодной», – шепнул за дверями Плачущий голос. И в зеркало рыцарь увидел, как двери Тихо, тихо за ним растворились, как белая гостья В них вошла, как чинно замок заперла за собою. «Камень с колодца сняли, – она промолвила тихо, – Здесь я; и должен теперь умереть ты». Холод, по сердцу Рыцаря вдруг пробежавший, почувствовать дал, что минута Смерти настала. Зажавши руками глаза, он воскликнул: «О, не дай мне в последний мой час обезуметь от страха! Если ужасен твой вид, не снимай покрывала и строгий Суд соверши надо мной, мне лица твоего не являя». – «Ах! – она отвечала, – разве еще раз увидеть, Друг, не хочешь меня? Я прекрасна, как прежде, как в оный День, когда твоею невестою стала». – «О, если б Это правда была! – Гюльбранд воскликнул. – О, если б Мне хоть один поцелуй от тебя! И пускай бы В нем умереть!» – «Охотно, возлюбленный мой», – покрывало Снявши, сказала она; и прекрасной Ундиною, прежней Милой, любящей, любимой Ундиною первых, блаженных Дней предстала. И он, трепеща от любви и от близкой Смерти, склонился к ней в руки. С небесным она поцелуем В руки его приняла, но из них уже не пустила Боле его; а крепче, все крепче к нему прижимаясь, Плакала, плакала тихо, плакала долго, как будто Выплакать душу хотела; и быстро, быстро лиясь, Слезы ее проникали рыцарю в очи и с сладкой Болью к нему заливались в грудь, пока напоследок В нем не пропало дыхание и он не упал из прекрасных Рук Ундины бездушным трупом к себе на подушку. «Я до смерти его уплакала», – встреченным ею Людям за дверью сказала Ундина и тихим, воздушным Шагом по двору, мимо Бертальды, мимо стоявших В страхе работников, прямо прошла к колодцу, безгласной, Грустной тенью спустилась в его глубину и пропала.

NEUNZEHNTES KAPITEL

Wie der Ritter Huldbrand begraben ward

Der Pater Heilmann war auf das Schloß gekommen, sobald des Herrn von Ringstetten Tod in der Gegend kundgeworden war, und just zur selben Stunde erschien er, wo der Mönch, welcher die unglücklichen Vermählten getraut hatte, von Schreck und Grausen überwältigt, aus den Toren floh. — „Es ist schon recht“, entgegnete Heilmann, als man ihm dieses ansagte: „Und nun geht mein Amt an, und ich brauche keines Gefährten.“ — Darauf begann er die Braut, welche zur Witwe worden war, zu trösten, sowenig Frucht es auch in ihrem weltlich lebhaften Gemüte trug. Der alte Fischer hingegen fand sich, obzwar von Herzen betrübt, weit besser in das Geschick, welches Tochter und Schwiegersohn betroffen hatte, und während Bertalda nicht ablassen konnte, Undinen Mörderin zu schelten und Zauberin, sagte der alte Mann gelassen: „Es konnte nun einmal nicht anders sein. Ich sehe nichts darin als die Gerichte Gottes, und es ist wohl niemanden Huldbrands Tod mehr zu Herzen gegangen als der, die ihn verhängen mußte, der armen, verlaßnen Undine!“ — Dabei half er die Begräbnisfeier anordnen, wie es dem Range des Toten geziemte. Dieser sollte in einem Kirchdorfe begraben werden, auf dessen Gottesacker alle Gräber seiner Ahnherrn standen und welches sie, wie er selbst, mit reichlichen Freiheiten und Gaben geehrt hatten. Schild und Helm lagen bereits auf dem Sarge, um mit in die Gruft versenkt zu werden, denn Herr Huldbrand von Ringstetten war als der letzte seines Stammes verstorben; die Trauerleute begannen ihren schmerzvollen Zug, Klagelieder in das heiter stille Himmelsblau hinaufsingend, Heilmann schritt mit einem hohen Kruzifix voran, und die trostlose Bertalda folgte, auf ihren alten Vater gestützt. — Da nahm man plötzlich inmitten der schwarzen Klagefrauen in der Wittib Gefolge eine schneeweiße Gestalt wahr, tief verschleiert, und die ihre Hände inbrünstig jammernd emporwand. Die, neben welchen sie ging, kam ein heimliches Grauen an, sie wichen zurück oder seitwärts, durch ihre Bewegung die andern, neben die nun die weiße Fremde zu gehen kam, noch sorglicher er-

ГЛАВА XIX

О том, как рыцарь был погребен

Патер Лаврентий, услышав о том, как внезапно и чудно
Кончил жизнь владетель замка Рингштеттена, тотчас
В замке явился; и он, входя во двор, осененный
Липами, встретился там с монахом, недавно венчавшим
Рыцаря: в ужасе тот удалиться спешил. «Так и должно! –
Патер Лаврентий сказал. – Теперь моя наступила
Очередь; мне помощник не нужен». Хотел он невесте,
Вдруг овдовевшей, отрадное слово сказать в подкрепление;
Но Бертальда, ему не внимая, молчала угрюмо.
Старый рыбак молился и плакал и, в горе смиряясь,
Думал: «Оно иначе и быть не могло – то Господний
Суд»; и, конечно, Гульбрандова смерть никому не могла быть
Так тяжела, как именно той, которую с смертной
Вестью прислали к нему, отверженной, бедной Ундине.
Стали готовить обряд похоронный, как было прилично
Сану покойника: тело его положить надлежало
Подле церкви приходской, там, где были гробницы
Предков его, одаривших множеством вкладов богатых
Эту церковь. И щит и шлем уж лежали на кровле
Гроба, чтоб с ним опуститься в могилу, ибо наш рыцарь
Был последний в роде своем, который с ним вместе
Кончился весь. И ход печальный уже начинался;
Песнь погребальная к светло-спокойной небесной лазури
Тихо всходила; с длинным крестом, во всем облаченье
Патер Лаврентий шел впереди; за ним шла Бертальда,
В горьких слезах, на дряхлую руку отца опираясь.
Вдруг посреди Бертальдиных женщин, одетых в глубокий
Траур и шедших в свите ее, заметили белый
Образ, в длинном, густом покрывале, тихо идущий,
Грустно потупивши голову. Страхом проникнут был каждый,
Шедший подле такого товарища; все сторонились,
Пятились, так что порядок хода расстроился. Силой

schreckend, so daß schier darob eine Unordnung unter dem Trauergefolge zu entstehen begann. Es waren einige Kriegersleute so dreist, die Gestalt anreden und aus dem Zuge fortweisen zu wollen, aber denen war sie wie unter den Händen fort und ward dennoch gleich wieder mit langsam feierlichem Schritte unter dem Leichengefolge mitziehend gesehn. Zuletzt kam sie während des beständigen Ausweichens der Dienerinnen bis dicht hinter Bertalda. Nun hielt sie sich höchst langsam in ihrem Gange, so daß die Wittib ihrer nicht gewahr ward und sie sehr demütig und sittig hinter dieser ungestört fortwandelte.

Das wahrte, bis man auf den Kirchhof kam und der Leichenzug einen Kreis um die offene Grabstätte schloß. Da sah Bertalda die ungebotene Begleiterin, und halb in Zorn, halb in Schreck auffahrend, gebot sie ihr, von der Ruhestätte des Ritters zu weichen. Die Verschleierte aber schüttelte sanft verneinend ihr Haupt und hob die Hände wie zu einer demütigen Bitte gegen Bertalda auf, davon diese sich sehr bewegt fand und mit Tränen daran denken mußte, wie ihr Undine auf der Donau das Korallenhalsband so freundlich hatte schenken wollen. Zudem winkte Pater Heilmann und gebot Stille, da man über dem Leichnam, dessen Hügel sich eben zu häufen begann, in stiller Andacht beten wolle. Bertalda schwieg und kniete, und alles kniete, und die Totengräber auch, als sie fertig geschaufelt hatten. Da man sich aber wieder erhob, war die weiße Fremde verschwunden; an der Stelle, wo sie gekniet hatte, quoll ein silberhelles Brunnlein aus dem Rasen, das rieselte und rieselte fort, bis es den Grabhügel des Ritters fast ganz umzogen hatte; dann rann es fürder und ergoß sich in einen stillen Weiher, der zur Seite des Gottesackers lag. Noch in späten Zeiten sollen die Bewohner des Dorfes die Quelle gezeigt und fest die Meinung gehegt haben, dies sei die arme, verstoßene Undine, die auf diese Art noch immer mit freundlichen Armen ihren Liebling umfasse.



Два смельчака хотели незваного из ряду вывести;
Но, от них ускользнувши, как легкая тень,

он на прежнем

Месте явился опять и последовал тихо за гробом.
Вот напоследок он мало-помалу, меняясь местом
С теми, кто в страхе спешил от него удалиться, подле
Самой вдовы очутился; но ею сначала примечен
Не был и сзади пошел смиренно-печальный. Достигнул
Ход до кладбища, и все обступили могилу.

Тут в первый

Раз Бертальда незваного гостя увидела, в страхе
Стала она рукою махать, чтоб он удалился;
Но покровенный, кротко упорствуя, тряс головою,
Руки к ней простирал и как будто молил о пощаде.
Вспомнила тут невольно Бертальда Ундину, как руку
К ней она подняла на Дунае, когда ей хотела
Так добродушно подать ожерелье, и как под водами
Скрылась потом навсегда. Но в это мгновенье подал
Знак отец Лаврентий, чтоб все умолкли. И стали
Гроб опускать в могилу, и мало-помалу засыпан
Был он землею. Когда же совсем был набросан могильный
Холм и читать последнюю начал молитву священник,
Стала вдова на колени, стали и все на колени,
В том числе и могильщики, кончивши насыпь. Когда же
Снова все встали... уж белый образ пропал; а на месте,
Где он стоял на коленях, сквозь травку сочился прозрачный
Ключ; серебристо вяясь, он вперед пробирался, куда
Всей не обвил могилы; тогда ручейком побежал он
Дале и бросился в светлое озеро ближней долины.
Долго, долго спустя про него тех мест поселяне
Чудную повесть любили прохожим рассказывать; долго,
Долго жило поверье у них, что ручей тот Ундина,
Добрая, верная, слитая с милым и в гробе Ундина.



Adelbert von Chamisso

SAGE VON ALEXANDERN

Nach dem Talmud

In alten Büchern stöbr ich gar zu gern,
Die neuen munden selten meinem Schnabel,
Ich bin schon alt, das Neue liegt mir fern.
Und manche Sage steigt, und manche Fabel
Verjüngt hervor aus längst vergeßnem Staube,
Von Ahasverus, von dem Bau zu Babel,
Von Weibertreu, verklärt in Witwenhaube,
Von Josua, und dann von Alexandern,
Den ich vor allen unerschöpflich glaube;
Der strahlt, ein heller Stern, vor allen andern;
Wer gründlich weiß die Mitwelt zu verheeren,
Muß unvergeßlich zu der Nachwelt wandern.
Wer recht uns peitscht, den lernen wir verehren;
Doch plaudert das Geheimnis mir nicht aus,
Und sorgt nur eure Gläser schnell zu leeren.
Ich geh euch alten Wein beim schmalen Schmaus
Und tisch euch auf veraltete Geschichten,
Ihr seid in eines alten Schwätzers Haus.
Ich will von Alexandern euch berichten,
Was ich im Talmud aufgezeichnet fand,
Ich wage nicht ein Wort hinzuzudichten.
Durch eine Wüste zog der Held, ins Land,
Das drüben lag, Verwüstung zu verbreiten,
Da fand er sich an eines Flusses Rand;
Und er gebot zu rasten, von dem weiten
Fahrvollen Marsch erschöpft, und hieß sein Mahl
Am schönbegrünnten Ufersaum bereiten.

Адельберт фон Шамиссо

Из «Две повести» (I)

Недавно мне случилось найти
Предание о древнем Александре
В талмуде. Я хочу преданье это
Здесь рассказать так точно, как оно
Рассказано в еврейской древней книге.
Через песчаную пустыню шел
С своею ратью Александр; в страну,
Лежавшую за рубежом пустыни,
Он нес войну. И вдруг пришел к реке
Широкой он. Измученный путем
По знойному песку, на тучном берегу
Реки он рать остановил; и скоро вся
Она заснула в глубине долины,
Прохладою потока освеженной.
Но Александр заснуть не мог; и в зной
И посреди спокойствия долины,
Где не было следа тревог житейских,
Нетерпеливой он кипел душою;
Ее и миг покоя раздражал;
Погибель войск, разрушенные троны,
Победа, власть, вселенной рабство, слава
Носилися пред ней, как привиденья.

So still und friedlich blühend war das Tal,
So klar der Strom, der Schatten von den Bäumen
So duftig kühl im heißen Mittagsstrahl.
Doch mochte nur der Ungestüme träumen
Geraubte Kronen und vergoßnes Blut,
Verdrossen, hier die Stunden zu versäumen.
Er stieg, des Durstes fieberhafte Glut
Zu löschen, zu dem Wasserspiegel nieder,
Er schöpfte, trank die kühle, klare Flut;
Und wie er die getrunken, fühlt' er wieder
So wunderbar verjüngt den Busen schwellen,
So hohe Kraft durchströmen seine Glieder.
Da wußt er nun, daß dieses Flusses Wellen
Entströmten einem segensreichen Lande,
Und Fried und Glück umblühten seine Quellen.
Dahin, dahin mit Schwert und Feuerbrande!
Sie müssen dort auch unsern Mut erfahren,
Und kosten unsern Stahl und unsre Bande!
Da hieß er schnell sich rüsten seine Scharen,
Und drang den Strom hinauf beharrlich vor,
Das Land zu suchen, wo die Quellen waren.
Und mancher Tapfre schon den Mut verlor, —
Vor drang der kühne Held doch unverdrossen;
So kam er vor des Paradieses Tor.
Fest aber war das hohe Tor verschlossen,
Davor ein Wächter, der gebot ihm Halt
Mit Blitzesschwert und Donnerkeilgeschossen.
Zurück! zurück! was frommte dir Gewalt?
Ein Mächtigerer hat mich hier bestellt,
Des Herrn und heilig ist der Aufenthalt.
Und er darauf: ich bin der Herr der Welt,
Bin Alexander. Jener drauf: vergebens!
Du hast dein Urteil selber dir gefällt.
Dem Sel'gen öffnet sich das Tor des Lebens,
Der selber sich beherrscht, nicht Deinesgleichen,
Dem stolzen Sohn des blutig wirren Strebens.
Drauf Alexander: muß vor dir ich weichen,
Nachdem ich diese Stufen schon betrat,
Gib, daß ich sie betreten, mir ein Zeichen;
Ein Mal; die Welt erfahre, was ich tat,
Erfahre, daß dem Tor des Paradieses

Он подошел к потоку, наклонился,
Рукою зачерпнул воды студеной
И напился; и чудо освежила
Божественно-целительная влага
Его все члены; в грудь его проникла
Удвоенная жизнь. И понял он,
Что из страны, благословенной небом,
Такой поток был должен вытекать,
Что близ его истоков надлежало
Цвести земному счастью; что, верно,
Там в благоденствии, в богатстве, в мире
Свободные народы ликовали.
«Туда! туда! с мечом, с огнем войны!
Моей они должны поддаться власти
И от меня удел счастливый свой
Принять, как дар моей щедроты царской».
И он велел греметь трубе военной;
И раздалась труба, и пробудилась,
Минутный сон вкусивши, рать; и быстро
Ее поток, кипящий истребленьем,
Вдоль мирных берегов реки прекрасной
К ее истокам светлым побежал.
И много дней, не достигая цели,
Вел Александр свои полки. Куда же
Он наконец привел их? Ко вратам
Эдема. Но пред ним не отворился
Эдем; был страж у врат с таким ужасно
Пылающим мечом, что задрожала
И Александрова душа, его
Увидя. «Стой, – сказал привратник чудный, –
Кто б ни был ты, сюда дороги нет».

Der König Alexander sich genaht.
Darauf der Wächter: seis gewährt! nimm dieses.
Wie töricht deiner Weisen Weisheit war,
Dein blöder Wahn, dein Frevelmut bewies es.
Nimm, was es dir zuschreiben möge, wahr
Und lern es, Unbesonnener, erwägen,
Es hegt der Weisheit Lehren wunderbar.
Nimm hin, und Weisheit leuchte deinen Wegen!
Er nahms und ging. Ihr aber, Freunde: trinkt!
Verträumt mir nicht den lieben Gottesegen.
O, lernt beherzt die Freude, die euch winkt,
Mit rascher Lust, wie sichs gebührt, erfassen,
Und leert den Becher, wann er perlend blinkt!
Ich hätt es, glaubts mir, weislich unterlassen,
Wär jener ich gewesen, meine Tage,
Die kurzgezählten, blutig zu verprassen.
Ich lieb und lobe mir, daß ichs euch sage,
Die Ruh, den Schatten und ein liebend Weib,
Die mich verschont mit leidger Liebesklage.
Die Kinder sind mein liebster Zeitvertreib,
Nur halt ich, die unbändig bengelhaft
Unmäßig schreien, ferne mir vom Leib.
Ich lieb und lobe mir die Wissenschaft,
Und dann die heitre Kunst, der Musen Gabe,
Und wackrer Freunde Kunstgenossenschaft.
Ich liebe, hört ihr, was ich alles habe;
Doch lieb ich auch, was ich entbehren muß,
Den Wein, woran mein Menschenherz sich labe.
Ich trinke meist nur Wasser aus dem Fluß,
Und kanns mit bestem Willen doch nicht loben;
Getrunken hab ichs mir zum Überdruß.
Hat Menzel mir den Lorbeerkranz gewoben,
Und hat auch Deutschland Einspruch nicht getan,
Ich wollt, ich hätte bessern Lohn erhoben.
Den Lorbeer biet ich meiner Frauen an,
Sie braucht ihn in der Wirtschaft nicht, und ehrlich
Gestanden, ists damit ein leerer Wahn.
Der Lorbeer und der Hochmut sind gefährlich;
Von Deutschland möcht ich lieber mir bedingen
Ein Fäßchen Wein, ich mein ein Fäßchen jährlich.
Und welche Lieder wollt ich da nicht singen!

«Я царь земли, – воскликнул Александр,
Прогневанный нежданым запрещеньем, –
Царем земных царей я здесь поставлен.
Я Александр!» – «Ты сам свой приговор,
Назвавшись, произнес; одни страстей
Мятежных обуздатели, одни
Душой смиренные вратами жизни
Вступают в рай; тебе ж подобным, мира
Грабителям, ненасытимо жадным,
Рай затворен». На это Александр:
«Итак, назад мне должно обратиться.
Тогда, как я уже стоял ногой
На этих ступенях, туда проникнув,
Где от созданья мира ни один
Из смертных не бывал. По крайней мере,
Дай знамение мне, чтобы могла
Проведать вся земля, что Александр
У врат эдема был». На это страж:
«Вот знаменье; да просветит оно
Твой темный ум высоким разуменьем;
Возьми». Он взял; и в путь пошел обратный;
А на пути, созвавши мудрецов,
Перед собою знаменье велел
Им изъяснить. «Мне! – повторял он в гневе, –
Мне! Александру! дар такой презренный!
Кусок истлевшей кости!» – «Сын Филиппов, –
На то сказал один из мудрецов, –
Не презирай истлевшей этой кости;
Умей спросить, и даст тебе ответ».
Тут принести велел мудрец весы;
Одну из чаш он золотом наполнил;

Und ... O Popoi! wo bin ich hin geraten!
Wer kann auf die verlorne Spur mich bringen?
Ich sprach von Alexanders Heldentaten.
Berufen hatt er um sich seine Weisen,
Das Gastgeschenk des Wächters zu beraten.
Er ließ zornfunkelnd rings die Augen kreisen:
Gebührte mir, dem Helden, solcher Hohn!
Was soll der morsche Knochen mir beweisen?!
Ein Weiser sprach: du sollst, o Philipps Sohn,
Auch diesen morschen Knochen nicht verachten;
Weißt du zu fragen, gibt er Antwort schon.
Und auf Geheiß des weisen Meisters brachten
Sie eine Waage, deren eine Schale
Mit Gold und aber Gold er hieß befrachten.
Und in die andre legt' er bloß das kahle,
Das kleine Knochenstück, und, wundersam!
Die senkte schnell und mächtig sich zu Tale.
Und Alexander, den es Wunder nahm,
Ließ Gold noch zu dem Golde häufen, ohne
Daß selbge Schale nur ins Schwanken kam.
Da warf er Zepter noch hinein und Krone;
Die überfüllte Schale schwankte nicht,
Und ihn befiel Entsetzen auf dem Throne:
Was stört hier unerhört das Gleichgewicht?
Was kann die Kräfte der Natur erwecken?!
Der Meister drauf: das ist der Erde Pflicht.
Mit wen'ger Erde ließ er da verdecken
Das Knochenstück, das wurde leicht sofort,
Und nieder sank das goldbeschwerte Becken.
Der König staunend: sprich, was wurde dort
In Wundern und in Rätseln ausgesprochen?
Vortrat der Meister und ergriff das Wort:
Ein Schädel, gleich dem deinen, ward zerbrochen,
Und Höhlung eines Auges, so wie deines,
War einst in seinen Tagen dieser Knochen.
Es ist des Menschen Auge nur ein Kleines,
Das doch in ungemessener Gier umfaßt,
Was blinkt und gleißet in der Welt des Scheines.
Es fordert Gold und aber Gold zur Mast,
Und wird es ungesättiget verschlingen,
Und Kron und Zepter zu des Goldes Last.

В другую чашу кость он положил,
И... чудо! золото перетянула
Кость. Изумился Александр; он вдвое
Велел насыпать золота; он сам
Свой скипетр золотой, свою корону
И с ними тяжкий меч свой бросил в чашу –
Ни на волос она не опустилась.
Затрепетал на троне царь могучий;
И он спросил: «Какою тайной силой
Нарушен здесь закон природы? Чем
Ей власть ее возможно возвратить?» –
«Щепоткою земли», – сказал мудрец.
И бросил он на кость земли щепотку:
И чаша с костью быстро поднялась,
И быстро чаша с золотом упала.
Мудрец сказал: «Великий государь,
Был некогда подобный твоему
Разрушен череп; в нем же эта кость
Была частицей впадины, в которой
Глаз, твоему подобный, заключался.
Глаз человеческий в объеме мал;
Но с ненасытной жадностью объемлет
Он все, что нас здесь в области видений
Так увлекательно пленяет; целый
Он мир готов сожрать голодным взором.
Все золото земное всыпьте в чашу,
Все скипетры и все короны бросьте
На золото... все будет мало; но
Покрой его щепоткою земли –
И пропадет его ненасытимось;
Сквозь легкий праха груз уж не пробьется

Da kanns der dunklen Erde nur gelingen,
Genug zu tun der Ungenügsamkeit;
Der Gierblick wird aus ihr hervor nicht dringen.
Gehalt und Wert des Lebens und der Zeit
Erwäge du, dem diese Lehren galten;
Du siehst das Ziel der Unersättlichkeit.
Des Fürsten Stirne lag in düstern Falten,
Bald schüttelt' er sein Haupt und sprang empor,
Und rief, daß rings die Klüfte widerhallten:
Auf, auf! zum Aufbruch! tragt die Zeichen vor!
Ja, flüchtig ist die Zeit und kurz das Leben;
Schmach treffe den, der Trägheit sich erkor!
Und zu den Wolken sah man sich erheben
Den Sand der Wüste, und vom Hufschlag fühlte
Man rings den aufgewühlten Grund erbeben.
So zog der Held nach Indien hin, und wühlte
Großartig tief und tiefer sich in Blut,
Bis ihm den Übermut die Erde kühlte.
Ich habe selbst vergessen, wo er ruht;
Es kamen Würmer, sich an ihm zu letzen,
Und andre tatens am geraubten Gut.
Ihr göttlich Recht seis Frevel zu verletzen,
Schrien überlaut, die angeklammert lagen
Auf seines Purpurs abgerißnen Fetzen;
Es ging schon damals, wie in unsern Tagen;
Ich habe zum Historiker mich nicht
Bedungen, laßt es euch von andern sagen.
Wein her! frisch eingeschenkt! was Teufel ficht
Uns Alexander an! So laßt erschallen
Ein altes gutes Lied, ein Volksgedicht;
Das Neue will nur selten mir gefallen.



Он жадным взором. Ты ж, великий царь,
В сем знаменье уразумей прямое
Значение и времени и жизни.
Ненасытмости перед тобою
Лежит символ в истлевшей этой кости».
Но царь внимал с поникшей головой,
С челом нахмуренным. Вдруг он вскочил;
Сверкнул на всех могучим оком льва;
И возгласил так громко, что скалы́
Окрестные ужасный дали голос:
«Греми, труба! Вперед, мои дружины!
Жизнь коротка; уходит время; стыд
Тому, кто жизнь и время праздно тратит».
И вихрями взвился песок пустыни;
И рать великая, как змей с отверстым
Голодным зевом, шумно побежала
К пределам Индии. Завоеватель
Потоками лил кровь, и побеждал,
И с каждою победой разгорался
Сильнейшей жаждою победы новой,
И наконец они ему щепоткой
Земли глаза покрыли – он утих.



DIE KREUZSCHAU

Der Pilger, der die Höhen überstiegen,
Sah jenseits schon das ausgespannte Tal
In Abendglut vor seinen Füßen liegen.
Auf dürft'ges Gras, im milden Sonnenstrahl
Streckt er ermattet sich zur Ruhe nieder,
Indem er seinem Schöpfer sich befahl.
Ihm fielen zu die matten Augenlider,
Doch seinen wachen Geist enthob ein Traum
Der ird'schen Hülle seiner trägen Glieder.
Der Schild der Sonne ward im Himmelsraum
Zu Gottes Angesicht, das Firmament
Zu seinem Kleid, das Land zu dessen Saum.
„Du wirst dem, dessen Herz dich Vater nennt,
Nicht, Herr, im Zorn entziehen deinen Frieden,
Wenn seine Schwächen er vor dir bekennt.
Daß, wen ein Weib gebar, sein Kreuz hinieden
Auch duldend tragen muß, ich weiß es lange,
Doch sind der Menschen Last und Leid verschieden.
Mein Kreuz ist allzu schwer; sieh', ich verlange
Die Last nur angemessen meiner Kraft;
Ich unterliege, Herr, zu hartem Zwange.“
Wie so er sprach zum Höchsten kinderhaft,
Kam brausend her der Sturm und es geschah,
Daß aufwärts er sich fühlte hingerafft.
Und wie er Boden faßte, fand er da
Sich einsam in der Mitte räum'ger Hallen,
Wo ringsum sonder Zahl er Kreuze sah.
Und eine Stimme hört' er dröhnend hallen:
Hier aufgespeichert ist das Leid; du hast

ВЫБОР КРЕСТА

Повесть

Усталый шел крутой горою путник;
С усилием передвигая ноги,
По гладким он скалам горы тащился
И наконец достиг ее вершины.
С вершины той широкая открылась
Равнина, вся облитая лучами
На край небес склонившегося солнца:
Свершив свой путь, великое светило
Последними лучами озаряло,
Прощаясь с ним, полужаснувший мир,
И был покой повсюду несказанный.
Утешенный видением таким,
Стал странник на колени, прочитал
Вечернюю молитву и потом
На благовонном лоне муравы
Простерся, и сошел ему на вежды
Миротворящий сон, и сновиденьем
Был дух его из брэнных телесной
Темницы извлечен. Пред ним явилось
Господним ликом пламенное солнце,
Господнею одеждой твердь небес,
Подножием Господних ног земля;
И к Господу воскликнул он: «Отец!
Не отвратись во гневе от меня,
Когда всю слабость грешных души
Я исповедую перед Тобою.
Я знаю: каждый, кто здесь от жены
Рожден, свой крест нести покорно должен;
Но тяжестью не все кресты равны;
Мой слишком мне тяжел, не по моим
Он силам; облегчи его, иль он
Меня раздавит и моя душа
Погибнет». Так в бессмыслии он Бога

Zu wählen unter diesen Kreuzen allen.
Versuchend ging er da, unschlüssig fast,
Von einem Kreuz zum anderen umher,
Sich auszuprüfen die bequem're Last.
Dies Kreuz war ihm zu groß und das zu schwer,
So schwer und groß war jenes andre nicht,
Doch scharf von Kanten drückt' es desto mehr,
Das dort, das warf wie Gold ein gleißend Licht,
Das lockt' ihn, unversucht es nicht zu fassen;
Dem goldnen Glanz entsprach auch das Gewicht.
Er mochte dieses heben, jenes fassen,
Zu keinem neigte noch sich seine Wahl,
Es wollte keines, keines für ihn passen,
Durchmustert hatt' er schon die ganze Zahl —
Verlor'ne Müh! vergebens war's geschehen!
Durchmustern muß' er sie zum andern Mal.
Und nun gewahrt' er, früher übersehen,
Ein Kreuz, das leidlicher, ihm schien zu sein,
Und bei dem einen blieb er endlich stehen.
Ein schlichtes Marterholz, nicht leicht, allein
Ihm paßlich und gerecht nach Kraft und Maß:
Herr, rief er, so du willst, das Kreuz sei mein!
Und wie er's prüfend mit den Augen maß —
Es war dasselbe, das er sonst getragen.
Wogegen er zu murren sich vermaß,
Er lud es auf und trug's nun sonder Klagen.



Всевышнего молил. И вдруг великий
Повеял ветер; и его умчало
На высоту неодолимой силой;
И он себя во храмине увидел,
Где множество бесчисленное было
Крестов; и он потом услышал голос:
«Перед тобою все кресты земные
Здесь собраны; какой ты сам из них
Захочешь взять, тот и возьми». И начал
Кресты он разбирать, и тяжесть их
Испытывать, и каждый класть на плечи,
Дабы узнать, какой нести удобней.
Но выбрать было нелегко: один
Был слишком для него велик; другой
Тяжел; а тот хотя и не велик
И не тяжел, но неудобен, резал
Краями острыми ему он плечи;
Иной был слит из золота, зато
И не в подъем, как золото. И словом,
Ни одного креста не мог он выбрать,
Хотя и все пересмотрел. И снова
Уж начинать хотел он пересмотр;
Как вдруг увидел он простой, им прежде
Оставленный без замечанья крест;
Был нелегок он, правда, был из твердой
Сработан пальмы; но зато, как будто
По мерке для него был сделан, так
Ему пришелся по плечу он ловко.
И он воскликнул: «Господи! позволь мне
Взять этот крест». И взял. Но что же? Он
Был самый тот, который он уж нес.



Jacob und Wilhelm Grimm

DORNRÖSCHEN

Vorzeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: „Ach, wenn wir doch ein Kind hätten!“, und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, daß ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach: „Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen.“ Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, daß der König vor Freude sich nicht zu lassen wußte und ein großes Fest anstellte. Er ladete nicht bloß seine Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weisen

Якоб и Вильгельм Гримм

СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА

Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своей
Он в согласье много лет;
А детей все нет как нет.
Раз царица на лугу,
На зеленом берегу
Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит, ползет к ней рак;
Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль;
Но забудь свою печаль;
Понесешь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь». –
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак...»
Но уж рак уполз в ручей,
Не слыхав ее речей.
Он, конечно, был пророк;
Что сказал – сбылося в срок:
Дочь царица родила.
Дочь прекрасна так была,
Что ни в сказке рассказать,
Ни пером не описать.
Вот царем Матвеем пир
Знатный дан на целый мир;
И на пир веселый тот
Царь одиннадцать зовет
Чародеек молодых;
Было ж всех двенадцать их;
Но двенадцатой одной,

Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer dreizehn in seinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so mußte eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben: die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als elfe ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, daß sie nicht eingeladen war, und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme: „Die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen.“ Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren er-

Хромоногой, старой, злой,
Царь на праздник не позвал.
Отчего ж так оплошал
Наш разумный царь Матвей?
Было то обидно ей.
Так, но есть причина тут:
У царя двенадцать блюд
Драгоценных, золотых
Было в царских кладовых;
Приготовили обед;
А двенадцатого нет
(Кем украдено оно,
Знать об этом не дано),
«Что ж тут делать? – царь сказал. –
Так и быть!» И не послал
Он на пир старухи звать.
Собрались пировать
Гости, званные царем;
Пили, ели, а потом,
Хлебосольного царя
За прием благодаря,
Стали дочь его дарить:
«Будешь в золоте ходить;
Будешь чудо красоты;
Будешь всем на радость ты
Благонравна и тиха;
Дам красавца жениха
Я тебе, мое дитя;
Жизнь твоя пройдет шутя
Меж знакомых и родных...»
Словом, десять молодых
Чародеек, одарив
Так дитя наперерыв,
Удалились; в свой черед
И последняя идет;
Но еще она сказать
Не успела слова – глядь!
А незваная стоит
Над царевной и ворчит:
«На пиру я не была,
Но подарок принесла:
На шестнадцатом году
Повстречаешь ты беду;

schrocken, da trat die zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur ihn mildern konnte, so sagte sie: „Es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt.“

Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgehen, daß alle Spindeln im ganzen Königreiche sollten verbrannt werden. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, daß es jedermann, der es ansah, liebhaben mußte.

Es geschah, daß an dem Tage, wo es gerade fünfzehn Jahr alt ward, der König und die Königin nicht zu Haus waren und das Mädchen ganz allein im Schloß zurückblieb. Da ging es allerorten

В этом возрасте своем
Руку ты веретеню
Оцарапаешь, мой свет,
И умрешь во свете лет!»
Проворчавши так, тотчас
Ведьма скрылася из глаз;
Но оставшаяся там
Речь домолвила: «Не дам
Без пути ругаться ей
Над царевною моею;
Будет то не смерть, а сон;
Триста лет продлится он;
Срок назначенный пройдет,
И царевна оживет;
Будет долго в свете жить;
Будут внуки веселить
Вместе с нею мать, отца
До земного их конца».
Скрылася гостья. Царь грустит;
Он не ест, не пьет, не спит:
Как от смерти дочь спасти?
И, беду чтоб отвести,
Он дает такой указ:
«Запрещается от нас
В нашем царстве сеять лен,
Прясть, сучить, чтоб веретен
Духу не было в домах;
Чтоб скорей как можно прях
Всех из царства выслать вон».
Царь, издав такой закон,
Начал пить, и есть, и спать,
Начал жить да поживать,
Как дотолле, без забот.
Дни проходят; дочь растет;
Расцвела, как майский цвет;
Вот уж ей пятнадцать лет...
Что-то, что-то будет с ней!
Раз с царицею своею
Царь отправился гулять;
Но с собой царевну взять
Не случилось им; она
Вдруг соскучилась одна
В душной горнице сидеть

herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Türe. In dem Schloß steckte ein verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Türe auf, und saß da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. „Guten Tag, du altes Mütterchen“, sprach die Königstochter, „was machst du da?“ — „Ich spinne“, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. „Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt?“ sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung, und sie stach sich damit in den Finger.

In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf

И на свет в окно глядеть.
«Дай, – сказала наконец, –
Осмотрю я наш дворец».
По дворцу она пошла:
Пышных комнат нет числа;
Всем любитесь она;
Вот, глядит, отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Всходит вверх и видит – там
Старушоночка сидит;
Гребень под носом торчит;
Старушоночка прядет
И за пряжею поет:
«Веретенце, не ленись;
Пряжа тонкая, не рвись;
Скоро будет в добрый час
Гостяжданная у нас».
Гостяжданная вошла;
Пряха молча подала
В руки ей веретено;
Та взяла, и вмиг оно
Уколело руку ей...
Все исчезло из очей;
На нее находит сон;
Вместе с ней объемлет он
Весь огромный царский дом;
Все утихнуло кругом;
Возвращаясь во дворец,
На крыльце ее отец
Пошатнулся и зевнул
И с царицею заснул;
Свита вся за ними спит;
Стража царская стоит
Под ружьем в глубоком сне,
И на спящем спит коне
Перед ней хорунжий сам;
Неподвижно по стенам
Мухи сонные сидят;
У ворот собаки спят;
В стойлах, головы склонив,
Пышны гривы опустив,

das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloß; der König und die Königin, die eben heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen und der ganze Hofstaat mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward still und schlief ein, und der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. Und der Wind legte sich, und auf den Bäumen vor dem Schloß regte sich kein Blättchen mehr.

Rings um das Schloß aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward und endlich das ganze Schloß um-

Кони корму не едят,
Кони сном глубоким спят;
Повар спит перед огнем;
И огонь, объятый сном,
Не пылает, не горит,
Сонным пламенем стоит;
И не тронется над ним,
Свившись клубом, сонный дым;
И окрестность со дворцом
Вся объята мертвым сном;
И покрыл окрестность бор;
Из терновника забор
Дикий бор тот окружил;
Он навек загородил
К дому царскому пути:
Долго, долго не найти
Никому туда следа –
И приблизиться беда!
Птица там не пролетит,
Близко зверь не пробежит,
Даже облака небес
На дремучий, темный лес
Не навеет ветерок.
Вот уж полный век протек;
Словно не жил царь Матвей –
Так из памяти людей
Он изгладился давно;
Знали только то одно,
Что средь бора дом стоит,
Что царевна в доме спит,
Что проспять ей триста лет,
Что теперь к ней следу нет.
Много было смельчаков
(По сказанью стариков),
В лес брались они сходить,
Чтоб царевну разбудить;
Даже бились об заклад
И ходили – но назад
Не пришел никто. С тех пор
В неприступный, страшный бор
Ни старик, ни молодой
За царевной ни ногой.
Время ж все текло, текло;

zog und darüber hinauswuchs, daß gar nichts mehr davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so ward die Königstochter genannt, als daß von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloß dringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen, und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen, langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloß dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit hundert Jahren schlief, und mit ihr schlief der König und die Königin und der

Вот и триста лет прошло.
Что ж случилось? В один
День весенний царский сын,
Забавляясь ловлей, там
По долинам, по полям
С свитой ловчих разъезжал.
Вот от свиты он отстал;
И у бора вдруг один
Очутился царский сын.
Бор, он видит, темен, дик.
С ним встречается старик.
С стариком он в разговор:
«Расскажи про этот бор
Мне, старинушка честной!»
Покачавши головой,
Все старик тут рассказал,
Что от дедов он слышал
О чудесном боре том:
Как богатый царский дом
В нем давным-давно стоит,
Как царевна в доме спит,
Как ее чудесен сон,
Как три века длится он,
Как во сне царевна ждет,
Что спаситель к ней придет;
Как опасны в лес пути,
Как пыталася дойти
До царевны молодежь,
Как со всяким то ж да то ж
Приключалось: попадал
В лес, да там и погибал.
Был детина удалой
Царский сын; от сказки той
Вспыхнул он, как от огня;
Шпоры втиснул он в коня;
Прянул конь от острых шпор
И стрелой помчался в бор,
И в одно мгновенье там.
Что ж явилось очам
Сына царского? Забор,
Ограждавший темный бор,
Не терновник уж густой,
Но кустарник молодой;

ganze Hofstaat. Er wußte auch von seinem Großvater, daß schon viele Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch die Dornenhecke zu dringen, aber sie wären darin hängengeblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling: „Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen.“ Der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte.

Nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen, und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königsson sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen, die taten sich von selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch, und hinter ihm taten sie sich wieder als eine Hecke zusammen. Im Schloßhof sah er die Pferde und scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen, auf dem Dache

Блещут розы по кустам;
Перед витязем он сам
Расступился, как живой;
В лес въезжает витязь мой:
Все свежо, красно пред ним;
По цветочкам молодым
Пляшут, блещут мотыльки;
Светлой змейкой ручейки
Вьются, пенятся, журчат;
Птицы прыгают, шумят
В густоте ветвей живых;
Лес душист, прохладен, тих,
И ничто не страшно в нем.
Едет гладким он путем
Час, другой; вот наконец
Перед ним стоит дворец.
Зданье – чудо старины;
Ворота открыты;
В ворота въезжает он;
На дворе встречает он
Тьму людей, и каждый спит:
Тот как вкопаный сидит;
Тот не двигаясь идет;
Тот стоит, раскрывши рот,
Сном пресекая разговор,
И в устах молчит с тех пор
Недоконченная речь;
Тот, вздремав, когда-то лечь
Собрался, но не успел:
Сон *волшебный* овладел
Прежде сна *простого* им;
И, три века недвижим,
Не стоит он, не лежит
И, упасть готовый, спит.
Изумлен и поражен
Царский сын. Проходит он
Между сонными к дворцу;
Приближается к крыльцу;
По широким ступеням
Хочет вверх идти; но там
На ступенях царь лежит
И с царицей вместе спит.
Путь наверх загрожен.

saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand, der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Da ging er weiter und sah im Saale den ganzen Hofstaat liegen und schlafen, und oben bei dem Throne lag der König und die Königin. Da ging er noch weiter, und alles war so still, daß einer seinen Atem hören konnte, und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, daß er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab ihm einen Kuß. Wie er es mit dem Kuß berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen zú zusammen herab, und der

«Как же быть? – подумал он. –
Где пробраться во дворец?»
Но решился наконец,
И, молитву сотворя,
Он шагнул через царя.
Весь дворец обходит он;
Пышно все, но всюду сон,
Гробовая тишина.
Вдруг глядит: отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Он взошел. И что же там?
Вся душа его кипит,
Перед ним царевна спит.
Как дитя, лежит она,
Распылалась от сна;
Молод цвет ее ланит;
Меж ресницами блестит
Пламя сонное очей;
Ночи темная темней,
Заплетенные косою
Кудри черной полосой
Обвились кругом чела;
Грудь как свежий снег бела;
На воздушный, тонкий стан
Брошен легкий сарафан;
Губки алые горят;
Руки белые лежат
На трепещущих грудях;
Сжаты в легких сапожках
Ножки – чудо красотой.
Видом прелести такой
Отуманен, распален,
Неподвижно смотрит он;
Неподвижно спит она.
Что ж разрушит силу сна?
Вот, чтоб душу насладить,
Чтоб хоть мало утолить
Жадность пламенных очей,
На колени ставши, к ней
Он приблизился лицом:
Распалительным огнем

König erwachte und die Königin, und der ganze Hofstaat, und sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich; die Jagdhunde sprangen und wedelten; die Tauben auf dem Dache zogen das Köpfchen unterm Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld; die Fliegen an den Wänden krochen weiter; das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen; der Braten fing wieder an zu brutzeln; und der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige, daß er schrie; und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.



VON DEM MACHANDELBOOM

Dat is all lang heer, wol twe dusend Johr, do wöör dar een ryk Mann, de hadd ene schöne, frame Fru, un se hadden sik beyde

Жарко рдеющих ланит
И дыханьем уст облит,
Он душу не удержал
И ее поцеловал.
Вмиг проснулася она;
И за нею вмиг от сна
Поднялося все кругом:
Царь, царица, царский дом;
Снова говор, крик, возня;
Все как было; словно дня
Не прошло с тех пор, как в сон
Весь тот край был погружен.
Царь на лестницу идет;
Нагулявшись, ведет
Он царицу в их покой;
Сзади свита вся толпой;
Стражи ружьями стучат;
Мухи стаями летят;
Приворотный лает пес;
На конюшне свой овес
Доедает добрый конь;
Повар дует на огонь,
И, треща, огонь горит,
И струею дым бежит;
Все бывалое – один
Небывалый царский сын.
Он с царевной наконец
Сходит сверху; мать, отец
Принялись их обнимать.
Что ж осталось досказать?
Свадьба, пир, и я там был
И вино на свадьбе пил;
По усам вино бежало,
В рот же капли не попало.



ТЮЛЬПАННОЕ ДЕРЕВО

Однажды жил, не знаю где, богатый
И добрый человек. Он был женат
И всей душой любил свою жену;

sehr leef, hadden awerst kene Kinner, se wünschden sik awert sehr welke, und de Fru beed'd so veel dorüm Dag un Nacht, man se kregen keen un kregen keen. Vör erem Huse wöör en Hof, dorup stünn een Machandelboom, ünner dem stünn de Fru eens im Winter un schelld sik enen Appel, un as se sik den Appel so schelld, so sneet se sik in 'n Finger, un dat Blood feel in den Snee. „Ach“, säd de Fru un süft'd so recht hoog up un seeg dat Blood vör sik un wöör so recht wehmödig; „hadd ik doch enn Kind, so rood as Blood un so witt as Snee.“ Un as se dat säd, so wurr ehr so recht fröhlich to Mode: ehr wöör recht, as schull dat wat warden. Do güng se to dem Huse, un 't güng een Maand hen, de Snee vorgüng; un twe Maand, so wöör dat gröön; un dre Maand, do kömen de Blömer uut der Eerd; un veer Maand, do drungen sik alle Bömer in dat Holt, un de grönen Twyge wören all ineenanner wussen; door süngen de Vägelkens, dat dat ganße Holt schalld, un de Blöiten felen von den Bömern: do wöör de ofte Maand wech, un se stünn ünner dem Machandelboom, de röök so schön, do sprüng ehr dat Hart vör Freuden, un se füll up ere Knee un kunn sik nich laten; un as de soste Maand vörby wöör, do wurden de Früchte dick un staark, do wurr se ganß still; un de söwde Maand, do greep se nach den Machandelbeeren un eet se so nydsch, do wurr sie trurig un krank; do güng de achte Maand hen, un se reep eren Mann un weend un säd: „Wenn ik staarw, so begraaf my ünner den Machandelboom.“ Do wurr sie ganß getrost un freude sik, bet de neegte Maand vörby wöör, do kreeg se een Kind so witt as Snee un so rood as Blood, un as se dat seeg, so freude se sik so, dat se stürw.

Do begroof ehr Mann se ünner den Machandelboom, un he füng an to wenen so sehr; ene Tyd lang, do wurr dat wat sachter, un do he noch wat weend hadd, do hüll he up, un noch een Tyd, do nöhm he sik wedder ene Fru.

Но не было у них детей, и это
Их сокрушало, и они молились,
Чтобы Господь благословил их брак;
И к Господу молитва их достигла.
Был сад кругом их дома; на поляне
Там дерево тюльпанное росло.
Под этим деревом однажды (это
Случилось в зимний день) жена сидела
И с яблока румяного ножом
Снимала кожу; вдруг ей острый нож
Легонько палец оцарапал; кровь
Пурпурной каплею на белый снег
Упала; тяжело вздохнув, она
Подумала: «О! если б Бог нам дал
Дитя, румяное как эта кровь
И белое как этот чистый снег!»
И только что она сказала это, в сердце
Ее как будто что зашевелилось,
Как будто из него утешный голос
Шепнул ей: «Сбудется». Пошла в раздумье
Домой. Проходит месяц – снег растаял;
Другой проходит – все в лугах и рощах
Зазеленело; третий месяц миновался –
Цветы покрыли землю, как ковер;
Прошел четвертый – все в лесу деревья
Срослись в один зеленый свод, и птицы
В густых ветвях запели голосисто,
И с ними весь широкий лес запел.
Когда же пятый месяц был в исходе –
Под дерево тюльпанное она

Mit de tweden Fru kreeg he ene Dochter, dat Kind awerst von der ersten Fru wöör en lüttje Söhn un wöör so rood as Blood un so witt as Snee. Wenn de Fru ere Dochter so anseeg, so hadd se se so leef, awerst denn seeg se den lüttjen Jung an, un dat güng ehr so dorch't Hart, un ehr düchd, äs stünn he ehr allerwegen im Weg, un dachd denn man jümmer, wo se ehr Dochter all dat Vörmägent towenden wull, un de Böse gaf ehr dat in, dat se dem lüttjen Jung ganß gramm wurr un stödd em herum von een Eck in der anner un buffd em hier un knuffd em door, so dat dat aarme Kind jümmer in Angst wöör. Wenn he denn uut de School köhm, so hadd he kene ruhige Städ.

Eens wöör de Fru up de Kamer gaan, do köhm de lüttje Dochter ook herup un säd: „Moder, gif my enen Appel.“ — „Ja, myn Kind“, säd de Fru und gaf ehr enen schönen Appel uut der Kist; de Kist awerst hadd enen grooten, sworn Deckel mit een groot schaarpe ysern Slott. „Moder“, säd de lüttje Dochter, „schall Broder nich ook enen hebben?“ Dat vördrööt de Fru, doch säd se: „Ja, wenn he uut de School kummt.“ Un äs se uut dat Fenster wohr wurr, dat he köhm, so wöör dat recht, äs wenn de Böse äwer ehr köhm, un se grappst to un nöhm erer Dochter den Appel wedder wech un säd: „Du schallst nich ehr enen hebben äs Broder.“ Do smeet se den Appel in de Kist un maadd de Kist to; do köhm de lüttje Jung in de Döhr, da gaf ehr de Böse in, dat se fründlich to em säd: „Myn Sähn, wullt du enen Appel hebben?“, un seeg em so hastig an. „Moder“, säd de lüttje Jung, „wat sühst du gräsig utt! ja, gif my enen Appel.“ Do wöör ehr, as schull se em toreden. „Kumm mit my“, säd se un maadd den Deckel up, „hahl dy enen Appel heruut.“ Un as sik de lüttje Jung henin bückd, so reet ehr de Böse, bratsch! slöög se den Deckel to, dat de Kopp afflöög un ünner de roden Appel füll. Do äwerleep ehr dat in de Angst un dachd: „Kunn ik dat von my bringen!“ Do güng se bawen na ere Stuw na

Пришла; оно так сладко, так свежо
Благоухало, что ее душа
Глубокою, неведомой тоскою
Была проникнута; когда шестой
Свершился месяц – стали наливаться
Плоды и созреть; она же стала
Задумчивей и тише; наступает
Седьмой – и часто, часто под своим
Тюльпанным деревом она одна
Сидит, и плачет, и ее томит
Предчувствие тяжелое; настал
Осьмой – она в конце его больная
Слегла в постелю и сказала мужу
В слезах: «Когда умру, похорони
Меня под деревом тюльпанным»; месяц
Девятый кончился – и родился
У ней сынок, как кровь румяный, белый
Как снег; она ж обрадовалась так,
Что умерла. И муж похоронил
Ее в саду, под деревом тюльпанным.
И горько плакал он об ней; и целый
Проплакал год; и начала печаль
В нем утихать; и наконец утихла
Совсем; и он женился на другой
Жене, и скоро с нею прижил дочь.
Но не была ничем жена вторая
На первую похожа; в дом его
Не принесла она с собою счастья.
Когда она на дочь свою родную
Смотрела, в ней смеялась душа;

erem Draagkasten un halt uut de bäwelste Schuufiad enen witten Dook, un sett't den Kopp wedder up den Hals un bünd den Halsdook so um, dat 'n niks sehn kunn, un sett't em vor de Döhr up enen Stohl und gaf em den Appel in de Hand.

Do köhm dooma Marleenken to erer Moder in de Kääk, de stünn by dem Führ un hadd enen Putt mit heet Water vör sik, den röhrd se jümmer üm. „Moder“, säd Marleenken, „Broder sitt vor de Döhr un süht ganß witt uut un hett enen Appel in de Hand, ik hebb em beden, he schull my den Appel gewen, awerst he antwöörd my nich, do wurr my ganß grolich.“ — „Gah nochmaal hen“, säd de Moder, „und wenn he dy nich antworten will, so gif em eens an de Oren.“ Do güng Marleenken hen un säd: „Broder, gif my den Appel.“ Awerst he sweeg still, do gaf se em eens up de Oren, do feel de Kopp herünn, doräwer vörschrock sie sik un füng an to wenen un to roren un lööp to erer Moder und säd: „Ach, Moder, ik hebb mynem Broder den Kopp afslagen“, un weend un weend un wull sik nicht tofreden gewen. „Marleenken“, säd de Moder, „wat hest du dahn? awerst swyg man still, dat et keen Mensch maarkt, dat ist nu doch nich to ännern; my will em in Suhr kaken.“ Do nöhm de Moder den lüttjen Jung un hackd em in Stücken, ded de in den Putt und kaakd em in Suhr. Marleenken awerst stünn darrby un weend un weend, un de Tranen füllen all in den Putt, un se brukden goor keen Solt.

Do köhm de Vader to Huus un sett't sik to Dich un säd: „Wo is denn myn Sähn?“ Do droog de Moder eine groote groote Schöttel up mit Swartsuhr, un Marleenken weend und kunn sik nicht hollen. Do säd de Vader wedder: „Wo ist denn myn Sähn?“ — „Ach“, säd de Moder, „he is äwer Land gaan, na Mütten erer Grootöhm; he wull door wat blywen.“ — „Wat dait he denn door? und heft my nich maal Adjüüs sechd!“ — „O he wull gern hen

Когда ж глаза на сироту, на сына
Другой жены, невольно обращала,
В ней сердце злилось: он как будто ей
И жить мешал; а хитрый искуситель
Против него нашептывал всечасно
Ей злые замыслы. В слезах и в горе
Сиротка рос, и ни одной минуты
Веселой в доме не было ему.
Однажды мать была в своей каморке,
И перед ней стоял сундук открытый
С тяжелой, кованной железом кровлей
И с острым нутряным замком; сундук
Был полон яблок. Тут сказала ей
Марлиночка (так называли дочь):
«Дай яблочко, родная, мне». – «Возьми», –
Ей отвечала мать. «И братцу дай», –
Прибавила Марлиночка. Сначала
Нахмурилася мать; но враг лукавый
Вдруг что-то ей шепнул; она сказала:
«Марлиночка, поди теперь отсюда;
Обоим вам по яблочку я дам,
Когда твой брат воротится домой».
(А из окна уж видела она,
Что мальчик шел, и чудилось ей,
Что будто на нее с ним вместе злое
Шло искушенье.) Кованый сундук
Закрыв, она глаза на двери дико
Уставила; когда ж их отворил
Малютка и вошел, ее лицо
Белее стало полотна; поспешно

un bed my, of he door wol sos Wäken blywen kunn; he is jo woll door uphawen.“ — „Ach“, säd de Mann, „my ist so recht trurig, dat is doch nich recht, he hadd my doch Adjüüs seggen schullt.“ Mit des füng he an to äten un säd: „Marleenken, wat weenst du? Broder wart wol wedder kamen.“ — „Ach, Fru“, säd he do, „wat smeckt my dat Äten schön? gif my mehr!“ Un je mehr he eet, je mehr will he hebben un säd: „Geeft my mehr, gy schöhlt niks door afhebben, dat is, as wenn dat all myn wör.“ Un he eet un eet, un de Knakens smheet he all ünner den Disch, bet he allens up hadd. Marleenken awerst güng hen na ere Kommod un nöm uut de ünnerste Schuuf eren besten syden Dook un hahl all de Beenkens un Knakens ünner dem Disch herum un bünd se in den syden Dook und droog se vor de Döhr und weend ere blödigen Tranen. Door lad se se ünner den Machandelboom in dat gröne Gras, un äs se se door henlehd hadd, so wöör ehr mit eenmal so recht licht un weend nich mehr. Do füng de Machandelboom an sik to bewegen, un de Twyge deden sik jümmer so recht voneenanner un denn wedder tohopp, so recht as wenn sik ener so recht freut un mit de Händ so dait. Mit des so güng dar so ’n Newel von dem Boom, un recht in dem Newel, dar brennd dat as Führ, un uut dem Führ, dar flöög so ’n schönen Vogel heruut, de süng so herrlich un flöög hoog in de Luft, un as he wech wöör, do wöör de Machandelboom, as he vörhen west wöör, un de Dook mit de Knakens wöör wech. Marleenken awerst wöör so recht licht un vörgnöögt, recht as wenn de Broder noch leewd. Do güng se wedder ganß lustig in das Huus by Disch un eet.

De Vogel awerst flöög wech un sett’t sik up enen Goldsmidt syn Huus un füng an to singen:

„Meine Mutter, der mich schlacht’,
Mein Vater, der mich aß,

Она ему дрожащим и глухим
Сказала голосом: «Вынь для себя
И для Марлиночки из сундука
Два яблока». При этом слове ей
Почудилось, что кто-то подле громко
Захохотал; а мальчик, на нее
Взглянув, спросил: «Зачем ты на меня
Так страшно смотришь?» – «Выбирай скорее!» –
Она, поднявши кровлю сундука,
Ему сказала, и ее глаза
Сверкнули острым блеском. Мальчик робко
За яблоком нагнулся головой
В сундук; тут ей лукавый враг шепнул:
«Скорей!» И кровлю она тяжелой
Захлопнула сундук, и голова
Малютки, как ножом, была железным
Отрезана замком и, отскочивши,
Упала в яблоки. Холодной дрожью
Злодейку обдало. «Что делать мне?» –
Подумала она, смотря на страшный
Захлопнутый сундук. И вот она
Из шкапа шелковый платок достала
И, голову отрезанную к шее
Приставив, тем платком их обвила
Так плотно, что приметить ничего
Не можно было, и потом она
Перед дверями мертвого на стул
(Дав в руки яблоко ему и к стенке
Его спиной придвинув) посадила;
И наконец, как будто не была

Mein Schwester, der Marlenichen,
 Sucht' alle meine Benichen,
 Bind't sie in ein seiden Tuch,
 Legt's unter den Machandelbaum.
 Kywitt, kywitt,
 wat vör 'n schön Vagel bün ik!"

De Goldsmidt seet in syn Waarkstäd un maakd ene gollne Kede, do höörd he den Vagel, de up syn Dack seet un süng, un dat dünkde em so schön. Do stünn he up, un äs he äwer den Süllgüng, da vörlöör he enen Tüffel. He güng awer so recht midden up de Strat hen, enen Tüffel un een Sock an; syn Schortfell hadd he vör, un in de een Hand hadd he de golln Kede un in de anner de Tang; un de Sünnschynd so hell up de Strat. Door güng he recht so staan un seeg den Vagel an. „Vagel“, secht he do, „wo schön kanst du singen! Sing my dat Stück nochmaal.“ — „Ne“, secht de Vagel, „twemaal sing ik nich umsünst. Gif my de golln Kede, so will ik dy 't nochmaal singen.“ — „Door“, secht der Goldsmidt, „hest du de golln Kede, nur sing my dat nochmaal.“ Da köhm de Vagel un nöhm de golln Kede so in de rechte Poot un güng vör den Goldsmidt sitten un süng:

„Mein Mutter, der mich schlacht',
 Mein Vater, der mich aß,
 Mein Schwester, der Marlenichen,
 Sucht' alle meine Benichen,
 Bind't sie in ein seiden Tuch,
 Legt's unter den Machandelbaum.
 Kywitt, kywitt,
 wat vör 'n schön Vagel bün ik!"

Ни в чем, пошла на кухню стряпать. Вдруг
Марлиночка в испуге прибежала
И шепчет: «Посмотри туда; там братец
Сидит в дверях на стуле; он так бел;
И держит яблоко в руке; но сам
Не ест; когда ж его я попросила,
Чтоб дал мне яблоко, не отвечал
Ни слова, не взглянул; мне стало страшно».
На то сказала мать: «Поди к нему
И попроси в другой раз; если ж он
Опять ни слова отвечать не будет
И на тебя не взглянет, подери
Его покрепче за ухо: он спит».
Марлиночка пошла и видит: братец
Сидит в дверях на стуле, бел как снег;
Не шевелится, не глядит и держит,
Как прежде, яблоко в руках, но сам
Его не ест. Марлиночка подходит
И говорит: «Дай яблочко мне, братец».
Ответа нет. Тут за ухо она
Тихонько братца дернула; и вдруг
От плеч его отпала голова
И покатилась. С криком прибежала
Марлиночка на кухню: «Ах! родная,
Беда, беда! Я братца моего
Убила! Голову оторвала
Я братцу!» И бедняжка заливалась
Слезами и кричала криком. Ей
Сказала мать: «Марлиночка, уж горю
Не пособить; нам надобно скорей

Do flöög de Vagel wech na enem Schooster und sett't sik up den syn Dack un süng:

„Mein Mutter, der mich schlacht',
 Mein Vater, der mich aß,
 Mein Schwester, der Marlenichen,
 Sucht' alle meine Benichen,
 Bind't sie in ein seiden Tuch,
 Legt's unter den Machandelbaum.
 Kywitt, kywitt,
 wat vör 'n schön Vagel bün ik! “

De Schooster höörd dat un lööp vör syn Döhr in Hemdsaarmels un seeg na syn Dack un mussd de Hand vör de Ogen hollen, dat de Sünn em nich blend't. „Vagel“, secht he, „wat kannst du schön singen.“ Do rööp he in syn Döhr henin: „Fru, kumm mal herum, dar ist een Vagel; süh mal den Vagel, de kann maal schön singen.“ Do rööp he syn Dochter un Kinner un Gesellen, Jung un Maagd, un se kömen all up de Strat un seegen den Vagel an, wo schön he wöör, un he hadd so recht rode un gröne Feddern, un üm den Hals wöör dat as luter Gold, un de Ogen blünken em im Kopp as Steern. „Vagel“, säd de Schooster, „nu sing my dat Stück nochmaal.“ — „Ne“, secht de Vagel, „tweemaal sing ik nich umsünst, du must my wat schenken.“ — „Fru“, säd de Mann, „gah na dem Bähn: up dem bäwelsten Boord, door staan een Poor rode Schö, de bring herünn.“ Do güng de Fru hen un hahl de Schö. „Door, Vagel“, säd de Mann, „nu sing my dat Stück nochmaal.“ Do köhm de Vagel un nöhm de Schö in de linke Klau un flöög wedder up dat Dack un süng:

Его прибрать, пока не воротился
Домой отец; возьми и отнеси
Его покуда в сад и спрячь там; завтра
Его сама в овраг я брошу; волки
Его съедят, и косточек никто
Не сыщет; перестань же плакать; делай,
Что я велю». Марлиночка пошла;
Она, широкой белой простынею
Обвивши тело, отнесла его,
Рыдая, в сад и там его тихонько
Под деревом тюльпанным положила
На свежий дерн, который покрывал
Могилку матери его... И что же?
Могилка вдруг раскрылася, и тело
Взяла, и снова дерн зазеленел
На ней, и расцвели на ней цветы,
И из цветов вдруг выпорхнула птичка,
И весело запела, и взвилась
Под облака, и в облаках пропала.
Марлиночка сперва оторопела;
Потом (как будто кто в ее душе
Печаль заговорил) ей стало вдруг
Легко – пошла домой и никому
О бывшем с нею не сказала. Скоро
Пришел домой отец. Не видя сына,
Спросил он с беспокойством: «Где он?» Мать,
Вся помертвев, поспешно отвечала:
«Ранехонько ушел он со двора
И все еще не возвращался». Было
Уж за полдень; была пора обедать,

„Mein Mutter, der mich schlacht’,
Mein Vater, der mich aß,
Mein Schwester, der Marlenichen,
Sucht’ alle meine Benichen,
Bind’t sie in ein seiden Tuch,
Legt’s unter den Machandelbaum.
Kywitt, kywitt,
wat vör ’n schön Vagel bün ik!“

Un as he uutsungen hadd, so flöög he wech; de Kede hadd he in de rechte un de Schö in de linke Klau, un he flöög wyt wech na ene Mähl, un de Mähl güng „Klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe“. Un in de Mähl, door seeten twintig Mählenburßen, de hauden enen Steen un hackden „Hick hack, hick hack, hick hack“, un de Mähl güng „Klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe“. Do güng de Vagel up enen Lindenboom sitten, de vör de Mähl stünn, und süng:

„Mein Mutter, der mich schlacht““,

do höörd een up,

„Mein Vater, der mich aß“,

do höörden noch twe up un höörden dat,

„Mein Schwester, der Marlenichen“,

do höörden wedder veer up,

„Sucht’ alle meine Benichen,

И накрывать на стол хозяйка стала.
Марлиночка ж сидела в уголку,
Не шевелясь и молча; день был светлый;
Ни облачка на небе не бродило,
И тихо блеск полуденного солнца
Лежал на зелени дерев, и было
Повсюду все спокойно. Той порою
Спорхнувшая с могилы братца птичка
Летала да летала; вот она
На кустик села под окошком дома,
Где золотых дел мастер жил. Она,
Расправив крылышки, запела громко:
*«Зла мачеха зарезала меня;
Отец родной не ведает о том;
Сестрица же Марлиночка меня
Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».*
Услышав это, золотых дел мастер
В окошко выглянул; он так пленился
Прекрасной птичкою, что закричал:
«Пропой еще раз, милая пичужка!» –
«Я даром дважды петь не стану, – птичка
Сказала, – подари цепочку мне,
И запою». Услышав это, мастер
Богатую ей бросил из окна
Цепочку. Правой лапкою схвативши
Цепочку ту, свою запела песню
Звучней, чем прежде, птичка и, допевши,
Спорхнула с кустика с своей добычей,
И полетела далее, и скоро

Bind't sie in ein seiden Tuch“,

nu hackden noch man acht,

„Legt's unter“
nu noch man fyw,
„den Machandelbaum“,

nu noch man een.

„Kywitt, kywitt,
wat vör 'n schönen Vagel bün ik!“

Do hüll de lezte ook up un hadd dat lezte noch höörd. „Vagel“, secht he, „wat singst du schön! laat my dat ook hören, sing my dat nochmaal.“ — „Ne“, secht de Vagel, „twemaal sing ik nich umsünst, gif my den Mählensteen, so will ik dat nochmaal singen.“ — „Ja“, secht he, „wenn he my alleen tohöörd, su schullst du em hebben.“ — „Ja“, säden de annern, „wenn he nochmaal singt, so schall he em hebben.“ Do köhm de Vagel herünn, un de Möllers faat'n all twintig mit Böhm an un böhr den Steen up, „Hu uh uhp, hu uh uhp, hu uh uhp!“ Do stöök de Vagel den Hals döör dat Lock un nöhm em um äs enen Kragen un flöög wedder up den Boom un süng:

„Mein Mutter, der mich schlacht',
Mein Vater, der mich aß,
Mein Schwester, der Marlenichen,

На кровлю домика, где жил башмачник,
Спустилася и там опять запела:
*«Зла мачеха зарезала меня;
Отец родной не ведает о том;
Сестрица же Марлиночка меня
Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».*
Башмачник в это время у окна
Шил башмаки; услышав песню, он
Работу бросил, выбежал на двор
И видит, что сидит на кровле птичка
Чудесной красоты. «Ах! птичка, птичка, –
Сказал башмачник, – как же ты прекрасно
Поешь. Нельзя ль еще раз ту же песню
Пропеть?» – «Я даром дважды не пою, –
Сказала птичка, – дай мне пару детских
Сафьянных башмаков». Башмачник тотчас
Ей вынес башмаки. И, левой лапкой
Их взяв, свою опять запела песню
Звучней, чем прежде, птичка и, допевши,
Спорхнула с кровли с новою добычей,
И полетела далее, и скоро
На мельницу, которая стояла
Над быстрой речкою во глубине
Прохладных долины, прилетела.
Был стук и шум от мельничных колес,
И с громом в ней молот огромный жернов;
И в воротах ее рубили двадцать
Работников дрова. На ветку липы,
Которая у мельничных ворот

Sucht' alle meine Benichen,
Bind't sie in ein seiden Tuch,
Legt's unter den Machandelbaum.
Kywitt, kywitt,
wat vör 'n schönen Vagel bün ik!"

Un as he dat uutsungen hadd, do deed he de Flünk von eenanner un hadd in de rechte Klau de Kede un in de linke de Schö un üm den Hals den Mählensteen un floog wyt wech nach synes Vaders Huse.

In de Stuw seet de Vader, de Moder un Marleenken by Disch, un de Vader säd: „Ach, wat waart my licht, my is recht so goot to Mode.“ — „Ne“, säd de Moder, „my is recht so angst, so recht, äs wenn een swoor Gewitter kummt.“ Marleenken awerst seet un weend un weend, do köhm de Vagel aaflegen, un as he sik up dat Dack sett't. „Ach“, säd de Vader, „my ist so recht freudig, un de Sünn schynt buten so schön, my is recht, as schull ik enen olen Bekannten weddersehn.“ — „Ne“, säd de Fru, „my is so angst, de Täne klappern my, un dat is my as Führ in den Adern.“ Un se reet sik ehr Lyfken up un so mehr, awer Marleenken seet in een Eck un weend un hadd eren Platen vor de Ogen un weend den Platen ganß meßnatt. Do sett't sik de Vagel up den Machandelboom un süng:

Росла, спустилась птичка и запела:
«Зла мачеха зарезала меня»,
Один работник, то услышав, поднял
Глаза и перестал рубить дрова.
«Отец родной не ведает о том»;
Оставили еще работу двое.
«Сестрица же Марлиночка меня»;
Тут пятеро еще, глаза на липу
Оборотив, работать перестали.
«Близ матушки родной моей в саду»;
Еще тут восемь вслушались в песню;
Остолбеневши, топоры они
На землю бросили и на певичу
Уставили глаза; когда ж она
Умолкнула, последнее пропев:
«Под деревом тюльпанным погребла»,
Все двадцать разом кинулися к липе
И закричали: «Птичка, птичка, спой нам
Еще раз песенку твою». На это
Сказала птичка: «Дважды петь не стану
Я даром; если же вы этот жернов
Дадите мне, я запою». – «Дадим,
Дадим!» – в один все голос закричали.
С трудом великим общей силой жернов
Подняв с земли, они его надели
На шею птичке; и она, как будто
В жемчужном ожерелье, отряхнувшись
И крылышки расправивши, запела
Звучней, чем прежде, и, допев, спорхнула
С зеленой ветви, и умчалась быстро,

„Mein Mutter, der mich schlacht“,

do hüll de Moder de Oren to un kneep de Ogen to un wull nich sehn un hören, awer dat bruusde ehr in de Oren as de allerstaarkste Storm, un de Ogen brennden ehr un zackden as Blitz.

„Mein Vater, der mich aß“,

„Ach, Moder“, secht de Mann, „door ist een schön Vogel, de singt so herrlich, de Sünn schynt so waarm, un dat rückt as luter Zinnemamen.“

„Mein Schwester, der Marlenichen“,

do läd Marleenken den Kopp up de Knee un weend in eens wech, de Mann awerst säd: „Ik ga henuut, ik mutt den Vogel dicht by sehn.“ — „Ach, gah nicht“, säd de Fru, „my is, as beewd dat ganße Huus un stünn in Flammen.“ Awerst de Mann güng henuut un seeg den Vogel an.

„Sucht' alle meine Benichen,
Bind't sie in ein seiden Tuch,
Legt's unter den Machandelbaum.
Kywitt, kywitt,
wat vör 'n schön Vogel bün ik!“

На шее жернов, в правой лапке цепь
И в левой башмаки. И так она
На дерево тюльпанное в саду
Спустилась. Той порой отец сидел
Перед окном; по-прежнему в углу
Марлиночка; а мать на стол сбирала.
«Как мне легко! – сказал отец. – Как светел
И тепел майский день!» – «А мне, – сказала
Жена, – так тяжело, так душно!
Как будто бы собирается гроза».
Марлиночка ж, прижавшись в уголок,
Не шевелилася, сидела молча
И плакала. А птичка той порой,
На дереве тюльпанном отдохнувши,
Полетом тихим к дому полетела.
«Как на душе моей легко! – опять
Сказал отец. – Как будто бы кого
Родного мне увидеть». – «Мне ж, – сказала
Жена, – так страшно! все во мне дрожит;
И кровь по жилам льется как огонь».
Марлиночка ж ни слова; в уголку
Сидит, не шевелясь, и тихо плачет.
Вдруг птичка, к дому подлетев, запела:
«Зла мачеха зарезала меня»;
Услышав это, мать в оцепененье
Зажмурила глаза, заткнула уши,
Чтоб не видать и не слышать; но в уши
Гудело ей, как будто шум грозы;
В зажмуренных глазах ее сверкало,
Как молния, и пот смертельный тело

Mit des leet de Vagel de gollne Kede fallen, un se feel dem Mann jüst üm 'n Hals, so recht hier herum, dat se recht so schön passd. Do güng he herin un säd: „Süh, wat is dat vör 'n schön Vagel, heft my so 'ne schöne gollne Kede schenkd un sühd so schön uut.“ De Fru awerst wöör so angst un füll langs in de Stuw hen, un de Mütz füll ehr von dem Kopp. Do süng de Vagel wedder:

„Mein Mutter, der mich schlacht“,

„Ach, dat ik dusend Föder ünner de Eerd wöör, dat ik dat nich hören schull!“

„Mein Vater, der mich aß“,

do füll de Fru vör dood nedder.

„Mein Schwester, der Marlenichen“,

„Ach“, säd Marleenken, „ik will ook henuut gähn un sehn, of de Vagel my wat schenkt.“ Do güng sie henuut.

„Sucht' alle meine Benichen,
Bind't sie in ein seiden Tuch“,

do smheet he ehr de Schö herünn.

Ее, как змей холодный, обвивал.
«Отец родной не ведает о том».
«Жена, – сказал отец, – смотри, какая
Там птичка! Как поет! А день так тих,
Так ясен и такой повсюду запах,
Что скажешь: вся земля в цветы оделась.
Пойду и посмотрю на эту птичку». –
«Останься, не ходи, – сказала в страхе
Жена. – Мне чудится, что весь наш дом
В огне». Но он пошел. А птичка пела:
*«Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».*
И в этот миг цепочка золотая
Упала перед ним. «Смотрите, – он
Сказал, – какой подарок дорогой
Мне птичка бросила». Тут не могла
Жена от страха устоять на месте
И начала как в исступленьи бегать
По горнице. Опять запела птичка:
«Зла мачеха зарезала меня».
А мачеха бледнела и шептала:
«О! если б на меня упали горы,
Лишь только б этой песни не слышать!» –
«Отец родной не ведает о том»;
Тут повалилася она на землю,
Как мертвая, как труп окостенелый.
«Сестрица же Марлиночка меня...»
Марлиночка, вскочив при этом с места,
Сказала: «Побегу, не даст ли птичка
Чего и мне». И, выбежав, глазами
Она искала птички. Вдруг упали

„Legt's unter den Machandelbaum.
Kywitt, kywitt,
wat vör 'n schönen Vagel bün ik!“

Do wörr ehr so licht un fröhlich. Do truck se de neen roden Schö an un danßd un sprüng herin. „Ach“, säd se, „ik wöör so trurig, äs ik henuut güng, un nu is my so licht, dat is maal een herrlichen Vagel, hett my een Poor rode Schö schenkdt.“ — „Ne“, säd de Fru un sprüng up, un de Hoor stünnen ehr to Baarg äs Führsflammen, „my is, as schull de Welt ünnergahn, ik will ook hennuut, of my lichter warden schull.“ Un as se uut de Döhr köhm, bratsch! smett ehr de Vagel den Mählensteen up den Kopp, dat se ganß tomatscht wurr. De Vader un Marleenken höörden dat un güngen henuut; do güng een Damp un Flamm un Führ up von der Städ, un äs dat vörby wöör, do stünn de lütje Broder door, un he nöhm synen Vader un Marleenken by der Hand, un wören all dre so recht vörgnöögt un güngen in dat Huus by Disch un eeten.



Ей в руки башмаки; она в ладоши
От радости захлопала. «Мне было
До этих пор так грустно, а теперь
Так стало весело, так живо!» –
«Нет, – простонала мать, – я не могу
Здесь оставаться; я задохнусь; сердце
Готово лопнуть». И она вскочила;
На голове ее стояли дыбом,
Как пламень, волосы, и ей казалось,
Что все кругом ее валилось. В двери
Она в безумье кинулась... Но только
Ступила за порог, тяжелый жернов
Бух!.. и ее как будто не бывало;
На месте же, где казнь над ней свершилась,
Столбом огонь поднялся из земли.
Когда ж исчез огонь, живой явился
Там братец; и Марлиночка к нему
На шею кинулась. Отец же долго
Искал жены глазами; но ее
Он не нашел. Потом все трое сели,
Усердно Богу помолясь, за стол;
Но за столом никто не ел, и все
Молчали; и у всех на сердце было
Спокойно, как бывает всякий раз,
Когда оно почувствует живей
Присутствие невидимого Бога.



Ludwig Uhland

SÄNGERS VORÜBERZIEHEN

Ich schlief am Blütenhügel
Hart an des Pfades Rand,
Da lieb der Traum mir Flügel
Ins goldne Fabelland.

Erwacht, mit trunknen Blicken,
Wie wer aus Wolken fiel,
Gewahr' ich noch im Rücken
Den Sänger mit dem Spiel.

Er schwindet um die Bäume,
Noch hör' ich fernen Klang.
Ob der die Wunderträume
Mir in die Seele sang?



LIED EINES ARMEN

Ich bin so gar ein armer Mann
Und gehe ganz allein.
Ich möchte wohl nur einmal noch
Recht frohen Mutes sein.

Людвиг Уланд

СОН

Заснув на холме луговом,
Вблизи большой дороги,
Я унесен был легким сном
Туда, где жили боги.

Но я проснулся наконец
И смутно озирался:
Дорогой шел молодой певец
И с пеньем удалялся.

Вдали пропал за рощей он –
Но струны все звенели.
Ах! не они ли дивный сон
Мне на душу напели?



ПЕСНЯ БЕДНЯКА

Куда мне голову склонить?
Покинут я и сир;
Хотел бы весело хоть раз
Взглянуть на божий мир.

In meiner lieben Eltern Haus
War ich ein frohes Kind;
Der bittere Kummer ist mein Teil,
Seit sie begraben sind.

Der Reichen Gärten seh' ich blühn,
Ich seh' die goldne Saat;
Mein ist der unfruchtbare Weg,
Den Sorg' und Mühe trat.

Doch weil' ich gern mit stillem Weh
In froher Menschen Schwarm
Und wünsche jedem guten Tag
So herzlich und so warm.

O reicher Gott, du liebest doch
Nicht ganz mich freudenleer;
Ein süßer Trost für alle Welt
Ergießt sich himmelher.

Noch steigt in jedem Dörflein ja
Dein heilig Haus empor;
Die Orgel und der Chorgesang
Ertönet jedem Ohr.

Noch leuchtet Sonne, Mond und Stern
So liebevoll auch mir,
Und wann die Abendglocke hallt,
Da red' ich, Herr, mit dir.

Einst öffnet jedem Guten sich
Dein hoher Freudensaal,
Dann komm' auch ich im Freierkleid
Und setze mich ans Mahl.



И я в семье моих родных
Когда-то счастлив был;
Но горе спутник мой с тех пор,
Как я их схоронил.

Я вижу замки богачей
И их сады кругом...
Моя ж дорога мимо их
С заботой и трудом.

Но я счастливых не дичусь;
Моя печаль в тиши;
Я всем веселым рад сказать:
Бог помочь! от души.

О щедрый Бог, не вовсе ж я
Тобою позабыт;
Источник милости Твоей
Для всех равно открыт.

В селенье каждом есть Твой храм
С сияющим крестом,
С молитвой сладкой и с Твоим
Доступным алтарем.

Мне светит солнце и луна;
Любуюсь на зарю;
И, слыша благовест, с Тобой,
Создатель, говорю.

И знаю: будет добрым пир
В небесной стороне;
Там буду праздновать и я;
Там место есть и мне.



DER TRAUM

Im schönsten Garten wallten
Zwei Buhlen Hand in Hand,
Zwo bleiche, kranke Gestalten;
Sie saßen ins Blumenland.

Sie küßten sich auf die Wangen
Und küßten sich auf den Mund,
Sie hielten sich fest umfangen,
Sie wurden jung und gesund.

Zwei Glöcklein klangen helle,
Der Traum entschwand zur Stund';
Sie lag in der Klosterzelle,
Er fern in Turmes Grund.



DIE RACHE

Der Knecht hat erstochen den edeln Herrn,
Der Knecht wär' selber ein Ritter gern.

Er hat ihn erstochen im dunkeln Hain,
Und den Leib versenket im tiefen Rhein.

Hat angeleget die Rüstung blank,
Auf des Herren Roß sich geschwungen frank.

Und als er sprengen will über die Brück',
Da stuzet das Roß und bäumt sich zurück.

Und als er die güldnen Sporen ihm gab,
Da schleudert's ihn wild in den Strom hinab.

СЧАСТИЕ ВО СНЕ

Дорогой шла девица;
С ней друг ее младой;
Болезненны их лица;
Наполнен взор тоской.

Друг друга лобызают
И в очи и в уста –
И снова расцветают
В них жизнь и красота.

Минутное веселье!
Двух колоколов звон:
Она проснулась в келье;
В *тюрьме* проснулся он.



МЩЕНИЕ

Изменой слуга паладина убил:
Убийце завиден сан рыцаря был.

Свершилось убийство ночью порой –
И труп поглощен был глубокой рекой.

И шпоры и латы убийца надел
И в них на коня паладинова сел.

И мост на коне проскакать он спешит:
Но конь поднялся на дыбы и храпит.

Он шпоры вонзает в крутые бока:
Конь бешеный сбросил в реку седока.

Mit Arm, mit Fuß er rudert und ringt,
Der schwere Panzer ihn niederzwingt.



HARALD

Vor seinem Heergefolge ritt
Der kühne Held Harald;
Sie zogen in des Mondes Schein
Durch einen wilden Wald.

Sie tragen manch erkämpfte Fahn',
Die hoch im Winde wallt,
Sie singen manches Siegeslied,
Das durch die Berge hallt.

Was rauschet, lauschet im Gebüsch?
Was wiegt sich auf dem Baum?
Was senket aus den Wolken sich
Und taucht aus Stromes Schaum?

Was wirft mit Blumen um und um?
Was singt so wonniglich?
Was tanzet durch der Krieger Reih'n,
Schwingt auf die Rosse sich?

Was kost so sanft und küßt so süß
Und hält so lind umfaßt?
Und nimmt das Schwert und zieht vom Roß
Und läßt nicht Ruh' noch Rast?

Es ist der Elfen leichte Schar;
Hier hilft kein Widerstand,
Schon sind die Krieger all dahin,
Sind all im Feenland.

Он выплыть из всех напрягается сил:
Но панцирь тяжелый его утопил.



ГАРАЛЬД

Перед дружиной на коней
Гаральд, боец седой,
При свете полных луны,
Въезжает в лес густой.

Отбиты вражьи знамена
И веют и шумят,
И гулом песней боевых
Кругом холмы гудят.

Но что порхает по кустам?
Что зыблется в листьях?
Что налетает с вышины
И плещется в волнах?

Что так ласкает, так манит?
Что нежною рукой
Снимает меч, с коня влечет
И тянет за собой?

То феи... в легкий хоровод
Слетелись при луне.
Спасенья нет; уж все бойцы
В волшебной стороне.

Лишь он, бесстрашный вождь Гаральд,
Один не побежден:
В нетленный с ног до головы
Булат закован он.

Nur er, der Beste, blieb zurück,
Der kühne Held Harald;
Er ist vom Wirbel bis zur Sohl'
In harten Stahl geschnallt.

All seine Krieger sind entrückt,
Da liegen Schwert und Schild;
Die Rosse, ledig ihrer Herrn,
Sie gehn im Walde wild.

In großer Trauer ritt von dann
Der stolze Held Harald;
Er ritt allein im Mondenschein
Wohl durch den weiten Wald.

Vom Felsen rauscht es frisch und klar;
Er springt vom Rosse schnell,
Er schnallt vom Haupte sich den Helm
Und trinkt vom kühlen Quell.

Doch, wie er kaum den Durst gestillt,
Versagt ihm Arm und Bein;
Er muß sich setzen auf den Fels,
Er nickt und schlummert ein.

Er schlummert auf demselben Stein
Schon manche hundert Jahr',
Das Haupt gesenket auf die Brust,
Mit grauem Bart und Haar.

Wann Blitze zucken, Donner rollt,
Wann Sturm erbraust im Wald,
Dann greift er träumend nach dem Schwert,
Der alte Held Harald.



Пропали спутники его;
Там брошен меч, там щит,
Там ржет осиротелый конь
И дико в лес бежит.

И едет, сумрачно-уныл,
Гаральд, боец седой,
При свете полныя луны
Один сквозь лес густой.

Но вот шумит, журчит ручей –
Гаральд с коня прыгнул,
И снял он шлем и влаги им
Студеной зачерпнул.

Но только жажду утолил,
Вдруг обессилел он;
На камень сел, поник головой
И погрузился в сон.

И веки на утесе том,
Главу склоня, он спит:
Седые кудри, борода;
У ног копые и щит.

Когда ж гроза, и молний блеск,
И лес ревет густой, –
Сквозь сон хватается за меч
Гаральд, боец седой.



DIE DREI LIEDER

In der hohen Hall' saß König Sifrid:
Ihr Harfner, wer weiß mir das schönste Lied?
Und ein Jüngling trat aus der Schar behende,
Die Harf' in der Hand, das Schwert an der Lende:

Drei Lieder weiß ich: den ersten Sang,
Den hast du ja wohl vergessen schon lang:
„Meinen Bruder hast du meuchlings erstochen!“
Und aber: „Hast ihn meuchlings erstochen!“

Das andre Lied, das hab' ich erdacht
In einer finstern, stürmischen Nacht:
„Mußt mit mir fechten auf Leben und Sterben!“
Und aber: „Mußt fechten auf Leben und Sterben!“

Da lehnt' er die Harfe wohl an den Tisch,
Und sie zogen beide die Schwerter frisch
Und fochten lange mit wildem Schalle,
Bis der König sank in der hohen Halle.

Nun sing' ich das dritte, das schönste Lied,
Das werd' ich nimmer zu singen müd:
„König Sifrid liegt in seinem roten Blute!“
Und aber: „Liegt in seinem roten Blute!“



DIE NONNE

Im stillen Klostergarten
Eine bleiche Jungfrau ging;
Der Mond beschien sie trübe,
An ihrer Wimper hing
Die Träne zarter Liebe.

ТРИ ПЕСНИ

«Споет ли мне песню веселую скальд?» –
Спросил, озираясь, могучий Освальд.
И скальд выступает на царскую речь,
Под мышкою арфа, на поясе меч.

«Три песни я знаю: в одной старина!
Тобою, могучий, забыта она;
Ты сам ее в лесе дремучем сложил;
Та песня: *отца моего ты убил.*

Есть песня другая: ужасна она;
И мною под бурей ночной сложена;
Пою ее ранней и поздней порой;
И песня та: *бейся, убийца, со мной!*»

Он в сторону арфу, и меч наголо;
И бешенство грозные лица загло;
Запрыгали искры по звонким мечам –
И рухнул Освальд – голова пополам.

«Раздайся ж, последняя песня моя;
Ту песню и утром и вечером я
Греметь не устану пред девой любви;
Та песня: *убийца повержен в крови.*»



УТЕШЕНИЕ

Светит месяц; на кладбище
Дева в черной власянице
Одинокая стоит,
И слеза любви дрожит
На густой ее реснице.

„O wohl mir, daß gestorben
Der treue Buhle mein!
Ich darf ihn wieder lieben:
Er wird ein Engel sein,
Und Engel darf ich lieben.“

Sie trat mit zagem Schritte
Wohl zum Mariabild;
Es stand in lichtem Scheine,
Es sah so muttermild
Herunter auf die Reine.

Sie sank zu seinen Füßen,
Sah auf mit Himmelsruh,
Bis ihre Augenlider
Im Tode fielen zu;
Ihr Schleier wallte nieder.



DER WIRTIN TÖCHTERLEIN

Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein,
Bei einer Frau Wirtin, da kehrten sie ein:

„Frau Wirtin, hat Sie gut Bier und Wein?
Wo hat Sie Ihr schönes Töchterlein?“

„Mein Bier und Wein ist frisch und klar.
Mein Töchterlein liegt auf der Totenbahr’.“

Und als sie traten zur Kammer hinein,
Da lag sie in einem schwarzen Schrein.

«Нет его; на том он свете;
Сердцу смерть его утешна:
Он достался небесам,
Будет чистый ангел там –
И любовь моя безгрешна».

Скорьбь ее к святому лику
Богоматери подводит:
Он стоит в огне лучей,
И на деву из очей
Милость тихая нисходит.

Пала дева пред иконой
И безмолвно упованья
От Пречистыя ждала...
И душою перешла
Неприметно в мир свиданья.



ТРИ ПУТНИКА

В свой край возвратяся из дальней земли,
Три путника в гости к старушке зашли.

«Прими, приюти нас на темную ночь;
Но где же красавица? Где твоя дочь?»

«Принять, приютить вас готова, друзья;
Скончалась красавица дочка моя».

В светлице свеча пред иконой горит:
В светлице красавица в гробе лежит.

Der erste, der schlug den Schleier zurück
Und schaute sie an mit traurigem Blick:

„Ach, lebstest du noch, du schöne Maid!
Ich würde dich lieben von dieser Zeit.“

Der zweite deckte den Schleier zu
Und kehrte sich ab und weinte dazu:

„Ach, daß du liegst auf der Totenbahr!
Ich hab' dich geliebet so manches Jahr.“

Der dritte hub ihn wieder sogleich
Und küßte sie an den Mund so bleich:

„Dich liebt' ich immer, dich lieb' ich noch heut
Und werde dich lieben in Ewigkeit.“



DER SIEGER

Anzuschauen das Turnei,
Saßen hundert Frauen droben;
Diese waren nur das Laub.
Meine Fürstin war die Rose.
Aufwärts blickt' ich keck zu ihr,
Wie der Adler blickt zur Sonne.
Wie da meiner Wangen Glut
Das Visier durchbrennen wollte!
Wie des Herzens kühner Schlag
Schier den Panzer durchgebrochen!
Ihrer Blicke sanfter Schein
War in mir zu wildem Lodern,

И первый поднявший покров гробовой
На мертвую смотрит с унылой душой:

«Ах! если б на свете еще ты жила,
Ты мною б отныне любима была!»

Другой покрывало опять наложил,
И горько заплакал, и взор опустил:

«Ах, милая, милая, ты ль умерла?
Ты мною так долго любима была!»

Но третий опять покрывало поднял
И мертвую в бледны уста целовал:

«Тебя я любил; мне тебя не забыть;
Тебя я и в вечности буду любить!»



ПОБЕДИТЕЛЬ

Сто красавиц светлооких
Председали на турнире.
Все – цветочки полевые;
А моя одна как роза.
На нее глядел я смело,
Как орел глядит на солнце.
Как от щек моих горячих
Разгоралось забрало;
Как рвалось пробиться сердце
Сквозь тяжелый, твердый панцирь!
Светлых взоров тихий пламень
Стал душе моей пожаром;

Ihrer Rede mildes Wehn
War in mir zu Sturmestoben.
Sie, der schöne Maientag,
In mir zum Gewitter worden;
Unaufhaltbar brach ich los,
Sieghaft alles niederdonnernd.



DER GUTE KAMERAD

Ich hatt' einen Kameraden,
Einen bessern findst du nit.
Die Trommel schlug zum Streite,
Er ging an meiner Seite
In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Kugel kam geflogen:
Gilt's mir oder gilt es dir?
Ihn hat es weggerissen,
Er liegt mir vor den Füßen,
Als wär's ein Stück von mir.

Will mir die Hand noch reichen,
Derweil ich eben lad':
„Kann dir die Hand nicht geben;
Bleib du im ew'gen Leben
Mein guter Kamerad!“



Сладкошепчущие речи
Стали сердцу бурным вихрем;
И она – младое утро –
Стала мне грозой могучей;
Я помчался, я ударил –
И ничто не устояло.



Был у меня товарищ,
Уж прямо брат родной.
Ударили тревогу,
С ним дружным шагом, в ногу
Пошли мы в жаркий бой.

Вдруг свистнула картеча...
Кого из нас двоих?
Меня промчалось мимо;
А он... лежит, родимый,
В крови у ног моих.

Пожать мне хочет руку...
Нельзя, кладу заряд.
В той жизни, друг, сочтемся;
И там, когда сойдемся,
Ты будь мне верный брат.



DAS SCHLOSS AM MEERE

Hast du das Schloß gesehen,
Das hohe Schloß am Meer?
Golden und rosig wehen
Die Wolken drüber her.

Es möchte sich niederneigen
In die spiegelklare Flut,
Es möchte streben und steigen
In der Abendwolken Glut.

„Wohl hab' ich es gesehen,
Das hohe Schloß am Meer
Und den Mond darüber stehen
Und Nebel weit umher.“

Der Wind und des Meeres Wallen,
Gaben sie frischen Klang?
Vernahmst du aus hohen Hallen
Saiten und Festgesang?

„Die Winde, die Wogen alle
Lagen in tiefer Ruh';
Einem Klagelied aus der Halle
Hört' ich mit Tränen zu.“

Sahest du oben gehen
Den König und sein Gemahl,
Der roten Mäntel Wehen,
Der goldnen Kronen Strahl?

Führten sie nicht mit Wonne
Eine schöne Jungfrau dar,
Herrlich wie eine Sonne,
Strahlend im goldnen Haar?

„Wohl sah ich die Eltern beide,
Ohne der Kronen Licht,
Im schwarzen Trauerkleide;
Die Jungfrau sah ich nicht.“

ЗАМОК НА БЕРЕГУ МОРЯ

«Ты видел ли замок на бреге морском?
Играют, сияют над ним облака;
Лазурное море прекрасно кругом».

«Я замок тот видел на бреге морском;
Сияла над ним одиноко луна;
Над морем клубился холодный туман».

«Шумели ль, плескали ль морские валы?
С их шумом, с их плеском сливался ли глас
Веселого пенья, торжественных струн?»

«Был ветер спокоен; молчала волна;
Мне слышалась в замке печальная песнь;
Я плакал от жалобных звуков ея».

«Царя и царицу ты видел ли там?
Ты видел ли с ними их милую дочь,
Младую, как утро весеннего дня?»

«Царя и царицу я видел... Вдвоем
Безгласны, печальны сидели они;
Но милой их дочери не было там».

LOB DES FRÜHLINGS

Saatengrün, Veilchenduft,
Lerchenwirbel, Amselschlag,
Sonnenregen, linde Luft!
Wenn ich solche Worte singe,
Braucht es dann noch großer Dinge,
Dich zu preisen, Frühlingstag?



DURAND

Nach dem hohen Schloß von Balbi
Zieht Durand mit seinem Spiele;
Voll die Brust von süßen Liedern,
Naht er schon dem frohen Ziele.
Dort ja wird ein holdes Fräulein,
Wann die Saiten lieblich rauschen,
Augen senkend, zart erglühend,
Innig atmend niederlauschen.
In des Hofes Lindenschatten
Hat er schon sein Spiel begonnen,
Singt er schon mit klarer Stimme,
Was er Süßestes ersonnen.
Von dem Söller, von den Fenstern
Sieht er Blumen freundlich nicken,
Doch die Herrin seiner Lieder
Kann sein Auge nicht erblicken.

ПРИХОД ВЕСНЫ

Зелень нивы, рощи лепет,
В небе жаворонка трепет,
Теплый дождь, сверканье вод, –
Вас назвавши, что прибавить?
Чем иным тебя прославить,
Жизнь души, весны приход?



АЛОНЗО

Из далекой Палестины
Возвратясь, певец Алонзо
К замку Бальби приближался,
Полон песней вдохновенных:

Там красавица младая,
Струны звонкие подслушав,
Обомлеет, затрепещет
И с альтана взор наклонит.

Он приходит в замок Бальби,
И под окнами поет он
Все, что сердце молодое
Втайне выдумать умело.

И цветы с высоких окон,
Видит он, к нему склонились;
Но царицы сладких песней
Меж цветами он не видит.

И ему тогда прохожий
Прошептал с лицом печальным:

Und es geht ein Mann vorüber,
Der sich traurig zu ihm wendet:
„Störe nicht die Ruh der Toten!
Fräulein Blanka hat vollendet.“
Doch Durand, der junge Sänger,
Hat darauf kein Wort gesprochen,
Ach, sein Aug ist schon erloschen,
Ach, sein Herz ist schon gebrochen.
Drüben in der Burgkapelle,
Wo unzähl'ge Kerzen glänzen,
Wo das tote Fräulein ruht,
Hold geschmückt mit Blumenkränzen,
Dort ergreift alles Volk
Schreck und Staunen, freudig Beben,
Denn von ihrem Totenlager
Sieht man Blanka sich erheben.
Aus des Scheintods tiefem Schlummer
Ist sie blühend auferstanden,
Tritt im Sterbekleid hervor
Wie in bräutlichen Gewanden.
Noch, wie ihr geschehn, nicht wissend,
Wie von Träumen noch umschlungen,
Fragt sie zärtlich, sehnsuchtsvoll:
„Hat nicht hier Durand gesungen?“
Ja, gesungen hat Durand,
Aber nie mehr wird er singen,

«Не тревожь покоя мертвых;
Спит во гробе Изолина».

И на то певец Алонзо
Не отвечал ни слова:
Но глаза его потухли,
И не бьется боле сердце.

Как незапным дуновеньем
Ветерок лампаду гасит,
Так угас в одно мгновенье
Молодой певец от слова.

Но в старинной церкви замка,
Где пылали ярко свечи,
Где во гробе Изолина
Под душистыми цветами

Бледноликая лежала,
Всех проник незапный трепет:
Оживленная, из гроба
Изолина поднялась...

От бесчувствия могилы
Возвратясь незапно к жизни,
В гробовой она одежде,
Как в уборе брачном, встала;

И, не зная, что с ней было,
Как объятая виденьем,
Изумленная спросила:
«Не пропел ли здесь Алонзо?..»

Так, пропел он, твой Алонзо!
Но ему не петь уж боле:
Пробудив тебя из гроба,
Сам заснул он, и навеки.

Auferweckt hat er die Tote,
Ihn wird niemand wiederbringen.
Schon im Lande der Verklärten
Wacht er auf, und mit Verlangen
Sucht er seine süße Freundin,
Die er wähnt vorangegangen.
Aller Himmel lichte Räume
Sieht er herrlich sich verbreiten;
Blanka! Blanka! ruft er sehnlich
Durch die öden Seligkeiten.



ROLAND SCHILDTRÄGER

Der König Karl saß einst zu Tisch
Zu Aachen mit den Fürsten,
Man stellte Wildpret auf und Fisch
Und ließ auch keinen dürsten.
Viel Goldgeschirr von klarem Schein,
Manch roten, grünen Edelstein
Sah man im Saale leuchten.

Da sprach Herr Karl, der starke Held:
„Was soll der eitle Schimmer?
Das beste Kleinod dieser Welt,
Das fehlet uns noch immer.
Dies Kleinod, hell wie Sonnenschein,
Ein Riese trägt's im Schilde sein,
Tief im Ardennerwalde.“

Там, в стране преображенных,
Ищет он свою земную,
До него с земли на небо
Улетевшую подругу...

Небеса кругом сияют,
Безмятежны и прекрасны...
И, надеждой обольщенный,
Их блаженства пролетая,

Кличет там он: «Изолина!»
И спокойно раздается:
«Изолина! Изолина!» –
Там в блаженствах безответных.



РОЛАНД ОРУЖЕНОСЕЦ

Раз Карл Великий пировал;
Чертог богато был украшен;
Кругом ходил золотой бокал;
Огромный стол трещал от брашен;
Гремел певцов избранных хор;
Шумел веселый разговор;
И гости вдоволь пили, ели,
И лица их от вин горели.

Великий Карл сказал гостям:
«Свершить нам должно подвиг трудный.
Прилично ль веселиться нам,
Когда еще Артусов чудный
Не завоеван талисман?
Его укравший великан
Живет в Арденнском лесе темном,
Он на щите его огромном».

Graf Richard, Erzbischof Turpin,
Herr Haimon, Naim von Bayern,
Milon von Anglant, Graf Garin,
Die wollten da nicht feiern.
Sie haben Stahlgewand begehrt
Und hießen satteln ihre Pferd,
Zu reiten nach dem Riesen.

Jung Roland, Sohn des Milon, sprach:
„Lieb Vater! hört, ich bitte!
Vermeint Ihr mich zu jung und schwach,
Daß ich mit Riesen stritte,
Doch bin ich nicht zu winzig mehr,
Euch nachzutragen Euern Speer
Samt Eurem guten Schilde.“

Die sechs Genossen ritten bald
Vereint nach den Ardennen,
Doch als sie kamen in den Wald,
Da täten sie sich trennen.
Roland ritt hinterm Vater her;
Wie wohl ihm war, des Helden Speer,
Des Helden Schild zu tragen!

Bei Sonnenschein und Mondenlicht
Streiften die kühnen Degen,
Doch fanden sie den Riesen nicht
In Felsen noch Gehegen.
Zur Mittagsstund am vierten Tag
Der Herzog Milon schlafen lag
In einer Eiche Schatten.

Roland sah in der Ferne bald
Ein Blitzen und ein Leuchten,
Davon die Strahlen in dem Wald
Die Hirsch und Reh aufscheuchten;
Er sah, es kam von einem Schild,

Отважный Оливьер, Гварин,
Силач Гемон, Наим Баварский,
Агландский граф Милон, Мерлин,
Такой услыша вызов царский,
Из-за стола тотчас встают,
Мечи тяжелые берут;
Сверкают их стальные брони;
Их боевые пляшут кони.

Тут сын Милонов молодой
Роланд сказал: «Возьми, родитель,
Меня с собой; я буду твой
Оруженосец и служитель.
Ваш подвиг не по лётам мне;
Но ты позволь, чтоб на коне
Я вез, простым твоим слугою,
Копье и щит твой за тобою».

В Арденнский лес одним путем
Шесть бодрых витязей пустились,
В средину въехали, потом
Друг с другом братски разлучились.
Младой Роланд с копьем, щитом
Смиренно едет за отцом;
Едва от радости он дышит;
Бодрит коня; конь ржет и пышет.

И рыщут по лесу они
Три целых дня, три целых ночи;
Устали сами; их кони
Совсем уж выбились из мочи;
А великана все им нет.
Вот на четвертый день, в обед,
Под дубом сенисто-широким
Милон забылся сном глубоким.

Den trug ein Riese, groß und wild,
Vom Berge niedersteigend.

Roland gedacht im Herzen sein:
„Was ist das für ein Schrecken!
Soll ich den lieben Vater mein
Im besten Schlaf erwecken?
Es wachet ja sein gutes Pferd,
Es wacht sein Speer, sein Schild und Schwert,
Es wacht Roland, der junge.“

Roland das Schwert zur Seite band,
Herrn Milons starkes Waffen,
Die Lanze nahm er in die Hand
Und tät den Schild aufraffen.
Herrn Milons Roß bestieg er dann
Und ritt erst sachte durch den Tann,
Den Vater nicht zu wecken.

Und als er kam zur Felsenwand,
Da sprach der Ries mit Lachen:
„Was will doch dieser kleine Fant
Auf solchem Rosse machen?
Sein Schwert ist zwier so lang als er,
Vom Rosse zieht ihn schier der Speer,
Der Schild will ihn erdrücken.“

Jung Roland rief: „Wohlauf zum Streit!
Dich reuet noch dein Necken.
Hab ich die Tartsche lang und breit,
Kann sie mich besser decken;
Ein kleiner Mann, ein großes Pferd,
Ein kurzer Arm, ein langes Schwert,
Muß eins dem andern helfen.“

Роланд не спит. Вдруг видит он:
В лесной дали, сквозь сумрак сений,
Блеснуло; и со всех сторон
Вскочило множество оленей,
Живым испуганных лучом;
И там, как туча, со щитом,
Блистающим от талисмана,
Валит громада великана.

Роланд глядит на пришлеца
И мыслит: «Что же ты за диво?
Будить мне для тебя отца
Не к месту было бы учтиво;
Здесь за него, пока он спит,
Его копье, и добрый щит,
И острый меч, и конь задорный,
И сын Роланд, слуга проворный».

И вот он на бедро свое
Повесил меч отцов тяжелый;
Взял длинное его копье
И за плеча рукою смелой
Его закинул крепкий щит;
И вот он на коне сидит;
И потихоньку удалился –
Дабы отец не пробудился.

Его увидя, сморщил нос
С презреньем великан спесивый.
«Откуда ты, молокосос?
Не по тебе твой конь ретивый;
Смотри, тебя длинней твой меч;
Твой щит с твоих ребячьих плеч,
Тебя переломив, свалится;
Твое копье лишь мне годится».

«Дерзка твоя, как слышу, речь;
Посмотрим, таково ли дело?»

Der Riese mit der Stange schlug,
Auslangend in die Weite,
Jung Roland schwenkte schnell genug
Sein Roß noch auf die Seite.
Die Lanz er auf den Riesen schwang,
Doch von dem Wunderschilde sprang
Auf Roland sie zurücke.

Jung Roland nahm in großer Hast
Das Schwert in beide Hände,
Der Riese nach dem seinen faßt',
Er war zu unbehende;
Mit flinkem Hiebe schlug Roland
Ihm unterm Schild die linke Hand,
Daß Hand und Schild entrollten.

Dem Riesen schwand der Mut dahin,
Wie ihm der Schild entrissen,
Das Kleinod, das ihm Kraft verliehn,
Mußt er mit Schmerzen missen.
Zwar lief er gleich dem Schilde nach,
Doch Roland in das Knie ihn stach,
Daß er zu Boden stürzte.

Roland ihn bei den Haaren griff,
Hieb ihm das Haupt herunter,
Ein großer Strom von Blute lief
Ins tiefe Tal hinunter;
Und aus des Toten Schild hernach
Roland das lichte Kleinod brach
Und freute sich am Glanze.

Dann barg er's unterm Kleide gut
Und ging zu einem Quelle,
Da wusch er sich von Staub und Blut
Gewand und Waffen helle.
Zurücke ritt der jung Roland

Тяжел мой щит для детских плеч –
Зато за ним стою я смело;
Пусть неуч я – мой конь учен;
Пушкой я слаб – мой меч силен;
Отведай нас; уж мы друг другу
Окажем в честь тебе услугу».

Дубину великан взмахнул,
Чтоб вдребезги разбить нахала,
Но конь Роландов отпрыгнул;
Дубина мимо просвистала.
Роланд пустил в него копьём;
Оно осталось с острием,
Погнутым силой талисмана,
В щите пронзенном великана.

Роланд отцовский меч большой
Схватил обеими руками;
Спешит схватить противник свой;
Но крепко стиснут он ножнами;
Еще меча он не извлек,
Как руку левую отсек
Ему наш витязь; кровь струею;
Прочь отлетел и щит с рукою.

Завыл от боли великан,
Кипучей кровию облитый:
Утратив чудный талисман,
Он вдруг остался без защиты;
Вслед за щитом он побежал;
Но по ногам вдогонку дал
Ему Роланд удар проворный:
Он покатился глыбой черной.

Роланд, подняв отцовский меч,
Одним ударом исполину
Отрушил голову от плеч,
Свистя, кровь хлынула в долину.

Dahin, wo er den Vater fand
Noch schlafend bei der Eiche.

Er legt' sich an des Vaters Seit,
Vom Schlafe selbst bezwungen,
Bis in der kühlen Abendzeit
Herr Milon aufgesprungen:
„Wach auf, wach auf, mein Sohn Roland!
Nimm Schild und Lanze schnell zur Hand,
Daß wir den Riesen suchen!“

Sie stiegen auf und eilten sehr,
Zu schweifen in der Wilde,
Roland ritt hinterm Vater her
Mit dessen Speer und Schilde.
Sie kamen bald zu jener Stätt,
Wo Roland jüngst gestritten hätt,
Der Riese lag im Blute.

Roland kaum seinen Augen glaubt',
Als nicht mehr war zu schauen
Die linke Hand, dazu das Haupt,
So er ihm abgehauen,
Nicht mehr des Riesen Schwert und Speer,
Auch nicht sein Schild und Harnisch mehr,
Nur Rumpf und blut'ge Glieder.

Milon besah den großen Rumpf:
„Was ist das für 'ne Leiche?
Man sieht noch am zerhaunem Stumpf,
Wie mächtig war die Eiche.

Щит великанов взяв потом,
Он талисман, блиставший в нем
(Осьмое чудо красотою),
Искусной выломал рукою.

И в платье скрыл он взятый клад;
Потом струей ручья леснова
С лица и с рук, с коня и с лат
Смыл кровь и прах и, севши снова
На доброго коня, шажком
Отправился своим путем
В то место, где отец остался;
Отец еще не просыпался.

С ним рядом лег Роланд и в сон
Глубокий скоро погрузился
И спал, покуда сам Милон
Под сумерки не пробудился.
«Скорей, мой сын Роланд, вставай,
Подай мой шлем, мой меч подай;
Уж вечер; всюду мгла тумана;
Опять не встретим великана».

Вот ездит он в лесу густом
И великана ищет снова;
Роланд за ним с копьем, щитом –
Но о случившемся ни слова.
И вот они в долине той,
Где жаркий совершился бой;
Там виден был поток кровавый;
В крови валялся труп безглавый.

Роланд глядит; своим глазам
Не верит он: что за причина?
Одно лишь туловище там;
Но где же голова, дубина?
Где панцирь, меч, рука и щит?
Один ободранный лежит

Das ist der Riese! frag ich mehr?
Verschlafen hab ich Sieg und Ehr,
Drum muß ich ewig trauern.“ —
Zu Aachen vor dem Schlosse stund
Der König Karl gar bange:
„Sind meine Helden wohl gesund?
Sie weilen allzu lange.
Doch seh ich recht, auf Königswort!
So reitet Herzog Haimon dort,
Des Riesen Haupt am Speere.“

Herr Haimon ritt in trübem Mut,
Und mit gesenktem Spieße
Legt' er das Haupt, besprengt mit Blut,
Dem König vor die Füße:
„Ich fand den Kopf im wilden Hag,
Und fünfzig Schritte weiter lag
Des Riesen Rumpf am Boden.“

Bald auch der Erzbischof Turpin
Den Riesenhandschuh brachte,
Die ungefüge Hand noch drin,
Er zog sie aus und lachte:
„Das ist ein schön Reliquienstück,
Ich bring es aus dem Wald zurück,
Fand es schon zugehauen.“

Der Herzog Naim von Bayerland
Kam mit des Riesen Stange:
„Schaut an, was ich im Walde fand!
Ein Waffen, stark und lange.
Wohl schwitz ich von dem schweren Druck;
Hei! bayrisch Bier, ein guter Schluck,
Sollt mir gar köstlich munden!“

Обрубок мертвеца нагого;
Следов не видно остального.

Труп осмотрев, Милон сказал:
«Что за уродливая грудя!
Еще ни разу не видал
На свете я такого чуда:
Чей это труп?.. Вопрос смешной!
Да это великан; другой
Успел дать хищнику управу;
Я прбспал честь мою и славу».

Великий Карл глядел в окно
И думал: «Страшно мне по чести;
Где рыцари мои? Давно
Пора б от них иметь нам вести.
Но что?.. Не герцог ли Гемон
Там едет? Так, и держит он
Свое копьё перед собою
С отрубленною головою».

Гемон, с нахмуренным лицом
Приблизась, голову немую
Стряхнул с копья перед крыльцом
И Карлу так сказал: «Плохую
Добычу я завоевал;
Я этот клад в лесу достал,
Где трое суток я скитался:
Мне враг без головы попался».

Приехал за Гемоном вслед
Тюрпин, усталый, бледный, тощий.
«Со мною талисмана нет:
Но вот вам дорогие мощи».
Добычу снял Тюрпин с седла:
То великанова была
Рука, обвитая тряпицей,
С его огромной рукавицей.

Сердит и сумрачен, Наим
Приехал по следам Тюрпина,
И великанова за ним
Висела на седле дубина.

Graf Richard kam zu Fuß daher,
Ging neben seinem Pferde,
Das trug des Riesen schwere Wehr,
Den Harnisch samt dem Schwerte:
„Wer suchen will im wilden Tann,
Manch Waffenstück noch finden kann,
Ist mir zu viel gewesen.“

Der Graf Garin tät ferne schon
Den Schild des Riesen schwingen.
„Der hat den Schild, des ist die Kron,
Der wird das Kleinod bringen!“
„Den Schild hab ich, ihr lieben Herrn!
Das Kleinod hätt ich gar zu gern,
Doch das ist ausgebrochen.“

Zuletzt tät man Herrn Milon sehn,
Der nach dem Schlosse lenkte,
Er ließ das Rößlein langsam gehn,
Das Haupt er traurig senkte.
Roland ritt hinterm Vater her
Und trug ihm seinen starken Speer
Zusamt dem festen Schilde.

Doch wie sie kamen vor das Schloß
Und zu den Herrn geritten,
Macht' er von Vaters Schilde los
Den Zierat in der Mitten;
Das Riesenkleinod setzt' er ein,
Das gab so wunderklaren Schein
Als wie die liebe Sonne.

«Кому достался талисман,
Не знаю я; но великан
Меня оставил в час кончины
Наследником своей дубины».

Шел рыцарь Оливьер пешком
Задумчивый и утомленный;
Конь, великановым мечом
И панцирем обремененный,
Едва копыта подымал.
«Все это с мертвеца я снял;
Мне от победы мало чести;
О талисмане ж нет и вести».

Вдали является Гварин
С щитом огромным великана,
И все кричат: «Вот паладин,
Завоеватель талисмана!»
Гварин, подъехав, говорит:
«В лесу нашел я этот щит;
Но обманулся я в надежде:
Был талисман украден прежде».

Вот наконец и граф Милон.
Печален, во вражде с собою,
К дворцу тихонько едет он
С потупленною головою.
Роланд смиренно за отцом
С его копьем, с его щитом,
И светятся, как звезды ночи,
Под шлемом удалые очи.

И вот они уж у крыльца,
На коем Карл и паладины
Их ждут; тогда на щит отца
Роланд, сорвав с его средины
Златую бляху, утвердил
Свой талисман и щит открыл...
И луч блеснул с него чудесный,
Как с черной тучи день небесный.

Und als nun diese helle Glut
Im Schilde Milons brannte,
Da rief der König frohgemut:
„Heil Milon von Anglante!
Der hat den Riesen übermannt,
Ihm abgeschlagen Haupt und Hand,
Das Kleinod ihm entrissen!“

Herr Milon hatte sich gewandt,
Sah staunend all die Helle:
„Roland! sag an, du junger Fant!
Wer gab dir das, Geselle?“
„Um Gott, Herr Vater! zürnt mir nicht,
Daß ich erschlug den groben Wicht,
Derweil Ihr eben schliefet!“



KÖNIG KARLS MEERFAHRT

Der König Karl fuhr über Meer
Mit seinen zwölf Genossen,
Zum Heil'gen Lande steuert' er
Und ward vom Sturm verstoßen.

Da sprach der kühne Held Roland:
„Ich kann wohl fechten und schirmen;
Doch hält mir diese Kunst nicht stand
Vor Wellen und vor Stürmen.“

Dann sprach Herr Holger aus Dänemark:
„Ich kann die Harfe schlagen;
Was hilft mir das, wenn also stark
Die Wind' und Wellen jagen?“

И грянуло со всех сторон
Шумящее рукоплесканье;
И Карл сказал: «Ты, граф Милон,
Исполнил наше упование;
Ты возвратил нам талисман;
Тобой наказан великан;
За славный подвиг в награжденье
Прими от нас благоволение».

Милон, слова услыша те,
Глаза на сына обращает...
И что же? Перед ним в щите,
Как солнце, талисман сияет.
«Где это взял ты, молодец?»
Роланд в ответ: «Прости, отец;
Тебя будить я побоялся
И с великаном сам подрался».



ПЛАВАНИЕ КАРЛА ВЕЛИКОГО

Раз Карл Великий морем плыл,
И с ним двенадцать пэров плыло,
Их путь в святую землю был;
Но море злилося и выло.

Тогда Роланд сказал друзьям:
«Деруся я на суше смело;
Но в злую бурю по волнам
Хлестать мечом плохое дело».

Датчанин Гольгер молвил: «Рад
Я веселить друзей струнами;
Но будет ли какой в них лад
Между ревущими волнами?»

Herr Oliver war auch nicht froh;
Er sah auf seine Wehre:
„Es ist mir um mich selbst nicht so,
Wie um die Altekläre.“

Dann sprach der schlimme Ganelon
(Er sprach es nur verstohlen):
„Wär' ich mit guter Art davon,
Möcht' euch der Teufel holen!“

Erzbischof Turpin seufzte sehr:
„Wir sind die Gottesstreiter;
Komm, liebster Heiland, über das Meer
Und führ' uns gnädig weiter!“

Graf Richard Ohnefurcht hub an:
„Ihr Geister aus der Hölle,
Ich hab' euch manchen Dienst getan;
Jetzt helft mir von der Stelle!“

Herr Naimes diesen Ausspruch tat:
„Schon vielen riet ich heuer,
Doch süßes Wasser und guter Rat
Sind oft zu Schiffe teuer.“

Da sprach der graue Herr Riol:
„Ich bin ein alter Degen
Und möchte meinen Leichnam wohl
Dereinst ins Trockne legen.“

Es war Herr Gui, ein Ritter fein,
Der fing wohl an zu singen:
„Ich wollt', ich wär' ein Vögelein;
Wollt' mich zu Liebchen schwingen.“

Da sprach der edle Graf Garein:
„Gott helf' uns aus der Schwere!

А Оливьер сказал, с плеча
Взглянув на бурных волн сугробы:
«Мне жалко нового меча:
Здесь утонуть ему без пробы».

Нахмурясь, Ганелон шепнул:
«Какая адская тревога!
Но только б я не утонул!..
Они ж?.. туда им и дорога!»

«Мы все плывем к святым местам! –
Сказал, крестясь, Тюрпин-святитель. –
Явись и в пристань по волнам
Нас, грешных, проведи, Спаситель!»

«Вы, бесы! – граф Рихард вскричал, –
Мою вы ведаете службу;
Я много в ад к вам душ послал –
Явите вы теперь мне дружбу».

«Уж я ли, – вымолвил Наим, –
Не говорил: нажить нам горе?
Но слово умное глухим
Есть капля масла в бурном море».

«Беда! – сказал Риоль седой, –
Но если море не уймется,
То мне на старости в сырой
Постеле нынче спать придется».

А граф Гюи вдруг начал петь,
Не тратя жалоб бесполезно:
«Когда б отсюда полететь
Я птичкой мог к своей любезной!»

«Друзья, сказать ли вам? ей-ей! –
Промолвил граф Гварин, вздыхая, –

Ich trink' viel lieber den roten Wein,
Als Wasser in dem Meere.“

Herr Lambert sprach, ein Jüngling frisch:
„Gott woll' uns nicht vergessen!
Äß' lieber selbst 'nen guten Fisch,
Statt daß mich Fische fressen.“

Da sprach Herr Gottfried lobesan:
„Ich lass' mir's halt gefallen;
Man richtet mir nicht anders an,
Als meinen Brüdern allen.“

Der König Karl am Steuer saß;
Der hat kein Wort gesprochen,
Er lenkt das Schiff mit festem Maß,
Bis sich der Sturm gebrochen.



NORMANNISCHER BRAUCH

Dem Freiherrn de la Motte Fouque zugeeignet

Fischerhütte auf einer Insel an der Küste der Normandie.

B a l d e r, ein Seefahrer.

R i c h a r d, ein Fischer.

T h o r i l d e .

B a l d e r :

Dies auf dein Wohlsein, vielgeehrter Wirt!
Fürwahr, ich hab's dem tollen Sturme Dank,
Der mich in deiner Insel Bucht gejagt,
Denn solch ein traulich Mahl am stillen Herd
Hat mich seit langer Zeit nicht mehr gelabt.

Мне сладкое вино вкусней,
Чем горькая вода морская».

Ламберт прибавил: «Что за честь
С морскими чуждами сражаться?
Гораздо лучше рыбу есть,
Чем рыбе на обед достаться».

«Что Бог велит, тому и быть! –
Сказал Годафруа. – С друзьями
Я рад добро и зло делить;
Его святая власть над нами».

А Карл молчал: он у руля
Сидел и правил. Вдруг явилась
Святая вдалеке земля,
Блеснуло солнце, буря скрылась.



НОРМАНДСКИЙ ОБЫЧАЙ

(Драматическая повесть)

Рыбачья хижина на берегах Нормандии.
Б а л ь д е р, мореходец
Р и х а р д, рыбак
Т о р и л ь д а.

Б а л ь д е р

Твое здоровье, мой хозяин добрый.
Признаться ли? Я благодарен буре,
Занесшей нас в спокойный твой залив:
Давно таким радушным угощеньем,
У светлого огня, в приюте мирном,
Порадован я не был.

R i c h a r d :

Man trifft's in Fischerhütten besser nicht;
Hat's dir behagt, viel Ehr und Freude mir!
Insonders wert ist mir so edler Gast,
Der aus dem nord'schen Heimatlande kommt,
Von wannen unsre Väter hergeschifft,
Davon man noch so vieles sagt und singt.
Doch muß ich dir eröffnen, edler Herr,
Wer bei mir einkehrt, sei er noch so arm,
Wird angesprochen um ein Gastgeschenk.

B a l d e r :

Mein Schiff, das in der Bucht vor Anker liegt,
Es hegt der seltnen Waren mancherlei,
Die ich vom Mittelmeere hergeführt,
Goldfrüchte, süße Weine, bunte Vögel;
Auch wahr't es Waffen, nord'scher Schmiede Werk,
Zweischneid'ge Schwerter, Harnisch, Helm und Schild.

R i c h a r d :

Nicht solches meint ich, du verstehst mich falsch.
Es ist ein Brauch in unsrer Normandie,
Wer einen Gast an seinem Herd empfing,
Verlangt von ihm ein Märchen oder Lied
Und gibt sofort ein gleiches ihm zurück.
Ich halt in meinen alten Tagen noch
Die edeln Sagen und Gesänge wert,
Darum erlaß ich dir die Forderung nicht.

Р и х а р д
В добрый час!

Доволен ты, и мы довольны: в наших
Рыбачьих хижинах какая роскошь?
Но вдвое нам по сердцу гость такой,
Как ты, рожденный в северных странах,
Из коих в старину приплыли наши
Отцы, о коих нам из древних лет
Так много славного сохранено
В преданиях и песнях сладкозвучных.
Но должен я тебе, мой благородный
Гость, объявить, что есть у нас обычай,
По коему здесь каждый иноземец,
Кто б ни был он, богатый иль убогий,
За угощенье платит.

Б а л ь д е р
Рад исполнить

Я ваш обычай; мой корабль, стоящий
На якоре в заливе, полон редких
Товаров, собранных по берегам
Земель полуденных: есть золотые
Плоды, есть вина сладкие, есть птицы,
Пленяющие взор блистаньем перьев;
И кузниц северных изделия есть:
Двуострые мечи, кольчуги, шлемы.

Р и х а р д

Меня не понял ты, мой гость почтенный;
Нормандский наш обычай не таков:
Здесь всякий, кто ночлег дал иноземцу,
Имеет право требовать, чтоб гость
Иль сказку рассказал иль песню спел,
И в свой черед ему он тем же платит.
На старости держусь я старины,
Люблю я песни, сказки и преданья.
Исполни ж наш обычай, добрый гость.

B a l d e r :

Ein Märchen ist oft süß wie Zyperwein,
Wie Früchte duftig und wie Vögel bunt,
Und manch ein altertümlich Heldenlied
Ertönt wie Schwertgeklirr und Schildesklang,
Drum war mein Irrtum wohl nicht allzu groß.
Zwar weiß ich nicht so Herrliches zu melden,
Doch ehrt ich gern den löblichen Gebrauch.
Vernimm denn, was in heitrer Mondnacht jüngst
Ein Schiffsgenoß auf dem Verdeck erzählt!

R i c h a r d :

Noch einen Trunk, mein Gast! Beginne dann!

B a l d e r :

Zween nord'sche Grafen hatten manches Jahr
Das Meer durchsegelt mit vereinten Wimpeln,
Vereint bestanden manch furchtbaren Sturm,
Manch heiße Schlacht zur See und am Gestad,
Auch manchesmal im Süden oder Osten
Auf blühndem Strand zusammen ausgeruht;
Jetzt ruhten sie daheim auf ihren Burgen,
In gleiche Trauer beide tief versenkt,
Denn jeder hatt ein treues Ehgemahl
Unlängst begleitet nach der Ahnengruft.
Doch sproßt' auch jedem aus dem düstern Gram
Ein süßes, ahnungsvolles Glück herauf:
Dem einen blüht' ein muntreer Sohn,
Der andre pflegt' ein liebes Töchterlein.
Um ihren alten Freundschaftsbund zu krönen

Б а л ь д е р

Иная сказка сладостней вина,
Душистее плода, пестрее птицы;
И часто звук старинной бранной песни,
Как звук мечей, как гром щитов, пленяет
Наш слух: итак, не вовсе я ошибся.
Хоть в памяти немного у меня
Рассказов, но почтить такой похвальный
Обычай я готов. Вот что недавно
На палубе, в морскую тишину
Нам при луне один из корабельных
Товарищей рассказывал.

Р и х а р д

Но прежде
Еще по кубку выпьем. (*Пьют.*) Начинай.

Б а л ь д е р

Два северных породы славной графа,
Друзья из младости, переплывали
Моря на кораблях своих союзных;
И много битв на суше и водах,
И много бурь они видали вместе;
И много раз, на юге и востоке,
У берегов цветущих бросив якорь,
Друг с другом отдых сладостный делили.
Вот наконец они в старинных замках,
Наследии отцовском, поселились,
И им одну печаль послало небо:
Они супруг любимых схоронили,
Почти в одно лишась их время; горе
Тесней сдружило их, но и отрада
Осталась им в печали их глубокой:

Und daurendes Gedächtnis ihm zu stiften,
Beschlossen sie, die teuern Spröblinge
Dereinst durch heil'ge Bande zu verknüpfen.
Zween goldne Ringe ließen sie bereiten,
Die man, den zarten Fingern noch zu weit,
An bunten Bändern um die Hälschen hing.
Ein Saphir, wie des Mägdleins Auge blau,
War in des jungen Grafen Ring gefügt,
Im andern glüht' ein rosenroter Stein,
Recht wie des Knaben frisches Wangenblut.

R i c h a r d :

Ein rosenroter Stein im goldnen Reif,
Das war des Mädchens Schmuck? Verstand ich's wohl?

B a l d e r :

Ja! wie du sagst, doch kommt's darauf nicht an.
Schon wuchs der Knabe hoch und schlank herauf,
In Waffenspielen ward er früh geübt,
Schon tummelt' er ein kleines, schmuckes Roß.
Nicht soll er wie der Vater einst das Meer
Auf abenteuerlicher Fahrt durchschweifen,
Beschirmen soll er einst mit starker Hand
Das mächtige Gebiet, die hohen Burgen,
Vereintes Erbtum beider Grafenstämme.
Des jungen Ritters Bräutlein lag indes
Noch in der Wieg, im dämmernden Gemach,
Von treuen Wärterinnen wohl besorgt.
Nun kam ein milder Frühlingstag ins Land,
Da trugen sie das ungeduld'ge Kind
Zum sonnig heitern Meeresstrand hinab
Und brachten Blum und Muschel ihm zum Spiel.
Die See, von leisem Lufthauch sanft bewegt,
Sie spiegelte der Sonne klares Bild

У одного был сын, ребенок бодрый,
Другой имел младенца дочь. Чтоб новым
Союзом утвердить святую дружбу,
Чтоб вечная осталась память ей,
Отцы детей решились сочетать,
И их они тогда же обручили.
И девочке и мальчику на шею,
На легких золотых цепочках, были
Повешены два перстня дорогих:
В одном из перстней был сапфир, как очи
Невестины лазурный, а в другом
Был камень, розовый, как молодые
Румяные ланиты жениха.

Р и х а р д

Был камень розовый, ты говоришь,
В кольце невесты?

Б а л ь д е р

Да, большой рубин.

Но слушай далее. Тогда уж мальчик
Был лет пятнадцати; был силен, ловко
Владел мечом, и мог уж обуздать
Коня; не для тревог морских отец
Его готовил; он был должен замки
И области наследственные предков
Могучею рукою защищать.
Невеста же его была младенец
Лет четырех; еще не покидала
Она своей уютной колыбели;
Усердная за ней смотрела няня.
Но что ж случилось? Был прекрасный день
Весенний; на берег морской из замка
С малюткой вышла няня, вслед за нею
Толпа прислужниц молодых; цветы
И камешки блестящие собирали
Они на берегу; малютка ими

Und warf den Zitterschein aufs junge Grün.
Am Strande lag gerade ein kleiner Kahn,
Den schmücken jetzt die Fraun mit Schilf und Blumen
Und legen ihren holden Pflögling drein
Und schaukeln ihn am Ufer auf und ab.
Das Kindlein lacht, die Frauen lachen mit,
Doch eben unterm fröhlichsten Gelächter
Entschlüpft das Band, daran sie spielend ziehn,
Und als sie es bemerken, kann ihr Arm
Das Schiffllein nicht vom Strande mehr erreichen.
So scheinbar still die See, so wellenlos,
Doch spült sie weiter stets den Kahn hinaus.
Man höret noch des Kindes herzlich Lachen,
Die Frauen aber sehn verzweifelnd nach
Mit Händeringen, wildem Angstgeschrei.
Der Knabe, der sein Liebchen zu besuchen
Gekommen war und jetzt das leichte Roß
Auf grüner Uferwiese tummelte,
Er sprengt auf das Geschrei im Flug heran,
Er treibt sein Pferdchen mutig in die See
Und meint das blum'ge Fahrzeug zu erschwimmen.
Kaum aber prüft das Tier die kalte Flut,
So schüttelt sich's und wendet störrig um
Und reißt den Reiter an den Strand zurück.
Derweil hat schon der Nachen mit dem Kinde
Hinausgetrieben aus der stillen Bucht,
Und frisches Wehen auf der offenen See
Entführt ihn bald den Blicken.

Играла; море было тихо; свежий
Весенний ветерок едва касался
Прозрачных вод, и солнце в них сверкало,
И отблеск волн приятно трепетал
На свежей зелени. Челнок рыбацкий
Привязан был у берега; цветами
Душистыми наполнивши его,
Прислужницы малютку уложили
В цветы и, отвязав веревку, тихо
На плещущих кругом волнах качали
Челнок; младенец веселился; вдруг
Веревка неприметно из руки,
Ее державшей, ускользнула в воду,
И легкою волною откачнуло
Челнок от берега; хотят его
Схватить, но до него уже не может
Достать рука; и море, сколь ни тихим
Казалось оно дотоле, тянет
Какою-то невидимою силой
Его вперед; дитя, в цветах играя,
Смеется, слышен крик его веселый;
А женщины на берегу подьемлют
Отчаянные вопли. В это время
Жених, приехавший с своей малюткой
Невестой повидаться, на коне
По ближнему береговому лугу
Скакал и прыгал; он на крик примчался
И, сведав, что случилось, смело в воду
Погнал коня, дабы поймать челнок.
Но, холод волн почувствовавши, конь
Стал на дыбы и бросился назад
И седока умчал с собой обратно.
А между тем челнок все дале, дале;
Вот наконец из тихого залива
Он выплыл; вдруг повеял свежий ветер,
И скоро он совсем исчез из глаз
В открытом море.

R i c h a r d :

Armes Kind!

Die heil'gen Engel mögen dich umschweben!

B a l d e r :

Dem Vater kommt die Schreckensbotschaft zu,
Gleich läßt er alle Schiffe, groß und klein,
Auslaufen, und das schnellste trägt ihn selbst.
Doch spurlos ist das Meer, der Abend sinkt,
Die Winde wechseln, nächtlich tobt der Sturm.
Von mondenlangem Suchen bringen sie
Den leeren, morschen Nachen nür zurück,
Mit abgewelkten Kränzen —

R i c h a r d :

Was stört dich in der Rede, werter Gast?

Du stockst, du atmest tief.

B a l d e r :

Ich fahre fort.

Seit jenem Unfall freute sich der Knabe
Nicht mehr des Rosselenkens wie zuvor,
Viel lieber übt' er sich im Schwimmen, Tauchen,
Am Ruder prüft' er gerne seinen Arm.
Als er zum kräft'gen Jüngling nun erstarkt,
Da heischt er Schiffe von dem Vater.
Nichts hat das feste Land, was er begehrt,
Kein Fräulein auf den Burgen reizet ihn,
Dem wilden Meere scheint er anverlobt,
Darin das Mägdlein und der Ring versank.
Auch rüstet er sein Hauptschiff seltsam aus
Mit Purpurwimpeln, goldnem Bilderschmuck,
Wie einer, der die Braut meerüber holt.

Р и х а р д
Бедное дитя,
Спаси тебя хранитель ангел твой!

Б а л ь д е р

Услышав весть ужасную, отец
Немедленно всем кораблям своим
Велел пуститься в море; на быстрейшем
Он поплыл сам. Но в море нет следов;
А к вечеру переменился ветер,
И всю ту ночь свирепствовала буря.
Вот наконец, по долгом и напрасном
Искании, нашли пустой рыбацкий
Челнок и в нем увядшие цветы.

Р и х а р д
Что сделалось с тобою, добрый гость?
Ты дышишь тяжело, ты весь в лице
Переменился.

Б а л ь д е р

Нет. Послушай дале:
С той бедственной поры покинул отрок
Жених коня и прилепился к тяжким
Морским трудам; стал плавать; в холод, в бурю
Бросался в волны и боролся с морем,
И руку приучал владеть кормилом;
И наконец, став юношей могучим,
Он корабли вооружил и в море
Пустился... на земле его надежде
Уже ничто не льстило; ни одна
Красавица окрестных замков сердца
Его не трогала; он обручен
Был морю дикому, волнам свирепым,
Пожравшим все его земное счастье.
Там в глубине была его невеста,
Там был и обручальный перстень. Главный
Корабль свой он украсил парусами
Пурпурными и резьбой золотою,
Как брачному прилично кораблю.

R i c h a r d :

Fast wie das deine drunten in der Bucht,
Nicht wahr, mein wackrer Seemann?

B a l d e r :

Wenn du willst.

Mit jenem reichgeschmückten Hochzeitschiff
Hat er in manchem grausen Sturm geschwankt.
Wenn so zu Donnerschlag und Sturmgebraus
Die Wogen tanzen, feiner Hochzeittanz!
Manch blut'ge Seeschlacht hat er durchgekämpft
Und ist davon im Norden wohl bekannt.
Mit sondrem Namen ward er dort belegt.
Springt er hinüber mit geschwungnem Schwert
Auf ein geentert Schiff, dann schreit das Volk:
„Weh uns! vertilg uns nicht, M e e r b r ä u t i g a m!“ —
Das ist mein Märchen.

R i c h a r d :

Habe Dank dafür!
Es hat mir recht mein altes Herz bewegt.
Nur, dünkt mir, fehlt ihm noch der volle Schluß.
Wer weiß, ob wirklich denn das Kind versank,
Ob nicht ein fremdes Schiff vorüberfuhr,
Das flugs an Bord den armen Findling nahm,
Den morschen Kahn der Meerflut überließ?
Vielleicht auf einer Insel, wie die unsre,
Ward dann das schwache Kindlein abgesetzt,
Von frommen Händen sorgsamlich gepflegt,
Und ist zur holden Jungfrau nun erblüht.

Р и х а р д

Не так ли этот был корабль украшен,
Как твой, на якоре стоящий в нашем
Заливе?

Б а л ь д е р

Может быть. На этом брачном,
Могучем корабле он претерпел
Немало бурь; и волны, громы, вихри
Не раз ему приветственные песни,
В ужасный хор совокупясь, гремели;
Немало битв морских он совершил;
И знают все на севере его
Под страшным именем: когда в бою,
Сцепив корабль свой с кораблем врага,
На палубу его с мечом поднятым
Взбегает он, народ кричит: беда;
Пропали мы! Жених морской, помилуй! –
Я кончил свой рассказ.

Р и х а р д

Благодарю;

Мне, старику, расшевелил он душу.
Но, кажется, недостает конца
Рассказу твоему. Кто может знать,
Погибло ли дитя в волнах иль нет?
Попасться мог навстречу челноку
Корабль и взять дитя, оставив в море
Челнок; иль быть могло принесено
Дитя на остров, моему подобный,
И люди добрые могли его
Найти; и может быть, под их надзором
Малютка выросла, и может быть,
Она теперь цветущей девой стала.

B a l d e r :

Du weißt geschickt ein Märchen auszuspinnen.
So laß uns deines hören, wenn's beliebt!

R i c h a r d :

In vor'gen Tagen wußt ich manche Mär
Von unsern alten Herzogen und Helden
Und sonderlich vom Richard Ohnefurcht,
Der nachts so hell als wie am Tage sah,
Der durch den öden Wald allnächtlich ritt
Und mit Gespenstern manchen Strauß bestand;
Doch jetzt ist mein Gedächtnis alterschwach,
Verworren schwankt mir alles vor dem Sinn.
Drum soll das junge Mädchen mich vertreten,
Das dort so still und abgewendet sitzt
Und Netze strickt beim trüben Lampenschein.
Sie hat sich manches gute Lied gemerkt
Und hat 'ne Kehle wie die Nachtigall.
Thorilde! darfst den edeln Gast nicht scheun.
Sing uns das Lied vom Mägdlein und vom Ring,
Das einst der alte Sänger dir gereimt!
Ein feines Lied! ich weiß, du singst es gern.

T h o r i l d e *singt:*

Wohl sitzt am Meeresstrande
Ein zartes Jungfräulein,
Sie angelt manche Stunde,
Kein Fischlein beißt ihr ein.

Sie hat 'nen Ring am Finger
Mit rotem Edelstein,
Den bind't sie an die Angel,
Wirft ihn ins Meer hinein.

Б а л ь д е р

Искусно ты досказываешь сказки.
Но твой теперь черед; готов я слушать.

Р и х а р д

Я в старину знавал преданий много
О рыцарях, о герцогах нормандских;
Любимец мой был наш Рихард Бесстрашный,
Который ночью видел так, как днем,
И по лесу гулял в глухую полночь,
Сражаясь с нечистыми духами.
Но память у меня теперь плоха,
И в голове от старости все смутно;
Итак, не взыщешь ты, когда на место
Меня мой долг теперь тебе заплатит
Питомица моя, та молодая
Красавица, которая сидит
В углу так тихо, к нам спиной, и сети
Мои чинит при свете ночника.
Она поет как соловей, и много
Прекрасных песен знает. Не дичись,
Торильда, гостя; спой ему ту песню
Про девицу красавицу и перстень,
Что для тебя сложил певец прохожий;
Я знаю, ты ее поешь охотно.

Т о р и л ь д а (*поет*)

Тихой утренней порою,
Над прозрачною водою,
Дева с удочкой сидит
И на удочку глядит.

Ждет... но удочка не гнется,
Волосок не шевельнется,
Неподвижен поплавок,
Не берет в воде крючок.

Da hebt sich aus der Tiefe
'ne Hand wie Elfenbein,
Die läßt am Finger blinken
Das goldne Ringlein.

Da hebt sich aus dem Grunde
Ein Ritter, jung und fein.
Er prangt in goldnen Schuppen
Und spielt im Sonnenschein.

Das Mägdlein spricht erschrocken:
„Nein, edler Ritter, nein!
Laß du mein Ringlein golden!
Gar nicht begehrt ich dein.“

„Man angelt nicht nach Fischen
Mit Gold und Edelstein,
Das Ringlein laß ich nimmer,
Mein eigen mußst du sein.“

B a l d e r :

Was hör ich? seltsam ahnungsvoller Sang!
Was seh ich? welch ein himmlisch Angesicht
Hebt süß errötend sich aus goldnen Locken
Und mahnt mich an die ferne Kinderzeit!
Ha! an der Rechten blinkt der goldne Ring,
Der rote Stein; du bist's, verlorne Braut!
Ich bin's, den sie Meerbräutigam genannt,
Hier ist der Saphir, wie dein Auge blau,
Und drunten liegt das Hochzeitschiff bereit.

И она, прождав напрасно,
Надевает свой прекрасный
С камнем алым перстенок
На приманчивый крючок.

Вдруг вода зашевелилась,
И на удочке явилась
У драгого перстенька
Белоснежная рука;

И с рукою белоснежной,
Видом бодрый, взглядом нежный,
Над равниной водяной
Всплыл красавец молодой.

Дева очи опустила:
«Не тебя в волнах ловила
Я, красавец молодой;
Возврати мне перстень мой».

– Дева с ясными очами!
Рыбу ловят не перстнями;
В море перстнем пойман я;
Буду твой, ты будь моя.

Б а л ь д е р
Что слышу? Чудный, таинственный голос!
Какое там небесное лицо,
Горящее застенчивым румянцем,
Сквозь волны золотых кудрей сияет
И предо мной опять животворит
Минувшие, младенческие годы?
Что вижу? Розовый знакомый камень
В златом кольце на пальце у нее?
Так это ты, погибшая невеста;
А я... я твой жених, жених морей;
Вот мой сапфир, твоим очам подобный;
А там нас ждет и брачный наш корабль.

R i c h a r d :

Das hab ich längst gedacht, verehrter Held!
Ja! nimm sie hin, mein teures Pflegekind,
Halt sie nur fest in deinem starken Arm,
Du drückst ein treues Herz an deine Brust.
Doch sieh einmal! du hast dich ganz verwirrt
Im Netze, das mein fleißig Kind gestrickt.



DER WALLER

Auf Galiciens Felsenstrande
Ragt ein heil'ger Gnadenort,
Wo die reine Gottesmutter
Spendet ihres Segens Hort.
Dem Verirrten in der Wildnis
Glänzt ein goldner Leitstern dort,
Dem Verstürmten auf dem Meere
Öffnet sich ein stiller Port.

Rührt sich dort die Abendglocke,
Hallt es weit die Gegend nach;
In den Städten, in den Klöstern
Werden alle Glocken wach.
Und es schweigt die Meereswoege,
Die noch kaum sich tobend brach,
Und der Schiffer kniet am Ruder,
Bis er leis sein Ave sprach.

An dem Tage, da man feiert
Der Gepriesnen Himmelfahrt,
Wo der Sohn, den sie geboren,
Sich als Gott ihr offenbart,

Р и х а р д

Я угадал развязку, добрый витязь.
Она твоя; возьми свою невесту,
Сокровище, мне посланное небом.
Храни ее могучею рукою:
В ней верное прижмешь ты к сердцу сердце.
Но что? Смотри, мой рыцарь, ты совсем
Запутался в сетях моей Торильды.



БРАТОУБИЙЦА

На скале приморской мшистой,
Там, где берег грозно дик,
Богоматери Пречистой
Чудотворный зрится лик;
С той крутой скалы на воды
Матерь Божия глядит
И пловца от непогоды
Угрожающей хранит.

Каждый вечер, лишь молебный
На скале раздастся звон,
Глас ответственный хвалебный
Восстанет со всех сторон;
Пахарь пеньем освящает
Дня и всех трудов конец,
И на палубе читает
«Ave Maria» пловец.

Благодатного Успенья
Светлый праздник наступил;
Все окрестные селенья

Da in ihrem Heiligtume
Wirkt sie Wunder mancher Art;
Wo sie sonst im Bild nur wohnet,
Fühlt man ihre Gegenwart.

Bunte Kreuzesfahnen ziehen
Durch die Felder ihre Bahn,
Mit bemalten Wimpeln grüßet
Jedes Schiff und jeder Kahn.
Auf dem Felsenpfade klimmen
Waller, festlich angetan;
Eine volle Himmelsleiter
Steigt der schroffe Berg hinan.

Doch den heitern Pilgern folgen
Andre, barfuß und bestaubt,
Angetan mit härnen Hemden,
Asche tragend auf dem Haupt;
Solche sind's, die der Gemeinschaft
Frommer Christen sind beraubt,
Denen nur am Tor der Kirche
Hinzuknieen ist erlaubt.

Und nach allen keuchet einer,
Dessen Auge trostlos irrt,
Den die Haare wild umflattern,
Dem ein langer Bart sich wirrt;
Einen Reif von rost'gem Eisen
Trägt er um den Leib geschirrt,
Ketten auch um Arm' und Beine,
Daß ihm jeder Tritt erklirrt.

Weil erschlagen er den Bruder
Einst in seines Zornes Hast,

Звон призывный огласил;
Солнце радостно и ярко,
Бездна вод светла до дна,
И природа, мнится, жаркой
Вся молитвою полна.

Все пути кипят толпами,
Все блестит вблизи, вдали;
Убралися вымпелами
Челноки и корабли;
И, в один слившись крестный
Богомольно-шумный ход,
Вьется лестницей небесной
По святой скале народ.

Сзади, в грубых власяницах,
Слезы тяжкие в очах,
Бледный пост на мрачных лицах,
На главе зола и прах,
Идут грешные в молчанье;
Им с другими не вступить
В храм святой; им в покаянье
Перед храмом слезы лить.

И от всех других далеко
Мертвецом бредет один:
Щеки впалы; тускло око;
Полон мрачный лоб морщин;
Из железа пояс ржавый
Тело чахлое гнетет,
И, к ноге прильнув кровавой,
Злая цепь ее грызет.

Брата некогда убил он;
Изломав проклятый меч,

Ließ er aus dem Schwerte schmieden
Jenen Ring, der ihn umfaßt.
Fern vom Herde, fern vom Hofe
Wandert er und will nicht Rast,
Bis ein himmlisch Gnadenwunder
Sprengt seine Kettenlast.

Trüg er Sohlen auch von Eisen,
Wie er waltet ohne Schuh,
Lange hätt er sie zertreten,
Und noch ward ihm nirgend Ruh.
Nimmer findet er den Heil'gen,
Der an ihm ein Wunder tu;
Alle Gnadenbilder sucht er,
Keines winkt ihm Frieden zu.

Als nun der den Fels erstiegen
Und sich an der Pforte neigt,
Tönet schon das Abendläuten,
Dem die Menge betend schweigt.
Nicht betritt sein Fuß die Hallen,
Drin der Jungfrau Bild sich zeigt,
Farbenhell im Strahl der Sonne,
Die zum Meere niedersteigt.

Welche Glut ist ausgegossen
Über Wolken, Meer und Flur!
Blieb der goldne Himmel offen,
Als empor die Heil'ge fuhr?
Blüht noch auf den Rosenwolken
Ihres Fußes lichte Spur?
Schaut die Reine selbst hernieder
Aus dem glänzenden Azur?

Сталь убийства обратил он
В пояс; латы скинул с плеч,
И в оковах, как колодник,
Бродит он с тех пор и ждет,
Что какой-нибудь угодник
Чудом цепь с него сорвет.

Бродит он, бездомный странник,
Бродит много, много лет;
Но прощения посланник
Им не встречен; чуда нет.
Смутен день, бессонны ночи,
Скорбь с людьми и без людей,
Вид небес пугает очи,
Жизнь страшна, конец страшней.

Вот, как бы дорогой терний,
Тяжко к храму всходит он;
В храме все молчат, вечерний
Внемля благовеста звон.
Стал он в страхе пред дверями:
Девы лик сквозь фимиам
Блещет, обданный лучами
Дня, сходящего к водам.

И окрест благоговенья
Распростерлась тишина:
Мнится, таинством Успенья
Вся земля еще полна,
И на облаке сияет
Возлетевшей Девы след,
И Она благословляет,
Исчезая, здешний свет.

Alle Pilger gehn getröstet,
Nur der eine rührt sich nicht,
Liegt noch immer an der Schwelle
Mit dem bleichen Angesicht.
Fest noch schlingt um Leib und Glieder
Sich der Fesseln schwer Gewicht;
Aber frei ist schon die Seele,
Schwebet in dem Meer von Licht.



JUNKER RECHBERGER

Rechberger war ein Junker keck,
Der Kaufleut und der Wanderer Schreck.
In einer Kirche, verlassen,
Da tat er die Nacht verpassen.

Und als es war nach Mitternacht,
Da hat er sich auf den Fang gemacht.
Ein Kaufzug, hat er vernommen,
Wird frühe vorüberkommen.

Sie waren geritten ein kleines Stück,
Da sprach er: „Reitknecht, reite zurück!
Die Handschuh hab ich vergessen
Auf der Bahre, da ich gessen.“

Der Reitknecht kam zurück so bleich:
„Die Handschuh hole der Teufel Euch!
Es sitzt ein Geist auf der Bahre;
Es starren mir noch die Haare.

Все пошли назад толпами;
Но преступник не спешит
Им вослед, перед дверями,
Бледен ликом, он стоит:
Цепи всё еще вокруг тела,
Ими сжатого, лежат,
А душа уж улетела
В град свободы, в Божий град.



РЫЦАРЬ РОЛЛОН

Был удалец и отважный наездник Роллон;
С шайкой своей по дорогам разбойничал он.
Раз, запоздав, он в лесу на усталом коне
Ехал и видит, часовня стоит в стороне.

Лес был дремучий, и был уж полуночный час;
Было темно, так темно, что хоть выколи глаз;
Только в часовне лампада горела одна,
Бледно сквозь узкие окна светила она.

«Рано еще на добычу, – подумал Роллон, –
Здесь отдохну», – и в часовню пустынную он
Входит; в часовне, он видит, гробница стоит;
Трепетно, тускло над нею лампада горит.

Сел он на камень, вздремнул с полчаса и потом
Снова поехал лесным одиноким путем.
Вдруг своему щитоносцу сказал он: «Скорей
Съезди в часовню; перчатку оставил я в ней».

Er hat die Handschuh angetan
Und schaut sie mit feurigen Augen an,
Er streicht sie wohl auf und nieder;
Es beben mir noch die Glieder.“

Da ritt der Junker zurück im Flug,
Er mit dem Geiste sich tapfer schlug,
Er hat den Geist bezwungen,
Seine Handschuh wieder errungen.

Da sprach der Geist mit wilder Gier:
„Und läßt du sie nicht zu eigen mir,
So leihe mir auf ein Jährlein
Das schmucke, schmeidige Pärlein!“

„Ein Jährlein ich sie dir gerne leih,
So kann ich erproben des Teufels Treu.
Sie werden wohl nicht zerplatzen
An deinen dürren Tatzen.“

Rechberger sprengte von dannen stolz,
Er streifte mit seinem Knecht im Holz.
Der Hahn hat ferne gerufen,
Da hören sie Pferdehufen.

Dem Junker hoch das Herze schlug;
Des Weges kam ein schwarzer Zug
Vermummter Rittersleute;
Der Junker wich auf die Seite.

Und hinten trabt noch einer daher,
Ein ledig Räßlein führet er,
Mit Sattel und Zeug staffieret,
Mit schwarzer Decke gezieret.

Посланный, бледен как мертвый, назад прискакал.
«Этой перчаткой другой завладел, – он сказал. –
Кто-то нездешний в часовне на камне сидит;
Руку он всунул в перчатку и страшно глядит;

Треплет и гладит перчатку другой он рукой;
Чуть я со страха не умер от встречи такой».
«Трус!» – на него запальчиво Роллон закричал,
Шпорами стиснул коня и назад поскакал.

Смело на страшного гостя ударил Роллон:
Отнял перчатку свою у нечистого он.
«Если не хочешь одной мне совсем уступить,
Обе ссуди мне перчатки хоть год поносить», –

Молвил нечистый; а рыцарь сказал ему: «На!
Рад испытать я, заплатит ли долг сатана;
Вот тебе обе перчатки; отдай через год».
«Слышу; прости, до свиданья», – отвечивал тот.

Выехал в поле Роллон; вдруг далекий петух
Крикнул, и топот коней поражает им слух.
Робость Роллона взяла; он глядит в темноту:
Что-то ночную наполнило вдруг пустоту;

Что-то в ней движется; ближе и ближе; и вот
Черные рыцари едут попарно; ведет
Сзади слуга в поводах вороного коня;
Черной попоной покрыт он; глаза из огня.

Rechberger ritt heran und frug:
„Sag an! wer sind die Herren vom Zug?
Sag an, traust lieber Knappe!
Wem gehört der ledige Rappe?“

„Dem treuesten Diener meines Herrn,
Rechberger nennt man ihn nah und fern.
Ein Jährlein, so ist er erschlagen,
Dann wird das Räßlein ihn tragen.“

Der Schwarze ritt den andern nach.
Der Junker zu seinem Knechte sprach:
„Weh mir! vom Roß ich steige,
Es geht mit mir zur Neige.“

Ist dir mein Rößlein nicht zu wild
Und nicht zu schwer mein Degen und Schild:
Nimm's hin dir zum Gewinste
Und brauch es in Gottes Dienste!“

Rechberger in ein Kloster ging:
„Herr Abt! ich bin zum Mönche zu ring,
Doch möcht ich in tiefer Reue
Dem Kloster dienen als Laie.“

„Du bist gewesen ein Reitersmann,
Ich seh es dir an den Sporen an,
So magst du der Pferde walten,
Die im Klosterstalle wir halten.“

Am Tag, da selbiges Jahr sich schloß,
Da kaufte der Abt ein schwarz wild Roß,
Rechberger sollt es zäumen,
Doch es tat sich stellen und bäumen.

Es schlug den Junker mitten aufs Herz,
Daß er sank in bitterem Todesschmerz.
Es ist im Walde verschwunden,
Man hat's nicht wieder gefunden.

С дрожью невольной спросил у слуги паладин:
«Кто вороного коня твоего господин?»
«Верный слуга моего господина, Роллон.
Ныне лишь парой перчаток расчелся с ним он;

Скоро отдаст он иной, и последний, отчет;
Сам он поедет на этом коне через год».
Так отвечав, за другими последовал он.
«Горе мне! – в страхе сказал щитоносцу Роллон. –

Слушай, тебе я коня моего отдаю;
С ним и всю сбрую возьми боевую мою:
Ими отныне, мой верный товарищ, владей;
Только молись о душе осужденной моей».

В ближний пришед монастырь, он прибору сказал:
«Страшный я грешник, но Бог мне покаяться дал.
Ангельский чин я еще недостойн носить;
Служкой простым я желаю в обители быть».

«Вижу, ты в шпорах, конечно, бывал ездоком;
Будь же у нас на конюшне, ходи за конем».
Служит Роллон на конюшне, а время идет;
Вот наконец совершился ровнехонько год.

Вот наступил уж и вечер последнего дня;
Вдруг привели в монастырь молодого коня:
Статен, красив, но еще не объезжен был он.
Взять дикаря за узду подступает Роллон.

Взвизгнул, вскочив на дыбы, разъярившийся конь;
Грива горой, из ноздрей, как из печи, огонь;
В сердце Роллона ударил копытами он;
Умер, и разу вздохнуть не успевши, Роллон.

Um Mitternacht, an Junkers Grab,
Da stieg ein schwarzer Reitknecht ab,
Einem Rappen hält er die Stangen,
Reithandschuh am Sattel hangen:

Rechberger stieg aus dem Grab herauf,
Er nahm die Handschuh vom Sattelknauf,
Er schwang sich in Sattels Mitte,
Der Grabstein diente zum Tritte.

Dies Lied ist Junkern zur Lehr gemacht:
Daß sie geben auf ihre Handschuh acht,
Und daß sie fein bleiben lassen,
In der Nacht am Wege zu passen.



DER JUNGE KÖNIG UND DIE SCHÄFERIN

I.

In dieser Maienwonne,
Hier auf dem grünen Plan,
Hier unter der goldnen Sonne,
Was heb ich zu singen an?

Wohl blaue Wellen gleiten,
Wohl goldne Wolken ziehn,
Wohl schmucke Ritter reiten
Das Wiesental dahin.

Wohl lichte Bäume wehen,
Wohl klare Blumen blühn,
Wohl Schäferinnen stehen
Umher in Tales Grün.

Вырвавшись, конь убежал, и его не нашли.
К ночи, как должно, Роллона отцы погребли.
В полночь к могиле ужасный ездук прискакал;
Черного, злого коня за узду он держал;

Пара перчаток висела на черном седле.
Жалобно охнув, Роллон повернулся в земле;
Вышел из гроба, со вздохом перчатки надел,
Сел на коня, и как вихорь с ним конь улетел.



ЦАРСКИЙ СЫН И ПОСЕЛЯНКА

Ярко солнышко играет;
Ярко зелень отливает.
В роще запах, свет и тень;
Свеж и тёпел вешний день.

В час веселый на досуге,
На душистом сидя луге,
У журчащего ручья,
Вам спою балладу я.

Ехал царь путём-дорогой.
Быстроокий, быстроногий
Конь играл, плясал под ним,
Из ноздрей пуская дым.

Царь был чудо красотою.
Под короной золотою,
С багрянницей на плечах
Был он светел, как в лучах.

Herr Goldmar ritt mit Freuden
Vor seinem stolzen Zug,
Einen roten Mantel seiden,
Eine goldne Kron er trug.

Da sprang vom Roß geschwinde
Der König wohlgetan,
Er band es an eine Linde,
Ließ ziehn die Schar voran.

Es war ein frischer Bronne
Dort in den Büschen kühl;
Da sangen die Vögel mit Wonne,
Der Blümlein glänzten viel.

Warum sie sangen so helle?
Warum sie glänzten so baß?
Weil an dem kühlen Quelle
Die schönste Schäferin saß.



GRAF EBERHARDS WEISSDORN

Graf Eberhard im Bart
Vom Württemberger Land,
Er kam auf frommer Fahrt
Zu Palästinas Strand.

Daselbst er einmals ritt
Durch einen frischen Wald;
Ein grünes Reis er schnitt
Von einem Weißdorn bald.

Он спрыгнул с коня лихого
У потока лугового,
Где над быстрою рекой
Цвел шиповник молодой.

Было вокруг свежо, душисто;
Птички пели голосисто;
Вторя им, журчал поток,
В листьях бегал ветерок.

Отчего ж так птицы пели,
Так струи в ручье кипели,
Так резов был ветерок,
Так душист был холодок?

У ручья тогда сидела
Поселянка и глядела
В ясны воды, и ручей
Видел свет ее очей...
[*Не окончено.*]



СТАРЫЙ РЫЦАРЬ

Он был весной своей
В земле обетованной
И много славных дней
Провел в тревоге бранной.

Там ветку от святой
Оливы оторвал он;
На шлем железный свой
Ту ветку навязал он.

Er steckt' es mit Bedacht
Auf seinen Eisenhut;
Er trug es in der Schlacht
Und über Meeres Flut.

Und als er war daheim,
Er's in die Erde steckt,
Wo bald manch neuen Keim
Der milde Frühling weckt.

Der Graf, getreu und gut,
Besucht' es jedes Jahr,
Erfreute dran den Mut,
Wie es gewachsen war.

Der Herr war alt und laß,
Das Reislein war ein Baum,
Darunter oftmals saß
Der Greis in tiefem Traum.

Die Wölbung, hoch und breit,
Mit sanftem Rauschen mahnt
Ihn an die alte Zeit
Und an das ferne Land.



С неверным он врагом,
Нося ту ветку, бился
И с нею в отчий дом
Прославлен возвратился.

Ту ветку посадил
Сам в землю он родную
И часто приносил
Ей воду ключевую.

Он стал старик седой,
И сила мышц пропала;
Из ветки молодой
Олива дровом стала.

Под нею часто он
Сидит, уединенный,
В невыразимый сон
Душою погруженный.

Над ним, как друг, стоит,
Обняв его седины,
И ветвями шумит
Олива Палестины;

И, внемля ей во сне,
Вздыхает он глубоко
О славной старине
И о земле далекой.



Friedrich Rückert

PARABELN

1.

Es ging ein Mann im Syrerland,
Führt' ein Kamel am Halfterband.
Das Tier mit grimmigen Gebärden
Urplötzlich anfing scheu zu werden
Und that so ganz entsetzlich schnaufen,
Der Führer vor ihm muß' entlaufen.
Er lief und einen Brunnen sah
Von ungefähr am Wege da.
Das Tier hört' er im Rücken schnauben,
Das muß' ihm die Besinnung rauben.
Er in den Schacht des Brunnens kroch,
Er stürzte nicht, er schwebte noch.
Gewachsen war ein Brombeerstrauch
Aus des geborstnen Brunnens Bauch;
Daran der Mann sich fest that klammern
Und seinen Zustand drauf bejammern.
Er blickte in die Höh' und sah
Dort das Kamelhaupt furchtbar nah',
Das ihn wollt' oben fassen wieder.
Dann blickt' er in den Brunnen nieder;
Da sah am Grund er einen Drachen
Aufgähnen mit entsperrrtem Rachen,
Der drunten ihn verschlingen wollte,
Wenn er hinunter fallen sollte.

Фридрих Рюккерт

ИЗ «ДВЕ ПОВЕСТИ» (II)

...через степь
Однажды вел верблюда путник; вдруг
Верблюд озлился, начал страшно фыркать,
Храпеть, бросаться; путник испугался
И побежал; верблюд за ним. Куда
Укрыться? Степь пуста. Но вот увидел
У самой он дороги водоем
Ужасной глубины, но без воды;
Из недра темного его торчали
Ветвями длинными кусты малины,
Разросшейся меж трещинами стен,
Покрытых мохом старины. В него
Гонимый бешеным верблюдом путник
В испуге прынул; он за гибкий сук
Малины ухватился и повис
Над темной бездной. Голову подняв,
Увидел он разинутую пасть
Верблюда над собой: его схватить
Рвался ужасный зверь. Он опустил
Глаза ко дну пустого водоема:
Там змей ворочался и на него
Зиял голодным зевом, ожидая,
Что он, с куста сорвавшись, упадет.
Так он висел на гибкой, тонкой ветке

So schwebend in der beiden Mitte,
Da sah der Arme noch das Dritte.
Wo in die Mauerspalte ging
Des Sträuchleins Wurzel, dran er hing,
Da sah er still ein Mäusepaar,
Schwarz eine, weiß die andre war.
Er sah die schwarze mit der weißen
Abwechselnd an der Wurzel beißen.
Sie nagten, zausten, gruben, wühlten,
Die Erd' ab von der Wurzel spülten:
Und wie sie rieselnd niederrann,
Der Drach' im Grund aufblickte dann,
Zu sehn, wie bald mit seiner Bürde
Der Strauch entwurzelt fallen würde.
Der Mann in Angst und Furcht und Not,
Umstellt, umlagert und umdroht,
Im Stand des jammerhaften Schwebens,
Sah sich nach Rettung um vergebens.
Und da er also um sich blickte,
Sah er ein Zweiglein, welches nickte
Vom Brombeerstrauch mit reifen Beeren;
Da konnt' er doch der Lust nicht wehren.
Er sah nicht des Kameles Wut
Und nicht den Drachen in der Flut
Und nicht der Mäuse Tückespiel,
Als ihm die Beer' ins Auge fiel.
Er ließ das Tier von oben rauschen
Und unter sich den Drachen lauschen
Und neben sich die Mäuse nagen,
Griff nach den Beerlein mit Behagen,
Sie deuchten ihm zu essen gut,
Aß Beer' auf Beerlein wohlgemut,
Und durch die Süßigkeit im Essen
War alle seine Furcht vergessen.

Du fragst: „Wer ist der thöricht' Mann,
Der so die Furcht vergessen kann?“

Меж двух погибелей. И что ж еще
Ему представилось? В том самом месте,
Где куст малины (за который он
Держался) корнем в землю сквозь пролом
Стены состарившейся водоема
Входил, две мыши, белая одна,
Другая черная, сидели рядом
На корне и его поочередно
С большою жадностью грызли, землю
Со всех сторон скребли и обнажали
Все ветви корня, а когда земля
Шумела, падая на дно, оттуда
Выглядывал проворно змей, как будто
Спеша проведать, скоро ль мыши корень
Перегрызут и скоро ль с ношей куст
К нему на дно обрушится. Но что же?
Вися над этим страшным дном, без всякой
Надежды на спасенье, вдруг увидел
На ближней ветке путник много ягод
Малины, зрелых, крупных: сильно
Желание полакомиться ими
Зажглося в нем; он все тут позабыл:
И грозного верблюда над собою,
И под собой на дне далеком змея,
И двух мышей коварную работу;
Оставил он вверху храпеть верблюда,
Внизу зиять голодной пастью змея
И в стороне грызть корень и копаться
В земле мышей, – а сам, рукой добравшись
До ягод, начал их спокойно рвать
И есть; и страх его пропал. Ты спросишь:
Кто этот жалкий путник? *Человек.*
Пустыня ж с водоемом *Свет*, а путь
Через пустыню – наша *Жизнь* земная;

So wiss', o Freund, der Mann bist du;
Vernimm die Deutung auch dazu.
Es ist der Drach' im Brunnengrund
Des Todes aufgesperrter Schlund;
Und das Kamel, das oben droht,
Es ist des Lebens Angst und Not.
Du bist's, der zwischen Tod und Leben
Am grünen Strauch der Welt muß schweben.
Die beiden, so die Wurzel nagen,
Dich samt den Zweigen, die dich tragen,
Zu liefern in des Todes Macht,
Die Mäuse heißen Tag und Nacht.
Es nagt die schwarze wohl verborgen
Vom Abend heimlich bis zum Morgen,
Es nagt vom Morgen bis zum Abend
Die weiße, wurzeluntergrabend.
Und zwischen diesem Graus und Wust
Lockt dich die Beere Sinnenlust,
Daß du Kamel, die Lebensnot,
Daß du im Grund den Drachen Tod,
Daß du die Mäuse Tag und Nacht
Vergissegst und auf nichts hast acht,
Als daß du recht viel Beerlein haschest,
Aus Grabes Brunnenritzen naschest.



Гонящийся за путником верблюд
Есть враг души, тревог создатель, *Грех*:
Нам гибелью грозит он; мы ж беспечно
На ветке трепетной висим над бездной,
Где в темноте могильной скрыта *Смерть* –
Тот змей, который, пасть разинув, ждет,
Чтоб ветка тонкая переломилась.
А мыши? Их название *День* и *Ночь*;
Без отдыха, сменяясь, они
Работают, чтоб сук твой, ветку жизни,
Которая меж смертью и светом
Тебя неверно держит, перегрызть;
Прилежно черная грызет всю ночь,
Прилежно белая грызет весь день;
А ты, прельщенный ягодой душистой,
Усладой чувств, желаний утоленьем,
Забыл и грех – верблюда в вышине,
И смерть – внизу зияющего змея,
И быструю работу дня и ночи –
Мышей, грызущих тонкий корень жизни;
Ты все забыл – тебя манит одно
Неверное минуты наслажденье.



Joseph Christian von Zedlitz

DIE NÄCHTLICHE HEERSCHAU

Nachts um die zwölfte Stunde
Verläßt der Tambour sein Grab,
Macht mit der Trommel`die Runde,
Geht emsig auf und ab.

Mit seinen entfleischten Armen
Rührt er die Schlägel zugleich,
Schlägt manchen guten Wirbel,
Reveill' und Zapfenstreich.

Die Trommel klinget seltsam,
Hat gar einen starken Ton;
Die alten, todten Soldaten
Erwachen im Grab davon.

Und die im tiefen Norden
Erstarrt im Schnee und Eis,
Und die in Welschland liegen,
Wo ihnen die Erde zu heiß;

Und die der Nilschlamm decket
Und der arabische Sand,
Sie steigen aus ihren Gräbern,
Sie nehmen's Gewehr zur Hand.

Und um die zwölfte Stunde
Verläßt der Trompeter sein Grab,
Und schmettert in die Trompete,
Und reitet auf und ab.

Йозеф Христиан фон Цедлиц

НОЧНОЙ СМОТР

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик;
И ходит он взад и вперед,
И бьет он проворно тревогу.
И в темных гробах барабан
Могучую будит пехоту:
Встают молодцы егеря,
Встают старики гренадеры,
Встают из-под русских снегов,
С роскошных полей италийских,
Встают с африканских степей,
С горячих песков Палестины.

В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны.

Da kommen auf luftigen Pferden
Die todten Reiter herbei,
Die blutigen alten Schwadronen
In Waffen mancherlei.

Es grinsen die weißen Schädel
Wohl unter dem Helm hervor,
Es halten die Knochenhände
Die langen Schwerter empor.

Und um die zwölfte Stunde
Verläßt der Feldherr sein Grab,
Kommt langsam hergeritten,
Umgeben von seinem Stab.

Er trägt ein kleines Hütchen,
Er trägt ein einfach Kleid,
Und einen kleinen Degen
Trägt er an seiner Seit'.

Der Mond mit gelbem Lichte
Erhell't den weiten Plan:
Der Mann im kleinen Hütchen
Sieht sich die Truppen an.

Die Reihen präsentieren
Und schultern das Gewehr,
Dann zieht mit klingendem Spiele
Vorüber das ganze Heer.

Die Marschall' und Generale
Schließen um ihn einen Kreis:
Der Feldherr sagt dem Nächsten
In's Ohr ein Wörtlein leis'.

Das Wort geht in die Runde,
Klingt wieder fern und nah':
„Frankreich“ ist die Parole,
Die Losung: „Sankt Helena!“ —

Dies ist die große Parade
Im eliseischen Feld,
Die um die zwölfte Stunde
Der todte Cäsar hält.

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фронту:
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдает.
Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками.

И всех генералов своих
Потом он в кружок собирает,
И ближнему на ухо сам
Он шепчет пароль свой и лозунг;
И армии всей отдают
Они тот пароль и тот лозунг:
И *Франция* – тот их пароль,
Тот лозунг – *Святая Елена*.
Так к старым солдатам своим
На смотр генеральный из гроба
В двенадцать часов по ночам
Встает император усопший.

Karl Theodor Körner

TREUER TOD

Der Ritter muß zum blut'gen Kampf hinaus,
Für Freiheit, Ruhm und Vaterland zu streiten;
Da zieht er noch vor seines Liebchens Haus,
Nicht ohne Abschied will er von ihr scheiden,
„O weine nicht die Äuglein rot,
Als ob nicht Trost und Hoffnung bliebe!
Bleib' ich doch treu bis in den Tod
Dem Vaterland und meiner Liebe.“

Und als er ihr das Lebewohl gebracht,
Sprengt er zurück zum Haufen der Getreuen;
Er sammelt sich zu seines Kaisers Macht,
Und mutig blickt er auf der Feinde Reihen.
„Mich schreckt es nicht, was uns bedroht,
Und wenn ich auf der Walstatt bliebe?
Denn freudig geh' ich in den Tod
Fürs Vaterland und meine Liebe!“

Und furchtbar stürzt er in des Kampfes Glut,
Und tausend fallen unter seinen Streichen;
Den Sieg verdankt man seinem Heldenmut,
Doch auch den Sieger zählt man zu den Leichen.
„Ström' hin, mein Blut, so purpurrot!
Dich rächten meines Schwertes Hiebe;
Ich hielt den Schwur, treu bis in Tod
Dem Vaterland und meiner Liebe.“

Карл Теодор Кёрнер

ВЕРНОСТЬ ДО ГРОБА

Младой Рогер свой острый меч берет
За веру, честь и родину сразиться!
Готов он в бой... но к милой он идет:
В последний раз с прекрасною проститься.

«Не плачь: над нами щит Творца!
Еще нас небо не забыло!
Я буду верен до конца
Свободе, мужеству и милой!»

Сказал, свой шлем надвинул, поскакал;
Дружина с ним: кипят сердца их боем;
И скоро строй неустрашимых стал
Перед врагов необозримым строем.

«Сей вид не страшен для бойца;
И смерть ли небо мне сулило –
Останусь верен до конца
Свободе, мужеству и милой!»

И, на врага взор мести бросив, он
Влетел в ряды, как пламень-истребитель;
И вспыхнул бой, и враг уж истреблен;
Но... победив, сражен и победитель.

Он почеть бранного венца
Принял с безвременной могилой,

Und dies Gedicht, das Ahnung eingeflößt,
Schuf das Geschick zur schmerzreichen Wahrheit:
Des Dichters Geist, vom Körperland gelöst,
Hob sich empor zur ew'gen Lieb' und Klarheit.

Er sang und starb, wie's edler Sinn gebot,
Daß Lieb und That unsterblich bliebe,
Denn er blieb treu bis in den Tod
Dem Vaterland und seiner Liebe.



И был он верен до конца
Свободе, мужеству и милой.

Но где же ты, певец великих дел?
Иль песнь твоя твоей судьбою стала?..
Его уж нет; он в край тот улетел,
Куда давно мечта его летала.

Он пал в бою – и глас певца
Бессмертно дело освятило;
И он был верен до конца
Свободе, мужеству и милой.



Nicolaus Lenau

STUMME LIEBE

Liesse doch ein hold Geschick
Mich in deinen Zaubernähen,
Mich in deinem Wonneblick
Still verglühen und vergehen;

Wie das fromme Lampenlicht
Sterbend glüht in stummer Wonne
Vor dem schönen Angesicht
Dieser himmlischen Madonne!



Николаус Ленау

<ЕЛИЗАВЕТЕ РЕЙТЕРН>

О, молю тебя, Создатель,
Дай в близости ее небесной,
Пред ее небесным взором
И гореть и умереть мне,
Как горит в немом блаженстве,
Тихо, ясно угасая,
Огонь смиренных лампады
Пред небесною Мадонной.



Комментарии





Немецкий раздел двухтомника «Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского» («Радуга», 1985) включал в себя 11 немецких поэтов, представленных 61 произведением. В настоящем издании мы смогли значительно расширить состав: немецкая (и австрийская) литература представлена здесь 21 писателем и 107 произведениями. Но если том «Английская поэзия в переводах В. А. Жуковского» в его нынешнем составе практически исчерпывает *все* известные в настоящее время поэтические переводы Жуковского с английского языка, то с немецким томом дело обстоит иначе. Из-за обилия материала мы представили лишь фрагментами замечательные, эпохальные переводы «Орлеанской девы» Ф. Шиллера, «Ундины» Ф. де ла Мотт Фуке и вынуждены были отказаться от публикации тех переводов, которые не представляют самой немецкой литературы, но которые Жуковский *заведомо* делал с немецкого языка («Маттео Фальконе» (Шамиссо), «Наль и Дамайанти» (Рюккерт), «Рустем и Зораб» (Рюккерт), «Сид» (Гердер) и др.). Объем однотомника не позволил также включить целый ряд известных переводов: поэму «Камозэнс» Ф. Гальма, стихотворения Ф. Маттисона, К. Г. Ветцеля, З. Вернера и др.

Однако связи Жуковского с немецкой литературой настолько огромны и настолько еще не поддаются всеобъемлющему охвату, что всякое новое движение в этом направлении позволяет не только обнаруживать новые тексты, но и ставить все новые вопросы. Именно как *составную часть* развернувшегося в последние десятилетия всеохватного освоения творческого наследия Жуковского мы рассматриваем данную книгу.

Список сокращений

- БЖ, I – Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Часть первая. Томск, 1978.
- БЖ, II – Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Часть вторая. Томск, 1984.
- БЖ, III – Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Часть третья. Томск, 1988.
- Бычков – И. А. Бычков. Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в Императорскую Публичную библиотеку в 1884 г. // Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1884 г. Приложение. СПб., 1887.
- ПСС и П – В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Т. I. М., 1999.
- ПСС – В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений в двенадцати томах. Под ред. проф. А. С. Архангельского. СПб., 1902.
- СС – В. А. Жуковский. Собрание сочинений в четырех томах. М.–Л., 1959–1960.

Иоганн Вильгельм Людвиг Глейм
(1719–1803)

Крупнейший поэт-анакреонтик в Германии XVIII века. Широкая популярность Глейма основана прежде всего на опубликованных анонимно сборниках «Versuch in Scherzhaften Liedern» (1744–1745); песни о вине и любви, прославлявшие простые радости жизни на лоне природы, в эстетическом плане воспринимались как вызов рационалистической школе Готшеда, хотя идеология и мировоззрение Глейма в целом укладываются в просвещенческую, досентименталистскую схему. Глейм постоянно экспериментировал: подражал Петрарке, миннезингерам, Вальтеру фон дер Фогельвейде. Новый успех выпал на его долю после выхода анонимно (на листовках) печатавшихся стихотворений, составивших затем сборник «Preußische

Kriegslieder in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem Grenadier» (1758). Глейм выпустил затем еще несколько сборников солдатских песен и стал основоположником этого жанра, получившего затем развитие в период антинаполеоновского движения в Пруссии в 1807–1814 гг. Глейм писал также басни, эпиграммы, выступал и в других жанрах. Внимание Жуковского он привлек в 1806 г.

ИДИЛЛИЯ. – Стихотворение Глейма *Amalia* Жуковский перевел в мае 1806 г. по первому тому последнего прижизненного собрания сочинений Глейма (*Sämmtliche Schriften*. Bd. 1–4. Leipzig, 1802–1803). Впервые опубликовано в «Вестнике Европы» (1807, часть 32, № 5, с. 44–45). Во всех исследованиях и комментариях этот текст трактовался как вольный перевод из Шиллера («An Minna»). И только Н.Б. Реморова в 1988 г. установила оригинал и доказала, что «Идиллия» Жуковского – точный перевод «Амалии» Глейма (Б Ж, III, с. 391–399). Публикуется по ПСС и П, т. 1, с. 74.

КОМАР. – Текст впервые был обнаружен и атрибутирован как перевод стихотворения Глейма *Die Fliege* Н. Б. Реморовой, опубликовавшей его в 1988 г. (Б Ж, III, с. 393). Публикуется по ПСС и П, т. 1, с. 107.

Карл Вильгельм Рамлер (1725–1798)

Был широко известен в XVIII в. как поэт и переводчик Горация, Анакреона и Марциала, сотрудничал с Лессингом и пользовался покровительством Глейма; в XIX в. он был почти забыт. Рамлер внес определенный вклад в развитие жанра оды («Oden mit Melodien». Bd. 1–2, 1753–1755; Гёте высоко оценил оды Рамлера в «Поэзии и правде») и в пропаганду анакреонтической лирики в многочисленных антологиях, которые он издавал, как правило, в сопровождении соответствующих мелодий. В 1783 г. Рамлер издал антологию «Fabellese», в которой анонимно опубликовал 240 басен пятидесяти немецких поэтов. Н.Б. Реморова установила в 1988 г. авторство 170 басен из 240. Жуковский читал названную антологию в 1805 г. и, видимо, тогда же перевел «басню» *Der donnernde Jupiter*, авторство которой до сих пор не установлено.

МИЛОСЕРДИЕ. – Перевод Жуковского был впервые опубликован в «Вестнике Европы» (1810, часть 49, № 3, февраль, с. 188) с заглавием «Баснь» и подписью «Ж». В прижизненные собрания сочинений Жуковского не входило. Н.Б. Реморова впервые обнаружила, что «Милосердие» – точный перевод басни «Der donnernde Jupiter» из басенной антологии Рамлера (Б Ж, III, с. 376–382). Но автора немецкого текста еще предстоит установить. Публикуется по ПСС и П, т. 1, с. 68.

Фридрих Готлиб Клопшток
(1724–1803)

Опубликовал три первых песни «Мессиады» (*Der Messias*) в 1748 г., пытаясь – по образцу «Потерянного рая» Мильтона – создать национальный христианский эпос, равнозначный древнегреческому. «Мессиада», законченная в 1773 г. и затем дважды (в 1780 г. и в 1800 г.) переработанная Клопштоком, приобрела общеевропейскую известность и стала важной вехой в развитии немецкой литературы. Ф. Меринг назвал Клопштока «первым немецким классиком». В поэме на библейский сюжет Клопшток стал провозвестником сентиментализма (и его революционного крыла – «Бури и натиска») в Германии, развивая просветительские идеи о достоинстве человеческой личности. В России «Мессиада» впервые была издана в 1785–1787 гг.: Мессия. Поэма в десяти песнях. Сочинение Клопштока. Перевел с немецкого А. Кутузов. 2 части. М., 1785–1787.

Жуковский в 1814 г. перевел отрывок из второй песни (стихи 628–829), выбрав относительно законченный эпизод песни и слегка сократив его при переводе. Впервые опубликовано: «Сын отечества», 1815, № 22, с подзаголовком «Из второй песни Мессиады».

АББАДОНА – падший ангел, один из центральных образов в поэме Клопштока. Увлеченный Сатаной к бунту, он затем раскаивается и в конце поэмы добивается прощения.

друг Абдила – Абдилом у Мильтона («Потерянный рай», кн. 5) назван верный ангел; по традиции имя переводится как «раб Бога», «слуга Бога».

Адрамелех – по Библии, языческое божество Передней Азии.

лабиринфы (уст.) – лабиринты.

Готхольд Эфраим Лессинг
(1729–1781)

Первый немецкий просветитель общеевропейского масштаба, определивший пути развития немецкой драмы, эстетики, литературной и театральной критики. Заметное место в разносторонней деятельности Лессинга занимал жанр басни, которые он публиковал с 1747 г.; в 1753 г. он включил раздел басен в первое собрание своих сочинений, а в 1759 г. издал отдельную книгу «*Gotthold Ephraim Lessings Fabeln. Drey Bücher. Nebst Abhandlungen mit dieser Dichtungsart Verwandten Inhalts*», где в трех разделах помещено 90 басен. В сопроводительных теоретических статьях Лессинг вступает в дискуссию с подражателями Лафонтена в Германии, стремясь утвердить национально-немецкий тип литературной басни: более краткой и лаконичной по форме, более заостренно афористичной и более конкретно нацеленной на утверждение норм бюргерской морали по содержанию. Жуковский уже в 1809 г. был хорошо знаком с теорией басни Лессинга, перекички с Лессингом заметны в его статье «О басне и баснях Крылова». Девять переводов из названного выше сборника Лессинга Жуковский сделал, видимо, в 1818 г., но они остались в рукописях. Сами тексты переводов впервые обнаружил в Париже и там же опубликовал М.Л. Гофман: Пушкинский музей А.Ф. Онегина в Париже. Общий обзор, описание и извлечения из рукописного собрания. Париж, 1926. Но атрибутировала эти тексты как переводы басен Лессинга Н.Б. Реморова в 1988 г. (БЖ, III, с. 409–428). Все переводы Жуковского публикуются по этой книге. Немецкие тексты басен Лессинга выверены по современному изданию: *Lessing G.E. Fabeln. Leipzig, 1976.*

ЛИСИЦА И ОБЕЗЬЯНА. – Перевод басни Лессинга *Der Affe und der Fuchs*.

КОНЬ И БЫК. – Перевод басни Лессинга *Das Roß und der Stier*.

ЖУРАВЛЬ И ЛИСИЦА. – Перевод басни Лессинга *Der Fuchs und der Storch*.

АЛКИД. – Перевод басни Лессинга *Herkules*. В своих изданиях этой басни Лессинг ссылается на Эзопа.

Алкид – одно из прозвищ Гerkулеса.

ДУБ. – Перевод басни Лессинга *Die Eiche*.

СОЛОВЕЙ И ПАВЛИН. – Перевод басни Лессинга *Die Nachtigall und der Pfau*.

ПАСТУХ И СОЛОВЕЙ. – Перевод басни Лессинга *Der Schäfer und die Nachtigall*. Эта басня у Лессинга завершает третий раздел его прозаических басен. Тем самым Лессинг делает заключительный акцент на просвещенческом понимании роли писателя в обществе.

МЕРОПС. – Лессинг делает к басне *Merops* следующее пояснение на древнегреческом языке (даем перевод): «Птица Меропс, как говорят, летает не так, как все другие птицы: эти летят вперед, куда смотрят их глаза, она же летит назад».

ДАР ВОЛШЕБНИЦ. – Этот перевод басни Лессинга *Das Geschenk der Feen* (четвертая басня в третьем разделе) Жуковский помещает в конце своего небольшого рукописного собрания басен Лессинга, перемещая тем самым заключительный акцент на идею просвещенного монарха, которого он в это время надеялся воспитать в лице будущего Александра II (1818–1881). Для нас это дополнительный аргумент датировать переводы басен Лессинга 1818-м годом.

Кристоф Мартин Виланд
(1733–1813)

Принадлежит к числу самых образованных и плодовитых (уже в 12 лет он писал поэмы на латинском языке по 600 и более строк и всю жизнь писал почти непрерывно) немецких писателей XVIII века. После недолгой профессуры в Эрфурте он в 1772 г. перебрался в Веймар по приглашению вдовствующей герцогини Анны Амалии (на должность воспитателя наследного принца Карла Августа – с хорошим окладом и пожизненной пенсией) и немало способствовал превращению крохотного Веймара (в конце XVIII в. он насчитывал 6000 жителей) во всемирно известный центр культуры. Представляя идеологически умеренное течение Просвещения, Виланд обладал острым чувством реальности и незаурядным писательским талантом, соединявшим ясность мысли и размах фантазии (впоследствии Ф. Ницше ут-

верждал, что Виланд «писал по-немецки лучше, чем кто-либо другой»). Новаторство Виланда в истории немецкого романа (прозаического и стихотворного) схоже с ролью Клопштока в поэзии и Лессинга в драме. Его европейская слава началась с «Истории Агатона» (1766–1767), укрепилась стихотворным эпосом «Оберон» (1780) и романом «История абдеритов» (1781). Неполное прижизненное собрание сочинений составило 42 тома, затем количество томов поднялось до 100, но полного критического издания сочинений Виланда до сих пор не существует. О популярности его свидетельствует в том числе то, что в 1808 г. он получил специальные подарки и награды от Наполеона и от Александра I. На русский язык Виланда многократно переводили уже в XVIII в. В составе библиотеки Жуковского до нас дошли 43 книги лейпцигского издания Виланда, «сохранивших многочисленные пометки и надписи Жуковского-читателя и переводчика», как пишет Н.Б. Реморова, наиболее внимательно изучившая эти пометки и надписи (см.: Р е м о р о в а Н.Б. Жуковский – читатель и переводчик Виланда (БЖ, II, с. 337–417)). Наиболее интенсивно Жуковский читал Виланда в 1805–1808 гг.; затем – в 1811 г.

ОБЕРОН. – Виланд писал *Oberon. Ein romantisches Heldengedicht in zwölf Gesängen* с ноября 1778 г. по конец февраля 1780 г. Роман в стихах (7304 стиха, поделенные на 12 песен, состоящих из неравного количества октав) сразу же вызвал восторженные отзывы Гёте, Лессинга, молодого Шиллера и многих других выдающихся современников. В своем романе Виланд пытается оживить традицию «Неистового Роланда» Ариосто, введя ее в контекст «галантной» поэзии рококо; легендарно-сказочный сюжет из эпохи Карла Великого он расцветивает всеми красками иронической игры фантазии, где самоценность приобретает уже не столько сюжет, сколько именно изощренная фантазия, связанная, однако, строгой и искусной формой, рационально уравновешивающей буйство воображения и ироническую дистанцию автора. Жуковский зачитывался «Обероном», многие места знал наизусть, цитировал их в письмах, еще осенью 1839 г. собирался вместе с поэтом И.И. Козловым заново перечитать роман; он неоднократно принимался подсчитывать, сколько времени у него может занять перевод всего текста. Но в итоге он 5–11 декабря 1811

г. перевел 11 строф начала первой песни. Основная трудность была, конечно, не формального, но содержательного характера; Виланд, по существу, ведет эстетическую игру ради самой этой игры: излагая свой сюжет, он на каждом шагу подсмеивается или даже издевается над сюжетом и над героями. Жуковского, который в это время искал форму для героического национального эпоса, «несерьезный», чересчур артистический стиль и тон Виланда в конечном итоге не устраивал.

Текст перевода Жуковского в настоящее время опубликован уже четырежды в специальных изданиях: 1) Бычков, с. 57 (8 строф); 2) Eichstädt H. Zukovskij und Wieland // «Die Welt der Slaven», 1967, Н. 3. S. 247–266 (10 строф, но с неточностями в расшифровке рукописи); 3) БЖ, II, 1984, с. 354–355 (10 строф по заново прочтенной рукописи опубликовала Н. Б. Реморова в составе обширной статьи «Жуковский – читатель и переводчик Виланда»); 4) В составе книги: Реморова Н.Б. Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989. Ни в одно издание Жуковского перевод «Оберона» пока не попал. Мы воспроизводим публикацию Н.Б. Реморовой.

Готлиб Конрад ПфEFFель (1736–1809)

Немецкий баснописец, поэт и драматург, ПфEFFель был еще и выдающимся педагогом своего времени, создавшим в Эльзасе протестантскую военную академию (по типу Парижской военной академии, которая была недоступна для протестантов). Его прижизненную славу и посмертную известность составили «Poetische Versuche» (т. 1–3, 1761, четвертое издание 1802–1810 гг. состояло уже из 10 томов): собрание анакреонтической лирики, «чувствительных» баллад и романсов, нравоучительных идиллий и басен. Наиболее значителен вклад ПфEFFеля в развитие философско-эпиграмматического жанра и жанра басни, в котором он развивал, в первую очередь, традиции Ф. Геллерта.

ДРУЖБА. – Жуковский перевел *Das Epheu* (плющ) в 1805 г.; впервые опубликовано в 1816 г. («Стихотворения», т. 2, с. 73). Два черновых варианта этого перевода приводятся в статье Н.Б. Реморовой

«Басня в книжном собрании и архиве Жуковского (БЖ, III, с. 384–385).

〈АНТИПАТИЯ〉. – Жуковский перевел *Die Antipathie* в 1805 г.; впервые опубликовано Н.Б. Реморовой в сборнике «Проблемы метода и жанра. Выпуск 10. Томск, 1983, с. 52. Вошло в ПСС и П, т. 1, с. 68.

БРУТОВА СМЕРТЬ. – Жуковский перевел *Der Tod des Brutus* в 1805 г.; впервые опубликовано В.А. Бычковым (Бычков, с. 229) без установления источника перевода. По автографу В.А. Быčkova напечатано в ПСС и П, т. 1, с. 67. Н.Б. Реморова разобрала и опубликовала черновой автограф (БЖ, III, с. 387–389) и впервые установила первоисточник перевода.

ЗВЕЗДА И КОМЕТА. – Жуковский перевел басню *Der Komet und der Fixstern* в 1828 г.; впервые опубликовано А.С. Архангельским в ПСС (т. 3, с. 76), в дальнейшем в изданиях Жуковского не входило. Н.Б. Реморова впервые установила первоисточник перевода (БЖ, III, с. 428–433).

Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803)

Один из крупнейших немецких мыслителей эпохи Просвещения, ведущий идеолог «Бури и натиска», во многом предварявший идеи романтического универсализма. С конца 1760–х гг. он становится первым и крупнейшим теоретиком народности, национального феномена культуры и разрабатывает эту идею как в философских («Идеи к философии истории человечества»), так и в литературных трудах, оказав огромное влияние как на штюмеров, так и на романтиков. Эпохальное значение имели его «*Volklieder*», которые он собирал и переводил с разных языков с 1760-х гг. (первое издание в 1778–1779 гг.; второе – «*Stimmen der Völker in Liedern*» – в 1806 г.); он был также – наряду с Лессингом – крупнейшим критиком и теоретиком литературы в Германии XVIII в. и даже – шире – первым «культур-философом» в современном смысле этого слова. Гердер оказал трудно переоценимое влияние на молодого Гёте (они познакомились в сентябре 1770 г.). С октября 1776 г. Гердер до конца жизни жил в Веймаре, постепенно вступив в «скрытую» дискуссию с веймарскими

классиками: Виландом, Гёте и Шиллером. Огромное литературное наследие Гердера до сих пор еще полностью не издано и не изучено.

Интерес Жуковского к Гердеру документально фиксируется с 1805 г. и до 1840-х гг., наиболее подробная работа: Р е м о р о в а Н.Б. В.А. Жуковский – читатель и переводчик Гердера (БЖ, I, с. 149–300). В 1816 г. он приобрел собрание сочинений Гердера в 33 тт. (H e r d e r J.G. Sämmtliche Werke. Tübingen, 1805–1810), внимательно его читал и переводил, как и отдельное издание «Сида» Гердера 1820 г. В наше издание вошли лишь некоторые образцы его переводов из альбома, подаренного 25 апреля 1838 г. графине Е.П. Ростопчиной, впервые опубликованные М.П. Погодиным в газете «Русский» (1867, № 11–12); при публикации учтены текстологические уточнения Н.Б. Реморовой. Все переводы сделаны Жуковским, видимо, в 1837 г.

РОЗА. – С 1867 г. текст публиковался без изменений.

ЛАВР. – Текст печатается с уточнениями Н.Б. Реморовой.

НАДГРОБИЕ ЮНОШЕ. – Печатается автограф Н.Б. Реморовой.

ГОЛОС МЛАДЕНЦА ИЗ ГРОБА. – Текст печатается с уточнениями Н.Б. Реморовой.

МЛАДОСТЬ И СТАРОСТЬ. – Публикуется по М.П. Погодину.

ФИДИЙ. – Печатается автограф Н.Б. Реморовой. М.П. Погодин опубликовал следующий текст:

Фидий! иль сам громовержец к тебе сходил от Олимпа,
Или взлетал на Олимп сам ты его посетить.

СУДЬБА. – Публикуется по М.П. Погодину. Соглашаясь с Н.Б. Реморовой в том, что Жуковский «создает свое», мы не можем согласиться с тем, что Жуковский написал стихотворение, «главная мысль которого по существу противоположна мысли, выраженной в гердеровском произведении» (БЖ, I, с. 201). Речь в «Das Schicksal» (так же, как и в близком ему «Die Noegen») идет об афористическом выражении, своего рода квинтэссенции мировосприятия и философии Гердера, масштабы которой, к сожалению, пока еще не оценены должным образом и до сих пор трактуются с точки зрения господствующих в жизни и науке позитивистских концепций. И Schicksal и Noegen для Гердера – наиболее общие, универсальные законы Вселенной, ко-

торые мыслящий человек должен опознать, проникнуться ими и стремиться жить в согласии с ними, не пытаясь обойти или перехитрить их. Именно в этом смысле человек должен идти «прямо и смело» (у Жуковского) и «das Schicksal tragen» (у Гердера); именно в этом смысле человек должен быть покорен судьбе, соответствовать ей, и тогда он «просветлеет лицом» (у Жуковского) и будет «willig und froh» (у Гердера). В последних двух строках перевода Жуковский просто разворачивает в наглядную метафору то, что Гердер говорит предельно лаконично; ведь что значит «willst du nicht folgen», как не попытки многих людей обойти или перехитрить свою судьбу, то есть быть «испуганным» ею (у Жуковского); «du mußt» означает, что законы Вселенной человеку перехитрить не дано, если же он попытается это сделать, то «будет затоптан в грязи» (Жуковский). То есть речь идет все о той же *покорности Судьбе и вере в Провидение*, которые – в том числе и в силу реальных обстоятельств – определяли жизненное поведение (чего стоит один только отказ от любви М.А. Протасовой!) и всю жизненную философию Жуковского (не случайно же он и в 1844 г. пишет «Две повести» с их «Выбором креста»). Просто покорность судьбе лишь в тривиальном и извращенном прогрессистски-позитивистским мышлением сознании может восприниматься как нечто «трусливое», *не требующее мужества*. Для Гердера и для Жуковского *покорность* судьбе, напротив, означала высшее мужество, и оба они всей своей жизнью дали достойный пример этого *высшего мужества*. Разумеется, «Судьбу» Жуковского трудно назвать переводом в общепринятом смысле, но, на наш взгляд, лучше Жуковского это двустипшие Гердера на русский язык перевести практически невозможно даже сегодня. Из-за различий языков, национальных менталитетов и много еще чего...

ЗАВИСТНИК. – Публикуется с текстологическим уточнением Н.Б. Реморовой, заново прочитавшей альбом графини Ростопчиной.

Готфрид Август Бюргер
(1747-1794)

Один из наиболее ярких талантов левого крыла «Бури и натиска», уже в одной из первых своих баллад «Ленора» (1773) выступил как создатель жанра литературной баллады в Германии, сыгравшего

столь значительную роль в дальнейшем развитии немецкой поэзии. Жуковский, стремясь к созданию жанра русской романтической баллады, обратился именно к этому гениальному творению Бюргера: «Людмила» (1808), «Светлана» (1808–1812) и, наконец, «Ленора» (1831; первая публикация – в «Балладах и повестях» В.А. Жуковского. СПб., 1831). Сохранились документальные свидетельства о том, что Жуковский до определенного времени (возможно, в период работы над «Людмилой» и «Светланой») ставил баллады Бюргера выше Шиллера, особенно ценил живописность и простонародность языка Бюргера, хотя самому ему так и не удалось до конца передать эмоциональную силу простонародных выражений Бюргера – даже в позднем переводе. Но русской читающей публике, воспитанной на сентиментализме, «Людмила» Жуковского нравилась все-таки больше, чем «Ольга» П.А. Катенина (тоже вольный перевод «Леноры»), хотя в защиту последней выступил А.С. Грибоедов. В полемике между Н.И. Гнедичем, поддержавшим Жуковского, и Грибоедовым речь, по существу, шла о дальнейших путях русской поэзии, о необходимом движении к реализму, об овладении богатствами народного языка. Впоследствии Пушкин в статье «Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина» (1833) великолепно подытожил эту дискуссию: «Первым замечательным произведением г-на Катенина был перевод славной Биргеровой «Леноры». Она была уже известна у нас по неверному и прелестному подражанию Жуковского, который сделал из нее то же, что Байрон в своем «Манфреде» сделал из «Фауста»: ослабил дух и формы своего образца. Катенин это чувствовал и вздумал показать нам Ленору в энергической красоте ее первобытного создания; он написал «Ольгу». Но сия простота и даже грубость выражений, сия *сволочь*, заменившая *воздушную цепь теней*, сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей, и Гнедич взялся высказать их мнения в статье, коей несправедливость обличена была Грибоедовым» (А.С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 т., т. 7. Л., 1978, с. 183).

За Фридрихом на войну... – В оригинале конкретнее: упоминается битва под Прагой 6 мая 1757 г., в которой прусский король Фридрих II (1712–1786) разбил войско австрийской императрицы Марии Терезии (1717–1780). Привязка сюжета к конкретному эпизо-

ду Семилетней войны (1756–1763) очень осовременивала балладу Бюргера – для Жуковского же важнее была общая идея войны.

Иоганн Вольфганг Гёте
(1749–1832)

В 1809–1833 гг. Жуковский перевел более 15 стихотворений Гёте, но многое в его планах осталось неосуществленным, особенно если учесть, с каким почтением он относился к Гёте в целом.

Гёте узнал о переводах Жуковского в 1820 г., когда посетивший его В. Кюхельбекер по его просьбе сделал обратный перевод «Арфиста» («Кто слез на хлеб свой не ронял...»). «Казалось, ему было приятно, что Жуковский познакомил русских с некоторыми его мелкими стихотворениями», – пишет Кюхельбекер в XXII письме своего «Путешествия» от 10 [22] ноября (см.: В. К. К ю х е л ь б е к е р . Путешествие. Дневник. Статьи. Л., Наука, 1979, с. 27. Речь идет о стихотворениях, опубликованных в 1818 г. в сборнике «Für Wenige. Для немногих»).

Во время своей первой поездки за границу Жуковский лично познакомился с Гёте в 1821 г. в Йене, затем они несколько раз встречались в Веймаре в 1827 г., и оба впоследствии с удовольствием вспоминали эти встречи. Жуковский был в близких отношениях со многими друзьями и родственниками Гёте; в последний раз он посетил Веймар в 1840 г. (Подробнее см.: С. Д у р ы л и н . Жуковский и Гёте. – В кн.: Литературное наследство, № 4–6. М., 1932, с. 324–373. См. также: В. М. Ж и р м у н с к и й . Гёте в русской литературе, с. 77–89; В. И. К у л е ш о в . Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке (первая половина), изд. 2-е. М., МГУ, 1977.) Для Жуковского – при всем различии их темпераментов и мирозозерцаний – Гёте всегда оставался «творцом великих вдохновений», и, как написал он дальше в стихотворении «К Гёте» (1827):

И для меня мой *гений Гёте*
Животворитель жизни был.

МОЯ БОГИНЯ. – 15 сентября 1780 г. Гёте послал стихотворение Шарлотте фон Штейн; впервые опубликовано в 1781 г. в «Tiefurter

Journal» под названием «Ода»; название *Meine Göttin* появилось в собрании сочинений 1789 г. Жуковский перевел стихотворение в 1809 г. и тогда же напечатал в «Вестнике Европы». Это первый известный перевод Жуковского из Гёте. Жуковский почти в два раза увеличил текст, сгладил ритм стихов и придал веселой и ветреной богине Фантазии сентиментально-оссиановские черты.

МОТЫЛЕК. – Гёте написал стихотворение *Die Freuden* не позднее 1768 г. и опубликовал впервые в своем вышедшем анонимно сборнике «*Neue Lieder, in Melodien gesetzt von Bernhard Theodor Breitkopf*» (1769); затем он включил его в 1789 г. в «*Schriften*». *Die Freuden* вполне выражает анакреонтически-назидательскую струю в юношеской лирике Гёте.

Жуковский перевел стихотворение 7 октября 1815 г.; впервые опубликовано в журнале «Российский музеум» (1815, № 4, с. 11). В прижизненные собрания сочинений не входило. Перепечатано (с пометой «1815») в четвертом томе шестого издания «Стихотворений» (СПб., 1869, с. 366–367). Поэтическое чутье подсказало Жуковскому нецелесообразность точного перевода стихотворения Гёте, ситуативно связанного с конкретным адресатом («*Die Freuden*» представляет собой риторическую аллегорю, острие которой направлено против рационализма «берлинской струи» немецкого Просвещения – в одном из писем Гёте прямо называет в связи с «*Die Freuden*» М. Мендельсона «и других»), а по форме – с анакреонтической риторикой, которую сам Жуковский преодолел, но – главное – считал в 1815 г. бесполезным для русской поэзии анахронизмом. Поэтому он переводит стихотворение Гёте (начиная с названия: *Freuden* = радости) из аллегорически-философского контекста в контекст обыденно-бытовой, когда нравоучительный вывод выглядит не столь полемически нарочито, как у Гёте, а непосредственно и «наивно» вытекает из живописно изображенной ситуации. Конечный же смысл текста Жуковского, по сути, гораздо ближе к Гёте, чем это считают некоторые комментаторы (см., например, комментарий О. Лебедевой: ПСС и П, т. 1, с. 692).

«КТО СЛЕЗ НА ХЛЕБ СВОЙ НЕ РОНЯЛ...» – Стихотворение было написано Гёте в ноябре 1783 г. Впервые опубликовано как песня старика арфиста в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» в 1796 г., но там опущена третья строфа, которую Гёте снова присоеди-

нил, публикуя текст в сборнике стихотворений. Перевод Жуковского относится к 1816 г.; впервые опубликован в 1818 г. в сборнике «Für Wenige. Для немногих», № 2, – двуязычном издании малого объема, где тексты не содержали никаких указаний на авторов.

«ОПЯТЬ ТЫ ЗДЕСЬ, МОЙ БЛАГОДАТНЫЙ ГЕНИЙ...» – Посвящение к «Фаусту» было написано Гёте 24 июня 1797 г., в начале третьего периода работы над трагедией; опубликовано в 1808 г. в составе первой части «Фауста», в 8-м томе собрания сочинений Гёте. Жуковский перевел *Zueignung* в 1817 г. и опубликовал в качестве первого посвящения в отдельном издании: Двенадцать спящих дев, старинная повесть, сочинение Василия Жуковского. СПб., 1817.

К МЕСЯЦУ. – Гёте написал стихотворение в 1777 или в 1778 г. и послал Шарлотте фон Штейн (6 строф). В переработанном варианте (9 строф), возникшем, вероятно, в 1788 г., оно было впервые опубликовано в 1789 г. Жуковский перевел в 1817–1818 гг. опубликованный Гёте вариант и напечатал в сборнике «Для немногих» (1818, № 2), где есть и девятая строфа:

Что в полночный тихий час
Слышимо душой,
Очаровывает нас
Тайною мечтой.

В дальнейшем Жуковский эту строфу не публиковал.

УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ. – Стихотворение *Trost in Tränen* написано Гёте, по-видимому, весной 1803 г., опубликовано в 1804 г. («Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1804»). Перевод Жуковского сделан в конце 1817 г. и впервые опубликован в 1818 г. («Для немногих», № 1). Все биографы, начиная с К. Зейдлица, считают, что в стихотворениях «К месяцу» и «Утешение в слезах» отразились переживания Жуковского в связи с замужеством М.А. Протасовой в 1817 г. Жуковский уехал из Дерпта в Петербург в январе 1818 г.

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ. – Баллада *Erlkönig* была написана Гёте для зингшпиля «Рыбачка», который был поставлен в июле 1782 г. в Тифурте и тогда же опубликован. Жуковский перевел балладу в 1818 г. и сразу опубликовал («Для немногих», № 4). (Подробнее о переводе Жуковского см. известную статью М. Цветаевой «Два Лесных Царя».)

РЫБАК. – Гёте написал стихотворение, по-видимому, в 1778 г.

Впервые оно опубликовано в сборнике Гердера «*Volkslieder*» в 1779 г. под названием *Das Lied vom Fischer*. Переведено Жуковским в начале 1818 г. и опубликовано в № 1 «Для немногих».

МИНА. – Стихотворение было написано Гёте не позднее ноября 1783 г. и открывало сначала 4-ю книгу «Театрального призвания Вильгельма Мейстера». Было опубликовано в 3-й книге романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» в 1795 г. Жуковский перевел песню Миньоны в начале 1818 г. и сразу же напечатал («Для немногих», № 1).

ЖАЛОБА ПАСТУХА. – Гёте написал стихотворение в начале 1802 г.; опубликовано в 1804 г. Перевод Жуковского относится к концу 1817 – началу 1818 г.; впервые опубликован в сборнике «Для немногих», № 1. Жуковский довольно точно передает дольник, вводя тем самым новый размер в русскую поэзию, использованный по-настоящему лишь впоследствии символистами.

НОВАЯ ЛЮБОВЬ – НОВАЯ ЖИЗНЬ. – Стихотворение написано Гёте в 1775 г. и навеяно чувствами к Лили Шёнеман, с которой он был помолвлен. Жуковский перевел стихотворение в 1818 г. и сразу же опубликовал («Для немногих», № 2).

«ВЗОШЛА ЗАРЯ. ДЫХАНИЕМ ПРИЯТНЫМ...» – Стихотворение *Zueignung*, из которого Жуковский перевел в 1819 г. две первые строфы, было написано Гёте 8 августа 1784 г. для оставшегося фрагментом эпоса *Die Geheimnisse*. Стихотворение публиковалось с 1787 г., но лишь в собрании сочинений 1815 г. Гёте открыл им первый том, в котором были помещены его стихотворения. С тех пор за *Zueignung* и закрепилось это особое положение. Перевод Жуковского был впервые опубликован в журнале «Русский архив», 1873, выпуск 9, под заглавием «Утро на горе», отсутствующим в рукописи Жуковского.

ПУТЕШЕСТВЕННИК И ПОСЕЛЯНКА. – Стихотворение Гёте *Der Wanderer* было написано весной 1772 г. и опубликовано в «*Musenalmanach für 1774*». Жуковский перевел его в 1819 г. и напечатал в журнале «Сын отечества», 1823, ч. 84.

ОБЕТЫ. – Стихотворение без заголовка было написано Гёте в 1782 г., опубликовано в собр. соч. 1789 г. под названием *Ländliches Glück*. Жуковский перевел его в 1821 г. и напечатал в «Московском те-

леграфу», 1827, ч. XVI, № 14. Название «Обеты» уже никак не передает замысла автора, который предназначал эти строки для парка в Тифурте, как надпись среди деревьев.

«БУДЬ НЕСОЛНЕЧЕН НАШ ГЛАЗ...» – Четверостишие «Wär nicht das Auge sonnenhaft» Гёте включил в третью книгу «Zahme Xenien» («Кроткие ксени»), опубликованную в 1824 г. Издатели Жуковского (А. Архангельский, А.Д. Алферов) в наиболее полных дореволюционных изданиях публиковали это четверостишие под 1829 г. В дальнейшем не публиковалось.

ОРЕЛ И ГОЛУБКА. *Басня*. – Гёте написал стихотворение *Adler und Taube*, по-видимому, в марте-апреле 1773 г.; впервые опубликовано в «Musenalmanach» (1774). Однако никак нельзя согласиться с трактовкой этого стихотворения В. М. Жирмунским: «Единственный более крупный перевод, на который вдохновило Жуковского личное знакомство с Гёте в 20-х гг., – это басня «Орел и голубка» (1833) с ее голубиной мудростью: «Умеренность – прямое счастье» (Ж и р м у н с к и й В.М. Гёте в русской литературе. Л., 1982, с. 88–89). В стихотворении Гёте нет и намек на «голубиную мудрость»: Гёте в это время переживал сюжет «Страданий юного Вертера», романа, которому через год суждено было стать самым взрывным «манифестом» «Бури и натиска». Более прав в трактовке этого стихотворения Гёте, на наш взгляд, А.Г. Габричевский: «Как самая форма басни или притчи, так и противопоставление орла и голубки были широко распространены в тогдашней литературе. Здесь – противопоставление «гения», сверхчеловека умеренному, пошлому мещанству» (Гёте И.В. Собрание сочинений в тринадцати томах. Т. 1. Лирика. Статья и примечания А.Г. Габричевского. М.–Л., 1932, с. 544). В современном гётеведении «Adler und Taube» трактуется в духе А.Г. Габричевского: Гёте видел себя «орлом» с подломленными крыльями, которому грозит опасность погрязнуть в рутине провинциальной обыденности – именно в это время он пытался некоторое время работать адвокатом. Но и с текстом Жуковского дело обстоит не так просто: если читать его перевод внимательно, то «нестыковка» позиций «орла» и «голубки» – при всей смягченности ее по отношению к тексту Гёте – все же слишком очевидна, недаром орел восклицает «О мудрость!», «в себя сурово погрузившись». Жуковский, по сути, достаточно прозрачно передает

мысль Гёте: «мудрость» «золотой середины» – не для «орла». Перевод Жуковского был впервые опубликован в 1836 г. в шестом томе «Стихотворений».

Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805)

С 1806 по 1833 г. Жуковский перевел около 30 произведений Шиллера, в том числе трагедию «Орлеанская дева» и классические баллады. Шиллер, безусловно, был в числе самых любимых зарубежных писателей Жуковского. Несмотря на имеющиеся работы о Жуковском как переводчике Шиллера (В.Е. Чешин – Ветринский. В.А. Жуковский как переводчик Шиллера. Рига, 1895; Р.Ю. Данилевский. Шиллер и становление русского романтизма. – В кн.: Ранние романтические веяния. Л., Наука, 1972, с. 3–96), и здесь остается еще немало неисследованного, например вопрос о переводах Жуковским отрывков из «Дон Карлоса», «Дмитрия», «Пикколомини», «Смерти Валленштейна», сохранившихся в архивах.

ТОСКА ПО МИЛОМ. *Песня*. – Впервые *Des Mädchens Klage* Шиллер опубликовал в «Musenalmanach für das Jahr 1799», в дальнейшем публиковалось без изменений. Две первые строфы Шиллер использовал в качестве песни Теклы в драме «Пикколомини» (действие третье, явление седьмое).

Жуковский сделал свой перевод 18 февраля 1807 г.; впервые опубликовано анонимно в «Вестнике Европы» (1808, часть 37, № 1, январь, с. 39–40) с заглавием «Романс». Печаталось во всех собраниях сочинений, но лишь в последнем прижизненном издании (пятом) получило название «Тоска по милом. Песня».

«Тоска по милом» – первый из многочисленных переводов Жуковского из Шиллера, и в оценке его до сих пор существуют значительные расхождения (см. комментарий А.С. Янушкевича в новейшем издании: ПСС и П, с. 514–515). На наш взгляд, основное заблуждение при оценках «точности» и «неточности» переводов Жуковского состоит в том, что к ним зачастую пытаются применять критерии, вполне применимые к обычным переводчикам (в том числе и поэ-

там-переводчикам), решающим чисто переводческую задачу: дать в руки *своих* читателей недоступное им в оригинале произведение *чужого* (то есть зарубежного) автора, чтобы читатель почувствовал своеобразие и достоинства *чужого* писателя и *чужого* текста. Жуковский решал своими переводами задачу гораздо более сложную: будучи с начала XIX века (с первого перевода Т. Грея) *в самом центре* процесса национального самоопределения современной ему русской литературы, ее вхождения *на равных правах* в литературу европейскую (ибо вряд ли можно всерьез говорить о русской литературе XVII–XVIII вв. как о *равноправной* участнице европейского историко-культурного процесса), он видел в русской литературе массу «белых пятен» и почти каждый перевод свой рассматривал как «межевой знак» или «маяк», обозначающий новый жанр, новый ритм, новый сюжет, новое содержание и т. д. С помощью своих переводов он решал задачи, жизненно важные для *всей* русской литературы в *целом*, и эти задачи совершенно отодвигают на задний план проблему «точности» или «неточности», ибо прежде всего всякий раз надо понять: какую сверхзадачу решал и в какой мере ее решил тем или иным своим переводом Жуковский. Что касается «Тоски по милом», то обозначением жанра («романс») Жуковский ясно обозначил и свою задачу: создать новый жанр, жанр народного и литературно-народного романса, и он этот жанр создал, как показала дальнейшая судьба «романса» «Тоска по милом» и – еще в большей степени – расцвет русского романса в XIX веке. В начале XIX века русский романс не мог достичь популярности, не будучи сентиментальным, «чувствительным»; Жуковский прекрасно знал это и создавал новый жанр в соответствии с духом времени. Но он оказался и провидцем: русский романс XIX в. вообще окрашен сентиментальной чувствительностью (как, например, большинство романсов П.И. Чайковского). Когда же Жуковский в 1849 г. готовил пятое собрание своих «Стихотворений», то проблема «романса» в русской литературе была уже давно разрешена, и ранний сентиментальный текст выглядел уже в какой-то степени анахронизмом – как с точки зрения самого жанра, так и в рамках изменившейся поэтики позднего Жуковского: поэт заменяет «романс» на гораздо более неприязнительное «песня». Что же касается самого перевода *Des Mädchens Klage*, то современные комментаторы (в том числе и

А.С. Янушкевич), к сожалению, опускают то, что заметил уже Ц. Вольпе (Жуковский В.А. Стихотворения. Т. 1. М., 1939, с. 369): у Шиллера Текла разговаривает с Богоматерью, во второй строфе *прямо* обращается к ней («Du Heilige»), в третьей строфе Богоматерь *отвечает* Текле и предлагает ей избрать любой род утешения («Doch nennt, was tröstet und heilet die Brust/Nach der süßen Liebe verschwundener Lust,/Ich, die himmlische, will's nicht versagen»). Эту *важнейшую* особенность диалога в *Des Mädchens Klage* Жуковский *полностью опустил* в переводе, ибо диалог с Богоматерью, как нам кажется, совершенно не вписывался в *светский характер* поисков русской поэзии начала XIX века. Если бы Жуковский решал чисто переводческие задачи, он бы смог передать всё: и ритм, и диалог, и самые изощренные образы. (Напомним еще раз слова А.С. Пушкина в письме П.А. Вяземскому от 25 мая 1825 г.: «Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его. В бореньях с трудностью силач необычайный».) Но Жуковский решал гораздо более сложные задачи, чем задачи чисто переводческого характера: своими переводами он *определял и направлял развитие русской литературы*, и все его отклонения от оригинала (отвлекаясь от случайных моментов в каждом конкретном тексте) объясняются *прежде всего* именно этим. (Для сравнения см. гораздо более точный, чем у Жуковского, перевод «Жалобы девушки» Н. Чуковского: Ш и л л е р Ф. Собр. сочинений в семи томах. Т. 1. М., 1955, с. 302. В этом переводе соблюдена строфика, передан диалог Теклы с Богоматерью, но *поэтичнее ли* он старого перевода Жуковского?..)

ПЛАЧ ЛЮДМИЛЫ. – Третье действие драмы Шиллера «Разбойники» (1780) открывается песней Амалии, состоящей из пяти строф. Позднее Шиллер доработал текст, убрав вторую строфу, и опубликовал самостоятельное стихотворение *Amalia* в 1803 г. во втором томе «Gedichte».

Текст перевода Жуковского датируется 1809 г.; впервые опубликовано в «Вестнике Европы» (1809, часть 47, № 20, октябрь, с. 263–264) с заглавием «Плач Людмилы» и подписью «Ж». В прижизненные собрания сочинений Жуковского не входило, впервые опубликовано (по публикации в «Вестнике Европы») в 1869 г.: Стихотворения В. Жуковского. Издание шестое. Т. IV. СПб., 1869, с. 354. Все коммен-

таторы Жуковского считают «Плач Людмилы» переводом «Амалии» и утверждают, что переводчик добавил одну строфу. Но если сопоставить «Плач Людмилы» с песней Амалии в «Die Räuber», то оказывается, что Жуковский ничего не добавлял, но лишь вольно перевел песню Амалии из «Разбойников» (даже если он интуитивно «вернулся» к первоначальному тексту Шиллера); количество строф (по пять) и содержание в целом в таком случае соотносятся ближе. Кстати, это, видимо, учла Е. Ратькова, вставившая в свой перевод «Разбойников» Шиллера «Плач Людмилы» Жуковского (правда, ни в самом тексте перевода, ни в комментариях Т. Сильман авторство Жуковского никак не оговаривается, см.: Ш и л л е р Ф. Избранные стихотворения и драмы. Вступит. статья Ф.П. Шиллера. Примеч. Т.И. Сильман. Л., 1937, с. 130). Но, на наш взгляд, совершенно точно замечание Н.Б. Реморовой о том, что «Плач Людмилы» – это лирический постскриптум к балладе из Бюргера» (ПСС и П, с. 534).

КАССАНДРА. – Впервые Шиллер упоминает о работе над балладой в письме Гёте 11 февраля 1801 г.; в июле «Кассандра» была закончена и появилась в печати в альманахе «*Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1803*». Жуковский перевел балладу в 1809 г. и тогда же опубликовал в «Вестнике Европы» с примечанием: «Читателям известно, что Ахиллес, сын богини Фетиды и Пелея (почему и называется он здесь Пелидом), в ту самую минуту, когда он стоял перед брачным алтарем с Поликсеной, дочерью троянского царя Приама, убит Парисом, которого стрелой управлял Аполлон. Кассандра, сестра Поликсены, будучи жрицею Аполлона, имела несчастный дар предвидеть будущее. В.Ж.».

СЧАСТИЕ. – Стихотворение *Das Glück* написано Шиллером в 1798 г., впервые опубликовано в «*Musenalmanach für das Jahr 1799*», затем, с незначительными изменениями, – в собрании стихотворений (*Gedichte I*, 1800). Жуковский переводил с книжного издания. Его перевод впервые опубликован в журнале «Вестник Европы», 1809, № 19.

Ihm zu Füßen legt sich der Leu, das brausende Delphin... – Пред ним смиряется лев, и дельфин из пучины... В этой редакции стих представлен в книжном издании. В альманахе было: «Ihm gehorchen die wilden Gemüther...» Речь идет о рассказанной у Элиана истории об

Андрокле и льве и мифе о поэте Арионе, спасенном дельфином из морской пучины.

...des Lichts – В первоначальном варианте были еще две строки:

Aber du nennest es Glück, und deiner eigenen Blindheit

Ziehst du verwegen den Gott, den dein Begriff nicht begreift.

ПУТЕШЕСТВЕННИК. – Шиллер написал стихотворение *Der Pilgrim* в 1803 г. и тогда же опубликовал во второй части «Стихотворений». Обычно это стихотворение датируют маем, поскольку в письме Гёте от 20 мая 1803 г. Шиллер упоминает *The Pilgrim's Progress* Джона Беньяна (1628–1688). Вольный перевод Жуковского относится к 1809 г., напечатан в «Вестнике Европы», 1810, № 5.

ЖАЛОБА. – Стихотворение *Der Jüngling am Bache* было написано Шиллером в 1803 г. и тогда же опубликовано. Перевод Жуковского был сделан в 1811 г. и напечатан в «Вестнике Европы», 1813, № 7 и 8. По мнению Ц. Вольпе, Жуковский опустил при переводе четвертую строфу оригинала о сословном неравенстве влюбленных, чтобы «избегнуть возможностей автобиографического истолкования стихов» (см.: В.А. Жуковск и й. Стихотворения, т. 1. Л., Советский писатель, 1939, с. 373).

ЖЕЛАНИЕ. – Шиллер работал над стихотворением *Sehnsucht* в 1801–1802 гг., впервые опубликовал в 1803 г. в «*Taschenbuch zum geselligen Vergnügen*»; для книжного издания 1805 г. написал вторую строфу. Перевод Жуковского сделан в 1811 г., опубликован в «Вестнике Европы», 1813, № 7 и 8.

ИВИКОВЫ ЖУРАВЛИ. – Шиллер написал балладу *Die Kraniche des Ibykus*, сюжет которой ему был подсказан Гёте, в 1797 г. и напечатал в «*Musenalmanach für das Jahr 1798*». Гёте нелегко расставался с мыслью самому написать балладу на этот сюжет, но все-таки передал Шиллеру поступившие в его распоряжение подготовительные материалы (см. подробнее: F. Schiller. *Sämtliche Werke in zehn Bänden*. Berliner Ausgabe. Hrsg. von H.–G. Thalheim u.a. Bd. 1, Berlin und Weimar, 1980, S. 800–807). Жуковский перевел балладу в 1813 г., первая публикация – в «Вестнике Европы», 1814. Первоначальная редакция последней строфы у Жуковского была ближе к тексту Шиллера:

И пред седалище судей

Он привлечен своим клеветом;

Амфитеатр судищем стал;
Один лишь плач убийц ответом,
И смерти суд на злобных пал.

Ивик (Ibykos, лат. форма: Ibykus) – греческий лирик 2-й половины VI в. до н. э., происходивший из области нижней Италии, некоторое время жил при дворе тирана острова Самоса Поликрата. Легенда о его убийстве – бродячий мотив эпохи эллинизма.

На Посидонов пир веселья, / Куда стекались чада Гелы... – В примечаниях к 1-му тому 5-го издания «Стихотворений» В. Жуковского (СПб., 1849, с. 307) дано следующее пояснение: «Под словом *Посидонов пир* разумеются здесь *игры Истмийские*, которые отправляемы были на перешейке (Истме) Коринфском в честь Посидона (Нептуна). Победители получали сосновые венцы. Гела, Элла, Эллада – имена древней Греции».

Лишь Гелиос то зрел священный. – «Гелиос – имя солнца у греков» (там же).

И тихо выступает хор. – «Хор Эвменид (Эринний, Фурий). Сии богини, дочери Нощи и Ахерона, открывали тайные преступления, преследовали виновных и мстили им на земле и в аде» (там же, с. 308).

МЕЧТЫ. – Стихотворение *Die Ideale* написано Шиллером в 1795 г., опубликовано в «*Musenalmach für das Jahr 1796*»; для издания «Стихотворений» (1800) заметно переработано. Жуковский начал работать над переводом в 1806 г. по варианту в «Альманахе муз» и несколько раз возвращался к нему, так и не опубликовав (впервые этот текст увидел свет в 1883 г. под названием «Отрывок»). В 1812 г. Жуковский заново и полностью перевел *Die Ideale* и опубликовал в «Вестнике Европы», 1813, № 14, июль.

ГОЛОС С ТОГО СВЕТА: – Стихотворение *Thekla. Eine Geistesstimme* Шиллер послал 9 июля 1802 г. издателю Котте; впервые опубликовано в «*Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1803*», затем было помещено во второй том «*Gedichte*» (1803). Тематически связано с концом четвертого действия драмы «*Wallensteins Tod*», где Текла принимает решение разыскать могилу Макса Пикколомини. В стихотворении же якобы умершая Текла отвечает «с того света» на вопросы живого человека.

Перевод Жуковского был сделан в 1815 г.; впервые опубликовано

в двуязычном издании «Für Wenige. Для немногих» (1818, № 3, март, с. 30) под заглавием «Юлия. Голос с того света». Я.К. Грот писал П.А. Плетневу в 1846 г.: «Жуковский взял у Шиллера только основную идею и пересоздал пьесу, которая на русском кажется мне несравненно выше. У Шиллера даже размер не тот – длинные хорей; я нашел тут только тень нашей любимой, чудной строфы» (Сочинения и переписка П.А. Плетнева. Т. 1–3. СПб., 1885. Т. 1, с. 339; Т. 2, с. 819). Письмо Грота – еще одно подтверждение наших соображений о принципах оценки переводов Жуковского (см. выше, с....). Жуковский заменил хорей на ямб, убрал вторую строфу, последние три строфы сжал в две, опустил все избыточные для лирического стихотворения детали и сгустил самое существенное до великолепных нравственно-поэтических формул. Стихотворение было положено на музыку М.И. Глинкой и А.Г. Вейраухом (1788–1865).

ЯВЛЕНИЕ БОГОВ. – Стихотворение *Der Besuch* было создано Шиллером в августе 1796 г. и опубликовано в «*Musenalmanach für das Jahr 1797*». При публикации в первой части «Стихотворений» (1800) появилось название *Dithyrambe*. О том, что Жуковский работал по тексту альманаха, говорит не только название, но и членение на стихи: в «Дифирамбах» – три строфы по семь строк: 1 и 2, 7 и 8, 9 и 10 объединены попарно в одну строку. Перевод Жуковского относится к 1816 г., впервые напечатан в журнале «Славянин», 1827, ч. 3, № 33.

РЫЦАРЬ ТОГЕНБУРГ. – Шиллер закончил балладу 31 июля 1797 г., первая публикация в «*Musenalmanach für das Jahr 1798*» и затем – в «Стихотворениях I» (1800). Жуковский перевел балладу в начале 1818 г. и опубликовал в сборнике «Для немногих», № 1. Баллада не имеет прямого исторического источника.

ГРАФ ГАПСБУРГСКИЙ. – Шиллер завершил балладу 25 апреля 1803 г.: первая публикация в «*Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1804*». Источником баллады послужила «Швейцарская хроника» (*Chronicon Helveticum*, 1734), где соответствующий эпизод отнесен к 1266 г. Жуковский перевел балладу весной 1818 г. и тогда же опубликовал («Для немногих», № 5).

Saß König Rudolfs heilige Macht. – Рудольф Габсбургский (1218–1291) был избран королем во Франкфурте 1 октября 1273 г. и коронован в Аахене 24 октября.

der Böhme – Богемец. Речь идет о короле Чехии Оттокаре II, политическом противнике Рудольфа, которого Шиллер (как он сам отметил в своих «Примечаниях») вопреки исторической правде посадил за один стол с Габсбургом.

Järgerschoß – охотничий лук.

ГОРНАЯ ДОРОГА. – Стихотворение *Berglied* написано Шиллером в начале 1804 г. и опубликовано в «*Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1805*». Гёте писал Шиллеру сразу же по получении рукописного экземпляра 26 января 1804 г.: «Ваше стихотворение – это настоящее восхождение на Готтард, которому и помимо того можно придать различные истолкования, и для «Телля» эта песня очень подходит». Известно, что для описания дороги в Италию в «Вильгельме Телле» и в «Горной песне» Шиллер использовал один и тот же источник: I. K. Fäsi. *Genaue und vollständige Staats-und Erdbeschreibung der ganzen Helvetischen Eidgenößschaft...* 4 Bde, Zürich, 1765–1768.

Жуковский перевел стихотворение весной 1818 г., опубликовано в сборнике «Для немногих», № 4, под более точным названием «Горная песня», которое позднее Жуковский изменил.

К ЭММЕ. – Шиллер написал стихотворение *Elegie. An Emma* в 1796 г. и опубликовал в «*Musenalmanach für das Jahr 1798*». В первой части «Стихотворений» (1800) оно, слегка доработанное, помещено под названием *An Emma*. С этого издания Жуковский перевел стихотворение 12 июля 1819 г.; впервые опубликовано: «Славянин», 1828, ч. 8, № 40.

Ihrer Flamme Himmelsglut... – В альманахе: *Ob der Liebe Lust auch flieht, Ihre Pein dich nie verglüht*.

ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА. – Шиллер работал над своей «романтической трагедией» с июля 1800 г. до апреля 1801 г. Гёте писал другу, прочитав рукопись: «Она до того удалась, она так хороша и прекрасна, что я не знаю, с чем ее можно сравнить». 18 сентября 1801 г. «Орлеанская дева» была впервые поставлена в Лейпциге. Трагедия «Орлеанская дева» по-своему отражает сложные раздумья Шиллера о причинах, правомерности и последствиях Французской революции 1789–1794 гг.

В рукописях Жуковского сохранился набросок оперного либретто «Орлеанская дева», датируемый 1808 г. Но основная работа была

проделана в 1817–1821 гг. Публикация началась в сборнике «Для немногих», № 6, и была продолжена в «Полярной Звезде» на 1823 и 1824 гг. Полностью текст «драматической поэмы», как назвал «романтическую трагедию» Шиллера Жуковский, был опубликован в 1824 г. В изданиях трагедии на русском языке обычно восстанавливаются пропуски, сделанные Жуковским при переводе. В нашем издании в публикуемом отрывке оставлен только текст Жуковского.

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ. – Шиллер написал стихотворение *Das Siegesfest* весной 1803 г. и поместил в «*Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1804*». В календаре Шиллера 22 мая 1803 г. стихотворение названо *Helden von Troja*. В письме Гёте Шиллер поясняет, что ставил перед собой задачу создать современную хоровую поэтическую песню и при этом «напал на роскошную жатву «Илиады» и унес из нее, что мог». Жуковский перевел «Торжество победителей» в 1828 г., перевод опубликован в альманахе «Северные цветы на 1829 год». В.Г. Белинский впоследствии высоко оценил перевод Жуковского.

КУБОК. – Баллада *Der Taucher* написана Шиллером в июне 1797 г. и представляет, как он сам подчеркнул, его «первый опыт в балладе»; впервые опубликована в «*Musenalmanach für das Jahr 1798*». Жуковский начал перевод в 1822–1823 гг. (12 строф) и закончил 10 марта 1831 г.; в том же году она была опубликована в «Балладах и повестях».

ПЕРЧАТКА. – Шиллер закончил балладу 19 июня 1797 г. (вслед за *Der Taucher*); опубликована в «*Musenalmanach für das Jahr 1798*». Вильгельм фон Гумбольдт считал обе баллады Шиллера лучшими публикациями названного альманаха. Жуковский сделал свой перевод 15–17 марта 1831 г. и в том же году опубликовал в «Муравейнике», № 3. В 1829 г. «Перчатка» была переведена Лермонтовым, хотя в печати его текст появился значительно позднее.

ПОЛИКРАТОВ ПЕРСТЕНЬ. – Баллада завершена Шиллером 26 июня 1797 г., опубликована в «*Musenalmanach für das Jahr 1798*». В. фон Гумбольдт считал «Поликратов перстень» не балладой, а рассказом и обосновал свою мысль в письме Шиллеру 9 июля 1797 г., являющемся одним из интересных документов развития эстетической мысли того времени. Жуковский перевел балладу в марте 1831 г. и в том же году опубликовал.

ЖАЛОБА ЦЕРЕРЫ. – Шиллер закончил стихотворение 10 июня 1796 г.; опубликовано в «Musenalmanach für das Jahr 1797». Жуковский сделал свой перевод 17–19 марта 1831 г. и в том же году опубликовал. До Жуковского «Жалобу Цереры» переводили С. Шевырев и Н. Колачевский.

ЭЛЕВЗИНСКИЙ ПРАЗДНИК. – В августе–сентябре 1798 г. Шиллер написал стихотворение *Bürgerlied*. Оно было опубликовано в «Musenalmanach für das Jahr 1799». В 1804 г. в «Стихотворениях» (1-я часть, 2-е изд.) оно получило название *Das Eleusische Fest*, которое за ним и сохранилось. В. фон Гумбольдт в эссе «О Шиллере и ходе его духовного развития» (1830) считал, что тема стихотворения давно вынашивалась Шиллером и он собирался написать эпос о зарождении культуры при переходе аттических племен от кочевой жизни к земледелию. Жуковский перевел «Элевзинский праздник» 9–17 января 1833 г. и опубликовал в 1834 г. в альманахе «Новоселье», ч. II.

СПРАЖЕНИЕ С ЗМЕЕМ. – Шиллер написал стихотворение *Ritter*, затем названное им *Der Kampf mit dem Drachen*, в августе 1798 г.; опубликовано в «Musenalmanach für das Jahr 1799». Основным источником для стихотворения Шиллера послужило подробное описание подлинного события 1345 г. в книге, переданной ему Гёте: *Neupolierter Geschicht-, Kunst-und Sittenspiegel ausländischer Völker, dem schaubegierigen Leser dargestellt von Erasmo Francisci. Nürnberg, 1670*. Перевод Жуковского сделан в 1831 г. и тогда же опубликован в «Муравейнике», № 5. Жуковский несколько сократил текст и перевел четырехстопный ямб в гекзаметр.

СУД БОЖИЙ. – Первое упоминание о работе над «балладой» *Der Gang nach dem Eisenhammer* содержится в письме Шиллера Гёте от 22 сентября 1797 г. В качестве источника Шиллер использовал опубликованный в 1780 г. немецкий перевод тринадцатой новеллы («La Fille-garçon») из многотомного собрания новелл Ретифа де ля Бретона (1734–1806) «Les contemporaines, ou Aventures des plus jolies femmes de l'âge présent» (1780–1785), сюжет и детали которого он довольно точно воспроизвел. 25 сентября он завершил свой перевод; впервые опубликовано в «Musenalmanach für das Jahr 1798» и затем – с незначительными изменениями – в первом томе «Gedichte»

(1800). Жуковский работал над переработкой «баллады» Шиллера в «повесть» в 1831 г.; впервые опубликовано в журнале «Библиотека для чтения» (1834, т. VI, отд. 1). Практически не отступая от содержания текста Шиллера, Жуковский переводит динамичные восьмистишия оригинала (ababcdd), сочетающие трехстопный (abab) и четырехстопный (ccdd) ямб, в медлительный гекзаметр разговорно-сказочного типа, что в данном случае оказалось вполне достаточно для трансформации одного жанра в другой («баллады» в «повесть»). Как известно, в 1830–1840-е гг. Жуковский интенсивно разрабатывает эпические жанры и формы, испытывая самые различные сюжеты и стихотворные формы.

...**SANKTUS** (лат.) – «Святой Боже» – католическая молитва.

...**VOBISCUM DOMINUS**. – Dominus vobiscum (лат.) – Господь с вами – постоянное обращение католического священника к прихожанам во время мессы.

...**PATER NOSTER** (лат.) – «Отче наш» – католическая молитва.

ДВЕ ЗАГАДКИ. – Цикл *Parabeln und Rätsel* Шиллер написал в процессе работы над переводом сказочной драмы Карло Гоцци «Турандот» («Принцесса Турандот»). В пьесе Гоцци принцесса Турандот загадывает каждому жениху три загадки, на которые они должны дать ответ в стихотворной форме, в противном случае их ожидает смертная казнь. Первые три загадки Шиллер опубликовал в отдельном издании Гоцци: *Turandot. Prinzessin von China. Ein Tragikomisches Märchen nach Gozzi von Schiller*. Tübingen, 1802. 30 января 1802 г. состоялась премьера пьесы в Веймарском придворном театре. Для последующих представлений Шиллер сочинял новые загадки (предполагалось, что для повышения интереса публики загадки могут быть каждый раз новыми). Часть загадок была записана лишь в режиссерских тетрадах, которые сгорели во время пожара Веймарского театра в 1825 г. Сохранилось и было опубликовано 14 стихотворных загадок и стихотворных ответов.

I. «НЕ ЧЕЛОВЕЧЬИМИ РУКАМИ». – Загадку *Von Perlen baut sich* Шиллер написал для второго представления «Турандот» в Веймарском театре 2 февраля 1802 г.; впервые опубликовано в «*Taschenbuch für das Jahr 1803. Der Liebe und Freundschaft gewidmet*» (Frankfurt am Main). Ответ – радуга.

II. «НА ПАЖИТИ НЕОБОЗРИМОЙ»... – Загадку *Auf einer großen Weide gehen* Шиллер написал, видимо, для четвертого представления «Турандот» 9 марта 1803 г.; впервые опубликовано во втором томе «Gedichte» (1803). Ответ – звезды и луна. Hund – созвездие Гончего Пса; Widder – Овен (созвездие).

Жуковский перевел обе загадки 10–17 марта 1831 г.; впервые опубликовано в журнале «Муравейник» (1831, № 3); в прижизненные собрания «Стихотворений» не включалось. Впервые перепечатано в составе шестого издания «Стихотворений» (С.-Пб., 1869, т. 4, с. 423–424) с ответами, помещенными в скобках под текстом загадок: 1 – Радуга; 2 – Звезды. Овен, Пес, Лев, Дева – названия созвездий.

Иоганн Петер Гебель (1760–1826)

Немецкий поэт и прозаик, получивший широкую известность после выхода «Алеманнских стихотворений» (*Alemannische Gedichte*, 1803), высоко оцененных Гёте, затем Л. Уландом и, наконец, в 1816 г., Жуковским. И.П. Гебель, выходец из бедной семьи, всю жизнь прожил в великом герцогстве (до 1806 г. – курфюршество) Баден (ныне часть земли Баден-Вюртемберг в ФРГ), был священником, учителем, затем директором гимназии. Хорошо зная местные обычаи и нравы, народный язык и фольклорные источники, Гебель явился одним из зачинателей своеобразной «народнической» и «областнической» литературы, развивавшейся в разных областях Германии на протяжении XIX в., а также «диалектальной» поэзии, тоже получившей достаточно широкое распространение. Рассказы, новеллы и анекдоты из народной жизни, собранные в книге «Сокровища рейнского домашнего друга» (1811), привлекли впоследствии внимание Л.Н. Толстого.

Работая над переводами из Гебеля, Жуковский писал из Дерпта А.И. Тургеневу: «Между тем написал, т.е. перевел с немецкого, пьесу под титулом *Овсяный кисель*; не думай, чтоб этот кисель был для Арзамаса; нет, но надеюсь, что он покажется высоким для арзамасцев, хоть и не разведен на бессмыслице. Этот перевод – из Гебеля, вероят-

но тебе неизвестного поэта, ибо он писал на швабском диалекте и для поселян. Но я ничего лучше не знаю! Поэзия во всем совершенстве простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и нам еще неизвестный род» (21 октября 1816 г.). Всего с 1816 по 1831 г. Жуковский сделал девять переводов из Гебеля, которые поначалу с насмешкой воспринимались его друзьями (Вяземским, Батюшковым, А.С. Пушкиным), но впоследствии были очень высоко оценены Белинским.

Все публикуемые тексты Гебеля (кроме специально оговоренных в комментарии) написаны им в 1800–1801 гг. и вошли в его сборник *Alemannische Gedichte* (Karlsruhe, 1803). Для знающего немецкий язык алеманнское наречие не представляет особых трудностей при чтении. (Интересующиеся специально могут обратиться к кн.: В.М. Ж и р м у н с к и й . Немецкая диалектология. М.–Л., АН СССР, 1956, и к содержащейся в ней библиографии.)

Более подробно переводы Жуковского из Гебеля освещены в работе Юргена Лемана (см. J. L e h m a n . Für Wirkungsgeschichte der Alemannischen Gedichte von J. P. Hebel am Beispiel ihrer russischen Übersetzung von W. A. Žukovskij, in: «Alemannisches Jahrbuch», 1976/1978, Bühl–Baden, 1979. S. 325–343).

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ. – Перевод Жуковского относится к октябрю 1816 г., опубликован в сборнике: Труды общества любителей российской словесности. М., 1817, ч. 9. В примечании к стихотворению Жуковский писал: «Опыт перевода с алеманнского наречия. «Гебель, – говорит Гёте об авторе А л е м а н н с к и х с т и х о т в о р е н и й , – изображая свежими, яркими красками неодоушевленную природу, умеет оживотворять ее милыми аллегориями. Древние поэты и новейшие их подражатели наполняли ее существами идеальными: нимфы, дриады, ореады жили в утесах, деревьях и потоках. Гебель, напротив, видит во всех сих предметах одних знакомцев своих – п о с е л я н , и все его стихотворные вымыслы самым приятным образом напоминают нам о сельской жизни, о судьбе смиренного земледельца и пастуха. Он выбрал для мирной своей музыки прекрасный уголок природы, которого никогда с нею не покидает: она живет и скитается в окрестностях Базеля, на берегу Рейна, там, где он, переменяв свое направление, обращается к северу. Ясность не-

ба, плодородие земли, разнообразие местоположений, живость воды, веселость жителей и милая простота наречия, избранного поэтом, весьма благоприятны его прекрасному оригинальному таланту. Во всем, и на земле и на небесах, он видит своего сельского жителя; с пленительным простосердечием описывает он его полевые труды, его семейственные радости и печали; особенно удаются ему изображения времен дня и года; он дает душу растениям; привлекательно изображает все чистое нравственное и радуется сердцем картинами ясно-беззаботной жизни. Но так же просто и разительно изображает он и ужасное и нередко с тою же любезною простотою говорит о предметах более высоких, о смерти, о тленности земного, о неизменяемости небесного, о жизни за гробом – и язык его, не переставая ни на минуту быть искусственным языком поселянина, без всякого усилия возвышается вместе с предметами, выражая равно и важное, и высокое, и меланхолическое. Наречие, избранное Гебелем, есть так называемое аллеманнское, употребляемое в окрестностях Базеля». В. Ж.

КРАСНЫЙ КАРБУНКУЛ. – Перевод Жуковского относится к 1816 г., опубликован в сборнике: Труды общества любителей российской словесности. М., 1817, ч. 10. Своим переводом Жуковский хотел обосновать целесообразность использования гекзаметра при разработке не только героической, но и обыденной тематики.

ДЕРЕВЕНСКИЙ СТОРОЖ В ПОЛНОЧЬ. – Перевод Жуковского датируется октябрём 1816 г., опубликован в сборнике «Для немногих», № 3.

ТЛЕННОСТЬ. – Жуковский перевел стихотворение в октябре 1816 г. и напечатал в 1818 г. («Для немногих», № 3). Белый ямбический стих Жуковского поначалу вызвал насмешки. По сообщению его брата, Л. С. Пушкина, А. С. Пушкин тут же откликнулся пародией:

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль: что, если это проза,
Да и дурная?..

Жуковский от души смеялся над этой пародией и уверял, что молодой поэт вскоре изменит свое мнение о белом стихе. И действительно, позднее белый пятистопный ямб стал одним из классических

размеров русской поэзии (ср. «Бориса Годунова»).

УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА. – Жуковский перевел *Der Morgenstern* в 1818 г. и тогда же опубликовал в сборнике «Für Wenige. Для немногих» (№ 3). Один из самых точных переводов Жуковского.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР. – Гебель впервые опубликовал *Der Sommerabend* в 1802 г. в «Allgemeines Intelligenz- oder Wochenblatt für das Land Breisgau und die Ortenau». Жуковский перевел стихотворение в январе-марте 1818 г. и напечатал в № 4 «Для немногих».

ВОСКРЕСНОЕ УТРО В ДЕРЕВНЕ. – Перевод Жуковского сделан в 1831 г. и в том же году напечатан: Баллады и повести В.А. Жуковского. В 2-х частях.

«ДВЕ БЫЛИ И ЕЩЕ ОДНА» (фрагмент). – Трехчастная дидактическая поэма Жуковского написана 29 мая – 11 июня 1831 г.; впервые опубликована в журнале «Муравейник» (1831, № 4) под заглавием «Две были». Идиллическое описание природы, занятий пятерых внуков и разговор бабушки с Лоттой, уговаривающей его рассказать сказку, сочинены самим Жуковским в духе идиллий Гебеля (см. «Красный карбункул», «Овсяный кисель»), под который подгоняются затем и все три «были» бабушки: две первые представляют собой переработки баллад Р. Саути, третья же – довольно точный поэтический пересказ прозаической притчи Гебеля *Kannitverstan* из «Erzählungen des Rheinländischen Hausfreundes» (1811).

НЕОЖИДАННОЕ СВИДАНИЕ. – Жуковский перевел религиозно-назидательную «быль» Гебеля *Unverhofftes Wiedersehen* из «Erzählungen des Rheinländischen Hausfreundes» в 1831 г.; впервые опубликовано в журнале «Муравейник» (1831, № 3). Гебель обработал в своей «были» известный сюжет, описанный в книге Готхильфа Генриха Шуберта «Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft» (1808), где описывается подлинный несчастный случай со шведским рудокопом: Мате Израэльсон погиб в 1670 г. и был обнаружен в 1719 г., причем его труп сохранился так, что его смогла опознать вдова. Первым этот сюжет использовал Ахим фон Арним (1810), но наибольшую известность приобрела новелла Э.Т.А. Гофмана «Фалунские рудники» (1818), впервые опубликованная в первом томе «Серапионовых братьев». Точно передав сюжет Гебеля и в основном сохраняя верность деталям, Жуковский наибольшую вольность допустил в пе-

речислении событий, которые произошли за 50 лет, заменив по своей воле одни факты другими и введя отсутствовавшее у Гебеля поэтическое описание:

Мертвый товарищ умершего племени, чуждый живому,
Он сиротою лежал на земле, посреди равнодушных
Зрителей...

Фридрих фон Маттисон
(1761–1831)

Один из талантливых представителей поэзии немецкого сентиментализма, весьма популярный в конце XVIII – начале XIX вв. Н.М. Карамзин познакомился с ним в Лионе (где Маттисон в то время работал в качестве воспитателя в семействе банкира Шерера) в марте 1790 г. и описал свои встречи с ним в «Письмах русского путешественника»: «Я слушал его с непритворным удовольствием. Нежная кротость, живые чувства, красота языка составляют красоту его песней». Шиллер в 1794 г. написал программную статью «О стихотворениях Маттисона», где дал очень высокую – как сейчас нередко считают, завышенную – оценку талант поэта. Первый сборник стихотворений Маттисона, «Песни» (*Lieder*), вышел в Бреслау в 1781 г. (2-е, расширенное издание – в Дессау в 1783).

ЭЛИЗИУМ. – Стихотворение написано Маттисоном в 1789 г. Было опубликовано в третьем, вновь расширенном издании стихотворений (*Gedichte*. Leipzig, 1794). Шиллер в своей статье в «Allgemeine Literatur-Zeitung» (11–12 сентября 1794 г.) писал: «Кто способен на такую фантазию, как его «Элизиум», тот доказал свое право считаться посвященным в глубочайшие тайны поэтического искусства и апостолом истинной красоты. Тесное общение с природой и с классическими образцами вскормило его дух, очистило его вкус, охранило его нравственную грацию; проясненная, жизнерадостная человеческая природа одушевляет его создания, и отчетливо, как в зеркальной поверхности вод, отражаются прекрасные картины природы в спокойной прозрачности его духа. Неизменно в его произведениях ощущаешь отбор, сдержанность, строгость поэта к самому себе, неустанное

стремление к максимальной красоте» (И.Ф. Шиллер. Собрание сочинений в 8 томах, т. 6. М., 1950, с. 669). В основе содержания стихотворения – античный миф о Психее, попадающей в обитель мертвых, пьющей из Леты и очищающейся таким образом от памяти о земных страданиях. Жуковский перевел стихотворение в 1812 г., первая публикация – в «Вестнике Европы», 1813, № 7 и 8, апрель. В 1827 г. А.И. Тургенев в Штутгарте прочитал Маттисону перевод Жуковского, и поэт «восхищался гармонией языка».

Фридрих де ла Мотт Фуке
(1777–1843)

Плодовитый немецкий писатель и издатель, очень популярный в начале XIX в. Романтическая сказка «Ундина» была написана в 1811 г. и тогда же опубликована в издававшемся им ежеквартальнике «Die Jahreszeiten». В 1816 г. по тексту Фуке была поставлена первая романтическая опера в Германии «Ундина», музыку к которой написал Э.Т.А. Гофман. Жуковский увлекся творчеством Фуке еще в 1816 г. В письме Д.В. Дашкову, набрасывая план антологии немецкой литературы конца XVIII – начала XIX вв., он, намереваясь переводить Фуке, помечает: «Лам. Фуке: из «Erzählungen» [многое множество прекрасного]». (В.А. Жуковск и й. Сочинения, изд. 7-е, под ред. П.А. Ефремова, т. 6. СПб., 1878, с. 440.) Первоначально Жуковский, видимо, хотел перевести «Ундину» прозой, но затем, в 1831–1836 гг., написал ее гекзаметром, в целом сохранив удивительную близость к прозаическому тексту Фуке. Первые три главы были опубликованы в «Библиотеке для чтения», 1835, т. XII. В 1837 г. перевод вышел отдельной книгой: «Ундина, старинная повесть, рассказанная в прозе бароном Ламот Фуке, на русском в стихах В. Жуковским, с рис. Г. Майделя». Поэтический перевод Жуковского был восторженно встречен молодым Герценом, Гоголем, Белинским, а позднее – многими поэтами и художниками Серебряного века. В настоящей книге публикуются избранные главы из перевода Жуковского. «Посвящение» было написано Фуке ко второму изданию «Ундины» в 1814 г. Жуковский значительно опозитивировал простодушно-тривиальные стихи Фуке.

Адельберт фон Шамиссо
(1781–1838)

Немецкий писатель и ученый, французский дворянин по происхождению. В 1830-х гг. был одним из популярных поэтов и издателей романтическо-демократического направления. Всемирную известность получила его повесть «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814), где с особой силой звучит и автобиографическая тема странничества, утраты родины. Помимо нескольких прекрасных лирических стихотворений, важный вклад Шамиссо в развитие немецкой поэзии состоял в активной разработке жанра стихотворной новеллы (до него этот жанр успешно ввел в немецкую поэзию Л. Уланд). Известны три перевода Жуковского из Шамиссо, осуществленные в 1843–1845 гг., но, по-видимому, связи их этим не исчерпываются. Ц. Вольпе считал, что опыт Шамиссо был очень важен для Жуковского, который в 1840-е гг. овладевал жанром стихотворной новеллы (см.: В.А. Жуковский. Стихотворения, т. 2. Л., Советский писатель, 1940, с. 484).

<СКАЗАНИЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ>. – Шамиссо написал *Sage von Alexandern* в январе 1833; впервые опубликовано в *Deutscher Musenalmanach für das Jahr 1833* (Leipzig, 1834, S. 151–158) с подзаголовком *Nach dem Talmud*. Непосредственным источником для написания стихотворной новеллы-притчи явилась статья Нунан К. *Miscellanea hebraica* («Revue de Paris», 1832, № 40, S. 103–104).

Жуковский перевел «Сказание об Александре» в 1844 г., включив затем в качестве первой «повести» в цикл «Две повести» (второй была притча Ф. Рюккерта о мудреце Кериме – см. в нашем издании, с. 557). «Две повести» были опубликованы в журнале «Москвитянин» с примечанием. «Эти стихи В.А. Жуковского относятся к одному литератору, который принимает участие в составлении "Москвитянина"». Речь идет об И.В. Киреевском (1806–1856), сыне подруги детства и родственницы Жуковского А.П. Киреевской (во втором браке – Елагиной). Журнал «Москвитянин» был органом «официальной народности» и издавался М.П. Погодиным.

Точно передав сюжет стихотворной притчи Шамиссо, Жуковский придал повествованию более эпический характер, сократив или

вовсе отбросив лирические отступления Шамиссо, начиная с пространныго вступления в начале о любви повествователя к старинным легендам; но местами переводчик сам усиливает психологизм и эмоциональную насыщенность оригинала, вводя собственные сентенции и образы.

...von **Alexandern**. – Речь идет об Александре Македонском (Великом) (356–323 до н.э.), крупнейшем полководце и завоевателе античности, расширившем границы своей империи до небывалых размеров.

ВЫБОР КРЕСТА. – Стихотворная новелла Шамиссо была написана в январе 1834 г. Опубликована в журнале «Deutscher Musenalmanach für das Jahr 1835». Перевод Жуковского относится к марту 1845 г., напечатан в журнале «Современник», 1846, № 1. Жуковского, по-видимому, привлекла лежащая в основе стихотворения аллегорическая мысль о том, что каждый должен нести *свой* крест.

Братья Гримм

Якоб Гримм (1785–1863)

Вильгельм Гримм (1786–1859)

Братья Гримм – крупнейшие немецкие филологи-универсалисты эпохи романтизма, во многом повлиявшие на формирование основных направлений развития европейской филологии в XIX веке и выдвинувшие филологию в центр немецкой гуманитарной науки. Обще-национальное значение приобрели «Kinder- und Hausmärchen» братьев Гримм, опубликованные в трех томах в 1812–1822 гг., затем многократно переиздававшиеся и ставшие благодаря многочисленным переводам одним из самых популярных собраний сказок во всем мире. Современное литературоведение в основном сходится во мнении, что братья Гримм создали жанр романтической *литературной народной сказки* (см., например, докторскую диссертацию А.С. Науменко и развернутую аргументацию в книге: Г р и м м Я., Г р и м м В. Сказки. Эрленбергская рукопись. Вступит. статья, перевод и коммент. А. Науменко. М., Книга, 1988), тщательно обрабатывая и стилизуя как устные записи, так и письменные источники.

СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА. – В 1826 г. Жуковский опубликовал в журнале «Детский собеседник» (1826, ч.1, с. 106–110; с. 116–119) два прозаических перевода из «Детских и семейных сказок»: *Dornröschen* («Колючая роза») и *Der liebste Roland* («Милый Роланд и девица Ясный цвет»). Лето и осень 1831 г. Жуковский и Пушкин провели в Царском Селе, дружески соревнуясь в жанре стихотворной литературной сказки. Н.В. Гоголь вспоминал в письме А.С. Данилевскому от 2 ноября 1831 г.: «Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей... У Жуковского тоже русские народные сказки, одне экзаметрами, другие просто четырехстопными стихами, и, чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется появился новый обширный поэт и уже чисто русский. Ничего германского и прежнего» (Г о г о л ь Н.В. Полн. собр. соч. Т. 10. М., 1940, с. 214). В письме самому Жуковскому от 10 сентября 1831 г. Гоголь пишет о сказке, «которой одно прелестное начало чуть не свело меня с ума» (Г о г о л ь Н.В. Собр. соч. в девяти томах. Т. 9. М., 1994, с. 52), имея в виду «Спящую царевну», написанную Жуковским 26 августа – 12 сентября 1831 г. и впервые опубликованную в журнале «Европеец» (1832, № 1) под заглавием «Сказка о спящей царевне».

«Спящая царевна» является вольным стихотворным переложением сказки братьев Grimm *Dornröschen* (№ 50, по изданию 1857 г.). Сличение текстов братьев Grimm, Шарля Перро («*La belle au bois dormant*» из сборника «*Contes de Fées*») и вольной обработки Жуковского заставляет вернуться к мнению Ц. Вольпе, утверждавшего, что «Жуковский переводил именно Гриммов» (Ж у к о в с к и й В.А. Стихотворения. Редакция и примечания Ц. Вольпе. Т. 2. Л., Советский писатель, 1940, с. 472), и признать несостоятельным утверждение И.Д. Гликмана и Н.В. Измайлова, что Жуковский в своей «Спящей царевне» «объединил оба варианта сказки» (т. е. братьев Grimm и Ш. Перро. – А.Г.) и в ней «чувствуется стилистическая близость к французскому источнику» (Ж у к о в с к и й В.А. Сочинения в трех томах. Т. 3. М., 1980, с. 556). Утверждать так можно, лишь не имея перед собой текста братьев Grimm: в переложении Жуковского достаточно эпизодов, отсутствующих у Ш. Перро, но присутствующих у братьев Grimm, и нет ни одного эпизода, который объединял бы Жу-

ковского с Ш. Перро и отсутствовал у братьев Grimm. В начале сказки у Жуковского рак предсказывает царице, что у нее родится дочь (у братьев Grimm то же самое делает лягушка, но у Ш. Перро эпизод с предсказанием вообще отсутствует). У Жуковского, после того как царевна уколола себе руку веретеном, засыпают все, в том числе царь и царица, точно так же и у братьев Grimm, в то время как у Ш. Перро король и королева остаются здравствовать и умирают естественной смертью (и, соответственно, уже не пробуждаются, когда приходит положенный срок, как они пробуждаются у Жуковского и у братьев Grimm). Даже при сравнении одного эпизода засыпания царской усадьбы обнаруживается немало общих деталей в тексте братьев Grimm и в переводе Жуковского, но нет *ни одной детали*, которая объединяла бы Жуковского исключительно с Ш. Перро. И так далее. Финал сказки Жуковского точно совпадает с финалом сказки братьев Grimm, в то время как у Перро следует растянутый и эстетически безвкусный эпизод о матери-людоедке, пытавшейся съесть внучку, внука и невестку...

ТЮЛЬПАННОЕ ДЕРЕВО. – Жуковский работал над стихотворным переложением сказки братьев Grimm *Von dem Machandelboom* (№ 47, в последнем прижизненном издании «Детских и семейных сказок») 27 марта – 2 апреля 1845 г.; впервые опубликовано в журнале «Современник» (1846, т. 43) с подзаголовком «Сказка» и с пометой «1845. Франкфурт-на-Майне». Братья Grimm получили «Миндальное дерево» в записи художника Ф.О. Рунге на нижненемецком языке. Ц. Вольпе, сравнивавший рукопись Жуковского в Государственной публичной библиотеке с опубликованным текстом, обнаружил ряд расхождений, показывающих, что первоначально перевод был еще ближе к оригиналу (начиная с заглавия «Миндальное дерево»). Переработка текста усиливала притчево-дидактический характер повествования, «переводя его из сказочного в религиозно-поучительный» (Ц. Вольпе, цит. по: Жуков В.А. Стихотворения. Т. 2, с. 480). Приводим для сравнения начало и конец рукописного текста (по изданию Ц. Вольпе, с. 455–456).

Однажды жил, не знаю где, богатый
И добрый человек; он имел
Жену и с нею жил душою в душу,

Но Бог детей им не давал; и это
Их сокрушало; и они усердно
Молились, чтоб Бог благословил
Их брак; и к Богу их дошла молитва.
Вкруг дома их был сад, и перед домом
Там дерево миндальное росло...

Искал жены глазами; но ее
Он не нашел; и вновь все трое
Они тогда за стол обедать сели.
И я там был; и пиво с медом пил,
Но по усам текло; в рот не попало.

В своем переводе Жуковский убрал также жуткий натуралистический сюжет съедения отцом собственного сына – и без того уже хладнокровное убийство пасынка мачехой с помощью тяжелой крышки сундука вряд ли может благотворно подействовать на впечатлительного ребенка.

Людвиг Уланд
(1787–1862)

Немецкий поэт-романтик, начал публиковаться с 1805 г., после издания в 1815 г. сборника *Gedichte* (Stuttgart und Tübingen) известность его вышла далеко за пределы Германии. Песни и баллады Уланда оказали заметное влияние на поэзию позднего романтизма в Германии (Шамиссо, В. Мюллер, Гейне, Эйхендорф, Мёрике). Жуковский в 1816–1832 гг. сделал 20 переводов из Уланда. По утверждению Зейдлица, Жуковский «лично познакомился с Уландом в Германии» (См.: К.К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. СПб., 1883, с. 130), но опубликованные дневники и письма Жуковского этого не подтверждают (см.: И. А. Бычков. Дневники Жуковского. СПб., 1903, с. 157 и сл. – о пребывании в Штутгарте с 3 по 16 октября 1821 г.). Зато документально подтверждаются знакомство в 1847 г. и дружба Жуковского с ближайшим другом Уланда в течение всей его жизни,

романтическим писателем и известным врачом Юстинусом Кернером (1786–1862), который в 1852 г. опубликовал на немецком языке перевод сказки Жуковского «О Иване-царевиче и Сером Волке», написав для него также предисловие и стихотворное посвящение, где есть в том числе и такие слова о человеческих качествах Жуковского:

...Ein Herz, das, ist's auch jahrereich,
Ein Kinderherz ist, das nie altet.

(J. Kerner. Sämtliche Werke in vier Bänden. Hrsg. von Gaismayer, Leipzig, o. J., Bd. 2, S. 135).

СОН. – Стихотворение *Sängers Vorüberziehn* написано Уландом 28 ноября 1811 г. Впервые опубликовано в журнале «Die Musen. Eine norddeutsche Zeitschrift», Berlin, 1812. Жуковский перевел стихотворение в 1816 г., впервые опубликовано: «Полярная звезда на 1823 год», СПб.

ПЕСНЯ БЕДНЯКА. – Стихотворение написано Уландом 31 августа – 1 сентября 1805 г., впервые опубликовано в сборнике «Стихотворения» в 1815 г. Перевод Жуковского относится к 1816 г., впервые напечатан: «Соревнователь просвещения и благотворения», СПб., 1821, ч. 10, № 6. Жуковский при переводе последовательно преобразует лютеранскую протестантскую обрядовость стихотворения Уланда в православные обычаи.

СЧАСТИЕ ВО СНЕ. – Стихотворение *Der Traum* написано Уландом 28–29 октября 1806 г. Впервые опубликовано в газете Арнима и Брентано «Tröst Einsamkeit», 1808, № 17. Перевод Жуковского относится к 1816 г., впервые опубликован: «Полярная Звезда на 1823 год», СПб. Жуковский перевел смешанный с ямбом дольник Уланда в трехстопный ямб.

МЩЕНИЕ. – Стихотворение написано Уландом 3 февраля 1810 г. и тогда же опубликовано в журнале «Pantheon», № 2. Перевод Жуковского относится к 1816 г., впервые напечатан: «Невский зритель», 1820, февраль.

ГАРАЛЬД. – Стихотворение написано Уландом 10 марта 1811 г., впервые опубликовано в альманахе «Dichterwald» в 1813 г. Перевод Жуковского сделан в 1816 г., впервые напечатан: «Соревнователь просвещения и благотворения», СПб., 1820, ч. 9, № 3. В 5-м издании, просмотренном и исправленном самим Жуковским, был опущен перевод 4-й строфы Уланда:

Чей сладко так приманчив глас?
Что душу всю мутит?
Что прижимается и льнет
К бойцам под твердый щит?

ТРИ ПЕСНИ. – Стихотворение написано Уландом 10 ноября 1807 г., опубликовано в «*Tröst Einsamkeit*», 1808, № 14. Жуковский сделал перевод в 1816 г., опубликовано: «Соревнователь просвещения и благотворения», СПб., 1820, ч. 10, № 4. Жуковский изменил ритм и заменил имя «*Sifrid*» на Освальд.

УТЕШЕНИЕ. – Стихотворение *Die Nonne* написано Уландом 20 января 1805 г., впервые опубликовано в «*Musenalmanach*» в 1807 г., входило во все издания «Стихотворений»; неоднократно привлекало внимание композиторов, в том числе Й. Брамса. Жуковский перевел стихотворение в 1818 г., впервые напечатано в «Полярной звезде на 1823 г.» Видимо, по цензурным условиям Жуковский изменил название и перенес действие из монастыря на кладбище. Кроме того, он передал трехстопный ямб Уланда четырехстопным хореем. «Утешение» было положено на музыку М.И. Глинкой.

ТРИ ПУТНИКА. – Стихотворение *Der Wirtin Töchterlein* написано Уландом 24 декабря 1809 г., опубликовано в «*Dichterwald*», 1813. Неоднократно переложено на музыку, стихотворение вошло в сборники народных песен и поется до сих пор. Перевод Жуковского относится к началу 1820 г., опубликовано: «Соревнователь просвещения и благотворения», СПб., 1820, ч. 10, № 5. Жуковский сгладил ритм и народно-разговорную интонацию Уланда.

ПОБЕДИТЕЛЬ. – Стихотворение написано Уландом 1 июня 1809 г., опубликовано в «*Poetischer Almanach für das Jahr 1812*». *Besorgt von J. Kerner, Heidelberg, 1812*. Жуковский перевел стихотворение в 1822 г.; опубликовано: «Полярная звезда на 1823 год», СПб.

«БЫЛ У МЕНЯ ТОВАРИЩ...» – Стихотворение *Der gute Kamerad*, ставшее затем популярной народной песней, написано Уландом в 1809 г.; опубликовано в «*Poetischer Almanach für das Jahr 1812*». Перевод Жуковского относится ко времени второй заграничной поездки 1826–1827 гг. При жизни Жуковского не печаталось. Впервые на черновой вариант стихотворения указал Н. Бычков в 1887 г. (Бычков, с. 12). Впервые опубликовано в 1902 г. в ПСС, т. II, с. 136. П. Ефремов

считал, что это начало перевода из Ленау, и только Ц. Вольпе в 1939 г. установил, что это перевод из Уланда (см.: В.А. Жуковск и й . Стихотворения, т. 2. М.–Л., 1940, с. 535). Приводим рукописный вариант перевода первой строфы.

Был у меня товарищ
По милости небес,
Ударили тревогу,
Мы шли с ним рядом в ногу,
Ружье на перевес...

ЗАМОК НА БЕРЕГУ МОРЯ. – Стихотворение написано Уландом 4–5 ноября 1805 г., опубликовано в «Musenalmanach für das Jahr 1807». Hrsg. von Seckendorf. Regensburg. Жуковский перевел стихотворение 28 марта 1831 г., напечатал в журнале «Муравейник», 1831, № 4. Жуковский изменил строфику и ритмику оригинала, но довольно точно передал содержание.

ПРИХОД ВЕСНЫ. – Стихотворение *Lob des Frühlings* (из цикла *Frühlingslieder*) написано Уландом 8 апреля 1811 г., опубликовано в «Poetischer Almanach für das Jahr 1812». Перевод Жуковского относится ко второй половине марта 1831 г., при жизни Жуковского не публиковался. Впервые напечатано: «Русский архив», 1873, кн. 9, под названием «Появление весны».

АЛОНЗО. – Уланд написал *Durand* 27 июля 1814 г., впервые опубликовал в 1815. В основе романса Уланда – легендарная история знаменитого юриста Вильгельма Дурантиса (1237–1296), влюбленного в дочь владельца замка Бальби. Жуковский сделал свой перевод 26–28 марта 1831 г. и опубликовал в том же году в «Балладах и повестях». Он изменил в целях благозвучия имена действующих лиц (Дуранд на Алонзо и Бланка на Изолина), усилил лирическое начало, развив последнюю строфу Уланда в две и введя мотив эха, откликающегося на зов Алонзо. Ритмически Жуковский достаточно точно следует за Уландом, и оба стремятся передать форму средневекового испанского романса.

Альтан – верхняя часть строения, разновидность балкона.

РОЛАНД ОРУЖЕНОСЕЦ. – Баллада написана Уландом 10 сентября 1811 г., впервые опубликована в литературном альманахе *Dichterwald* (1813). Уланд, углубившись в Париже в 1810 г. в старо-

французские рукописи, извлек немало сюжетов для своих баллад, он издал и первый в Германии обобщенный труд «О старофранцузском эпосе» (1812).

Жуковский переводил балладу 31 октября – 7 ноября 1832 г. в «Верне на берегу Женевского озера», как гласит помета в рукописи. В переводе изменен характер строфы (у Уланда – ababccdd, у Жуковского – ababccdd), смягчен простонародно-грубоватый стиль повествования, но в целом все же сохранена и шутливая интонация, и жизнеутверждающий пафос оригинала.

ПЛАВАНИЕ КАРЛА ВЕЛИКОГО. – Стихотворение написано Уландом 31 января 1812 г., опубликовано в «Deutscher Dichterwald von Justinus Kerner, Friedrich Baron de la Motte Fouqué, Ludwig Uhland u.a.», Tübingen, 1813. Перевод Жуковского датируется 4–5 ноября 1832 г. Впервые опубликовано в 4-м собрании «Стихотворений» Жуковского (1835–1844, т. 5), относится к числу наиболее точных переводов Жуковского, который успешно преодолел особую сложность оригинала – дать в каждой отдельной строфе емкую психологическую характеристику одного из ближайших вассалов Карла Великого и в то же время искусно вести сюжетную линию баллады.

König Karl – Карл Великий (742–814, лат. Carolus Magnus, франц. Charlemagne), король франков, император с 800 г. С легендой о поездке Карла Великого в «святую землю» (Палестину) Уланд познакомился по старофранцузским источникам в Париже в 1810–1811 гг. Но в источниках отсутствует мотив бури, который Уланд положил в основу сюжета своей баллады.

...Altekläre – от *франц.* Hauteclaire (Hohe Klarheit); по преданию, меч, выкованный и освященный в Риме.

НОРМАНДСКИЙ ОБЫЧАЙ. – Уланд работал над своей поэтической драмой с 15 июня 1814 г. по 15 февраля 1815 г. Она относится к числу его творческих удач и впоследствии неоднократно ставилась в Штутгартском придворном театре. Одним из источников драмы было старофранцузское фаблио, зафиксировавшее нормандский обычай, развернутый Уландом в сюжетную мини-драму. Текст был впервые опубликован в «Стихотворениях» (1815) с подзаголовком «Dem Freiherrn de la Motte Fouqué zugeeignet» (о Фуке см. с. 607).

Жуковский перевел «Нормандский обычай» 8–12 ноября 1832 г., введя обозначение жанра («Драматическая повесть»); он увеличил песню Торильды на одну строфу и передал трехстопный ямб Уланда четырехстопным хореем, что было вызвано желанием приблизить немецкую песню к русской народно-песенной форме, как ее воспринимал сам Жуковский. В целом же перевод удивительно точно передает содержание и романтический колорит мини-драмы Уланда. «Нормандский обычай» впервые напечатан в журнале «Библиотека для чтения» (1834, т. 1) с пометой «8 ноября 1832 г. Вернэ, на берегу Женевского озера».

БРАТОУБИЙЦА. – Баллада *Der Waller* (пилигрим, паломник) написана Уландом 17 декабря 1829 г., сразу же опубликована в газете «Morgenblatt» и вошла в состав расширенного издания «Стихотворений» (1831). Действие легенды о чудотворной церкви Уланд локализовал в Галиции, но подобных легенд существует огромное множество.

Жуковский перевел балладу в 1832 г.; впервые опубликована в альманахе «Подарок бедным на 1834 г.» (Одесса, 1834) с пометой «Вернэ, на берегу Женевского озера. 1833». Перевод в целом хорошо передает содержание оригинала, но Жуковский усилил эмоциональную напряженность, заменив вполне нейтральное «пилигрим» Уланда на эмоционально сразу жестораживающее «братоубийца» и усилив в ряде мест детали, характеризующие тяжесть греха и самоистязание раскаявшегося. Но Жуковский, сохранив ритм оригинала (четырёхстопный ямб), изменил схему рифмовки (у Уланда – abcbdbeb; у Жуковского – ababcdcd).

РЫЦАРЬ РОЛЛОН. – Над балладой *Junker Rechberger* Уланд работал с 21 февраля по 2 марта 1811 г., впервые опубликована в *Poetischer Almanach* (1812) и затем в «Стихотворениях» (1815). Описанный легендарный сюжет встречается во многих источниках, в том числе и в «Немецких сказаниях» братьев Гримм. Согласно дневнику Уланда, он использовал книгу: *St o c k h a u s e n J.F. Mira Praesagia Mortis. Das ist Wunderliche Todes-Vorboten... Frankfurt am Main, Leipzig, 1694.* Но Уланд обработал сюжет в ироническом простонародно-грубоватом стиле, в балладе очевидна насмешка над хвастливым и заносчивым юнкером (молодым дворянином).

Жуковский перевел балладу 23 ноября 1832 г.; впервые напечатана в журнале «Библиотека для чтения» (1834, т. 2) с пометой «Вернэ, на берегу Женевского озера. 5 декабря 1832». Почти досконально пересказав сюжет Уланда, Жуковский не только изменил имя заглавного героя, но и убрал всю ироническую интонацию, заменив четырёхударный дольник на однообразный пятистопный амфибрахий и последовательно переводя просторечное отстраненно-ироническое повествование в сочувственный рассказ об отважном рыцаре-разбойнике, не пожелавшем уступить даже самому дьяволу. Искусство Жуковского в данном случае заключалось в том, что он ради своих целей то ужимает строфу Уланда в два стиха, то, наоборот, вводит придуманные им самим подробности; в результате из 22 строф Уланда у Жуковского получилось 19 строф. Но ему пришлось полностью опустить последнюю строфу, которую он при всем желании не мог подправить:

Рыцарям эта песня на пользу всегда,
Чтобы перчатки свои не бросали они никогда,
Чтоб оставались скромны и учтивы притом,
Если им ехать придется во мраке ночном.

(Перевод мой. – А. Г.)

ЦАРСКИЙ СЫН И ПОСЕЛЯНКА. – Поэма-сказка Уланда *Der Junge König und die Schäferin* написана 5–9 декабря 1807 г.; впервые опубликована в «*Zeitung für Einsiedler*» (1808, № 24; № 25), далее включалась во все издания «Стихотворений». Сказочный сюжет поэмы по-своему предваряет «Барышню-крестьянку» А.С. Пушкина, только поэма Уланда – сугубо романтическая, новеллу же Пушкина можно, видимо, назвать пасторалью, идиллией (или утопией).

Жуковский перевел начало поэмы (8 строф) 7 декабря 1832 г. и больше не возвращался к тексту Уланда. Перевод Жуковского был опубликован в ПСС, т. 1, с. 136. В советское время этот текст не перепечатывался.

СТАРЫЙ РЫЦАРЬ. – Стихотворение *Graf Eberhards Weißdorn* написано Уландом 13 октября 1810 г., опубликовано в «*Poetischer Almanach für das Jahr 1812*». Перевод Жуковского датируется 26 ноября – 8 декабря 1832 г., опубликовано: «Библиотека для чтения», 1834, т. 2. Жуковский опустил в переводе все имена, и таким образом

исчезла сюжетная привязка стихотворения к графу Эберхарду I (1445–1496), первому герцогу Вюртембергскому. «Ветка Палестины» Лермонтова написана не без влияния «Старого рыцаря» Жуковского.

Иоганн Михаэль Фридрих Рюккерт (1788–1866)

Немецкий поэт, переводчик, драматург, выдающийся ученый-ориенталист, с 1826 г. – профессор-востоковед в Эрлангене и Берлине (с 1841 г.). Перевел на немецкий язык Хафиза, «Сакунталу» Калидасы, эпос «Наль и Дамаянти» (1828), персидский эпос «Рустам и Зораб» (1838) и др. В 1836–1839 гг. опубликовал в 6 томах грандиозную дидактическую поэму «Мудрость брахманов», состоящую из многочисленных назидательных стихотворных новелл. Его стихотворное наследие включает 10 000 текстов и не охвачено пока полностью ни в одном издании. Жуковский с 1830-х годов постоянно обращался к Рюккерту: в 1837–1841 гг. он перевел гекзаметрами отрывок из эпоса «Наль и Дамаянти» (впервые издано отдельной книгой в 1844 г.); в 1846–1847 гг. он переводит свободным нерифмованным ямбом «Рустам и Зораб» Рюккерта (являющийся, в свою очередь, переложением эпизода поэмы «Шахнаме» Фирдоуси).

Публикуемый перевод из Рюккерта был сделан Жуковским в 1844 г. и опубликован в журнале «Москвитянин» (1845, № 1) в качестве второй притчи в «Двух повестях» (см. подробнее в комментарии к Шамиссо, с. 608). У Рюккерта притча о путнике и верблюде входит в цикл «Parabeln» (в качестве первой притчи), который был опубликован в составе обширного собрания «Восточные сказания и истории» (Sieben Bücher morgenländischen Sagen und Geschichten). Bd. 1–2. Stuttgart, 1837). Оригинал Рюккерта – строго выдержанный четырехстопный ямб со смежными рифмами и регулярным чередованием мужских и женских окончаний. Свободный пятистопный ямб Жуковского придает повествованию гораздо более естественный характер, чем у Рюккерта. Пересказанный Рюккертом и затем Жуковским сюжет восходит к жизнеописаниям Будды и подвергался уже в Средние века многочисленным обработкам.

Йозеф Христиан фон Цедлиц
(1790–1862)

Австрийский поэт и драматург, получивший известность в России благодаря удачным переводам Жуковского и Лермонтова из его лучшей поэтической книги «Посмертные венки» (Totten-Kränze. Kanzone. Wien, 1828), посвященной памяти Наполеона, Валленштейна, Петрарки, Тассо, Байрона и др. Жуковский перевел стихотворение «Ночной смотр» в начале 1836 г., опубликовано: «Современник», 1836, № 1. По свидетельству Д. Давыдова, Пушкину очень понравился перевод Жуковского. Жуковский перевел дольник Цедлица трехстопным амфибрахией и убрал рифму. Своей популярностью в России стихотворение обязано музыке М.И. Глинки. Ниже помещен текст первой (черновой) редакции перевода Жуковского:

НОЧНОЙ СМОТР

В двенадцатом часу
Из гроба, каждой ночью,
Выходит барабанщик.
Идет он скорым шагом,
Сначала бьет он зорю,
Потом он бьет к молитве,
Потом он бьет тревогу.

И будит барабан
В гробах солдатов старых,
Зарытых в русском снеге,
Под небом итальянским,
В песках горячих Нила,
В пустынях аравийских...
И строятся солдаты.

В двенадцатом часу
Из гроба, каждой ночью,
Встает трубач и трубит.
И старые рейтары
Могилы покидают
И, сев на коней, мчатся
Воздушным эскадроном.

В двенадцатом часу
Из гроба, каждой ночью,
Выходит полководец;
На нем мундир без ленты
(Вар.: На нем простая шпага
Под серым иберроком),
Коротенькая шпага
И маленькая шляпа,
Сюртук поверх мундира.

По фронту на коне
Он едет тихим шагом,
За ним все генералы,
И, честь отдавши, войско,
В молчании глубоко,
Перед вождем проходит
Колоннами густыми.

Глядит на войско вождь,
Крестом сложивши руки,
И светятся чудесным
Глаза его сияньем,
Потом он генералов
Становит в круг и шепчет
Им свой пароль и лозунг.

И войску отдают
Они пароль и лозунг;
И *Франция* пароль их,
И лозунг их: *Елена*.
Так смотрит каждой ночью
Свое земное войско
Умерший император.

Теодор Кёрнер
(1791–1813)

Немецкий поэт и драматург, погибший в боях с наполеоновскими войсками.

Стихотворение *Treuer Tod* было впервые опубликовано в «Vermischte Gedichte und Erzählungen», Bd. 2. Leipzig, 1815. Жуковский перевел его в феврале-марте 1818 г., опубликовал в № 3 «Для немногих». Четвертая строфа была написана Карлом Шалем (1780–1833) после смерти Т. Кёрнера и издана вместе со стихотворением Кёрнера отдельным оттиском. (По-видимому, Жуковский работал по этому последнему изданию.) Стихотворение Кёрнера стало популярной песней, музыку на его текст создавали многие композиторы.

Николаус Ленау
(1802–1850)

Настоящее имя – Николаус Франц Нимбш Эдлер фон Штреленау. Крупнейший австрийский романтический поэт, близкий к швабскому кругу (Л. Уланд, Ю. Кернер, Г. Шваб), но с судьбой Ф. Гёльдерлина (тоже шваба): с 1844 г. он жил в состоянии усиливающегося душевного и психического расстройства и умер в лечебнице для душевнобольных.

Стихотворение *Stumme Liebe* (1834) было впервые опубликовано в сборнике «Neuere Gedichte», Stuttgart, 1838. Биографы относят его к циклу стихотворений, связанных с увлечением Лоттой Гмелин, с которой Ленау познакомился в 1831 г. в Штутгарте. В жизни Жуковского это стихотворение сыграло особую роль: с его помощью он окончательно объяснился с Елизаветой Рейтерн (1821–1856), на которой женился 21 апреля 1841 г. Об обстоятельствах возникновения этого перевода Жуковский написал 4 декабря 1840 г. А.П. Елагиной: «В самый день моего первого отъезда из Дюссельдорфа, когда еще и в мысль не входила мне возможность того, что через несколько часов решилось для меня на всю жизнь, мы играли в одну игру, которая состоит в том, чтобы угадать стихи, написанные навыворот, сохранив порядок слов, но перестановив все буквы. Я написал, без намерения,

8 стихов из Ленау и отдал их ей для отгадки, и она разобрала эти стихи, а ввечеру того дня они сделались надписью к моей жизни; я их перевел или, лучше сказать, усвоил. Вот они». Первоначально текст перевода был опубликован в журнале «Музыкальный и театральный вестник» в 1883 г. (№ 3), в воспоминаниях В.А. Соллогуба, где последний стих читается «Перед образом Мадонны». Публикуемый автограф был впервые напечатан в журнале «Русский библиофил» в 1912 г. (№ 7–8, с. 115). Жуковский убрал в 4-стопном хорее Ленау рифмы, но содержание передал безупречно.

НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ
В ПЕРЕВОДАХ В. А. ЖУКОВСКОГО

Сборник

Составитель

Александр Александрович Гугнин

Подробнее ознакомиться с содержанием
и оформлением наших книг можно по Интернету.
Наш адрес: www.raduga.express.ru

Редактор *В. Крюков*

Внешнее оформление *А. Никулина*

Художественные редакторы *Т. Иващенко, К. Баласанова*

Технический редактор *Е. Ростовцева*

Корректоры *М. Жарова, Э. Петровская, С. Войнова,*

В. Лебедева, В. Пестова

Сдано в набор 27.12.99. Подписано в печать 04.04.2000.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Условн. печ. л. 32,76. Уч.-изд. л. 26,92.
Тираж 5000 экз. Заказ № 2038. Изд. № 8991.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры.

ЗАО Центр «Мультимедиа»
(Издательство «Рудомино»)

Лицензия ЛР № 070082 от 10.11.96 г.

ОАО Издательство «Радуга»
121839, Москва, пер. Сивцев Вражек, 43.

Лицензия ЛР № 020846 от 23 декабря 1998 г.

Отпечатано с оригинал-макета способом фотоофсет
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

*Johann Wilhelm Ludwig Gleim
Karl Wilhelm Ramler
Friedrich Gottlieb Klopstock
Gotthold Ephraim Lessing
Christoph Martin Wieland
Gottlieb Konrad Pfeffel
Johann Gottfried Herder
Gottfried August Bürger
Johann Wolfgang Goethe
Friedrich Schiller
Johann Peter Hebel
Friedrich von Mattisson
Friedrich de la Motte Fouqué
Adelbert von Chamisso
Jacob und Wilhelm Grimm
Ludwig Uhland
Friedrich Rückert
Joseph Christian von Zedlitz
Karl Theodor Körner
Nicolaus Lenau*



ISBN 5-05-004968-7



RUDOMINO
РУДОМИНО



Издательство
«РАДУГА»